

АЛЕКСАНДР  
ДЮМА

*Трилогия*

*Лидерика*



АЛЕКСАНДР  
ДЮМА

Приключения  
Дюона Девиса

Приключения

Андерика

Морские

повести

---

АСТ  
Москва

1993

ББК 84.4.Фр  
Д96

Печатается по изданию:  
«Полное собрание романов Александра Дюма  
(отца) под редакцией П. В. Быкова. Издательство  
П. П. Сойкина. Спб. 1900 г.»

Выпуск книги осуществлен совместно  
с ПКФ «Печатное дело»

Д  $\frac{4703010100—013}{Б69(01)—93}$  без объявления

© Состав, обработка текста в соответствии  
с современным правописанием,  
оформление —

ISBN 5-87056-033-0

ПКФ «Печатное дело», 1993г.





Приключения  
Джона Девиса





# I

Покойный отец мой, капитан Эдвард Девис, командовал английским фрегатом «Юнона». Лет сорок назад ему оторвало ногу последним ядром, пущенным с корабля «Мститель», который предпочел лучше ко дну пойти, чем сдаться.

Возвратившись в Портсмут, где уже знали о победе, одержанной адмиралом Гоу, батюшка получил чин контр-адмирала; к несчастью, его вместе с тем уволили в чистую: видно, господа лорды адмиралтейства думали, что колченогий контр-адмирал Эдвард Девис не в состоянии уже служить отечеству так, как служил он с обеими ногами.

Отец мой был один из тех истых моряков, которые думают, что земля пригодна разве только на то, чтобы наливаться водою и сушить рыбу. Он родился на фрегате, и первыми предметами, поразившими его взоры, были небо и море. Пятнадцати лет был он мичманом, двадцати пяти лейтенантом, тридцати капитаном, провел на корабле лучшую часть своей жизни, а на суше бывал только случайно, против воли. Он, зажмурясь, пробрался бы по Берингову проливу или Баффинову заливу, а из Сент-Джемса в Пикадиллии не прошел бы без провожатого. Поэтому вы можете представить себе, как его огорчило, — не рана, это безделица, — а следствие, которое она повлекла за собою; когда батюшке случалось размышлять о том, что ждет моряка на белом свете, ему приходили в голову и кораблекрушения, и пожары, и сражения, а отставка и на мысль не впадала; он был готов к смерти всякого рода, только не в постели.

Выздоровление его было медленно и продолжительно; однако же крепкая натура восторжествовала, наконец, и над физическими страданиями, и над душевным недугом;

надобно, впрочем, сказать, что за ним хорошо ходили. Во все время его тягостного выздоровления при нем было одно из тех существ, которые принадлежат как будто не к нашей породе, а к какой-нибудь другой, и которых образцы находим только или в солдатском мундире, или в матросской куртке. Один честный матрос, несколькими годами постарше батюшки, был при нем всегда, с тех самых пор, как он поступил мичманом на корабль «Королева Шарлотта», и до тех пор, как подняли его с одной ногой на палубе «Юноны»; и хотя ничто не принуждало Тома Смита покинуть корабль, и он тоже всегда надеялся, что умрет славной смертью воина и ляжет в могилу моряка, однако же привязанность к капитану преодолела в нем привязанность к фрегату: как скоро командира его уволили в чистую, и он бросил службу, попросился в отставку и получил небольшую пенсию.

Таким образом, двое старых друзей — в отставке различие чинов между ними уже не существовало — вдруг перенеслись в жизнь, к которой никогда не готовились и которая заранее пугала их своим однообразием; но делать было нечего. Сэр Эдвард вспомнил, что где-то, за несколько миль от Лондона, должно быть у него поместье, отцовское наследство, а в городе Дерби — управляющий, которого он знал только потому, что иногда, получив награждение или свою часть приза и не зная, куда девать эти деньги, пересылал их к нему. Он написал к управителю, чтобы тот приехал в Лондон и привез отчет о состоянии имения, который ему в первый раз в жизни понадобился.

По этому приглашению мистер Сандерс приехал в Лондон и привез приходо-расходную книгу, куда с величайшею аккуратностью были внесены доходы и издержки по Виллиамс-Гаузу за тридцать два года, то есть со времени смерти моего дедушки, который построил этот замок и дал ему свое имя. Тут же были отмечены все суммы, присланные нынешним владельцем и показано употребление их: они большею частью были обращаемы на округление и улучшение поместья, которое благодаря стараниям Сандерса находилось в самом цветущем состоянии. По расчету оказалось, что у батюшки, к великому его удивлению, две тысячи фунтов стерлингов доходу, что вместе с пенсией составляло от шестидесяти до семидесяти тысяч франков в год. Сэру Эдварду случайно попался честный управитель!

Хотя почтенный контр-адмирал был большой философ и по природе, и по воспитанию, однако же такая вещь очень его порадовала. Конечно, он охотно бы отдал все это богатство за свою правую ногу, и особенно за то, чтобы снова вступить в службу, но уж если надобно было жить в отставке, то лучше иметь порядочный доход, чем одну пенсию. Он покорился судьбе и объявил Сандерсу, что намерен жить в отцовском замке. Управитель тотчас отправился вперед, чтобы приготовить все к приезду владельца.

Сэр Эдвард и Том закупали целую неделю все морские книги, какие только могли найти, от «Приключений Гулливера» до «Путешествия капитана Кука». К этим морским увеселениям сэр Эдвард прибавил огромный глобус, циркуль, квадрант, компас, дневную и ночную зрительные трубки; этим они нагрозили дорожную карету, сели и пустились в самое дальнее путешествие, какое только им случалось совершать по сухому пути.

Страна, по которой они проезжали, была так прекрасна, что сэр Эдвард не налюбовался бы на нее, если б что-нибудь, кроме моря, могло ему нравиться. Англия — огромный сад, усеянный рощами и полями, орошаемый извилистыми реками; вся страна исчерчена дорогами, а дороги усыпаны песком, как садовые аллеи, и обставлены тополями, которые нагибаются, как бы приветствуя путешественника. Но как ни прекрасно было это зрелище, а оно, по мнению батюшки, далеко отставало от горизонта, всегда одинакового и всегда нового, на котором волны смешиваются с облаками, и небо сливается с морем. Изумруды океана казались ему несравненно великолепнее зелени лугов; тополя совсем не такими гибкими, как мачты под парусами; а ровные, гладкие дороги уж, конечно, не могут идти в сравнение с палубой и рангоутом «Юноны». Таким образом, старинная земля бриттов не прельстила старика контр-адмирала, и он даже ни разу не похвалил видов по дороге, хотя она шла по прекраснейшим во всей Англии графствам. Наконец, въехав на одно возвышение, он увидел перед собою все свое поместье.

Местоположение замка было чрезвычайно живописно: речка, вытекающая из гор между Манчестером и Шеффилдом, извиваясь между тучными пажитями, разливается озером около мили в окружности, а потом опять продолжает свое течение, омывает дома Дерби и, наконец, впадает в Тренту. Вся эта картина, которой я не



видал уже лет двадцать, но помню все ее подробности, красовалась свежую, веселую зеленью, словно природа только вчера ожила. Вся она дышала глубокою тишиною, безмятежным блаженством, а по горизонту тянулась красивая цепь гор, которая начинается в Южном Валлисе, проходит через всю Англию и примыкает к горам Чевиотским. Что касается замка, то он построен был во времена претендента, великолепно меблирован по тогдашней моде, и хотя лет уже двадцать пять или тридцать никто в нем не жил, однако мистер Сандерс содержал покой в таком порядке, что ни позолота на мебели, ни краска на обоях нисколько не полиняла.

Таким образом, этот замок был бы весьма приятным убежищем для человека, который, наскучив светом, добровольно бы там поселился; но на сэра Эдварда это произвело совсем другое впечатление. Тихая и прекрасная природа казалась ему очень и очень однообразною в сравнении с непрерывным волнением океана, с его почти беспредельными горизонтами, островами в целые материки, материками, составляющими целые миры. Грустно похаживал он по этим большим комнатам, постукивая о паркет деревянной своей ногою и останавливаясь у каждого окна, чтобы познакомиться со всеми сторонами своего поместья. За ним шел Том. Старый матрос скрывал под принужденной улыбкой презрения удивление, которое возбуждали в нем все эти богатства, каких он от роду не видывал. Окончив смотр, который производился безмолвно, сэр Эдвард обернулся к своему спутнику, оперся обеими руками на костыль и сказал:

— Ну, что, Том, как тебе здесь нравится?

— Ничего, ваше превосходительство, между палубами-таки чистоенько; теперь надо бы посмотреть, каково-то в трюме.

— О, Сандерс, верно, позаботился и об этой важной части! Пожалуй, сходи и туда; я тебя подожду здесь.

— Да ведь вот дьявольщина, ваше превосходительство, что я не знаю, где люки-то.

— Если прикажете, я вас провожу, — сказал кто-то из другой комнаты.

— А ты кто? — спросил сэр Эдвард, обращившись.

— Я камердинер вашего превосходительства, — отвечал тот же голос.

— Ну, так являйся! Марш сюда!

По этой команде явился в дверях рослый лакей в ливрее, одетый просто, но со вкусом.

— Кто ж тебя определил ко мне? — продолжал сэр Эдвард.

— Мистер Сандерс.

— Ага! А что ж ты умеешь делать?

— Брить, стричь, одевать, чистить оружие, одним словом, все, что нужно знать слуге моряка.

— Где ж ты всему этому научился?

— Я служил у капитана Нельсона, ваше превосходительство.

— Так ты бывал на кораблях?

— Был три года на «Борее».

— Да где ж это Сандерс отрыл тебя?

— Когда «Борея» расснастили, капитан Нельсон уехал на жительство в Норфолк, а я возвратился в Неттингам и женился.

— А где ж твоя жена?

— Она тоже нанята к вашему превосходительству.

— Чем же она заведует?

— Прачечною и скотным двором.

— А у кого на руках винный подвал?

— Ни у кого еще, ваше превосходительство; это место так важно, что мистер Сандерс не посмел никого определить без вашего согласия.

— Да, Сандерс — человек бесценный! Слышишь, Том, при винном подвале еще никого нет?

— Однако ж, я думаю, ведь он не пустой? — сказал Том с некоторым беспокойством.

— Не угодно ли, сударь, посмотреть? — спросил камердинер.

— Прикажете, ваше превосходительство?

Сэр Эдвард сделал знак головою, что согласен на эту откомандировку, и Том отправился вместе с камердинером.

## II

Опасения его были напрасны. Эта часть замка оказалась в таком же порядке, как и все прочие. Том был знаток в этом деле и с первого взгляда заметил, что тут распоряжалась рука знающая: бутылки лежали или стояли смотря по климату и летам вина; но, лежащие и

стоячие, все были полны; ярлыки, прибитые к палочкам, воткнутым в землю, показывали, какое где вино и какого года, и таким образом служили знаменами этим отдельным корпусам, расположение которых делало большую честь стратегическим познаниям почтенного Сандерса. Том изъясил полное свое удовольствие, а заметив, что подле каждого отделения стоит бутылка в виде образчика, захватил этих передовых часовых и явился с ними к командиру.

Батюшка сидел у окна комнаты, которую назначил для себя, и из которой был вид на озеро. Этот бедный бассейн, который сиял как зеркало в своих зеленых рамках, возбудил в душе сэра Эдварда все старые воспоминания и сожаления, но услышав, что Том вошел, он, как-бы стыдясь, что его застали в задумчивости и со слезами на глазах, тряхнул головою и кашлянул: это он обыкновенно делал, когда преодолевал свои мысли и, так сказать, приказывал им принять другое направление. Том тотчас понял, какие чувства волнуют грудь его командира; но сэр Эдвард обратился к нему и, приняв веселый вид, которому старый моряк, впрочем, не поверил, сказал:

— Ну, что, Том, видно, компания была не дурна. Ты, кажется, набрал пленных?

— Надобно сказать, ваше превосходительство, что земля, которую я обозревал, прекрасно населена, и вам во всю жизнь будет что пить за будущую славу Англии.

Сэр Эдвард машинально протянул к нему руку, проглотил без всякого внимания стакан бордоского вина, которого не стыдно было бы подать королю Георгу, просвистал какую-то песню; потом вдруг встал, обошел всю комнату, поглядывая на картины, которыми она была украшена, и, ничего не видя, снова подошел к окну.

— Впрочем, Том, я думаю, что нам здесь будет так хорошо, как только может быть на сухом пути.

— Не знаю как вы, ваше превосходительство, — сказал Том, стараясь утешить командира своею преданностью судьбе, — а я через неделю, я думаю, совсем забуду о нашей «Юноне».

— Да! «Юнона» был прекрасный фрегат, Том, — сказал сэр Эдвард со вздохом, — легкий на ходу, послушный рулю, стойкий в бою. Но полно об этом, не станем говорить о нем. Или нет, лучше всегда станем вспоминать наш прекрасный фрегат. Он на моих глазах построен, от кили до брам-стеньги. «Юнона» была моя

милая дочь... Теперь она как будто вышла замуж и покинула старика отца. Дай Бог, чтобы муж хорошо с нею обходился; если б с нею случилось какое-нибудь несчастье, я бы всю жизнь об этом жалел. Пойдем пройдемся, Том.

И старик, не стараясь уже скрывать чувств своих, взял Тома под руку и пошел по лестнице, ведущей в сад.

Это был один из тех хорошеньких парков, которые все другие народы переняли у англичан: тут были и цветники, и купы деревьев, и тенистые аллеи. Местами стояли со вкусом построенные домики. У дверей одного из них сидел Сандерс. Сэр Эдвард пошел прямо к нему; управитель поспешил навстречу.

— Очень рад, что вас вижу! — вскричал сэр Эдвард, когда Сандерс не успел еще и подойти. — Мне хотелось поблагодарить вас; вы, право, человек редкий. (Сандерс почтительно поклонился). И если б я знал, где отыскать вас, то давно бы к вам пришел.

— А я очень рад, ваше превосходительство, что вам вздумалось пойти в эту сторону, — сказал Сандерс, видимо, обрадованный похвалами своего господина. — Вот дом, в котором я живу в ожидании ваших приказаний.

— Разве ваша квартира не хороша?

— Напротив, я уже сорок лет живу здесь. Батюшка мой тут умер, а я здесь же родился; но, может быть, вашему превосходительству угодно будет дать этому дому другое назначение?

— Покажите-ка мне ваш домик, — сказал сэр Эдвард.

Сандерс повел батюшку и Тома в свой коттедж. Этот домик состоял из небольшой кухни, столовой, спальни и кабинета, где в величайшем порядке были разложены все касающиеся имения бумаги. Везде была чистота, достойная голландского дома.

— Сколько вы получаете жалованья? — спросил сэр Эдвард.

— Сто гиней, ваше превосходительство; это жалованье положено было отцу моему самым покойным вашим батюшкою; отец мой умер, и хотя мне было тогда только двадцать пять лет, однако ж я получил и место его, и жалованье. Впрочем, если вам кажется, что это слишком много, то я готов брать и меньше.

— Напротив, — сказал сэр Эдвард, — я назначаю вам вдвое против этого, и выберите себе в замке квартиру, какую вам угодно.

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительст-

во, — отвечал Сандерс, кланяясь. — Но позвольте вам доложить, что такая значительная прибавка совсем не нужна. Я не проживаю и половины того, что получаю; а я не женат: копить не для кого. Что касается другой квартиры... — прибавил он, запинаясь.

— Что ж?.. — спросил сэр Эдвард, видя, что он не оканчивает.

— В этом отношении, как и во всяком другом, я готов исполнять вашу волю и перейду на другую квартиру, если вы прикажете, но...

— Но что же такое? Говорите.

— Но я привык к этому коттеджу, а он ко мне. Я знаю здесь, какая вещь где лежит; мне стоит только протянуть руку, чтобы взять что мне нужно. Я здесь провел всю свою молодость; мебель стоит на тех самых местах, где я ее всегда видел; вот у этого окна сидела всегда моя матушка в своем большом кресле; это ружье повесил над камином мой покойный батюшка; вот постель, на которой он отдал Богу душу. Я уверен, что дух его и теперь еще здесь витает. Извините, ваше превосходительство, но мне показалось бы святотатством изменить что-нибудь вокруг себя. Если вы прикажете, дело другое.

— Избави Бог! Я уважаю воспоминания, мой почтеннейший, и не хочу лишать вас привычного жилья. Что касается вашего жалованья, то мы его удвоим, как я уже говорил, а вы посоветуйтесь с пастором, нет ли какого-нибудь бедного семейства, которому бы вы могли помогать. В котором часу вы обедаете, мистер Сандерс?

— В двенадцать часов, ваше превосходительство.

— Я тоже, и однажды навсегда прошу вас ко мне обедать, когда вам угодно. Не играете ли вы в ломбер?

— Случается, ваше превосходительство; когда у господина Робинсона есть время, я хожу к нему, или он приходит ко мне, и мы, проработав целый день, позволяем себе провести вечер за картами.

— Так вот как мы сделаем: в те дни, когда он не приходит к вам, милости просим ко мне: я за себя-таки постою, а когда он будет у вас, приводите и его с собой, если ему угодно, и мы вместо ломбера станем играть в вист.

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство, за честь, которую вам угодно было мне оказать.

— Я всегда буду рад вам. Так это дело решенное?

Сандерс поклонился чуть не до земли. Сэр Эдвард взял Тома под руку и пошел дальше.



На некотором расстоянии от коттеджа управителя был домик смотрителя охоты, который также заведовал и рыбной ловлей. У него были жена и дети: благословенное семейство!

Счастье как будто приютилось в этом безвестном уголке. Весь маленький виллиамс-гаузский мир сначала было боялся, что сэр Эдвард, приехав в свое поместье, все в нем переиначит, но теперь совершенно успокоился. Дело в том, что батюшка мой известен был во флоте своею храбростью и взыскательностью по службе, а в частной жизни я не видывал человека добрее и снисходительнее его.

Он воротился в замок несколько утомленный, потому что еще ни разу не ходил так много с тех пор, как был без ноги, но между тем довольный, как только мог быть при вечном сожалении, которое питал в своем сердце. Назначение его не изменилось: он по-прежнему располагал судьбою многих людей и только вместо командирской власти получил патриархальную; и он решился преобразовать все в доме на корабельный манер. Это было средство не изменить своих привычек. Батюшка сообщил о своем решении Тому и камердинеру Джорджу, которому не трудно было с этим согласиться, потому что он не забыл еще дисциплины на корабле «Борее»; повар также получил надлежащее приказание; и на другой же день все в доме устроено было по порядку, существовавшему на фрегате «Юнона».

На рассвете колокол, вместо барабана, будил всех живущих в доме; до начала работы определено было полчаса на завтрак: это всегда делается на военных кораблях, и сэр Эдвард никогда не позволял, чтобы матросы с пустыми желудками подвергались действию сырого утреннего воздуха. После завтрака люди, вместо того чтобы мыть палубу, принимались натирать полы в комнатах; от этого переходили к чистке всего медного, что также всегда делается на кораблях; содержание в порядке замков, ручек у каминных лопаток и щипчиков и прочее требовало соблюдения такой же строгой дисциплины, как на «Юноне». В девять часов сэр Эдвард обходил весь дом и делал смотр; за ним шли все слуги: в случае неисполнения своей обязанности они подвергались наказаниям, употребляемым на военных судах. В полдень все работы прерывались и начинался обед; с часу до четырех сэр Эдвард гулял в парке, как прежде, бывало, прохаживался по рангоуту, а люди между тем занимались,

в случае нужды, починкою стекол, мебели, белья; в пять часов звонили к ужину. Наконец, в восемь часов половина людей, как на кораблях, шла спать, остальные, то есть вахтенные, отправляли службу.

Эта жизнь была только пародией той, к которой сэр Эдвард привык: в ней заключалась вся монотонность жизни на море, но не было приключений, которые составляют всю ее прелесть и поэзию. Старому моряку недоставало качки, как новорожденному движения, к которому он привык в утробе матери. Ему недоставало бурь, при которых человек борется с природою, недоставало тех страшных игрищ, на которых моряк защищает свое отечество, слава венчает победителя, побежденный постигает стыд. В сравнении с этим всякое другое занятие казалось ему мелочным и ничтожным.

Между тем батюшка скрывал свои чувства от окружающих с силою характера, приданною ему жизнью, в которой он всегда должен был подавать собою пример. Один только Том, у которого те же самые чувства, хотя и не в такой степени, порождали те же сожаления, с беспокойством наблюдал за успехами меланхолии, которая только по временам выражалась горестным взглядом, брошенным украдкою на деревянную ногу, и полузаглушенным вздохом; после чего сэр Эдвард начинал прохаживаться взад и вперед и насвистывать песню, как бывало во время бури или сражения. Эта горесть сильных характеров, которая не изливается, а питается молчанием, есть самая ужасная и опасная: она не процеживается по капле слезами, а накапливается в глубине груди, и опустошения, произведенные ею, видны только тогда, когда грудь разбилась.

Однажды вечером сэр Эдвард сказал Тому, что чувствует себя очень нездоровым, а на другой день, вставая с постели, он упал в обморок.

### III

Весь замок всполошился; управитель и пастор, которые еще накануне играли с сэром Эдвардом в вист, не понимали этой внезапной болезни и потому считали ее пустою, но Том отвел их в сторону и растолковал, в чем дело. Решено было послать за доктором, но чтобы не потревожить больного общим беспокойством, уладили

дело так, чтобы доктор приехал как будто случайно, обедать.

День прошел как обыкновенно. Благодаря своей сильной воле батюшка преодолел телесную слабость, но почти ничего не ел, на прогулке принужден был отдыхать после каждых двадцати шагов, а вечером играл так рассеянно, что несколько раз вводил своего партнера Робинсона в проигрыш.

На другой день приехал доктор. Это сначала немножко рассеяло батюшку, но потом он снова впал в прежнюю задумчивость. Доктор ясно видел, что это сплин, страшная болезнь сердца и ума, против которой медицина еще не знает никакого верного лекарства. Он, однако ж, предписал разные возбуждающие средства, советовал больному есть побольше ростбифу, пить вина и искать развлечения.

Первую часть рецепта исполнить было немудрено: ростбиф и бордоское вино везде есть; но развлечение в Виллиамс-Гаузе отыскать было трудно. Том истощил для этого все свое воображение: чтение, прогулка, вист, — больше ничего не было; как ни переворачивал эти слова, он все переменял только место и время, а ничего не выдумал такого, что бы вывело его командира из задумчивости, которая все более и более усиливалась. Он предложил было ему отчаянное средство, съездить в Лондон, но сэр Эдвард объявил, что не в состоянии совершить такого дальнего путешествия, и что если уж ему не суждено умереть на корабельной койке, то все же лучше перейти на тот свет с постели, чем из кареты.

Всего более беспокоило Тома то, что батюшка уже не находил удовольствия в обществе своих приятелей, а, напротив, избегал их. Даже сам Том был ему теперь в тягость. Он, правда, еще гулял, но всегда один, а вечером, вместо того чтобы играть в карты, уходил в свою комнату и никого не пускал к себе. Что касается еды и чтения, то он ел не больше того, сколько нужно, чтобы не умереть, и вовсе не читал. Ему велено было пить разные травяные настои, но однажды он бросил в лицо Джорджу чашку с этим питьем, которую усердный камердинер уговаривал его проглотить; с тех пор никто уже не смел подавать ему другого настоя, кроме чая, в который Том подливал немножко рому.

Между тем неисполнение докторских предписаний усиливало болезнь сэра Эдварда, и ему всякий день

становилось хуже. Он сам на себя не походил; всегда сидел один, задумавшись, и сердился всякий раз, когда его кто-нибудь заставлял говорить. В парке была одна темная аллея, которая оканчивалась тенистою беседкою; больной ходил туда всякий день, сидел по несколько часов молча, и никто не смел его беспокоить. Верный Том и почтенный Сандерс беспрестанно проходили мимо него так, что он непременно должен был их видеть; но и это напрасно: он притворялся, будто не замечает их, для того чтобы не нужно было с ними говорить. Всего хуже было то, что он все чаще искал уединения и все дольше оставался один. К тому же приближалась зима, а известно, что туманные дни для несчастных, пораженных сплином, то же, что падение листьев для чахоточных. Все заставляло думать, что сэр Эдвард не переживет этого времени, если только не случится какого-нибудь чуда. Это чудо совершил один из тех земных ангелов, которые посылаются в мир, чтобы утешать несчастных.

Однажды, когда сэр Эдвард по обыкновению сидел в своей беседке, погружившись в смертельную задумчивость, он услышал, что сухие листья в аллее хрустят под чьими-то ногами. Он поднял голову и увидел, что к нему идет женщина; по белому платью и легкой походке ее можно было принять, в этой темной аллее, за привидение; больной пристально смотрел на ту, которая осмеливалась его потревожить, и молча ждал ее.

Незнакомке на вид было лет двадцать пять, женщина, цветущая уже не блестящею прелестью юности, которая так жива и так скоро проходит, особенно в Англии, но, если можно так сказать, второю красотой, которая составляется из угасающей свежести и начинающейся полноты. У ней были голубые глаза, какие нарисовал бы живописец, если б хотел изобразить благотворительность; длинные черные волосы, от природы волнистые, вырывались из-под маленькой шляпки, которая, казалось, не могла вместить их; в лице заметны были чистые, спокойные черты, которыми отличаются женщины в северной части Великобритании; наконец, одежда ее, простая и скромная, но сделанная со вкусом, составляла нечто среднее между тогдашним нарядом и пуританским костюмом XVII века.

Она пришла просить сэра Эдварда, который славился во всем околотке своей добротой, за одно несчастное семейство. Отец долго был болен и накануне этого дня

умер, оставив жену и четверых детей в крайней бедности. Хозяин дома, в котором бедная вдова жила со своими сиротами, был в Италии, а управитель, строго соблюдая выгоды своего господина, требовал просроченной уплаты за квартиру и в противном случае грозил выгнать сырых из дому. Эта угроза была тем ужаснее, что зима уже приближалась; несчастные полагали всю свою надежду на великодушного владельца Виллиамс-Гауза, и незнакомка пришла просить за них.

Она рассказала все это таким трогательным голосом, что слезы навернулись на глаза старого моряка; он опустил руку в карман, вытащил кошелек, полный золота, отдал его хорошенькой посланнице, не сказав ни слова, потому что адмирал, как Виргилий у Данте, от долговременного молчания разучился говорить. Она, со своей стороны, в первую минуту живой признательности, которой удержать была не в силах, схватила руку сэра Эдварда, поцеловала ее и скрылась, торопясь к несчастным, которые и не воображали, что Бог пошлет им такую скорую и обильную помощь.

Оставшись один, сэр Эдвард стал думать, что все это привиделось ему во сне. Он посмотрел вокруг себя; белое видение исчезло, и если б приятное ощущение на руке и недостаток кошелька в кармане не доказывали ему, что это действительность, он бы твердо был уверен, что грезил в лихорадке. В это самое время Сандерс случайно проходил по аллее, и сэр Эдвард, против своего обыкновения, кликнул его. Сандерс в удивлении остановился. Батюшка сделал ему знак рукою. Сандерс, едва веря глазам своим, подошел, и сэр Эдвард спросил его, кто была эта женщина.

— Анна-Мери, — отвечал управитель таким голосом, как будто всякий должен знать, чье это имя.

— Да кто ж такова эта Анна-Мери?

— Как? Неужели ваше превосходительство ее не знает? — спросил Сандерс.

— Да, конечно, не знаю, когда спрашиваю! — вскричал сэр Эдвард с нетерпением, которое было уже очень хорошим знаком.

— Кто она такова? Это благодетельница бедных, ангел-утешитель страждущих и огорченных. Она, верно, просила вас о каком-нибудь добром деле?

— Да, она, кажется, говорила мне о каких-то несчастных, которых надобно спасти от нищеты.



— Я так и знал; это всегдашние ее занятия. К богатым водит ее милосердие, к бедным — благотворительность.

— Да кто ж эта женщина?

— С вашего позволения, она еще девушка, добрая и прекрасная девушка.

— Да какая мне надобность, женщина она или девушка! Я вас спрашиваю, кто она такова.

— Никто этого наверное не знает, ваше превосходительство, хотя догадок много. Лет тридцать назад... да!.. точно, это было в 64 или 65 году, отец и мать ее поселились в Дербишейре; они приехали из Франции, куда, как говорят, удалились вместе с претендентом, отчего и все имение их конфисковано и им велено не подъезжать к Лондону ближе шестидесяти миль. Мать была тогда беременна, и через четыре месяца после того, как они сюда приехали, родилась Анна-Мери. Пятнадцати лет она лишилась отца и матери и осталась одна-одинешенька с сорока фунтами дохода. Этого было слишком мало, чтобы выйти замуж за барина, и слишком много, чтобы выйти за мужика. Притом она, вероятно, из хорошего дома и получила прекрасное воспитание: так ей и нельзя было выйти за простого человека. Она осталась девушкой и решила посвятить всю жизнь свою благотворительности. С тех пор Анна-Мери с величайшей ревностью исполняет принятую на себя обязанность. Она немножко знает медицину и пользует всех бедных больных; а где уж лекарства не помогают, тут много поможет ее молитва, потому что здесь все считают ее чем-то неземным. Поэтому немудрено, что она осмелилась беспокоить ваше превосходительство, чего никто бы из нас не смел сделать. У ней свои привилегии и, между прочим, та, что куда бы она ни пришла, люди и не подумают остановить ее.

— И хорошо делают, — сказал сэр Эдвард, вставая, — потому что она почтенная девушка. Дайте мне руку, Сандерс, кажется, пора обедать.

Целый месяц уже батюшка не вспоминал об обеде. Он пошел в замок, и так как Сандерс в то время, когда батюшка его остановил, тоже спешил домой обедать, то он удержал его у себя. Честный управитель чрезвычайно рад был, что сэру Эдварду опять захотелось быть с людьми: видя, что он расположен говорить, Сандерс сообщил ему о некоторых делах по имению, которые давно уже принужден был откладывать. Но, видно, охота говорить уже прошла у больного, или он считал эти вещи

недостойными своего внимания: он не отвечал ни слова и погрузился в обыкновенную свою задумчивость, из которой потом целый день ничто уже не могло вывести его.

#### IV

Ночь прошла, как и бывало прежде: Том не замечал никакой перемены в состоянии больного. На другой день погода была мрачная и сырая. Том, боясь вредного действия осенних туманов, старался уговорить сэра Эдварда не ходить гулять, но больной рассердился и, не слушая никаких возражений, пошел к своей беседке. Он сидел уже там с четверть часа, как вдруг в аллее появилась Анна-Мери и с нею женщина и трое детей: вдова и сироты, которых сэр Эдвард избавил от нищеты, пришли благодарить его.

Увидев Анну-Мери, сэр Эдвард пошел было к ней навстречу; но или от слабости, или потому, что был взволнован, он сделал несколько шагов и принужден был опереться о дерево. Заметив, что он шатается, Анна подбежала, чтобы поддержать его, а вдова и дети бросились между тем к его ногам, хватили его руки, покрывали их поцелуями и слезами. Это простое искреннее выражение беспредельной признательности до того его растрогало, что он заплакал. Батюшка хотел было удержать свои слезы, считая их постыдными для моряка, но ему показалось, что эти слезы облегчают тяжесть, которая так долго уже давила ему грудь, и он не мог противиться сердцу, которое под грубой корою сохранило всю доброту свою: дал волю чувствительности, схватил на руки малюток, которые цеплялись за его колена, всех их перецеловал и обещал матери, что и вперед их не оставит.

В это время глаза Анны-Мери сияли небесною радостью: все это счастье было ее делом, и надобно думать, что она подобным зрелищем, часто возобновлявшимся, обязана была кроткою ясностью своего лица. Между тем Том пришел за барином, решившись побраниться с ним, если он не согласится идти домой. Увидев вокруг сэра Эдварда нескольких человек, он еще более укрепился в своем намерении, надеясь, что представление его будет поддержано. Он начал длинную речь, в которой, то журуя, то умоляя, старался доказать, что в сырую погоду

больному на воздухе оставаться не годится; но сэр Эдвард слушал его с такою рассеянностью, что все красноречие бедного Тома было, очевидно, растрчено по-пусту. Слова оратора не произвели впечатления на его господина, но зато имели влияние на Анну-Мери: она поняла, что сэр Эдвард не только нездоров, как она сначала полагала, но и опасно болен; видя, что ему точно вредно дышать таким сырым воздухом, она подошла и сказала своим приятным голосом:

— Вы слышали, что он говорит?

— Что ж он говорит? — спросил сэр Эдвард, вздрогнув. Том показал было вид, что снова начнет речь свою, но мисс Анна сделала ему знак, чтобы он не трудился.

— Он говорит, — продолжала она, — что в такую холодную и дождливую погоду вам вредно оставаться на воздухе, и что надобно войти в комнаты.

— А вы сведете меня? — спросил сэр Эдвард.

— Очень рада, если вам угодно, — отвечала, улыбаясь, мисс Анна.

Она подала ему руку; сэр Эдвард оперся на нее и пошел в замок, к великому удивлению Тома, который не ожидал от него такого послушания.

У лестницы Анна-Мери остановилась, еще раз поблагодарила сэра Эдварда, очень мило поклонилась ему и ушла со вдовой и сиротами.

Сэр Эдвард стоял на месте, не трогаясь, и следил за нею глазами; потом, когда она скрылась за углом, он, послушный как ребенок, позволил Тому свести себя в комнату.

Вечером доктор, пастор и Сандерс пришли играть в вист; сэр Эдвард играл сначала довольно внимательно; но покуда Сандерс тасовал карты, доктор спросил:

— Говорят, ваше превосходительство, что у вас сегодня была Анна-Мери?

— А вы тоже ее знаете? — сказал сэр Эдвард.

— Как же не знать! Она из нашей братьи.

— Как так?

— Да еще очень опасная соперница: она своими домашними лекарствами и ласковыми словами спасает больше больных, чем я своею наукою. Смотрите, ваше превосходительство, не променяйте меня на нее: она, пожалуй, вас вылечит.

— А своим примером скольких она приводит на путь спасения! — сказал пастор. — Я уверен, ваше превосходитель-

тельство, что хоть вы и закоренелый грешник, однако ж, она в состоянии и вас исправить.

С этой минуты, сколько Сандерс ни тасовал и ни сдавал карты, о висте и речи не было: все толковали о мисс Анне-Мери.

В этот вечер сэр Эдвард не только говорил, но и слушал так, как уже давно не бывало; состояние его заметно улучшилось. Глубокая задумчивость, бесчувственность, из которой, по-видимому, ничто не могло извлечь его, совершенно исчезли, пока говорили об Анне-Мери. Потом мистер Робинсон переменял разговор и начал рассказывать политические новости во Франции, которые прочел утром в журнале: хотя эти новости были очень важны, однако ж сэр Эдвард встал и ушел в свою комнату, а доктор и пастор просидели еще с час, рассуждая о том, как бы остановить развитие революции во Франции; но их ученые теории, сколько известно, не принесли большой пользы.

Ночь больной провел хорошо и поутру был не задумчив, а чем-то занят; он как будто кого-то ждал и оборачивался при малейшем шуме. Наконец, когда подали чай, Джордж доложил о приходе Анны-Мери; она спешила узнать о здоровье сэра Эдварда и отдать ему отчет в употреблении денег.

По тому, как батюшка принял свою прекрасную посетительницу, Том ясно увидел, что ее-то он и ждал, и вчерашняя его покорность объяснилась почтительным поклоном, которым он ее приветствовал. Спросив о здоровье сэра Эдварда, которое, как сам он уверял, в последние два дня очень поправилось, мисс Анна начала говорить о делах вдовы. В кошельке, который она получила, было тридцать гиней: десять из них она отдала за квартиру; на пять купила матери и детям разных необходимых вещей, в которых они уже давно нуждались; две отдала за ученье старшего мальчика в течение года столярному мастеру, который обязался содержать его; две другие гиней в школу, где девочки будут учиться грамоте; что касается младшего ребенка, мальчика, то он был еще слишком мал и не мог быть взят от матери. Вдове оставалось одиннадцать гиней, с которыми она, конечно, может прожить несколько времени, но потом останется опять без куска хлеба, если не найдет места. А в замке сэра Эдварда, как нарочно, было вакантное место: жене Джорджа нужна была помощница. Батюшка предложил

взять мистрисс Денисон к себе, и решено было, что она на другой день переберется в замок со своим маленьким Джеком.

Замечая, что общество ее приятно больному, мисс Анна просидела два часа, и эти два часа пролетели для него как минута; потом она встала и простилась с адмиралом; сэр Эдвард не посмел ее удерживать, хотя отдал бы все на свете, чтобы прекрасная посетительница не уходила так скоро. В другой комнате ждал ее Том, чтобы попросить рецепта. Том справлялся о ней в деревне, наслышался об ее познаниях в медицине и, судя по тому, что видел в эти три дня, твердо был убежден, что мисс Анна в состоянии вылечить его отца-командира, если только захочет, хотя за несколько дней перед тем он думал, что болезнь неизлечима. Анна-Мери видела, что сэр Эдвард болен опасно, потому что хронические болезни, подобные той, которою он страдал, редко проходят благополучно и без сильного и продолжительного перелома почти всегда ведут к гибельному концу. Доктор и пастор рассказали мисс Анне, что ее посещение имело сильное влияние на больного и что он слушал со вниманием, покуда они говорили о ней. Анна-Мери этому не удивилась, потому что, как доктор говорил накануне, она не раз вылечивала больных одним своим присутствием, особенно в этого рода болезнях, в которых единственное лекарство есть развлечение. Притом она понимала, какое влияние может произвести появление женщины. Поэтому-то она и пришла в другой раз: просидев два часа, она сама убедилась, что общество ее полезно для больного. И Анна-Мери рада была приходить, если этим можно сделать добро. Она советовала Тому употреблять то же самое, что предписывал доктор, но Том возразил, что барин его никак не станет пить травяного настоя, и Анна-Мери обещала прийти на другой день опять, чтобы уговорить его.

В этот день капитан уже сам стал рассказывать всем и каждому, что у него была гостя. Узнав, что мистрисс Денисон перебралась в замок, он тотчас послал за нею под предлогом, будто хотел дать ей наставления, а между тем для того, чтобы она поговорила об Анне-Мери. За этим дело не стало. Мистрисс Денисон вообще была охотница поговорить, а тут признательность придала ей еще большую словоохотливость: она рассыпалась в похвалах насчет *матушки*: в деревне все ее так называли. Эта



болтовня продолжалась до самого обеда.

Выйдя в столовую, сэр Эдвард нашел там доктора. Действие, которого врач ожидал, было произведено: физиономия больного сделалась гораздо веселее прежнего. Видя, что он начинает поправляться, доктор предложил ему после обеда ехать вместе гулять.

При первых словах доктора сэр Эдвард нахмурил было брови; но услышав, что ему предлагают ехать в ту деревню, где живет Анна-Мери, он тотчас велел сказать кучеру, что поедет со двора, и потом беспрестанно торопил доктора; а тот, бедняк, любил пообедать спокойно и потому дал себе слово впредь прописывать такие рецепты не прежде как за десертом.

Деревня отстояла от замка мили на четыре; лошади пробежали это пространство в двадцать минут, а сэр Эдвард все сердился, что они с места не идут. Наконец приехали и остановились у одного дома, где у доктора был больной. Как нарочно, этот дом был прямо против того, где жила Анна-Мери, и доктор, выходя из кареты, показал его сэру Эдварду.

Это был хорошенький английский домик, которому зеленые ставни и красная черепица на кровле придавали чистенький и веселенький вид. Покуда доктор толковал с больным, сэр Эдвард не спускал глаз с этого домика, все думал, не выйдет ли мисс Анна; но ожидание это не исполнилось, и доктор, выходя, застал его за этим занятием.

Взойдя на первую подножку, доктор спросил сэра Эдварда, не хочет ли он воспользоваться этим случаем, чтобы нанести мисс Анне визит? Батюшка с радостью согласился, и они отправились. Впоследствии он признавался, что, покуда они переходили через улицу, сердце у него билось так сильно, как не билось, когда, определившись в морскую службу, он в первый раз услышал приказ готовиться к битве, то есть команду: «Койки долой!»

Доктор постучал у дверей, и им отворила старая гувернантка, которую родители мисс Анны привезли из Франции и которая ее воспитывала. Мисс Анны не было дома: ее позвали к ребенку, у которого была оспа, в хижину, за милю от деревни; но доктор был приятель с мадемуазель Вильвиель и с ее позволения предложил сэру Эдварду войти, чтобы осмотреть коттедж мисс Анны. Домик был прелестный: садик походил на корзину цветов, а комнаты убраны очень просто, но с большим вкусом. Маленькая ма-

стерская, из которой выходили все пейзажи (картины), развешенные по стенам, и кабинет, в котором находились открытое фортепиано и небольшая библиотека английских и французских книг, показывали, что хозяйка посвящает искусствам и чтению минуты, которые не заняты у нее благотворительностью. Этот домик принадлежал Анне-Мери и достался ей от родителей вместе с сорока фунтами стерлингов доходу, которые, как мы уже говорили, составляли все ее богатство. Доктор с удовольствием видел, с каким любопытством сэр Эдвард осматривает весь дом, от кухни и до чердака, за исключением только спальни, заветного места английских домов.

Мадемуазель Вильвиель, не понимая этой охоты осматривать чужой дом, догадалась, однако ж, что посетителям, и особенно сэру Эдварду, не худо было бы отдохнуть. Когда они пришли в гостиную, она попросила их сесть и отправилась готовить чай. Оставшись один с доктором, сэр Эдвард снова погрузился в безмолвие, хотя за минуту перед тем задавал мадемуазель Вильвиель множество вопросов об Анне-Мери. Но теперь это уже не беспокоило доктора: он ясно видел, что больной его мечтает, а не потому молчит, что ему тяжело говорить. Во время самой глубокой думы сэра Эдварда дверь, в которую вышла мадемуазель Вильвиель, отворилась, но явилась уже не старая гувернантка, а сама мисс Анна, держа в одной руке чайник, а в другой тарелку с тартинками; она только что воротилась и, узнав, что у нее неожиданные посетители, пришла сама их угощать.

Увидев хозяйку, сэр Эдвард с заметною радостью встал, чтобы подойти к ней. Поставив чайник и тарелку на столик, мисс Анна отвечала на приветствие батюшки французским поклоном и английским *very well*. Анна-Мери была прелестна в эту минуту; ходьба придала ей румянец, который является уже только по временам, когда свежесть молодости прошла. Притом она была немножко смущена тем, что нашла у себя неожиданных посетителей, и очень желала, чтобы это посещение было для них приятно. После этого немудрено, что сэр Эдвард разговорился с нею так, как давно уже с ним не бывало. Правда, эта горливость была не совсем сообразна с правилами светского обращения, и строгий наблюдатель приличий, вероятно, нашел бы, что в речах сэра Эдварда слишком много похвал. Но моряк умел говорить только то, что думал, а он был очень хорошего мнения о мисс

Анне. Однако, как ни занят был он, а все ж заметил, что на серебре у хозяйки герб с баронскою короною. Это польстило его аристократической гордости. Ему как-то странно показалось бы найти такую образованность в простой девушке.

Доктор принужден был напомнить сэру Эдварду, что они уже два часа тут. Он было не поверил, но, взглянув на часы, убедился в истинности слов доктора и почувствовал, что дольше оставаться никак нельзя. Он поневоле должен был распрощаться с мисс Анною и взял с нее слово прийти на другой день к нему чай пить. Анна обещала за себя, и за гувернантку, и сэр Эдвард сел в карету.

— Вам иногда приходят в голову прекрасные вещи, доктор, — сказал сэр Эдвард, возвратившись домой, — и я, право, не знаю, отчего бы нам не ездить каждый день кататься, а то ведь лошади застоятся.

## V

На другой день батюшка встал часом раньше обыкновенного и пошел ходить по всему замку, велел все мыть, чистить и убирать для дорогих гостей. Чистота в доме Анны-Мери так ему понравилась, что он решил поставить на ту же ногу и Виллиамс-Гауз. Кроме натиранья полов и чистки мебели он велел еще обмыть все картины. От этого произошло то, что предки контр-адмирала, которые уже давно были покрыты почетною пылью, как будто оживились и светлее посматривали на то, что происходило в замке, где уже давно ничего особенного не происходило. Что касается доктора, то он потирал себе с довольным видом руки, следуя за своим больным, который хлопотал и распоряжался как в лучшие годы своей жизни. В это время пришел Сандерс и, увидев все эти приготовления, спросил, не король ли Георг намерен посетить Дербишейр? Он чрезвычайно удивился, узнав, что все эти хлопоты оттого, что Анна-Мери пожалует чай пить. Что касается до Тома, то он был в отчаянии: теперь он уже не боялся сплина, но воображал, что барин его с ума сходит; один доктор, по-видимому, смело шел по этому, для всех других темному, пути и действовал по плану, заранее обдуманному. Почтенный Робинсон видел, что сэру Эдварду лучше, а ему больше ничего и не нужно

было: он привык полагаться на провидение и благодарить Бога за результаты.

В назначенный час Анна-Мери и мадемуазель Вильвиель пришли, не воображая, что их посещение наделало столько хлопот. Сэр Эдвард любезничал от всей души. Он был еще бледен и слаб, но проворен и развязен так, что никто бы не подумал, что это тот самый человек, который неделю назад едва ходил и не говорил ни слова. В то время как пили чай, погода, обыкновенно пасмурная в октябре в северных частях Англии, вдруг прояснилась, и луч солнца проглянул из-за облаков, как последняя улыбка неба. Доктор воспользовался этим и предложил погулять по парку, посетительницы охотно согласились. Эскулап подал руку мадемуазель Вильвиель, а сэр Эдвард мисс Анне. Он сначала затруднился, что ему говорить при этом свидании, некоторым образом, наедине; но мисс Анна была так проста и любезна, что смущение прошло при первых ее словах. Анна много читала, старый моряк много видел; таким людям есть о чем говорить. Батюшка рассказывал о своих кампаниях и путешествиях, как он два раза чуть было не погиб в полярных водах и как корабль его разбился в Индийском океане; потом началась история одиннадцати сражений, в которых он участвовал. Анна-Мери сначала слушала из учтивости, но потом с живейшим участием, потому что, как бы ни был неопытен рассказчик, в словах его всегда заметно могущественное красноречие, когда он говорит о великих делах, которые сам видел. Сэр Эдвард замолчал уже, а мисс Анна все еще слушала; прогулка их продолжалась два часа, и он несколько не устал, а она несколько не соскучилась. Наконец, мадемуазель Вильвиель, которую рассказы доктора, видно, не слишком занимали, напомнила своей подруге, что пора домой.

Сэр Эдвард не тотчас почувствовал отсутствие Анны-Мери; появление ее наполнило для него весь день. Но на следующее утро ему пришлось в голову, что мисс Анна, верно, нынче уже не будет, да и ему ехать в деревню нет никакого предлога; батюшке казалось, что время ужасно тянется, и он был печален и уныл так же, как накануне любезен и весел.

Дожив до сорока пяти лет, батюшка еще никогда не был влюблен. Он поступил на службу, можно сказать, еще ребенком и не знал других женщин, кроме своей матери. Душа его сначала разверзлась для великих зрелищ

природы; нежные инстинкты были подавлены суровыми привычками, и, проводя всю жизнь на море, он считал одну половину человеческого рода роскошью, которую Господь Бог рассеял по земле как блестящие цветки и поющих птичек. Надобно правду сказать, что те из цветков или птичек, которых ему случалось встречать, были совсем непривлекательны. Он знал только содержательниц трактиров в портах, где бывал, гвинейских и занзибарских негритянок, готтентоток на мысе Доброй Надежды и патагонок на Огненной Земле. Мысль, что род его вместе с ним пресечется, и в голову ему не приходила, а если и вспадала иногда на ум, то не очень его беспокоила. Само собою разумеется, что при таком равнодушии в прошедшем первая женщина, молоденькая и смазливая, которая столкнулась бы с сэром Эдвардом, непременно должна была сбить его с пути, а тем более женщина, замечательная во всех отношениях, какова была Анна-Мери. Что должно было случиться, то и случилось. Не ожидая атаки, батюшка не принимал оборонительного положения и потому был разбит на голову и взят в плен при первой стычке.

Сэр Эдвард провел день как ребенок, который потерял лучшую свою игрушку и с досады ни на что другое и смотреть не хочет. Он сердился на Тома, повернулся спиною к Сандерсу и развеселился немножко тогда только, когда доктор в обыкновенное время пришел играть в вист. Но моряку было уже не до виста; он оставил Робинсона и Сандерса на месте, а доктора увел к себе в кабинет под таким неловким предлогом, как будто ему было восемнадцать лет. Там он говорил обо всем, исключая только то, о чем бы ему хотелось говорить: спрашивал, каков его больной, и предлагал съездить на другой день вместе в деревню. К несчастью, больной уже выздоровел. Тут сэр Эдвард начал ссориться с почтенным эскулапом, который вылечивал всех, исключая только его одного; а ему в этот день было смертельно скучно. Он прибавил, что чувствует себя хуже, чем когда-нибудь, и непременно умрет, если проведет еще хоть три дня таких. Доктор советовал ему пить травяной настой, есть ростбиф и как можно более рассеиваться. Сэр Эдвард послал его к черту с травяным настоем, ростбифом и рассеянием и лег спать сердитее, чем когда-либо, и не посмев ни разу произнести имя Анны-Мери. Доктор ушел, потирая от радости руки. Престранный человек был этот доктор.

На другой день было еще хуже: никто не смел подступиться к сэру Эдварду. Одна мысль занимала ум его, одно желание гнездилося в сердце: желание увидеть Анну-Мери... Но как это сделать? В первый раз свел их случай; во второй ее привела благодарность; потом он сделал визит из приличия; она отплатила ему визитом, и кончено. Чтобы придумать предлог продолжать знакомство, надобно было воображение поизобретательнее, чем у сэра Эдварда. Оставалась одна надежда на вдов и сирот; но ведь не всякий же день умирает какой-нибудь семейный бедняк: да хоть бы какой-нибудь бедняк и умер, легко может быть, что Анна-Мери не решится беспокоить его еще раз. И напрасно: сэр Эдвард готов был в то время пристроить всех вдов и принять на свое содержание всех сирот в целом графстве.

Погода была дождливая, и потому сэру Эдварду никак нельзя было надеяться, чтобы Анна-Мери пришла в замок; он решил сам ехать со двора и велел заложить лошадей. Том спросил, не прикажет ли он и ему ехать; но батюшка отвечал: — Мне тебя не нужно. — А когда кучер, увидев, что барин уселся, спросил, куда он прикажет ехать, сэр Эдвард отвечал: — Куда хочешь. — Ему все равно было куда ехать, потому что он не смел сказать, куда бы ему хотелось.

Кучер подумал немножко, потом покрутил усы и пустил лошадей во весь галоп. Дождь так и лил, и кучеру очень хотелось приехать куда бы то ни было. Через четверть часа он остановился. Батюшка сидел или, лучше сказать, лежал в карете, и тут он высунулся из окна: карета стояла у дверей бывшего больного и, следовательно, прямо против дома Анна-Мери. Кучер вспомнил, что в последний раз, как они тут были, барин просидел два часа, и потому он надеялся, что и нынче так же будет, а между тем дождь пройдет. Батюшка дернул шнурок, надетый на руку кучера: тот соскочил с козел и отворил дверцы.

— Ну, что ж ты делаешь? — вскричал Эдвард.

— Приехали, сударь.

— Да куда ж мы приехали?

— В деревню, ваше превосходительство.

— Да зачем же в деревню?

— А разве ваше превосходительство не сюда изволили ехать?

Кучер нечаянно угадал. Сэру Эдварду именно туда хотелось, и потому он не нашелся что отвечать.

— Хорошо, — сказал он. — Высади меня.

Батюшка постучался у дверей бывшего больного, которого не знал даже по имени. Выздоровливающий сам отворил ему дверь.

Сэр Эдвард придумал, будто ему хотелось узнать, что делает больной, к которому он дня четыре назад завозил доктора.

Бывший больной, толстый пивовар, который прибежал к пособию медицины, потому что объелся на свадьбе своей дочери, был очень рад, что такой знатный барин вздумал посетить его, привел гостя в лучшую свою комнату, униженно просил его садиться и принес ему пробы всех сортов своего пива.

Батюшка уселся у окна так, чтобы видно было улицу, и налил себе стакан портеру, чтобы иметь право оставаться, пока не выпьет его. Пивовар, чтобы удовлетворить любопытство почтенного посетителя, принялся рассказывать все подробности своей болезни, которая произошла совсем не оттого, что он объелся, а оттого, что выпил на радостях крошечную рюмочку вина, питья самого вредного. Потом, пользуясь случаем, он предложил сэру Эдварду купить пива, и тот велел прислать в замок два бочонка.

Этот торг немножко их сблизил, и пивовар решился спросить, что это его превосходительство изволит все посмотреть на улицу.

— Я смотрю на этот дом с зелеными ставнями, что прямо против вашего.

— А это дом Анны-Мери.

— Очень мил.

Пивовару послышалось, что он сказал: очень мила, и он отвечал:

— Да, да, девушка пресмазливенькая, да и такая предобрая, Бог с нею. Да вот, хоть бы и теперь, изволите видеть, какая погода, зги божьей не видать, а она отправилась за пять миль отсюда ухаживать за одной бедняжкой, у которой было шестеро детей, да теперь еще двух родила. Она было хотела пуститься пешком, потому что если можно сделать добро, так ее ничто на свете не остановит, да я ей сказал: — возьмите мою тележку, мисс Анна, пожалуйста, возьмите. Она было и туда, и сюда, да я опять: — возьмите, дескать, матушка, ну, сделайте милость, возьмите. Она и взяла.

— Послушайте, — сказал сэр Эдвард, — пришлите мне уж лучше не два, а четыре бочонка пива.

— Да уж не прикажете ли еще бочонка два, ваше превосходительство! Пивцо, право, доброе.

— Нет, мне больше не нужно, — сказал, улыбаясь, сэр Эдвард. — Но я хвалил не мисс Анну, а ее дом.

— Ага, так вы изволили сказать мил, а не мила! Да, домик не дурен, да ведь у нее больше ничего и нет, кроме этого домика и небольшого доходца; и из того она половину отдает нищим, так что ей бедняжке не на что пива купить; все пьет чистую водицу.

— Француженки обыкновенно пьют воду, — сказал батюшка, — а ее воспитывала француженка, мисс Вильвиль.

— Не смею спорить с вашим превосходительством; но мне, право, не верится, чтобы человек по доброй воле стал пить воду вместо пива. Знаю, что французы пьют воду и едят кузнечиков, да ведь мисс Анна коренная англичанка, дочь барона Лемтона. Славный человек был покойник! Отец мой знал его во время претендента. Барон, сказывают, знатно дрался при Престон-пенсе; за то все имяние его отобрали для короля, и он, бедняк, принужден был уехать во Францию. Нет, ваше превосходительство, верьте или нет, а мисс Анна не по доброй воле пьет воду. А как подумаешь, что она, моя голубушка, могла бы всю жизнь себе потягивать пивцо, да еще какое!

— Как же это?

— Да мой сынишка втюрился в нее и затеял было жениться.

— Неужели ж вы не позволили?

— Как малому, который получит при наследстве десять тысяч добрых фунтов стерлингов и мог бы взять за невестой вдвое и втрое против этого, жениться на девушке, у которой за душой ничего! Нет, это не ладно! Но сколько я ни толковал, он, бывало, все свое несет; нечего делать, пришлось благословить.

— И что ж? — спросил сэр Эдвард дрожащим голосом.

— Да она не пошла.

Батюшка вздохнул.

— И все ведь это из гордости: она-де дворянка. Уж эти мне дворяне, чтоб их всех...

— Потихе, — сказал батюшка, вставая, — я сам дворянин...

— Э, ваше превосходительство, ведь я это говорю о тех



дворянах, которые пьют только воду. Вы изволили взять у меня четыре бочонка?

— Шесть...

— Да, да, шесть!.. Виноват, ошибся. Больше ничего не прикажете, ваше превосходительство? — сказал пивовар, почтительно провожая сэра Эдварда, который пошел к дверям.

— Ничего; прощайте, любезный друг.

Батюшка сел в карету.

— Домой прикажете? — спросил кучер.

— Нет, к доктору.

А дождь так и лил.

Кучер, бормоча про себя, сел на козлы и погнал лошадей во всю мочь. Минут через десять приехали.

Доктора не было дома.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Куда хочешь.

Кучер воспользовался позволением и поехал домой. Батюшка пошел прямо в свою комнату, не сказав никому ни слова.

— Барин-то, кажись, рехнулся! — сказал кучер, встретившись с Томом.

— Эх, брат Патрик, уж я и сам то же думаю! — отвечал Том.

Действительно, в нем сделалась такая перемена и притом так внезапно, что эти добрые служители, не понимая настоящей причины, легко могли подумать, что он помешался. Вечером они сообщили свое мнение доктору, когда он в обыкновенное время пришел играть в вист.

Доктор слушал их со вниманием, прерывая по временам слова их более или менее выразительным: «Тем лучше»; а потом, когда они кончили, он, потирая себе руки, пошел в комнату сэра Эдварда. Том и Патрик посмотрели ему вслед, покачивая головою.

— Очень рад, любезный друг, что вы пришли, — вскричал батюшка, как скоро завидел его. — Мне сегодня хуже, чем когда-нибудь!

— Неужели?.. Ну, что ж, и то уж хорошо, что вы это замечаете.

— Я думаю, что у меня с неделю уже сплин.

— А я думаю, что сплин у вас с неделю уже прошел.

— Мне все скучно и досадно.

— Почти все.

— Везде скучно.

- Почти везде.
  - Том мне несносен.
  - Это очень понятно.
  - Робинсон мне надоел до смерти.
  - Ну, да не его и дело быть забавным.
  - Сандерс приводит меня в отчаяние.
  - Да, я думаю! Управитель — честный человек!
  - Да, признаюсь вам, доктор, даже и вы иногда...
  - Да, а в другое время?..
  - Что вы хотите сказать?
  - Я уж знаю.
  - Послушайте, доктор, мы, право, поссоримся!
  - Анна-Мери помирит нас.
- Сэр Эдвард покраснел, как ребенок, которого уличили в шалости.
- Послушайте, ваше превосходительство, поговоримте откровенно.
  - Очень рад.
  - Скучали ли вы тогда, как были в гостях у Анны-Мери?
  - Ни минуты.
  - Скучали ли вы тогда, когда Анна-Мери была у вас?
  - Ни секунды.
  - Стали бы вы скучать, если б вы могли видеть ее всякий день?
  - Никогда!
  - И Том не был бы для вас несносным?
  - Том! Да я его от души любил бы.
  - И Робинсон не надоедал бы вам?
  - Я думаю, что я бы был, напротив, очень привязан к нему.
  - А Сандерс приводил бы вас в отчаяние?
  - О, я бы любил и уважал его.
  - Захотели ли бы вы со мной ссориться?
  - С вами мы были бы друзьями до гроба.
  - Чувствовали ли бы вы себя нездоровым?
  - Я был бы как двадцатилетний.
  - И не думали бы, что у вас сплин?
  - О, я думаю, я бы сделался весел, как морская свинка!
  - Зачем же дело стало? Нет ничего легче, как видеть Анну-Мери всякий день.
  - Каким же образом? Говорите, доктор, ради Бога говорите, я на все готов.

- Стоит только жениться на ней.
  - Жениться! — вскричал сэр Эдвард.
  - Ну, да, жениться! Само собою разумеется, что она в компаньонки к вам не пойдет.
  - Но, любезный мой, она не хочет замуж.
  - Э, девушки всегда так говорят!
  - У ней были богатые партии, и она отказала.
  - Какие же партии? Пивовар! Дочери барона Лемтона неприлично торговать пивом.
  - Но вы забываете, доктор, что я стар.
  - Вам сорок пять лет, а ей тридцать.
  - Я безногий.
  - Она иначе вас и не знала, следовательно, привыкла к этому.
  - Вы знаете, у меня характер несносный.
  - Напротив, вы добрейший в мире человек.
  - В самом деле? — спросил сэр Эдвард с самым простодушным сомнением.
  - Уверяю вас.
  - Но тут есть большое затруднение.
  - Какое же?
  - У меня язык не повернется сказать ей, что я ее люблю.
  - Какая же надобность вам самим говорить ей?
  - Да кто ж вместо меня скажет?
  - Я.
  - Вы меня оживляете.
  - Да я на то и доктор.
  - Когда ж вы к ней поедете?
  - Завтра, если вам угодно.
  - Отчего же не сегодня?
  - Сегодня ее нет дома.
  - Так дождитесь ее.
  - Я сейчас велю оседлать моего клепера.
  - Возьмите лучше мою карету.
  - Ну, так прикажите закладывать.
- Батюшка позвонил так, что чуть не оборвал колокольчик. Патрик прибежал в испуге.
- Закладывай скорее! — вскричал сэр Эдвард.
- Патрик убедился, более чем когда-нибудь, что барин помешался. За Патриком вошел Том. Батюшка бросился обнимать его. Том вздохнул из глубины души. Он ясно видел, что командир решительно сошел с ума. Через четверть часа после этого доктор,

получив полномочия, отправился в путь.

Поездка его имела самые счастливые последствия для батюшки и для меня.

Для батюшки, потому что он месяца через полтора женился на Анне-Мери.

Для меня, потому что месяцев через десять после того, как он на ней женился, я имел честь родиться.

## VI

Из первых лет моего младенчества я ничего не помню, кроме того, как матушка всегда мне говорила, что я премиленький мальчик.

Сколько я не вперяю взоры в прошедшее, вижу только, что катаюсь по зеленому лугу, который расстился перед крыльцом и посередине которого была купа сирени и жимолости, а матушка, сидя на зеленой скамейке, читает или вышивает и, поднимая время от времени глаза, улыбается мне или посылает поцелуи. Часов в десять утра батюшка, прочитав журналы, выходил на крыльцо; матушка тотчас бежала к нему навстречу; я спешил за нею на своих ножонках и попевал к крыльцу тогда уже, когда они сошли. Потом мы шли гулять и обыкновенно прямо к той беседке, где батюшка в первый раз увидел Анну-Мери. Через несколько времени Джордж приходил сказать, что лошади готовы; мы отправлялись кататься часа на два, на три, ездили или к мадемуазель Вельвиель, которой матушка отдала и свой домик, и свои сорок фунтов стерлингов дохода, или к каким-нибудь бедным больным, к которым Анна-Мери всегда являлась ангелом-хранителем и утешителем; потом, проголодавшись, мы возвращались в замок. После десерта я поступал во владение Тома, и это было для меня самое веселое время: он сажал меня на плечо и уносил смотреть собак, лошадей, влезал на деревья доставать гнезда, а я, между тем, сидя внизу, протягивал к нему ручонки и кричал что есть мочи: — Том! Том! Не упади! Наконец, он приводил меня домой. Умучившись, я обыкновенно уже дремал, но все-таки хмурился, когда видел Робинсона, потому что меня посылали спать в то время, как он приходил. Если я упрямился, не шел, опять посылали за Томом: он приходил в гостиную, брал меня на руки и уносил, как будто против воли всех. Я немножко сердился, но Том

клял меня в койку и начинал качать, рассказывая мне сказки; я засыпал с первых слов, а потом баловница маменька перекладывала меня в постель. Прошу читателей извинить, что я вхожу во все эти мелочные подробности: теперь уже ни батюшки, ни матушки, ни Тома нет на свете; мне сорок пять лет, как было батюшке, когда он вышел в отставку, и я живу один в нашем старом замке, и во всем околотке нет ни одной Анны-Мери.

Первую зиму, которую помню, я провел очень весело; снегу было пропасть, и Том выдумывал множество средств, силков, сетей и прочего, чтобы ловить птичек, которые, не находя пищи на полях, приближались к жилищам. Батюшка отдал нам большой сарай, и Том велел закрыть его спереди частой решеткою, сквозь которую и маленькие птички не могли пролетать. В этот сарай сажали мы своих пленников, и они находили там обильную пищу и убежище на нескольких сосенках, которые стояли в кадках. Я помню, что к концу зимы пленных у меня было бесчисленное множество.

Я только и делал, что смотрел на них, ни за что на свете не хотел возвратиться в комнаты, и меня с трудом могли залучить к обеду; матушка сначала боялась, чтоб это не повредило моему здоровью, но батюшка щипал меня за толстые румяные щеки, показывал их матушке, и она успокаивалась и отпускала опять к птичнику. Весною Том объявил мне, что мы выпустим своих пансионеров; я решительно воспротивился, но матушка с обыкновенною своею логикою сердца доказала мне, что я не имею никакого права удерживать бедных птичек, которых забрал хитростью. Она объяснила мне, что несправедливо пользоваться нуждою бедного для того, чтобы обращать его в рабство. Как скоро на деревьях появились первые почки, она показала мне, что птички стараются вырваться, чтобы свободно порхать посреди оживающей природы, и разбивают себе в кровь головки о железную сетку, которая не дает им наслаждаться волею. Одна из них как-то ночью умерла: матушка сказала мне, что это с тоски по воле. В тот же день я отворил клетку, и все птички с громким чириканьем вылетели в парк.

Вечером Том взял меня за руку и, не говоря ни слова, повел к птичнику. Я был в восхищении, увидев, что он почти так же полон, как был утром; три четверти моих маленьких гостей, заметив, что зелень в парке еще не довольно густа, чтобы защищать их от холодного ночного

ветра, воротились на свои сосенки и весело распевали, как будто благодаря меня за гостеприимство. В радости своей я побежал рассказать об этом матушке, и она, пользуясь случаем, объяснила мне, что такое благодарность.

На другой день утром я побежал к своему птичнику и увидел, что мои питомцы опять разлетелись, за исключением только нескольких воробьев, которые и не собирались в путь, а, напротив, делали разные приготовления, чтобы завладеть местами, которые товарищи им оставили. Том указал мне, что они переносят в клюве соломинки и хворостинки, и объяснил, что они делают это для того, чтобы свить гнезда. Я прыгал от радости, думал о том, что у меня будут маленькие птички, я увижу, как они станут расти, и мне не нужно будет для этого лазить по деревьям, как делал прежде Том.

Настали теплые дни; воробьи нанесли яиц, яйца превратились в воробьев. Я следил за их развитием с радостью, которую и теперь еще помню, когда через сорок лет после того смотрю на этот же самый птичник, но уже разломанный. Детские воспоминания так приятны для взрослого, что я не боюсь наскучить моим читателям, рассказывая им эти подробности; я уверен, что они почти каждому напомнят некоторые подробности его жизни. Притом, пройдя длинный путь через пылающие вулканы, залитые кровью равнины и мерзлые тундры, простиительно остановиться на минуту посреди зеленых, мягких лугов, которые почти всегда встречаются при начале пути.

Летом мы расширили пределы наших прогулок. Однажды Том, по обыкновению, посадил меня к себе на плечо; матушка обняла нежнее обыкновенного; батюшка взял палку и пошел с нами. Мы прошли весь парк; наконец, следуя по берегу речки, достигли озера. В этот день было очень жарко; Том снял куртку и рубашку; потом, подойдя к берегу, поднял руки над головою, прыгнул так, как, я видел, прыгали с испугу лягушки, когда мы подходили к ним, и исчез в озере. Я вскрикнул и побежал к берегу; не знаю, с каким намерением, но, вероятно, для того, чтобы броситься в воду. Батюшка удержал меня. Я дрожал от страха и кричал из всей мочи: «Том! Мой милый Том!» Наконец он появился. Я начал звать его к себе так усердно, что он воротился; я успокоился, только когда он вышел на берег.

Тогда батюшка указал мне на лебедей, которые

скользят по поверхности воды, на рыб, плавающих в нескольких футах под нею, и растолковал мне, что человек, несмотря на свои малые способности к плаванию, при помощи некоторых движений может по нескольку часов держаться в стихии рыб и лебедей. Подкрепляя объяснение примером, Том потихоньку сошел в воду и, уже не ныряя, начал плавать, протягивал ко мне руки и спрашивал, не хочу ли я к нему. Я колебался между желанием и страхом; но батюшка, замечая, что во мне происходит, сказал: «Не мучь его, он боится».

Эти слова были талисманом, которым из меня можно было сделать все на свете. Батюшка и Том всегда с таким презрением говорили о трусости, что хоть я был ребенком, однако ж покраснел при мысли, что они думают, будто я боюсь, и вскричал: «Нет, нет, я не боюсь, я хочу к Тому».

Том вышел на берег. Батюшка раздел меня, посадил на спину к Тому и велел хорошенько держаться руками за его шею. Том поплыл.

По тому, как сильно сжимал я ручонками шею Тома, он мог уже догадаться, что мужество мое не так велико, как я старался показать. В первую минуту холод воды захватил мне дыхание, но мало-помалу я привык к нему. На другой день Том привязал меня к пучку тростника и, плавая подле, показывал, как надобно действовать руками и ногами. Через неделю после того я уже сам держался на воде, а к осени выучился плавать.

Остальную часть моего воспитания матушка предоставила себе; но она так умела приправлять уроки свои любовью и объяснять приказания кроткими наставлениями, что я смешивал часы отдыха с часами учения, и меня не трудно было переводить от одного к другому. Тогда была уже осень; погода стала холоднее, и мне запретили ходить к озеру. Это очень меня огорчало, так как по некоторым причинам я предполагал, что там происходит что-то чрезвычайное.

В Виллиамс-Гауз приехали какие-то незнакомые мне люди: батюшка долго толковал с ними; наконец, они как будто согласились. Том повел их куда-то через калитку парка, которая вела на луг; батюшка пошел вслед за ними и, воротясь домой, сказал матушке: «К весне будет готово». Матушка, по обыкновению, улыбнулась; следовательно, неприятного тут ничего не было; но эта тайна чрезвычайно расшевелила мое любопытство. Всякий вечер

эти люди приходили в замок ужинать и ночевать, и батюшка тоже почти всякий день ходил к ним.

Наступила зима; выпал снег. В этот раз нам уже не нужно было расставлять сетей: стоило только отворить двери птичника и все наши прежние питомцы опять прилетели, а с ними еще многие новые, которым они, вероятно, расхвалили на своем языке наше гостеприимство. Мы всем им были рады, и они опять нашли у нас корм и сосенки.

В долгие часы этой зимы матушка выучила меня читать и писать, а батюшка сообщил мне первые основания географии мореплавания. Я был страстный охотник до описаний путешествий; знал наизусть приключения Гулливера и следовал по глобусу за плаванием кораблей Кука и Беринга. В батюшкиной комнате стояла под стеклом на камине модель фрегата; он отдал ее мне, и я вскоре знал уже все части, составляющие корабль. На следующую весну я был уже довольно порядочный теоретик, которому недоставало только практики, и Том уверял, что я, без всякого сомнения, дослужусь, как батюшка, до контр-адмирала. Матушка при этом всегда взглядывала на деревянную ногу батюшки и отирала слезы, навертывавшиеся на глаза.

Наступил день рождения матушки: она родилась в мае, и этот праздник, к великой моей радости, приходил всегда вместе с ведром и цветами; проснувшись в этот день, я нашел подле своей кровати не обыкновенное мое платье, а полный мичманский мундир. Можно вообразить, как я обрадовался; я побежал в гостиную; батюшка был тоже в мундире. Все наши знакомые приехали на целый день. Одного Тома не было.

После завтрака решили пройтись к озеру; предложение было принято единодушно; мы отправились, но не по обыкновенному пути: через поле было ближе, а через рощу дорога приятнее, и поэтому я и не удивился, что мы пошли дальним путем.

Я помню этот день так, как будто это вчера было. По обыкновению всех детей я не мог идти медленно и ровно, как большие, но бежал вперед и рвал цветки, как вдруг, достигнув опушки рощи, я как бы окаменел, устремил взоры на озеро и не мог выговорить ничего, кроме:

— Папенька, бриг!..

— Каков! Ведь-таки не принял за фрегат или



голетту! — вскричал батюшка. — Поди сюда, мой милый Джон, обними меня!

Прекрасный маленький бриг с британским флагом красиво покачивался на озере. На корме его было написано золотыми литерами «Анна-Мери». Неизвестные работники, которые уже пять месяцев жили в замке, были плотники из Портсмута, пришедшие, чтобы построить его. Он был окончен еще в прошлом месяце, спущен на воду и оснащен, а я ничего и не знал. При нашем приближении на бриге был произведен залп из всех своих четырех пушек. Я был вне себя от радости.

В бухте озера, ближайшей к роще, по которой мы шли, стояла шлюпка: в ней были Том и шестеро матросов. Мы сели в нее. Том стал у руля, гребцы налегли на весла, и мы понеслись по озеру. Шестеро других матросов, под командою Джорджа, ожидали батюшку на палубе, чтобы отдать ему почести, следующие по чину, и он принял их с приличной важностью.

Вступив на палубу, сэр Эдвард принял команду; марс-стенги развязаны, паруса один за другим спустились, и бриг пошел.

Я не в состоянии выразить восхищения, охватившего меня при виде этой чудесной машины, называемой кораблем; а заметив, что он движется под моими ногами, я захолопал в ладоши и заплакал от радости. Матушка тоже заплакала, но не от радости: она думала о том, что со временем я вступлю на настоящий корабль, и тогда ей будут грезиться только бури и морские битвы.

Впрочем, все наши гости действительно веселились с удовольствием, которое батюшка хотел нам доставить. Погода была прекрасная, а бриг послушен, как хорошо выезженная лошадь. Мы сначала обошли вокруг всего озера; потом прошли его во всю длину; наконец, к большому моему сожалению, бросили якорь и убрали паруса. Мы сели в шлюпку и поплыли к берегу; скоро скрылись мы в роще, спеша домой обедать: на бриге прозвучал еще один залп.

С этого дня у меня была одна мысль, одна забава, одно счастье: бриг. Батюшка радовался, видя во мне такую склонность к морской службе; так как работники, которые строили судно, должны были возвратиться в Портсмут, он нанял вместо них шестерых матросов из Ливерпуля. Что касается матушки, то она печально улыбалась, когда говорили о бриге, и утешалась только тем, что мне еще семь лет и нельзя вступить в действительную службу. Но

она забывала о школе, о первой горестной разлуке, которая хороша только тем, что готовится к другой, почти всегда следующей за нею.

Я уже знал названия всех частей судна; мало-помалу познакомился я и с их употреблением. К концу года я уже был в состоянии сам выполнять небольшие маневры: батюшка и Том были моими наставниками. Это вредило другой части моего ученья; но ее оставили до зимы.

С тех пор, как я побывал на бриге и ходил в мичманском мундире, я уже не считал себя ребенком; бредил только о путешествиях, бурях и сражениях. В одном углу сада поставили мишень; батюшка выписал из Лондона маленький штуцер и пару пистолетов. Сэр Эдвард хотел, чтобы я узнал хорошенько весь механизм огнестрельного оружия, прежде чем примусь за него. Для этого из Дерби приезжал два раза в неделю оружейник учить меня разбирать ружье; потом, когда уже я знал всякую частичку по имени, батюшка позволил мне стрелять. На это ученье употреблена была вся осень; зимою я уже довольно искусно действовал всем оружием.

Осеннее время не прерывало наших мореходных занятий, а напротив, пособляло им. Батюшка дополнил мое обучение. На нашем озере тоже бывали бури, как на море, и когда начинался северный ветер, поверхность его, обыкновенно столь ровная и спокойная, вздымалась, и на ней образовывались валы, которые придавали бригау очень порядочную качку. Тогда я лазил с Томом вязать рифы у самых высоких парусов, и это был для меня настоящий праздник, потому что по возвращении в замок батюшка или Том рассказывали мои подвиги, и удовлетворенное самолюбие возвышало меня в собственных моих глазах.

Три года прошли в этих занятиях, которые обратились мне в забаву. В это время я не только сделался хорошим матросом, смелым и ловким, но и знал уже корабельную работу так, что мог сам командовать. Иногда батюшка давал мне маленький рупор, и я из матроса делался капитаном; экипаж по моей команде исполнял работы, которыми я вместе с ним занимался, и я утешался, видя, что и опытные люди делают иногда такие же ошибки, как я. В других частях воспитания успехи мои были гораздо слабее; однако ж географию я знал так, как только может знать ее десятилетний ребенок; я знал также немножко и математику, но по латыни и не начинал учиться. Что касается стрельбы, то я делал в ней удивительные успехи,

к утешению всех наших, за исключением только матушки, которая не любила всего, что служит к разрушению.

Наступил день отъезда моего из Виллиамс-Гауза. Батюшка решил отдать меня в коллегийум Гарро-на-Холме, где обучалось все лондонское дворянство. Это была первая моя разлука с родителями, разлука горестная, хотя каждый из нас старался скрывать от других печаль свою. Со мной ехал один Том. Батюшка дал ему письмо к доктору Ботлеру, означив в нем, какие части воспитания, по его мнению, для меня всего нужнее: гимнастика, фехтование и искусство драться на кулаках были подчеркнуты; что касается латинского и греческого языков, то сэр Эдвард не очень их уважал, однако ж не запрещал обучать меня им.

Я отправился с Томом в батюшкиной дорожной карете, распрощавшись со своим бригом почти так же нежно, как с моими добрыми родителями. Дети всегда эгоисты и не умеют отличать привязанностей от удовольствий.

Дорогой все для меня было ново. К несчастью, Том, который никогда не делал других сухопутных путешествий, кроме поездки своей в Виллиамс-Гауз, а отсюда не выезжал ни разу, был не в состоянии удовлетворить моего любопытства. При виде каждого довольно большого города я спрашивал, не Лондон ли это. Одним словом, я был удивительно невежествен во всем, с чем не очень был знаком.

Наконец, мы приехали в гарроский коллегийум. Том тотчас повел меня к доктору Ботлеру. Он поступил на место доктора Друри, любимого всеми воспитанниками, и назначение Ботлера произвело в коллегийуме неудовольствие, которое только что кончилось. Доктор принял меня, сидя в большом кресле; прочел батюшкино письмо, качнул мне головою в знак, что согласен принять меня в число своих воспитанников и, указав Тому на стул, начал расспрашивать, чему я учился.

Я отвечал, что знаю всю корабельную работу, умею брать высоты, ездить верхом, плавать и стрелять из ружья.

Доктор Ботлер подумал, что я сумасшедший и, нахмутив брови, повторил вопрос свой. Том поспешил мне на помощь и сказал, что это правда, что я точно все это знаю.

— Неужели ж он ничего больше не знает? — спросил доктор с презрением, которого даже не постарался скрыть.

Том выпучил глаза от удивления; он воображал, что я уже очень образованный молодой человек и всегда был

того мнения, что не за чем посылать меня в коллегium, потому что мне там нечему учиться. Я сказал доктору:

— Кроме этого, я хорошо знаю по-французски, довольно хорошо географию, немножко математики и истории.

Я забыл еще ирландское наречие, которым, благодаря мистрисс Денисон, говорил как добрый сын Эрина.

— Это довольно много, — сказал доктор, удивляясь, что я не знаю ничего, что десятилетние дети почти всегда знают, и я знаю многое такое, чему обыкновенно учатся гораздо позже. — А разве по-гречески и латински вы нисколько не учились? — прибавил он.

Я принужден был признаться, что не умею даже и читать на этих языках. Ботлер взял большую тетрадь и записал в ней:

«Джон Девис, вступил в коллегium Гарро-на-Холме 7 октября 1806 года, в последний класс».

Он прочел это вслух, и я покраснел до ушей, услышав слова, которыми фраза оканчивается. Я хотел было уйти, как вдруг дверь отворилась, и в ней появился другой воспитанник.

Это был молодой человек лет шестнадцати или семнадцати, с бледным лицом, тонкими, аристократическими чертами и надменным взором; черные его волосы, завитые кудрями, были зачесаны на сторону с большею старательностью, чем как обыкновенно бывает у молодых людей этих лет; притом у него, тоже против обыкновения школьников, руки были бледны и нежны, как у женщины, а на одном пальце богатый перстень.

— Вы за мной присылали, мистер Ботлер? — сказал он, стоя в дверях, с надменным выражением, которое пробивалось даже в самых простых словах его.

— Да, милорд, — отвечал доктор.

— Позвольте же спросить, чему я обязан этой честью?..

Он произнес последние слова с улыбкою, которая не скрылась ни от кого из нас.

— Я бы желал знать, милорд, почему вы, несмотря на мое приглашение (доктор в свою очередь сделал особенное ударение на этих словах), не пришли ко мне вчера обедать вместе с другими воспитанниками?

— Позвольте мне не отвечать на этот вопрос.

— Извините, милорд, вы нарушили принятый у нас обычай, и я непременно хочу знать, какую причину вы на это имели... Если только у вас была какая-нибудь

причина, — прибавил профессор, пожимая плечами.

— Была, сударь.

— Какая же?

— Если вам непременно хочется знать, то я вам скажу ее, — отвечал молодой человек с самым наглым спокойствием. — Если б вам случилось быть поблизости моего Ньюстедского замка, когда я живу там во время каникул, то я уж, конечно, не позвал бы вас обедать; поэтому я и не должен принимать от вас учтивостей, на которые совсем не расположен отвечать.

Ботлер вспыхнул от досады.

— Я должен вас предупредить, милорд, — сказал он, — что если вы не исправитесь, то я выключу вас из коллигиума.

— А я должен вас предупредить, — отвечал юноша, — что я завтра же перехожу в кембриджский Троицкий коллигиум и принес вам письмо от моей матушки именно об этом.

Он протянул письмо, не трогаясь с места.

— Э, Боже мой, да подойдите же, милорд! — сказал профессор Ботлер. — Ведь все знают, что вы хромаете.

Тут молодой человек в свою очередь обиделся; но вместо того чтобы покраснеть, он ужасно побледнел.

— Пусть я и хромым, — сказал молодой человек, измяв в руках письмо, — но я бы желал, чтобы вы дошли за мной туда, где я буду. Джемс, — прибавил он, оборотившись к ливрейному лакею, который, верно, привез письмо, — вели седлать лошадей: мы сейчас едем.

И он захлопнул дверь, даже не поклонившись доктору Ботлеру.

— Ступайте в класс, Девис, — сказал мне профессор Ботлер, — и не берите пример с этого наглеца, чтобы не походить на него.

Когда мы проходили через двор, этот молодой человек стоял посреди своих товарищей и прощался с ними. Лакей, сидя уже на лошади, держал другую под уздцы. Молодой лорд вскочил на седло, сделал рукою прощальный знак, поднял лошадь в галоп, оглянулся еще раз на своих приятелей и повернул за угол.

— Незастенчивый молодец! — пробормотал Том, смотря ему вслед.

— Спроси, как его зовут, — сказал я.

Том подошел к одному воспитаннику, поговорил с ним и воротился ко мне.

— Его зовут Джордж Гордон Байрон, — сказал он.

Таким образом я вступил в коллегийум Гарро-на-Холме в тот самый день, как лорд Байрон оттуда вышел.

## VII

На другой день Том отправлялся обратно в Виллиамс-Гауз, но перед тем сходил еще раз к доктору Ботлеру попросить, чтобы меня в особенности учили гимнастике, фехтованию и кулачному бою.

В первый раз в жизни остался я один, потерянный между юными товарищами, как бы в лесу, которого цветы и плоды мне совершенно неизвестны, и где я боялся что-нибудь попробовать, чтобы не попало горькое.

От этого я в классе не подымал головы, а в часы отдыха, вместо того чтобы идти с товарищами в сад, печально сидел в уголке на лестнице. В эти часы невольных размышлений тихая жизнь в Виллиамс-Гаузе, окруженная любовью моих добрых родителей и Тома, являлась мне во всей прелести. Мое озеро, мой бриг, мишень, книги, которые меня так занимали, поездки с матушкой к больным, все это мелькало в памяти и перед глазами, и я погрузился в уныние, потому что в одной стороне моей жизни все было светло и весело, а в другой я видел пока еще одну только тьму. Эти мысли, несвойственные моим летам, тяготили меня до такой степени, что на третий день я уселся в уголок и горько заплакал. Погрузившись в глубочайшую горесть, я закрыл лицо обеими руками и видел сквозь слезы весь мой милый Виллиамс-Гауз. Вдруг кто-то положил мне руку на плечо; я сделал обыкновенное у мальчиков движение от досады, но воспитанник, который стоял подле меня, сказал мне с ласковым упреком:

— Не стыдно ли, Джон, что сын такого храброго моряка, как сэр Эдвард Девис, плачет, как ребенок!

Я вздрогнул и, почувствовав, что плакать — слабость, поднял голову; на щеках у меня были еще слезы, но глаза уже сухи.

— Я уже не плачу, — сказал я.

Воспитанник, который говорил со мной, был мальчик лет пятнадцати: он еще не попал в сеньоры, но из фагов уже вышел. Вид его был спокойнее и серьезнее, чем обыкновенно у молодых людей в его лета, и я с первого

взгляда почувствовал к нему какое то влечение.

— Хорошо, — сказал он, — ты будешь порядочным человеком. Меня зовут Робертом Пилем; если тебя станут обижать, и я тебе понадобится, скажи только мне.

— Спасибо, — ответил я.

Роберт Пиль подал мне руку и пошел в свою комнату.

Я не посмел идти за ним, но, постыдившись сидеть в углу, пошел на большой двор, где воспитанники играли. Ко мне подбежал какой-то молодой человек лет шестнадцати или семнадцати.

— Что, тебя никто еще не взял в фаги? — сказал он.

— Я не знаю, что это значит, — отвечал я.

— Ну, так я тебя беру, — продолжал он. — Теперь ты мой; меня зовут Поль Вингфильд. Не забывай же имени твоего господина... Пойдем со мной.

Я пошел за ним, потому что ничего не понимал и стыдился показать, что не понимаю; притом я думал, что это какая-нибудь игра.

Поль Вингфильд пошел продолжать начатую партию в мячи, и я стал подле него.

— Назад, назад, — сказал он.

Я думал, что так надобно по игре, и стал позади него. В это время мяч, кинутый сильною рукою, перелетел через Поля. Я бросился, чтобы подхватить его и откинуть, но Поль закричал:

— Не смей трогать мяча, мерзавец! Говорят тебе, не смей!

Мяч был его, и он мог запретить мне его трогать; по моим понятиям о справедливости он был совершенно прав. Но мне казалось, что он мог бы поучтивее защищать свое право, и я пошел прочь.

— Куда ж ты идешь? — сказал Поль.

— Я ухожу совсем.

— Куда ж это ты изволишь уходить?

— Куда мне вздумается.

— Как, куда тебе вздумается?

— Да как же? Я ведь с вами не играю, так могу идти прочь. Я думал, что вы позвали меня играть с вами, но, видно, нет; так прощайте.

— Подними же да подай, — сказал Поль, указывая мне на мяч, который укатился в самый угол двора.

— Поднимите сами, я не слуга ваш, — отвечал я.

— погоди, вот я тебя выучу! — сказал Поль.

Я обернулся и ждал его. Он, верно, думал, что я пущусь

бежать, и по-видимому, удивился, что я не струсил. Он остановился; товарищи его начали хохотать; он покраснел и подошел ко мне.

— Подними и подай мне мяч, — сказал он опять.

— А если не подам, что ж будет?

— Я тебя буду бить до тех пор, покуда ты не поднимешь.

— Батюшка всегда говорил мне, что кто бьет того, кто слабей его, тот низкий человек. Видно, вы низкий человек, Вингфильд.

При этих словах Поль вышел из себя и ударил меня изо всей силы кулаком по лицу. Я зашатался и чуть не упал. Я схватился за свой ножик, но мне казалось, что матушка кричит мне на ухо: «Убийца!» Я вынул руку из кармана и, видя по росту моего противника, что мне с ним не сладить, сказал опять:

— Вы низкий человек, Вингфильд.

После этого он, верно, прибил бы меня еще больше прежнего, но двое из его приятелей, Гонзер и Дорсет, схватили его за руки. Я спокойно пошел в комнаты.

Из этого описания вступления моего в свет видно, что я был странный ребенок. Дело в том, что я всегда жил с мужчинами. Оттого я был, если можно выразиться, вдвое старше по характеру, чем по летам. Получив пощечину, я вспомнил, что батюшка и Том несколько раз говорили, что в таких случаях обиженный с оружием в руках требует от обидчика удовлетворения, и что тот бесчестный человек, кто, получив оплеуху, не отомстит за себя. Но ни батюшка, ни Том не объясняли мне различия между взрослым и ребенком, и не говорили, с каких лет человек, должен вступаться за честь свою. Поэтому я думал, что лишусь чести, если не потребую от Поля удовлетворения.

Уезжая из дому и думая, что забавы мои в коллегинуме будут те же самые, как и в Виллиамс-Гаузе, я положил пистолеты в чемодан. Теперь я вынул его из-под кровати, положил пистолеты за пазуху, пороху и пуль в карманы и пошел в комнату Роберта Пиля.

Пиль сидел за книгою; но когда я отворил дверь, он поднял голову и, взглянув на меня, вскричал:

— Боже мой! Что это с тобою, Джон? Ты весь в крови?

— Поль Вингфильд ударил меня кулаком по лицу, — сказал я, — а вы мне говорили, чтобы я пришел к вам, когда меня кто обидит, я и пришел.



— Хорошо, — сказал Роберт Пиль, вставая. — Будь спокоен, Джон, я с ним разделаюсь.

— Как, вы с ним разделаетесь?

— Да, конечно. Ведь ты пришел просить меня, чтобы я отплатил ему за тебя?

— О, нет! Я пришел вас просить, чтобы вы помогли мне самому с ним разделаться, — отвечал я, положив свои маленькие пистолеты на стол.

Пиль с удивлением посмотрел на меня:

— Да скажи, ради Бога, который же тебе год? — спросил он.

— Скоро одиннадцать.

— Чьи же это пистолеты?

— Мои.

— Давно ли же ты умеешь стрелять?

— Уж года два.

— Кто же тебя учил?

— Батюшка.

— Зачем?

— Чтобы защищаться, когда понадобится, как, например, теперь.

— Попадешь ли ты в этот флюгер? — спросил Роберт Пиль, указывая в окно на дракона, который, скрипя, вертелся на шесте, шагах в двадцати пяти от нас.

— Я думаю, что попаду.

— Ну-ка, попробуй.

Я зарядил пистолет, прицелился и всадил пулю в голову дракону, возле самого глаза.

— Bravo! — вскричал Пиль. — Ты и не дрогнул. О, ты не трус!

При этих словах он взял пистолеты, положил их к себе в ящик, запер и ключ спрятал в карман.

— Теперь пойдем со мною, Джон, — сказал он.

Я имел такую доверенность к Роберту, что пошел за ним, не сказав ни слова.

Он сошел во двор. Воспитанники, столпившись в кучу, старались угадать, где это выстрелили. Роберт Пиль подошел прямо к Вингфильду.

— Поль, — сказал он, — знаешь ли ты, где выстрелили?

— Нет, — отвечал Поль.

— Из моей комнаты. А знаешь ли ты, кто стрелял?

— Нет.

— Джон Девис. А знаешь ли, куда попала пуля?

— Тоже нет.

— Вот в этот флюгер. Посмотри.

Все глаза обратились к жируетке, и все убедились, что Пиль говорил правду.

— Ну, что ж далее? — сказал Поль.

— Далее? Далее то, что ты ударил Джона. Джон пришел ко мне звать меня в секунданты, потому что он хотел драться с тобою на пистолетах; и чтобы показать, что он, хоть и не велик, в состоянии попасть тебе прямо в грудь, всадил пулю в дракона.

Поль побледнел.

— Поль, — продолжал Роберт, — ты сильнее Джона; но Джон ловчее тебя. Ты ударил ребенка, не зная, что у него сердце взрослого человека, и ты за это заплатишься. Ты должен или драться с ним, или просить у него прощения.

— Просить прощения у этакого мальчишки! — вскричал Поль.

— Послушай, — сказал Роберт, подойдя поближе и говоря вполголоса. — Если ты на это не согласен, то я сделаю тебе другое предложение. Мы с тобою одних лет, на рапирах деремся почти одинаково; мы приделаем свои циркули к палкам и пойдем с тобою за ограду. Я даю тебе срок до вечера: выбирай любое.

В это время позвонили в классы, и мы разошлись.

— В пять часов, — сказал Роберт Пиль, прощаясь со мною.

Я работал с таким спокойствием, что удивил всех товарищей, а учителя и не догадывались, что у нас случилось нечто чрезвычайное. Классы кончились; мы опять пошли играть. Роберт Пиль тотчас подошел ко мне.

— Вот тебе письмо от Вингфильда, он извиняется, что обидел тебя. Больше ты ничего от него требовать не можешь.

Я взял письмо: оно, точно, было наполнено извинениями.

— Теперь, — продолжал Пиль, взяв меня под руку, — я скажу тебе одну вещь, которой ты не знаешь. Я сделал, что ты хотел, потому что Поль дурной человек и что урок от младшего будет ему очень полезен. Но не надобно забывать, что мы не взрослые, а дети. Наши поступки неважны, слова ничего не значат; мы еще не скоро можем действительно занять место свое в обществе: я — лет через пять или шесть, ты — лет через девять или десять. Дети

должны быть детьми и не прикидываться большими. То, что для гражданина или воина бесчестье, для нас ничего не значит. В свете вызывают друг друга на дуэль, а в школе просто дерутся за волосы. Умеешь ли ты биться на кулаках?

— Нет.

— Ну, так я тебя выучу. А покуда ты не в состоянии будешь защищаться, я отколочу всякого, кто тебя обидит.

— Благодарю вас, Роберт. Когда же вы дадите мне первый урок?

— Завтра утром после классов.

Роберт сдержал свое слово. На другой день, вместо того чтобы идти играть на дворе, я пошел в комнату Пиля, и он дал мне первый урок. Через месяц, благодаря моему природному расположению и силе, какая у детей этих лет редко бывает, я в состоянии уже был драться с самыми большими воспитанниками. Впрочем, история моя с Вингфильдом наделала шуму, и никто не смел обижать меня.

Я рассказал этот случай в подробности, потому что он может подать верное понятие о том, как я мало походил на других детей. Я получил такое необыкновенное воспитание, что, конечно, оно должно было сделать и характер мой не таким, как у прочих людей в младенческом возрасте; как я ни был молод, батюшка и Том всегда с таким презрением говорили при мне об опасности, что я всю жизнь свою не считал ее в числе препятствий. Это во мне не природный дар, а следствие воспитания. Батюшка и Том выучили меня быть храбрым, как матушка читать и писать.

Желание, изъявленное батюшкою в письме к доктору Ботлеру, было в точности исполнено: мне дали фехтовального учителя, как другим воспитанникам гораздо старше меня; и я добился больших успехов в этом искусстве; что касается гимнастики, то самые трудные в ней упражнения ничего не значат в сравнении с работами, которые сто раз исполнял я на своем бриге. Поэтому я с первого дня делал все, что делали другие, а на второй день и такие вещи, каких другие делать были не в состоянии.

Время шло для меня гораздо скорее, чем я ожидал; я был смышлен и прилежен и, кроме моего крутого, упрямого характера, не за что было меня похулить и по письмам моему доброй матушки я видел, что известия, которые она получала обо мне из коллегима, были как нельзя более благоприятны.

Однако ж я с нетерпением ждал каникул. По мере того как приближалось время, когда я должен был уехать из Гарро, воспоминания мои о Виллиамс-Гаузе более и более оживлялись. Я со дня на день ждал Тома. Однажды утром, после классов, я увидел, что у ворот остановилась наша дорожная карета. Я опрометью побежал к ней. Том вышел из нее, не первый, а уже третий: с ним приехали батюшка и матушка.

О, какая это была счастливая для меня минута! В жизни человека бывают два или три таких мгновения, когда он вполне счастлив; и как ни коротки эти молнии, а от них уже довольно светло, чтобы любить жизнь.

Батюшка и матушка пошли вместе со мною к доктору Ботлеру. При мне он не хотел лично хвалить меня, но дал почувствовать матушке, что чрезвычайно доволен их сыном. Добрые мои родители были вне себя от радости.

Когда мы вышли оттуда, я увидел, что Роберт Пиль разговаривает с Томом. Добрый Том был, по-видимому, в восхищении от того, что Роберт ему рассказывал. Пиль пришел проститься со мной, потому что он тоже уезжал на каникулы домой. Надобно сказать, что расположение его ко мне со времени истории моей с Полем ни на минуту не изменялось.

При первом удобном случае Том отвел батюшку в сторону; возвращаясь ко мне, батюшка меня обнял и пробормотал сквозь зубы: «Да, да, из него выйдет человек!» Матушка тоже хотела знать, что это такое, но батюшка мигнул ей, чтобы она подождала, и что после все узнает. По нежности, с которою она вечером меня обнимала, я видел ясно, что сэр Эдвард сдержал слово.

Батюшка и матушка предлагали мне съездить на неделю в Лондон, но мне так хотелось поскорее увидеть Виллиамс-Гауз, что я просил их ехать прямо в Дербишейр. Желание мое было исполнено, и мы на другой же день пустились в путь.

Не умею выразить, какое сильное и сладостное впечатление произвели на меня после этой первой разлуки предметы, знакомые мне с самого младенчества: цепь холмов, отделяющая Чешейр от Ливерпуля; тополевая аллея, ведущая к нашему замку, в которой каждое дерево, колеблемое ветром, казалось, приветствовало меня; дворовая собака, которая чуть не оборвала цепи, бросаясь из конуры, чтобы приласкаться ко мне; мистрисс Денисон, которая спросила меня по-ирландски, не забыл ли я ее;

мой птичник, по-прежнему наполненный добровольными пленниками; добрый Сандерс, который по своей обязанности вышел навстречу своему молодому господину. Я обрадовался даже доктору и Робинсону, хоть прежде ненавидел их за то, что, как я уже говорил, меня посылали спать, как скоро они приходили.

В замке у нас все было по-прежнему. Каждая вещь стояла на старом своем месте: батюшкины кресла у камина, матушкины у окна, ломберный стол в углу направо от дверей. Каждый во время моего отсутствия продолжал вести жизнь спокойную и счастливую, которая должна была по гладкой и ровной дороге довести его до могилы. Один только я переменял путь свой и доверчивым, веселым взором обозревал новый горизонт.

Прежде всего отправился я к озеру. Батюшка и Том остались позади, а я пустился со всех ног, чтобы минутою раньше увидеть мой любезный бриг. Он по-прежнему красиво покачивался на старом месте; прекрасный флаг его развевался по ветру; шлюпка стояла, причаленная, в бухте. Я лег в высокую траву, наполненную дятловиной и другими цветками, и плакал от радости.

Батюшка и Том пришли; мы сели в шлюпку и поплыли к бригу. Палуба была накануне вычищена и натерта воском: ясно, что меня ждали в моем водяном дворце. Том зарядил пушку и выстрелил. Это был призывный сигнал экипажу. Минут через десять все наши шестеро матросов были уже на бриге.

Теории судоходства я не забыл, а упражнения в гимнастике сделали меня еще сильнее в практической части. Не было ни одной работы, которой бы я не исполнял скорее и отважнее лучшего из наших матросов. Батюшка и радовался и боялся, видя мою ловкость и проворство; Том хлопал в ладоши; матушка, которая тоже пришла и смотрела на нас с берегу, беспрестанно отворачивалась.

Позвонили к обеду. По случаю моего приезда к нам собрались все наши знакомые. Доктор и Робинсон ждали нас на крыльце. Оба расспрашивали меня о моих учебных занятиях, и, казалось, очень довольны были, узнав, что в год я так многому научился. Тотчас после обеда мы с Томом пошли стрелять в цель. Вечер по-прежнему сделался исключительным достоянием матушки.

С самых первых дней жизнь моя здесь приняла прежнее течение: я везде нашел старое свое место, и через неделю год, проведенный в школе, казался мне уже сном

О, прекрасные, светлые дни юности! Как скоро они проходят и какие неизгладимые воспоминания оставляют на всю жизнь! Сколько важных событий, случившихся впоследствии, совершенно изгладились из моей памяти, а между тем я помню все подробности каникул и времени, проведенного в школе, дней, наполненных трудами, дружбою, забавами и любовью, дней, в которые мы не понимаем, отчего бы и вся жизнь не могла протечь точно таким же образом.

Пять лет, которые я провел в школе, пронеслись в миг, как один день; а когда я посмотрю назад, мне кажется, будто они озарены были совсем не тем солнцем, как остальная жизнь моя; какие несчастья ни терпел я впоследствии, а благодарю Бога за мои юношенские лета: я был счастливый ребенок.

Мне пошел уже семнадцатый год. В конце августа батюшка и матушка, по обыкновению, приехали за мною; но в этот раз они объявили мне, что я уже навсегда должен проститься с Гарро. Прежде я с удовольствием помышлял об этой минуте, а тут испугался.

Я простился с доктором и с товарищами, с которыми, впрочем, никогда не жил в большой дружбе. Единственным моим приятелем был Роберт Пиль: он уже с год назад перешел из гарроского коллегіума в Оксфордский университет.

Возвратясь в Виллиамс-Гауз, я принялся за прежние занятия; но на этот раз батюшка и матушка как будто удалялись от них; даже Том, хотя он и не отставал от меня, по-видимому, лишился прежней своей веселости. Я не понимал, что это значило; но общая горесть и на меня подействовала. Однажды утром, когда мы пили чай, Джордж принес пакет, запечатанный большою красною печатью с британским гербом. Матушка поставила на стол чашку, которую уже поднесла было ко рту. Батюшка взял письмо, пробормотав: «Ага!», как делал обыкновенно, когда в нем боролись два противоположных чувства; потом перевернул его несколько раз в руках и, не решаясь распечатать, сказал мне: — На, Джон, это тебя касается. — Я распечатал пакет и нашел в нем патент на чин мичмана с назначением на стоящий в Плимуте корабль «Трезубец» под командою капитана Стенбау.

Наступила, наконец, давно желанная мной минута! Но когда я увидел, что матушка отвернулась, чтобы скрыть свои слезы, когда услышал, что батюшка насвистывает

«Rule Britannia», когда сам Том сказал мне голосом, который, вопреки всем его усилиям, был не слишком тверд: — Ну, батюшка, ваше благородие, теперь уже и взаправду, — во мне произошло такое потрясение, что я выронил пакет из рук и, бросившись к ногам матушки, со слезами схватил ее руку.

Батюшка поднял пакет, читал и перечитывал его раза три или четыре, чтобы дать пройти этому первому взрыву чувствительности; потом, когда ему показалось, что мы уже довольно предавались нежным чувствованиям, которые сам в душе ощущал, но называл слабостью, он встал, кашлянул, прошел раза три по комнате, покачал головою и сказал, остановившись против меня:

— Полно, Джон, ты уже не ребенок.

При этих словах я почувствовал, что руки матушки теснее обвили мою шею, как будто безмолвно противясь необходимой разлуке, и я продолжал стоять на коленях перед нею. С минуту все молчали. Потом милая цепь, которая меня удерживала, понемногу распустилась, и я встал.

— Когда же ему надобно ехать? — спросила матушка.

— Тринадцатого сентября он должен быть на корабле, а сегодня первое; шесть дней мы еще можем пробыть здесь, а седьмого пустимся в дорогу.

— А я с вами поеду? — спросила робко матушка.

— О, да, да! — вскричал я. — Я хочу расстаться с вами как можно позже.

— Спасибо, спасибо тебе, мой милый, мой добрый Джон, — сказала матушка с невыразимою признательностью, — ты наградил меня этими словами за все, что я для тебя вынесла.

В назначенный день мы отправились в путь все вместе: батюшка, матушка, Том и я.

## VIII

Чтобы выехать из Виллиамс-Гауза как можно позже, батюшка назначил на дорогу только шесть дней, и потому мы оставили Лондон влево и проехали в Плимут прямо через графства Варвик, Глостер и Соммерсет; утром пятого дня мы были уже в Девоншейре, а часов в пять вечера — у подошвы горы Эджком, лежащей на запад от плимутской бухты. Батюшка предложил нам пойти

пешком, сказав кучеру, в каком трактире мы остановимся; карета поехала по большой дороге, а мы пошли по тропинке, чтобы взобраться на самую вершину горы. Я вел батюшку; матушка шла сзади, опираясь на руку Тома. Я шел тихо, тревожимый печальными мыслями, которые будто переходили из матушкина сердца в мое; взоры мои были устремлены на развалившуюся башню, которая как будто росла по мере нашего приближения; вдруг, опустив глаза с вершины к основанию, я вскрикнул от удивления и восторга. Передо мной было море.

Море, то есть образ неизмеримости и бесконечности; море, вечное зеркало, которого ничто не может ни разбить, ни помрачить; поверхность неприкосновенная, которая с самого создания мира остается все тою же, между тем как земля, старея, подобно человеку, покрывается попеременно шумом и молчанием, нивами и пустынями, городами и развалинами; море, которое я видел в первый раз в жизни, и которое, подобно кокетке, являлось мне в самое благоприятное время: когда, трепеща от любви, оно как бы протягивает золотистые волны свои к солнцу, которое закатывается.

Я остановился в безмолвном созерцании; потом от целого, которое поразило меня сначала, перешел к рассматриванию подробностей. Хотя с того места, где мы тогда были, море кажется спокойным и гладким, как зеркало, однако неширокая полоса пены, расстилающаяся по берегу, то приближаясь, то удаляясь, обличала могущественное и вечное дыхание старого океана; перед нами была бухта, образуемая двумя мысами; немножко влево, остров Святого Николая; наконец, под нашими ногами, город Плимут с тысячами дрожащих мачт, которые казались лесом без листьев. Между тем бесчисленные корабли приходили и уходили, приветствуя землю пушечными выстрелами, землю, с ее шумной жизнью живым движением и смешанным гулом, состоящим из ударов молотами и матросских песен, которые ветер приносил к нам вместе с благовонным морским воздухом.

Мы все остановились, и у каждого на лице выразались чувства, волновавшие душу: батюшка и Том радовались, что видят предмет своей страсти; я дивился новому знакомцу; матушка пугалась, как бы при виде неприятеля. Потом, через несколько минут безмолвного созерцания, батюшка стал искать посреди порта, ясно видного с горы,



корабль, который должен был разлучить нас, и с зоркостью моряка, узнающего судно между тысячами других, как пастух овцу в целом стаде, он тотчас нашел «Трезубец», прекрасный семидесятичетырехпушечный корабль, который величественно покачивался на якоре, гордясь своим королевским флагом и тройным рядом орудий.

Хозяином этого корабля был, как мы уже говорили, капитан Стенбау, старый отличный моряк, батюшкин сослуживец. На другой день, когда взошли мы на корабль, батюшку приняли как старинного приятеля и как старшего по чину. Капитан Стенбау пригласил нас, батюшку, матушку и меня, к обеду, а Том просил позволения обедать с матросами, чему они были очень рады, потому что получили по этому случаю двойную порцию вина и порцию рома. Таким образом прибытие мое на «Трезубец» было настоящим праздником, и я, по верованию древних римлян, вступил в морскую службу под счастливым предзнаменованием.

Вечером капитан Станбау, видя слезы, которые, вопреки всем усилиям матушки, катились из глаз ее, позволил мне провести еще эту ночь со своими, с условием, чтобы на другой день в десять часов я непременно был на корабле. В подобных обстоятельствах несомненно минут кажутся целою вечностью: матушка благодарила капитана с такою признательностью, как будто каждая минута, которую он даровал ей, была драгоценный камень.

На другой день в девять часов мы отправились в порт. Шлюпка «Трезубца» уже ждала меня, потому что ночью новый губернатор, которого мы должны были отвезти в Гибралтар, приехал и привез повеление выйти в море первого октября. Страшная минута наступила; но между тем матушка перенесла ее гораздо лучше, нежели мы ожидали. Что касается батюшки и Тома, то они сначала прикидывались было героями, а потом, в минуту разлуки, эти люди, которые, может быть, во всю свою жизнь не выронили ни слезинки, расплакались, как бабы. Я видел, что мне надобно кончить эту тягостную сцену, и, прижав матушку в последний раз к своему сердцу, соскочил в шлюпку: она как будто только ожидала сотрясения, которое я сообщил ей, и тотчас понеслась к кораблю. Все наши неподвижно стояли на берегу и следили за мной глазами, пока я не взошел на корабль. Вскочив на палубу, я сделал прощальный знак рукою, матушка махнула мне

платком, и я пошел к капитану, который приказал, чтобы меня позвали к нему, как только я приеду.

Он был в своей каюте с одним лейтенантом, и оба внимательно рассматривали карту окрестностей Плимута, на которой с удивительной точностью изображены были все дороги, деревни, рощи и даже кусты. Капитан поднял голову.

— А, это вы, — сказал он с ласковою улыбкою, — я вас ждал.

— Неужели, капитан, я так счастлив, что могу быть вам полезным в самый первый день моей службы?

— Может быть, — сказал капитан — подите сюда и посмотрите.

Я подошел и стал рассматривать карту.

— Видите ли вы эту деревню?

— Вальсмоут?

— Да. Как вы думаете, в скольких милях она должна быть от берега?

— Судя по масштабу, должно быть милях в восьми.

— Точно так. Вы, видно, знаете эту деревню?

— Я не знал даже, что она существует.

— Однако ж с помощью топографических подробностей, которые здесь видите, вы дойдете до нее не заблудившись?

— О, конечно!

— Только и нужно. Будьте готовы к шести часам. При отпращивании Борк скажет вам остальное.

— Очень хорошо, капитан.

Я поклонился ему и лейтенанту и пошел на палубу. Прежде всего я взглянул на ту часть порта, где оставил все, что мне было мило на свете. Все было по-прежнему живо и шумно, а те, кого я искал, уже исчезли. Итак, конечно, я оставил за собою часть моего существования. Эта часть, которую я видел как бы сквозь непритворенную дверь в прошедшее, была моя золотая юность, проведенная между цветущими лугами, под теплым весенним солнышком, среди любви ко мне всех окружающих. Но эта дверь захлопнулась, и отворилась другая, ведущая на трудный, неровный путь будущего.

Прислонившись к мачте, погруженный в свои размышления, я печально стоял и пристально смотрел на землю, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Это был один из новых моих товарищей, молодой человек лет семнадцати или восемнадцати, который, однако ж, был на службе уже

три года. Я поклонился ему; он отвечал с обыкновенною вежливостью английских морских офицеров; потом сказал мне с полунасмешливою улыбкою:

— Мистер Джон, капитан поручил мне показать вам корабль от брам-стеньги большой мачты до пороховой камеры. Так как вам, вероятно, придется пробить несколько лет на «Трезубце», то, я думаю, вы рады будете с ним покороче познакомиться.

— Хотя «Трезубец», я думаю, должен быть таков же, как все семидесятичетырехпушечные корабли, и нагрузка его ничем не отличается от других, однако ж, я очень рад осмотреть его вместе с вами и надеюсь, что мы не расстанемся, пока я буду служить на «Трезубце». Вы знаете мое имя; теперь позвольте мне спросить, как вас зовут, чтобы я знал, кому обязан буду первым уроком.

— Я Джемс Больвер; воспитывался в лондонском морском училище, вышел года три назад и с тех пор сделал два вояжа, один к Северному Мысу, другой в Калькутту. А вы, верно, тоже учились в какой-нибудь приготовительной школе?

— Нет, я воспитывался в коллегииуме Гарро-на-Холме, и третьёго дня в первый раз в жизни увидел море.

Джемс невольно улыбнулся.

— В таком случае я не боюсь вам наскучить, — сказал он; — все, что вы увидите, конечно, будет для вас ново и любопытно.

Я поклонился в знак согласия и пошел за моим чичероне. Мы ловко спустились по лестнице и попали на вторую палубу. Там он показал мне столовую футов в двадцать длиною; она оканчивалась перегородкою, которую во время сражения можно было снимать. Потом в большой каюте за этой перегородкою я увидел шесть парусинных каморок: это были офицерские спальни. Их также в случае нужды можно убирать.

Перед этою каютою была комната гардемаринов, кладовая, бойня, а под баком — большая кухня и малая капитанская; в правом и левом борте великолепные батареи, каждая в тридцать восемнадцатифунтовых пушек.

С этой палубы мы сошли на третью и осмотрели ее с таким же вниманием. На этой палубе находились пороховая камера, каюты письмоводителя, канонера, хирурга, священника, и все матросские койки, подвешен-

ные к балкам. Тут было двадцать восемь тридцативосьми-фунтовых орудий с лафетами, талями и всеми прочими принадлежностями. Оттуда мы спустились в новое отделение и обошли его по галереям, устроенным для того, чтобы можно было видеть, если во время сражения ядром пробьет корабль у самой подводной части, и в таком случае заткнуть пробоину заранее уже приготовленными калиберными затычками; потом мы пошли в хлебную, винную и овощную камеры, оттуда в камеры перевязочную, рулевую и плотничную, в канатную и тюремную ямы; наконец, в трюм.

Джемс был совершенно прав: хотя все эти предметы были для меня не так новы, как он полагал, однако ж чрезвычайно любопытны.

Мы поднялись снова на палубу, и Джемс собирался показывать мне мачты со всеми принадлежностями, так же как показывал подводную часть, но в это время позвонили к обеду. Обед — дело слишком важное, и его нельзя откладывать ни на секунду, и потому мы тотчас спустились в каюту, где четверо молодых людей наших лет уже ждали нас.

Кто бывал на английских военных кораблях, тот знает, что такое мичманский обед. Кусок полуизжаренной говядины, нечищенный вареный картофель, какой-то черноватый напиток, который из учтивости зовут портером; все это на хромоногом столе, покрытом ветошкою, которая служит вместе и скатертью, и салфеткою, и которую переменяют только однажды в неделю. Таков стол будущих Гоу и незрелых Нельсонов. К счастью, я воспитывался в школе и, следовательно, привык ко всему этому.

После обеда Джемс, видно любя спокойное пищеварение, не напоминал мне, что мы собирались лазить по мачтам, а предложил поиграть в карты. Кстати, в этот день раздавали жалованье; у всякого в кармане были деньги, и потому предложение приняли единодушно. Что касается меня, то я с детства чувствовал к игре отвращение, которое с годами все увеличивалось, и потому извинился и пошел на палубу.

Погода была прекрасная; ветер западо-северо-западный, то есть самый благоприятный для нас; поэтому приготовления к скорому выходу в море, приготовления, заметные, впрочем, только для глаз моряка, делались во всех частях корабля. Капитан прохаживался по правому

борту шканцев и по временам останавливался, чтобы взглянуть на работы; потом снова начинал ходить мерными шагами, как часовой. На левом борте был лейтенант; тот принимал более деятельное участие в работах, впрочем, не иначе как повелительным жестом или отрывистым словом.

Стоило только взглянуть на этих двух человек, чтобы заметить разность в их характерах. Стенбау был старик лет шестидесяти или шестидесяти пяти; он принадлежал к английской аристократии, жил года три или четыре во Франции и потому отличался изящными приемами и светскими манерами. Он был немножко ленив, и медленность его являлась в особенности при взысканиях: тогда он долго мял и ворочал в пальцах свою щепотку испанского табаку и тогда уже, с сожалением, назначал наказание. Эта слабость придавала его суду какую-то нерешительность, почему можно было думать, что он сам сомневается в своей справедливости; но он никогда не наказывал напрасно, а почти всегда слишком поздно. При всех своих усилиях он не мог преодолеть в себе этой доброты характера, очень приятной в свете, но очень опасной на корабле. Эта плавающая тюрьма, в которой несколько досок отделяют жизнь от смерти и время от вечности, имеет свои нравы, свое особенное народонаселение: ему нужны и особые законы. Матрос и выше и ниже образованного человека; он великодушнее, отважнее, бесстрашнее; но он всегда видит смерть лицом к лицу, а опасности, воспламеняя добрые качества, развивают и дурные наклонности. Морьяк как лев, который если не ласкается к своему господину, то уже готов растерзать его. Поэтому чтобы возбуждать и удерживать суровых детей океана, надобны совсем другие пружины, чем для того, чтобы управлять слабыми детьми земли. Этих-то сильных пружин наш добрый и почтенный капитан и не умел употреблять. Надобно, однако ж, сказать, что в минуту сражения или бури эта нерешительность исчезала, не оставляя по себе ни малейших следов. Тогда высокий стан капитана Стенбау выпрямлялся, голос его делался твердым и звучным, и глаза, как бы оживляясь прежней юностью, сверкали молниями; но как скоро опасность миновала, он снова погружался в свою беспечную кротость, единственный недостаток, который находили в нем враги его.

Борк представлял с портретом, который мы начертали,

решительную противоположность, как будто провидение, поместив тут эти оба существа, хотело дополнить одного другим и умерить слабость строгостью. Борку было лет тридцать шесть или сорок; он родился в Манчестере, в низшем классе общества; отец и мать хотели дать ему воспитание выше того, которое сами получили, и решились было сделать для этого довольно значительные пожертвования; но вскоре один за другим умерли. Лишившись родителей, ребенок лишился и возможности оставаться в пансионе, в который они его отдали; он был еще так мал, что не мог приняться за какое-нибудь ремесло, и потому, получив неполное воспитание, определился на военный корабль. Там он в полной мере испытал всю строгость морской дисциплины, и по мере того как переходил от низших званий к тому, которое занимал нынче, делался более и более безжалостным к другим. Строгость его походила на мстительность. Наказывая своих подчиненных, и, конечно, поделом, он как будто вымещал на них то, что сам терпел, может быть, напрасно. Но между ним и почтенным его начальником была и другая, еще более заметная разница: у Борка тоже являлась некоторая нерешительность, но не при наказаниях, как у капитана Стенбау, а во время бури или сражения. Он как будто чувствовал, что общественное его положение не дало ему при самом рождении ни права повелевать другими людьми, ни силы бороться со стихиями. Но покуда продолжалось сражение или буря, он первый был в огне и на работе, и потому никто не говорил, что он не исполнял в точности своей обязанности. Между тем в обоих случаях некоторая бледность в лице, некоторое дрожание в голосе, обличали внутреннее его волнение, которым он никогда не мог овладеть настолько, чтобы скрыть его от своих подчиненных. Надобно думать, что у него мужество было не даром природы, а результатом воспитания.

Эти два человека, занимая на шканцах места, назначенные им морскою табелью о рангах, казалось, были разделены между собою врожденною антипатиею еще более, чем чинопочитанием. Капитан обходился со своим лейтенантом столь же вежливо, как и со всеми другими; но когда говорил с ним, в голосе его не было заметно кротости и доброты, за которую весь экипаж его обожал. Зато и Борк принимал приказания капитана совсем не так, как другие; он оказывал ему беспрекослов-

ную, но какую-то мрачную покорность, между тем как прочие подчиненные повиновались с радостью, с величайшей готовностью.

Но одно довольно важное обстоятельство принудило их сблизиться время, когда я вступил на корабль. Накануне, при вечерней переключке заметили, что семи человек недостает.

Капитану прежде всего пришло в голову, что эти семеро негодяев, которые, как известно было всему экипажу, не слишком ненавидели джин, загулялись, засиделись за столом в какой-нибудь таверне, и что их придется в наказание продержать часа три-четыре на грот-вантах. Но когда капитан Стенбау сообщил лейтенанту это некоторого рода извинение, внушенное доброю, тот сомнительно покачал головой; и так как ветер, дувший с земли, не принес вестей об отсутствующих, то почтенный капитан, при всем своем расположении к снисходительности, должен был согласиться с лейтенантом Борком, что это дело довольно важное.

Побеги нередко случаются на английских военных кораблях, потому что матросы часто получают на судах Индийской Компании места, гораздо выгоднее тех, которые иногда насильно навязали им господа лорды адмиралтейства. Между тем, когда приказано выйти в море и надобно при первом благополучном ветре сняться с якоря, ожиданье добровольного или принужденного возвращения отсутствующих невозможно. В этих-то случаях употребляется замысловатый способ, насильственная вербовка (*the presse*), которая состоит в том, что команда отправляется в какую-нибудь таверну и забирает столько людей, сколько нужно, чтобы пополнить недостающее число. Но так как при этом принуждены брать первого попавшегося, а в числе наших семи негодяев было человека три или четыре очень хороших матросов, то капитан решил сначала употребить все средства, чтобы захватить их.

В английских портах, в самом городе или в окрестных деревнях всегда есть несколько «заведений», которые называются тавернами, а между тем служат убежищем дезертирам. Так как эти дома известны всем экипажам, то подозрения падают на них, когда на корабле оказался недочет, и сыщики прежде всего туда и отправляются. Но содержатели этих домов, зная, что они всегда подвержены таким воинским набегам, принимают все возможные

предосторожности, чтобы скрыть виновных от поисков. Это настоящая контрабанда, в которой таможенные очень часто бывают обмануты. Борк так был уверен в этой истине, что хотя командовать подобною экспедициею было не его дело, а кого-нибудь из младших офицеров, однако ж он принял это на себя и сделал нужные распоряжения, которые были утверждены капитаном.

Утром созвали пятнадцать самых старых матросов «Трезубца» и составили в присутствии капитана и лейтенанта род совета, в котором, против обыкновения, мнения младших имели более весу, чем мнения старших. В подобном случае матросы знают гораздо более офицеров, и хотя управлять экспедициею должны, конечно, последние, но сообщать нужные сведения могут только первые. Результатом совещания было предположение, что виновные по всей вероятности скрываются в таверне «Зеленый Эрин», хозяином которой является ирландец, по имени Джемми, в деревне Вальсмоут, милях в восьми от берега. Решено было отправить экспедицию туда.

Потом сделано предложение, которое должно было упрочить успех предприятия, именно, послать вперед какого-нибудь удалца, который бы постарался разведать, где скрываются беглецы: они, верно, уже знали, что «Трезубец» готовится выйти в море, и что их ищут, и потому, конечно, приняли свои меры.

Но это было нелегко сделать: матрос, который бы взялся за это, дорого бы потом поплатился, а офицера, как бы он ни переоделся, Джемми или беглецы непременно узнают. Совет был в большом раздумье; но лейтенанту Борку вдруг пришла мысль поручить это дело мне; я только что вступил на корабль, меня никто не знал, следовательно, если я хоть вполовину так умен, как добрый капитан заранее говорил, то мне немудрено будет с успехом исполнить поручение. Вот почему капитан Стенбау спрашивал меня, найду ли я деревню Вальсмоут, и потом велел мне ожидать приказаний от Борка.

Часов в пять пришли сказать, что лейтенант ждет меня в своей каюте. Я тотчас пошел к нему, и он, рассказав мне, без всяких приготовлений, в чем дело, вынул из сундука матросскую рубашку, шаровары и куртку и велел мне надеть их вместо моего мичманского мундира. Хотя роль, которую назначили мне в этой трагикомедии, была очень неприятна, однако ж я принужден был повиноваться так как Борк был старше меня по званию, а всем известно,



как строга дисциплина на английских кораблях; притом лейтенант, как я уже говорил, был не такой человек, чтобы стал слушать возражения, даже самые почтительные. Поэтому я и не делал бесполезных замечаний, снял мундир и благодаря широким шароварам, красной фланелевой рубашке, синему колпаку и природным моим наклонностям тотчас принял вид негодяя, необходимый для успешного выполнения возложенной на меня роли.

Переодевшись, я пошел с лейтенантом в шлюпку, где уже собрались все пятнадцать матросов, бывших утром на совете. Минут через десять после этого мы вышли на берег в Плимуте. Идти всем вместе через город было невозможно, потому что это обратило бы на нас внимание, и весть о нашем появлении, конечно, тотчас бы дошла до Вальсмоута; поэтому мы разошлись в гавани по разным сторонам, условившись собраться через десять минут под деревом, которое стояло одиноко на холме за городом и видно было с рейда. Через четверть часа сделали переключку: все были налицо.

Борк заранее составил весь план кампании и только тут объяснил мне его во всей подробности. Он состоял в том, чтобы мне идти как только можно скорее в Вальсмоут; команда пойдет вслед за мною обыкновенным шагом. Таким образом, я должен быть там почти часом раньше их, и они станут ждать меня до полуночи в одной развалившейся хижине, на расстоянии ружейного выстрела от деревни. Если же в полночь не ворочусь, это значит, что я в плену или убит, и в таком случае команда пойдет прямо в «Зеленый Эрин», чтобы выручить меня или отомстить за мою смерть.

Ничто, кроме опасности, которую мне представляли, не могло бы возвысить в глазах моих возложенной на меня должности. Она была прилична шакалу, а не льву; я это очень чувствовал и потому был как бы сам не свой; но как скоро жизнь моя подвергалась опасности, как скоро могла быть борьба, так могла быть и победа, а победа всегда облагораживает: это талисман, который превращает свинец в золото.

В это время в Плимуте пробило восемь часов; я мог поспеть в Вальсмоут часа через полтора, а товарищи мои — часа через два. Я простился с ними; Борк, смягчая, сколько можно, свой грубый голос, пожелал мне успеха, и я пустился в путь.

Тогда была осень; погода стояла холодная и пасмурная;

облака, подобно безмолвным волнам, плыли в нескольких футах над моей головою, порывистый ветер вдруг налетал и также скоро падал, сгибая деревья и срывая с них последние листья, которые били меня по лицу. Луна, не выглядывая, разливала сквозь облака какой-то сероватый, болезненный свет, по временам начинал лить дождь, потом превращался в изморозь и снова шел ливнем; пройдя мили две, я вспотел и между тем продрог. Однако я продолжал идти или, лучше сказать, бежать, посреди этого мрачного безмолвия, которое нарушалось только стонами земли и слезами неба. Во всю жизнь мою я не видывал ночи печальнее этой.

Мрачная ночь и то, что меня ожидало, до такой степени занимали мои мысли, что я шел полтора часа, ни на минуту не замедляя шага, и между тем нисколько не устал; наконец я увидел огни в Вальсмоуте. Я остановился, чтобы немножко осмотреться; мне надобно было пройти в таверну Джемми прямо, не спрашивая. Расспросы тотчас возбудили бы подозрения, потому что нет матроса, который бы не знал этой таверны. Но так как с того места, где я остановился, видна была только куча домов, то я решился войти в деревню, надеясь, что как-нибудь угадаю. И точно, войдя в первую улицу, я тотчас увидел на другом конце ее фонарь, который, как говорили мне товарищи, висит у дверей таверны. Я пошел прямо туда, вспомнив пословицу, что смелость города берет.

Кабак Джемми по крайней мере не старался обманывать честного народа почтенной наружностью: то был настоящий разбойничий притон; дверь была, как в тюрьме, узенькая и низкая; вверху отверстие, которое в тавернах называется обыкновенно «шпионским окном», потому что, действительно, хозяин смотрит из этой форточки, кто к нему пришел. Я стал глядеть сквозь решетку в этом окошке, но за ним был какой-то темный подвал, и только сквозь щели дверей следующей комнаты пробивался свет; по крайней мере я видел, что там кто-то есть.

— Эй, кто там? Отворите! — закричал я.

Хоть эти слова сказаны были самым грубым голосом и притом я изо всей мочи ударил в дверь кулаком, ответа не было. Подождав немножко, я опять закричал; но все напрасно.

Я отошел задом от этого странного дома, чтобы посмотреть: мне пришло в голову, что, может быть, эта

дверь сделана тут только для порядка, для симметрии, а есть где-нибудь другой вход; но окна заделаны решетками, и я принужден был воротиться к дверям. Я опять приблизился к отверстию и в этот раз остановился в нескольких дюймах от решетки: кто-то с другой стороны прижался к ней лицом и глядел на меня.

— Насилу-то! — вскричал я. — Да отворяйте же, черт вас возьми!

— Кто там? Что тебе надо? — сказал приятный голосок, какого я совсем не ожидал.

Ясно было, что это говорила молоденькая девушка.

— Тебе хочется знать, кто я таков, моя милая? — сказал я дискантом, передразнивая ее. — Я матрос, и мне придется переночевать в тюрьме, если ты, моя лебедушка, непустишь меня к себе.

— С какого ты корабля?

— С «Борея», который завтра идет в море.

— Ступай сюда, — сказала она, отворив дверь так осторожно, что кроме меня мышь бы не пролезла. И потом тотчас она заперла дверь двумя замками да еще перекладиною.

Признаюсь, при звуке замков меня морозом по коже продрало. Впрочем, назад было уже нельзя; притом девушка отворила дверь, и я очутился на свету. Я окинул глазами всю комнату, и взоры мои остановились на хозяине: он был такой богатырь, что другой на моем месте струсил бы, взглянув на него.

Мистер Джемми был молодец футов в шесть, здоровый и рыжий; лицо его по временам исчезало за дымом коротенькой трубки, которую он держал в зубах; глаза сверкали и, казалось, привыкли проникать прямо в душу того, кто с ним говорит.

— Батюшка, — сказала девушка, — этот матрос просит, чтобы мы пустили его на ночь к себе.

— Кто ты? — сказал Джемми после некоторого молчания.

По его выговору тотчас можно было узнать, что он ирландец.

— Кто я? Мать моя из Лиммерика, — отвечал я на минстерском наречии, на котором говорил, как на родном своем языке. — Неужто ты, мистер Джемми, не видишь, что я ирландец?

— Да, ты точно должен быть ирландец, — сказал хозяин, вставая со стула.

— Да, уж могу похвалиться, чистый ирландец.

— Ну, так милости просим, земляк, — сказал он, подавая мне руку.

Я было хотел пожать ему огромную лапу; но он, как будто одумавшись, заложил руки за спину, и, посмотрев на меня своими дьявольскими глазами, сказал:

— Если ты ирландец, так должен быть католик?

— Разумеется, католик.

— А вот, посмотрим.

При этих словах, которые немножко меня обеспокоили, он пошел к шкафу, вынул оттуда книгу и открыл ее.

— *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*, — сказал он.

Я посмотрел на него с величайшим удивлением.

— Ну, что ж, отвечай? — сказал он. — Если ты точно католик, так должен знать мессу.

Я понял, в чем дело, а так как, будучи ребенком, я часто игрывал с мисселем мистрисс Денисон, в котором были картинки, то старался вспомнить, что тогда знал очень твердо.

— Amen, — отвечал я.

— *Introibo ad alterem Dei*, — продолжал Джемми.

— *Dei qui loetificat juventutem meam*, — отвечал я также бойко.

— *Dominus vobiscum*, — сказал мистер Джемми обращаясь ко мне.

Но я уже ничего больше не знал и не отвечал ни слова, а Джемми держал еще ключ шкафа, ожидая ответа, который должен был убедить его, что я точно ирландец.

— *Et cum Spiritu tuo*, — прошептала мне девушка.

— *Et cum Spiritu tuo!* — закричал я во все горло.

— Bravo! — сказал Джемми, — ты наш. Теперь говоря, что ты хочешь? Что тебе надобно? Спрашивай, что угодно, все будет; разумеется только, если у тебя есть деньги.

— За деньгами дело не станет, — отвечал я, побрякивая несколькими монетами, которые были у меня в кармане.

— Так ты очень кстати попал, прямо на свадьбу, — вскричал почтенный содержатель «Зеленого Эрина».

— Какую свадьбу? — спросил я с удивлением.

— Не знаешь ли Боба?

— Боба? Как не знать.

— Он ведь женится.

- Неужто?  
— Теперь и свадьба идет.  
— Да ведь он здесь не один с «Трезубца»?  
— Какой один! Семеро, любезный друг, ровно семеро, как семь смертных грехов.  
— Где ж они теперь?  
— В церкви.  
— Нельзя ли и мне туда?  
— Пожалуй, пойдем, я тебя провожу.  
— Зачем тебе беспокоиться? — сказал я, стараясь от него отделаться. — Я и один дойду.  
— Как бы не так! Через улицу что ли! Высунь-ка нос-то, так адмиральские шпионы тебя разом и за чупрун. Нет, нет, пойдем лучше со мной.  
— Так, видно, у вас здесь особый ход в церковь?  
— Не без того; у нас здесь машин не меньше, чем в Друри-Ленском театре, где в одном балете двадцать пять раз переменяют декорацию так, что мигнуть не успеешь. Пойдем.

Мистер Джемми схватил меня за руку и потащил с самым дружеским видом, но с такою силою, что если б и охота была, то я бы не мог сопротивляться. Однако ж я этому был не рад; мне не хотелось столкнуться с нашими дезертирами. Невольно я засунул руку за пазуху и взялся за свой мичманский кинжал, который на всякий случай спрятал под свою фланелевую рубашку; и будучи не в силах противиться железной руке, которая меня тащила, следовал за страшным проводником своим, намереваясь действовать по обстоятельствам, но решившись на все, потому что вся моя карьера зависела оттого, как я окончу это опасное предприятие.

Мы прошли две или три комнаты: в одной из них был приготовлен ужин, не изысканный, но сытный; потом спустились мы в какой-то подвал; Джемми, не выпуская меня из рук, шел ощупью; наконец, остановившись на минуту, он отворил дверь. Меня обдало свежим воздухом, я запнулся за ступеньки лестницы и вслед затем почувствовал, что идет дождь. Я поднял глаза: над нами было небо. Осмотревшись, я увидел, что мы на кладбище; в конце его стояла церковь, мрачная и невзрачная; два освещенных окна смотрели на нас, как два глаза. Опасность была близко. Я вытащил до половины кинжал свой и хотел идти далее, но тут Джемми остановился.

— Теперь ступай себе прямо, не бойся, не заплутаешься, — сказал он, — а я пойду готовить ужин; приходи с молодыми, я тебе прибор накрою.

Он выпустил мою руку и, не дожидаясь ответа, пошел один домой.

Вместо того чтобы идти в церковь, я остановился и мысленно благодарил Бога, что Джемми не вздумалось войти туда со мною. Между тем глаза мои уже начали привыкать к темноте, и я рассмотрел, что ограда кладбища очень не высока; следовательно, мне можно было выбраться оттуда и не проходя через церковь. Я тотчас побежал к ближайшей стене и, пользуясь ее неровностью, влез наверх; оттуда мне стоило только соскочить на другую сторону, и я очутился в какой-то узкой, пустой улице.

Мне невозможно было знать точно, где я; но я определился по ветру: всю дорогу он дул мне в лицо; стоило только повернуться к нему спиной, и я мог быть почти уверен, что не сойбьюсь с дороги. Я тотчас переменял позицию и пошел по ветру, пока не выбрался из деревни. Вышедши в поле, я увидел слева деревья, которые, подобно черным привидениям, стояли по дороге из Плимута в Вальсмоут. Развалившаяся хижина была шагах в двадцати пяти от большой дороги. Я пошел прямо туда. Команда наша была на месте.

Время было дорого. Я рассказал все, что со мною случилось. Мы разделили своих людей на два отряда и пошли в деревню скорым шагом, но не делая ни малейшего шума, так что походили скорее на выходцев из могил, чем на живых. Дойдя до конца улицы, в которой была таверна Джемми, я указал лейтенанту Борку одной рукой на фонарь «Зеленого Эрина», а другою на колокольню: луна выглянула в это время из облаков, и шпиль церкви обозначился на небе. Я спросил, который отряд лейтенант прикажет мне вести. Так как я знал местность, то он поручил мне шестерых матросов, которые должны были овладеть таверною, а сам он с девятью остальными пошел к церкви. Оба здания были почти на одинаковом расстоянии от нас, и таким образом, идя ровными шагами, мы могли произвести обе атаки в одно и то же время, что было очень важно, потому что тогда наши беглецы были бы окружены и не могли бежать.

Подойдя к дверям, я хотел было употребить прежнюю хитрость, приказал людям своим прижаться к стене и

начал кликать в отверстие двери. Я надеялся, что таким образом нам удастся войти без шума в дом; но по молчанию, которое царствовало в нем, несмотря на мой крик, я догадался, что добром нам в таверну не попасть. Я велел двоим из наших людей, которые на всякий случай взяли с собою топоры, выломать дверь. Несмотря на замки и перекладину она отлетела, и мы бросились под первый свод.

Вторая дверь тоже была заперта, и мы ее также выломали. Она была не так крепка, как первая. Мы тотчас очутились в комнате, в которой Джемми экзаменовал меня. В ней было темно. Я подошел к печи: огонь залит. У одного из наших матросов было огниво, но мы тщетно искали свечи или лампы. Я вспомнил о наружном фонаре и побежал, чтобы отцепить его: он тоже был потушен. По всему видно было, что гарнизон знает о нашем прибытии и противопоставляет нам силу бездействия, которая предвещала упорное сопротивление.

Когда я воротился, комната была уже освещена; у одного из матросов, канонира третьей бакбортной батареи, оказался фитиль, и он зажег его; но времени терять было нельзя: фитиль мог гореть лишь несколько минут; я схватил его и бросился в следующую комнату, крича: — За мной!

Мы прошли эту вторую комнату и потом ту, где приготовлен был ужин, на который наши люди бросили взор неизъяснимо выразительный; наконец мы достигли дверей подвала: фитиль уже догорал. Дверь была заперта, но завалить ее, видно, не успели, потому что, протянув руку, я обнаружил ключ. Так как я помнил дорогу, по которой с полчаса назад пробирался, то и пошел вперед, ощупывая каждую ступеньку ногою, держа руки перед собой и затаив дыхание. Идя с Джемми, я сосчитал ступеньки: их было десять. Я снова пересчитал их и, ступив на последнюю, повернул вправо; но сделав несколько шагов в подземелье, я услышал, что какой-то голос говорил мне на ухо: «Предатель!» В это самое время мне показалось, как будто камень, отделившись от свода, упал мне прямо на голову. Искры посыпались у меня из глаз; я вскрикнул и повалился без чувств.

Очнулся я уже на своей койке и по движению корабля заметил, что мы снимаемся с якоря. Удар, полученный мною и нанесенный просто могучим кулаком моего приятеля, хозяина «Зеленого Эрина», не помешал успеху

экспедиции: лейтенант Борк вошел в ризницу в то самое время, как жених, шаферы и гости были там; их всех забрали, за исключением только одного Боба, который выскочил в окно. Впрочем, отсутствие его было восполнено, потому что лейтенант, который строго соблюдал дисциплину, не хотел уйти с неполным числом людей и, схватив одного из гостей, несмотря на его крики и сопротивление, привел вместе с другими пленными на корабль.

Бедняк, который таким неожиданным образом попал в морскую службу, был вальсмоутский цирюльник по имени Девид.

## IX

Хотя, получив удар, я уже не принимал никакого участия в окончании экспедиции, однако ж успехам ее были обязаны мне. Когда я открыл глаза, добрый наш капитан стоял у моей койки; он пришел проведать меня. Я чувствовал только некоторую тяжесть в голове, и потому сказал, что через четверть часа буду на палубе и в тот же день надеюсь вступить в отправление своей должности.

Как скоро капитан ушел, я соскочил с койки и начал одеваться. От кулака Джемми у меня остался только один след: кровь в глазах. Если б у меня не было такого крепкого черепа, то он, верно, убил бы меня, как быка.

Мы точно готовились к походу. Якорь подымали, и корабль начинал поворачиваться справа к ветру. Приняв эти предосторожности, капитан вверил управление фрегатом лейтенанту и вошел в свою каюту прочесть предписание, которое ему велено было вскрыть только тогда, как корабль поднимает паруса.

Тут на корабле было несколько минут бездействия, и все мои товарищи, пользуясь этим, собрались вокруг меня, хвалили меня за нашу удачную экспедицию и расспрашивали, как это все было. Я принялся было рассказывать, как вдруг мы увидели лодку, которая шла от берега прямо к кораблю и делала нам разные сигналы. У одного из наших мичманов была зрительная труба, и он навел ее на лодку.

— Черт меня возьми, если это не Боб-Дельфин! — вскричал он.

— Вот чудак-то, — сказал один матрос. — Бежит,



когда его ловят, и возвращается, когда о нем уже и не думали.

— Видно, он уж поссорился с женою, — сказал, смеясь, другой матрос.

— Однако я бы не хотел теперь быть в его коже, — пробормотал третий.

— Смирно! — вскричал голос, которому все привыкли повиноваться. — По местам! Руль вправо! Мизань на восток! Разве вы не видите, что корабль пятится?

Приказание тотчас было исполнено, и корабль, перестав подаваться назад, остановился на несколько минут неподвижно, потом пошел вперед.

В это время закричали:

— Лодка слева!

— Спросить, что ей надо! — сказал лейтенант, которого ничто не могло заставить отступить от принятого порядка.

— Эй, на лодке!.. Что тебе надо? — закричал матрос.

И, выслушав ответ, матрос продолжал, обращаясь к лейтенанту:

— Это Боб-Дельфин, ваше благородие: погулял на земле и теперь просится на корабль.

— Кинуть этому негодяю веревку и свести его в тюремную яму, — сказал лейтенант, даже не посмотрев в ту сторону.

Приказание было в точности исполнено, и через минуту над обшивкою бакборта явилась голова Боба, который, оправдывая свое прозвище, данное товарищами, пыхтел изо всей мочи.

— Ну-ну, лезь, что ли, старый кит! — сказал я, подходя к нему. — Лучше поздно, чем никогда; просидишь с неделю в тюрьме на хлебе и на воде, и дело с концом.

— Ничто, ваше благородие, поделом; и если только это, так еще куда ни шло. Но мне бы хотелось прежде поговорить с лейтенантом.

— Сведите его к лейтенанту, — сказал я двум матросам, которые уже схватили своего товарища.

Борк с рупором в руках прохаживался по шканцам и продолжал распоряжаться работами, когда виновный подошел к нему. Лейтенант остановился и посмотрел на него строгими глазами, которые, как матросы знали, выражали волю непреклонную.

— Что тебе надобно? — спросил он.

— Ваше благородие, я знаю, что я виноват, и за себя

не прошу, — сказал Боб, повертывая в руках свой синий колпак.

— Умно! — отвечал Борк с улыбкою, которая показывала совсем не веселость.

— Зато уж, ваше благородие, я бы, может, и никогда не воротился, да вспомнил, что здесь другой за меня расплачивается. Тут я смекнул: — нет, мол, брат Боб, так не годится; ты будешь мерзавец, если не вернешься на корабль. Я и воротился, ваше благородие.

— Ну?

— Ну, ваше благородие, теперь я здесь; есть кому работать, есть кого и бить, другого вам вместо меня не нужно, отпустите Девида к хозяйке, к малым детушкам; они вон там стоят на берегу да плачут, сердечные... Извольте посмотреть сами, ваше благородие.

И он указал на несколько человек, которые стояли на самом берегу.

— Кто позволил этому негодяю подойти ко мне? — спросил Борк.

— Я, лейтенант, — отвечал я.

— На сутки под арест, сэр, чтобы вы вперед не в свое дело не мешались.

Я поклонился и сделал шаг назад.

— Нехорошо, ваше благородие, — сказал Боб твердым голосом, — нехорошо изволите делать, и если с Деvidом что-нибудь случится, грех будет на вашей душе.

— В тюрьму этого мерзавца, в кандалы! — закричал лейтенант.

Боба увели. Я пошел по одному трапу, он по другому. Однако ж в кубрике мы встретились.

— Вы за меня наказаны: извините, ваше благородие; я вам за это заслужу в другой раз.

— Э, это ничего, любезный друг! Только ты потерпи, побереги свою кожу.

— Я-то готов терпеть, ваше благородие, да мне жаль бедняка Девида.

Матросы повели Боба в тюрьму, а я пошел в свою каюту.

На следующее утро матрос, который мне прислуживал, затворив осторожно дверь, подошел ко мне с таинственным видом.

— Ваше благородие, позвольте мне сказать вам словечка два от Боба.

— Говори.

— Вот, извольте видеть, ваше благородие, Боб говорит, что его и других беглецов, конечно, нельзя не наказывать: да, дескать, за что же наказывают Девида, который не виноват ни душою, ни телом.

— Он правду говорит.

— Когда так, ваше благородие, то не потрудитесь ли, дескать, вы сказать словечка два капитану? Он у нас отец-командир и без толку наказывать не охотник.

— Я сегодня же поговорю с ним; ты можешь сказать это Бобу.

— Покорнейше благодарим, ваше благородие.

Тогда было семь часов утра. В одиннадцать арест мой кончился, и я пошел к капитану. Говоря как будто от себя, я сказал ему, что несправедливо держать бедного цирюльника вместе с другими в тюрьме, когда он ни в чем не виноват. Капитан тотчас приказал его выпустить. Я хотел было идти, но он пригласил меня на чай. Добрый Стенбау знал, что я был безвинно наказан, и хотел дать мне почувствовать, что он не может отменить распоряжения лейтенанта, потому что это было бы нарушением дисциплины, но не одобряет его. После чаю я пошел на палубу. Люди наши собрались в кружок около какого-то человека, которого я не знал: это был Девид.

Несчастный стоял, держась за веревку; другая рука его висела вдоль тела; взоры его были устремлены на землю, которая уже виднелась на горизонте, как легкий туман, и крупные слезы катились по щекам его.

Таково могущество глубокого, искреннего горя, что все эти морские волки, которые свыклись с опасностями, пригляделись к крови и смерти, и из которых во время кораблекружения или битвы, может быть, ни один бы не оглянулся, услышав смертный крик своего лучшего товарища, стояли теперь с печальными лицами вокруг этого бедняка, между тем как он плакал о родине и своем семействе. Девид не видал ничего, кроме земли, которая постепенно исчезала, и по мере того как она делалась менее явственною, на лице его изображалась невыразимая горьость; наконец, когда земля совсем уже скрылась, он отер глаза, как будто думая, что слезы мешают ему видеть, потом, протянув руки к этой исчезнувшей земле, зарыдал, опрокинулся назад и лишился чувств.

— Что там такое? — спросил лейтенант Борк, проходя мимо.

Матросы почтительно отстранились, и он увидел Девида, который лежал пластом.

— Что он умер, что ли? — спросил Борк, немножко хладнокровнее того, как если бы дело шло о Барбосе, поваровой собаке.

— Никак нет, ваше благородие, — сказал один матрос, — его только обморокшиб.

— Вылейте ему ведро воды на голову, он и очнется.

К счастью, в это время пришел лекарь и отменил рецепт лейтенанта; а один матрос, строгий исполнитель его приказаний, уже нес, было, ведро воды.

Доктор велел перенести Девида на койку, и так как тот все еще не приходил в себя, то он пустил ему кровь.

В это время фрегат шел с попутным ветром; мы уже оставили все острова и вступили на всех парусах в Атлантический океан; так что когда на третий день Девид выздоровев физически, вышел на палубу, видно было уже только небо да море.

Между тем дело наших беглецов, по доброте капитана, приняло не столь страшный оборот. Все они показали, что непременно хотели воротиться ночью на фрегат, но что желание побывать на свадьбе товарища превозмогло в них страх наказания. В доказательство они представили то, что отделись в руки команды без малейшего сопротивления, и что Боб, который убежал, чтобы воспользоваться правами женатого, на другой же день явился добровольно. Поэтому присуждено было продержать их неделю в тюремной яме на хлебе и на воде и дать им по двадцати ударов. В этот раз жаловаться им было не на что: наказание было не только не слишком велико, но даже не соразмерно вине. Впрочем, так у нас всегда бывало, когда дело решал сам капитан.

Наступил четверг; четверг, день страшный для дурных матросов британского флота, потому что он назначен для наказаний. В восемь часов утра, когда обыкновенно производилась расправа за всю неделю, матросам роздали оружие, офицеры сделали развод и поставили людей по обоим бортам; потом вывели виновных; за ними шел каптенармус с двумя своими помощниками; и, к удивлению большей части присутствовавших, между виновными был и Девид.

— Господин лейтенант, — сказал капитан Стенбау, как скоро узнал несчастного циркульника. — С этим

человеком нельзя поступать как с дезертиром; он еще не был матросом, когда вы его взяли.

— Да я и наказываю его не за побег, господин капитан, а за пьянство. Вчера он пришел на палубу пьяный до того, что не стоял на ногах.

— Ваше высокоблагородие, — сказал Девид, — поверьте, я не для того говорю, чтобы избавиться от каких-нибудь десяти — двенадцати ударов; у меня такое горе, что мне все равно, станут меня бить или нет; но я говорю потому, что это правда: клянусь вам Богом, капитан, с тех пор, как я на корабле, у меня не было во рту капли джина, вина или рома; извольте спросить всех матросов; они сами вам скажут, что я всякий раз отдавал им свою порцию.

— Правда, правда, — сказали несколько голосов.

— Молчать! — закричал лейтенант; потом, обращаясь к Девиду, прибавил: — Если это правда, так отчего же ты вчера не стоял на ногах?

— Качка высока, а у меня была морская болезнь, — отвечал Девид.

— Морская болезнь! — повторил лейтенант, пожав плечами. — Я ведь сделал тебе обыкновенное испытание, велел пройти по обшивке: ты с двух шагов свалился.

— Да ведь я не привык ходить на корабле, — отвечал Девид.

— Говорят тебе, ты был пьян! — закричал лейтенант таким голосом, что отвечать после этого было невозможно. — Впрочем, — прибавил он, оборотившись немножко к Стенбау, — капитан, если ему угодно, может простить тебя, но тогда я уже не отвечаю за дисциплину.

— Наказать и его! — сказал капитан.

Капитан не мог поступить иначе, так как избавляя Девида от наказания, он обвинил бы лейтенанта.

После этого никто не посмел сказать ни слова; сержант прочел вслух сентацию, экзекуция началась.

Матросы, привыкшие к этому наказанию, вытерпели его более или менее мужественно. Боб был предпоследним: когда очередь дошла до него, он открыл рот, как будто что хотел сказать, но, подумав немного, кивнул головою, давая знать, что отложил это до другого времени.

После двадцатого удара Боб встал. Видно было, что он хочет говорить, и все замолчали.

— Вот о чем я хотел попросить, ваше высокоблагородие, — сказал Боб, обращаясь к Стенбау; — теперь, как

уж я здесь, прикажите меня еще раз высечь, вместо Девиды.

— Что ты это, Боб? — вскричал цирульник.

— Не твоя речь, молчи, — отвечал Боб с досадою. — Я буду говорить. Не наше матросское дело, ваше высокоблагородие, судить, виноват он или нет; только я говорю, что если ему зададут двадцать ударов таких, как мне ввалили, то он и ноги протянет, жена его останется вдовою, а дети сиротами.

Боб сошел, не говоря более ни слова, и Девид взошел на его место.

Плеть поднялась, упала, и девять ремней ее отпечатались синяками на плечах несчастного; раздался второй удар, и девять других полос перекрестились с первыми; при третьем ударе кровь выступила каплями; при четвертом...

— Довольно! — сказал капитан.

Мы вздохнули, потому что все груди были стеснены. Девиду развязали руки; хоть он ни разу не вскрикнул, однако ж был бледен, как умирающий, и, обращаясь к капитану, сказал:

— Дай Бог вам здоровья, капитан, я не забуду ни милости, ни мщенья.

— Не забывай только своих обязанностей, — сказал капитан.

— Я не матрос, — отвечал Девид глухим голосом: — я муж и отец; Бог простит меня, что я не исполняю теперь обязанностей мужа и отца; не моя вина.

— Отведите наказанных в трюм и скажите доктору, чтобы он осмотрел их.

Боб подал руку Девиду.

— Спасибо, любезный друг, я и один сойду, — сказал Девид.

## Х

Часа через два после этого я сошел в кубрик. Девид сидел на своей койке. У него была горячка. Я подошел к нему.

— Ну, что, брат Девид, каково тебе?

— Хорошо! — сказал он отрывисто и не оборачиваясь ко мне.

— Ты не знаешь, с кем говоришь. Я Девис.

Девид обернулся.

— Мистер Девис, — сказал он, поднимаясь на одной руке и устремив на меня взгляд, который блистал лихорадочною, — мистер Девис, если вы точно мистер Девис, вы мой благодетель. Боб сказывал мне, что вы просили капитана выпустить меня из тюрьмы. Без вас я бы вышел оттуда не прежде других, и мне не привелось бы в последний раз взглянуть на Англию... Воздай вам Господь за это!

— Полно отчаиваться, брат Девид, ты еще будешь в Англии и по-прежнему заживешь с женой и детьми. Капитан наш человек прекрасный; он обещал мне, что отпустит тебя, как скоро мы воротимся.

— Да, прекрасный человек! — сказал Девид с досадою. — А позволил этому злодею лейтенанту бить меня, как собаку... А ведь капитан-то знал наверное, что я ни в чем не виноват.

— Он не мог совсем избавить тебя от наказания, любезный друг; в службе старший всегда прав; это первое правило дисциплины.

Видя, что мои слова не успокаивают, а, напротив, только раздражают его, я подозвал Боба, который сидел на свернутом канате и потягивал водку, данную для примочки. Я велел ему потолковать с Девидом, а сам пошел на палубу.

Там все было так спокойно, как будто ничего чрезвычайного не происходило: даже воспоминание о сцене, которую я описал, изгладилось из всех умов, как след корабля в ста футах от кормы. Погода была прекрасная, ветер свежий, и мы шли по восьми узлов в час. Капитан мерными шагами, прохаживался по шканцам; видно было, что его что-то тревожит. Я остановился на почтительном расстоянии от него; он раза два или три подходил ко мне и опять возвращался; наконец, поднял голову и заметил меня.

— Ну, что? — сказал он.

— У него горячка с бредом, — сказал я, чтобы в случае, если Девид будет делать какие-нибудь угрозы, их приписали его болезни.

Мы ходили несколько времени рядом, не глядя друг на друга; потом, помолчав несколько минут, капитан, чтобы переменить разговор, вдруг сказал:

— Как вы думаете, мистер Девис, на какой мы высоте теперь?

— Да, я думаю, почти на высоте мыса Мондего, — сказал я.

— Точно так; для новичка это очень много. Завтра мы обогнем мыс Сант-Винсенто, и если вон это облачко, похожее на лежащего льва, не подшутит над нами, так послезавтра вечером мы будем в Гибралтаре.

Я взглянул на ту часть горизонта, куда капитан указывал. Облако, о котором он говорил, образовало бледное пятно на небе; но я в то время был еще очень несведущим и не умел вывести никакого заключения из этого предзнаменования. Я заботился только о том, куда мы пойдем, когда исполним данное нам поручение. Я слышал как-то, что наш корабль прикомандирован к эскадре в Леванте, и это меня очень радовало. Я опять завел разговор со Стенбау.

— Позвольте вас спросить, капитан, долго ли вы думаете пробить в Гибралтаре?

— Я и сам не знаю, любезный друг. Мы будем ждать там приказаний от адмиралтейства, — прибавил он, все посматривая на облако, которое, по-видимому, очень беспокоило его.

Я подождал несколько минут, думая, не начнет ли он снова говорить; но капитан все молчал; я поклонился и пошел. Он дал мне сделать несколько шагов; потом кивнул головою, чтобы я вернулся.

— Послушайте, мистер Девис, велите принести из моего погреба несколько бутылок хорошего бордо и дайте Девиду.

Это меня так тронуло, что я схватил руку капитана и чуть не поцеловал. Он, улыбаясь, вырвал ее.

— Позаботьтесь об этом несчастном, мой любезный. Что бы вы ни сделали, я на все согласен.

Уходя от него, я, признаюсь, прежде всего взглянул на облако. Оно изменило свою форму и походило на огромного орла с распущенными крыльями; потом одно из крыльев растянулось от юга к западу и покрыло весь горизонт черною полосой. Между тем на корабле все было по-прежнему. Матросы играли или толковали между собою на носу. Капитан все ходил по шканцам; лейтенант сидел, или, лучше сказать, лежал на лафете каронады; вахтенный стоял на брам-стенге, а Боб, опершись на обшивку правого борта, как будто с величайшим вниманием следил глазами за пеною у боков корабля. Я сел подле него и, видя, что он болес и более углубляется в свое интересное занятие, начал насвистывать старинную ирландскую песню, которою мистрисс Денисон убаюкива-



ла меня, когда я был ребенком. Несколько минут Боб слушал молча; но потом, обернувшись ко мне, снял свой синий колпак и начал поворачивать его в руках. Заметно было, что он хочет, но еще не решается сделать мне не совсем почтительное замечание.

— Я слышал, старики говорили, ваше благородие, — сказал он, наконец, — что не гоже призывать ветер, когда его такой груз на горизонте.

— То есть, — отвечал я, смеясь, — песня моя тебе не нравится, и тебе хочется, чтобы я перестал?

— Не мне учить ваше благородие, напротив, я готов всегда делать, что вы прикажете: я никогда не забуду, что вы сделали для бедного Девида, но, право, сударь, лучше не будить ветра, пока он спит. Ветерок дует береговой и таки порядочный, северо-восточный, а доброму фрегату больше ничего и не нужно.

— Но, любезный Боб, — сказал я, чтобы заставить его разговариваться, — отчего же ты думаешь, что погода должна перемениться? Сколько я ни смотрю, я вижу только эту темную полосу. Небо везде чисто и ясно.

— Мистер Джон, — сказал Боб, — читать божию книгу в облаках наш брат моряк всю жизнь учится.

— Да, я тоже вижу, что там что-то затевается, — сказал я, посмотрев снова на горизонт, — но я не думаю, чтобы тут была опасность.

— Мистер Джон, — сказал Боб с таким видом, что я невольно задумался, — кто купит это облако за простой шквал, тот получит сто на сто барыша. Это буря, ваше благородие, страшная буря.

— А мне все кажется, что это только шквал, — сказал я, радуясь случаю научиться от этого опытного моряка предугадывать погоду.

— Оттого, что вы не смотрите на другую сторону неба и судите односторонне. Повернитесь-ка к востоку, мистер Джон; я еще не глядел туда, но чтоб мне не сойти с места, если там нет чего-нибудь!

Я оглянулся, и точно, увидел гряду облаков, которые, как острова, подымались из моря и выказывали из-за горизонта свои беловатые верхушки. Теперь и я видел ясно, что мы попали между двух бурь. Но, покуда буря еще не разыгралась, делать было нечего, и потому все продолжали свои занятия: кто играл, кто прохаживался, кто разговаривал. Мало-помалу береговой ветер, с которым корабль шел, начал дуть неровно, стало темнеть,

море из зеленоватого сделалось серым и вдали загрохотал гром. При этом случае на океане все умолкает: разговоры в ту же минуту прекратились, и мы слышали шелест верхних парусов, которые начинали полоскаться.

— Эй, вахтенный, — закричал капитан, — есть ли береговой ветер?

— Есть еще, капитан, но только порывами, и всякий порыв слабее и теплее прежнего.

— Пошел вниз! — приказал капитан.

Матрос поспешно спустился по снастям и стал на свое место. Он заметно был рад не оставаться долее наверху. Капитан снова начал прохаживаться, и на корабле воцарилось прежнее безмолвие.

— Видно, вахтенный ошибся, — сказал я Бобу, — видишь, паруса снова наполняются, и фрегат пошел.

— Это последние вздохи берегового ветра, ваше благородие, — отвечал Боб. — Еще раз два, три и баста.

И точно, корабль прошел еще с четверть мили; потом ветер совершенно упал, и фрегат тяжело двигался, оттого что волны его качали.

— Все наверх! — закричал капитан.

В ту же минуту изо всех отверстий корабля появились ослепленные люди, и всякий ожидал приказаний.

— Ого! — пробормотал Боб. — Капитан заранее принимается. Я думаю, мы еще с полчаса не узнаем, с которой стороны ветру вздумается налететь.

— Смотри, он разбудил даже и лейтенанта Борка; и тот встает, — сказал я.

— Лейтенант и не думал спать, ваше благородие.

— Да посмотри, как он зевает.

— Зевают не всегда оттого, что спать хочется, мистер Джон, спросите хоть у доктора.

— Так отчего же?

— Видно, на сердце тяжело. Посмотрите-ка на нашего молодца-капитана; тот, небось, зевать не станет... А сего-то благородие... видите, платком утирается... знать, пот прошиб. Что бы ему палку взять? Вишь, пошатывается... а, кажись, ходить мастер!

— Что же ты думаешь, Боб?

— Ничего, ваше благородие, я так просто болтаю.

Борк подошел к капитану и поговорил с ним.

— Смирно! — закричал капитан.

При этом слове, произнесенном посреди глубокого молчания звучным, сильным голосом, весь экипаж

вздрогнул. Окинув зорким взглядом весь корабль, капитан продолжал:

— Цепь громового отвода в воду! Налить ведра и пожарную трубу! Высыпать порох из затравок! Закрывать люки и порты! Чтоб нигде не было сквозного ветра!

В это время снова раздался гром ближе прежнего и долго грооохотал, как будто молния сердилась, что против нес принимают предосторожности. Через несколько минут все приказания были исполнены, и всякий снова стал на свое место.

Между тем море совершенно стихло. Не было ни малейшего ветерка; паруса печально висели; медно-желтое небо как будто все опускалось и ложилось на наши мачты. Малейшие наши движения страшно раздавались посреди мертвой тишины, которая только по временам прерывалась грохотом грома; но ничего еще не показывало, откуда набежит ветер. Точно буря еще не решалась начать разрушения. Наконец, легкие вихри, которые наши матросы зовут кошачьими лапами, налетая с востока, начали местами рябить поверхность моря и шуметь в парусах. На востоке, между морем и облаками, появилась светлая полоса, как бы занавес поднялся, чтобы пропустить ветер; раздался ужасный шум, словно выходящий из недр океана; поверхность его взволновалась и покрылась пеною, как будто ее взрывали огромным плугом; потом род прозрачного тумана налетел с востока. То была, наконец, буря.

— Радуйтесь, ребята! — закричал капитан. — Ветер с суши, и мы набегаемся вдоволь, не наткнувшись на скалу... Руль по ветру!.. Пусть-ка буря за нами погонится.

Корабль, стоявший неподвижно, был в очень благоприятном положении для этой перемены позиции. Приказание тотчас исполнено, и руль положен на ветер. Корабль, послушный, как хорошо выезженная лошадь, тотчас повиновался воле рулевого. Два раза большие его мачты нагибались к горизонту, так что концы реев окунулись в воду, и два раза красиво поднимались. Наконец, паруса приняли ветер перпендикулярно, или под прямым углом, и фрегат понесся по волнам, как кубарь под хлыстом школьника, опережая волны, которые, казалось, гнались за ним, и, не догнав, позади его разбивались.

— Ничто! — пробормотал Боб, как бы разговаривая сам с собою. — «Трезубец» ходок знатный, не тотчас его обгонишь, а капитан знает его, как кормилица своего

ребенка. — Поучитесь у него, мистер Джон, — прибавил он, оборачиваясь ко мне: — только поторопитесь, потому что урок будет не длинен. Мне сдается, что буря еще не совсем разыгралась. Как вы думаете, сколько узлов ветер делает в секунду?

— Да я думаю, двадцать пять или тридцать.

— Bravo! — вскричал Боб. — Знатно для человека, который только две недели назад познакомился с морем; но он все летит скорее и скорее и как раз начнет опережать нас.

— Ну что ж, мы поставим еще парусов.

— Гм! Мы уже несем столько, сколько можно; дерево ведь глупо, на него нечего полагаться. Посмотрите-ка, крьюсель гнется, как прутик.

— Спустить малый стоксель и лисель мизань-мачты! — закричал капитан голосом, который раздавался громче бури.

Команда была исполнена в ту же минуту и с такою же точностью, как если бы корабль спокойно шел по десяти узлов в час, и скорость «Трезубца» еще усилилась. Но так как новые паруса накренили его вперед, то он сначала погрузился носом в горы, которые рассекал, подобно Левиафану, и все люди, стоявшие на передней части, несколько секунд были по пояс в воде. Но фрегат тотчас поднялся, и как добрый конь, споткнувшись, сердится и трясет гривой, так и он понесся еще быстрее.

Вопреки предсказаниям Боба корабль с час шел таким образом и ни одна веревочка не порвалась; между тем буря все усиливалась; наконец, дошла до того, что волны начали обливаться фрегат, и один вал, огромный, как слон, поддал с кормы и пронесся по деку. В то же самое время тучи, как будто подпираемые верхушками мачт, раздёрнулись и над ними показалось небо, пылающее, как кратер вулкана; раздался гром, будто пушечный выстрел; огненная змейка пробежала по гроту и скользнула вдоль проводника в море.

После этого взрыва воцарилось на минуту ужасное безмолвие, и буря, как бы истощенная страшным усилием, казалась, притихла. Капитан воспользовался этой минутой тишины, когда пламя факела поднималось перпендикулярно, и посреди всеобщего оцепенения голос его раздался снова:

— К гроту, ребята! Паруса обстенить, все до одного, до последнего лоскутка, с кормы до носу. На гитовы! Марсы

долой! Лейтенант, марсы на гитовы! Руби чего не развяжешь!

Невозможно описать впечатление, которое произвел на приунывший экипаж этот голос, казавшийся голосом царя морей. Мы все бросились на работу, влезая на мачты и чуть не задыхаясь от серного запаха, который молния по себе оставила. Пять из шести парусов мигом свились и спустились, как облака. Мы с Джемсом встретились на грот-марсе.

— Ага, это вы, мистер Джон! Я думал, что мы станем продолжать наше путешествие в хорошую погоду.

— Не угодно ли, я вас повожу по снастям, как вы водили меня по подводной части? — сказал я, смеясь. — Вон там на крьюселе негодяй парус забыл спуститься, а не худо бы его закрепить.

— Буря и без нас с ним справится, мистер Джон. Спустимся лучше поскорее на дек.

— Все на дек! — закричал капитан. — Только один кто-нибудь сорви парус грот-бром-стенги. Пошел вниз! Живо!

Матросы с радостью повиновались, и все мигом спустились по снастям: я один остался на грот-марсе и тотчас полез по вантам, чтобы добраться до крьюселя, но я еще не достиг цели, как налетел шквал. Парус над моей головою надулся, как шар, и мог в минуту сломать мачту. Я бросился как только можно было скорее посреди такой сумятицы; уцепившись одной рукой за крьюсель, я выхватил другою кинжал и принялся пилить толстую веревку, которою был привязан угол паруса. Не скоро бы я это кончил, если б ветер сам не помог мне. Я не успел перепилить и трети веревки, как она оборвалась; другая тоже не удержалась; парус, удерживаемый только сверху, развеялся надо мной, как саван; потом раздался треск, и парус унесся, как облако, в бездну небесную. В ту же самую минуту корабль страшно вздрогнул, и мне послышался голос Стенбау, раздававшийся громче бури; он кликнул меня по имени. Огромная волна поддала в корабль с борту; я почувствовал, что он ложится на бок, как раненый зверь; я изо всей силы уцепился за ванты; мачты накренились к морю; я увидел, как бушует оно прямо подо мною. Голова у меня закружилась; мне чудилось, что бездонная пропасть проревела мое имя. Я смекнул, что ног и рук моих не довольно, чтобы удержаться, ухватился за веревку зубами, закрыл глаза и только ждал, что меня обдаст смертельным холодом воды.

Однако ж я ошибся. «Трезубец» был не такой корабль, чтоб поддаться с первого раза; я чувствовал, что он подымается, открыл глаза и приметил под собою дек и матросов. Мне только это и нужно было; я схватился за веревку и мигом очутился на шканцах между капитаном Стенбау и лейтенантом Борком, когда все уже думали, что я погиб.

Капитан пожал мне руку, и опасность, которой я подвергался, была забыта. Что касается Борка, то он только поклонился мне и даже не сказал ни слова.

Быстрота ветра принудила Стенбау лечь в дрейф, вместо того чтобы нестись вперед все далее от земли; для этого надобно было поворотить оверштаг и подставить буре корму. При этой перемене положения вал поддал нам с борту и принудил меня описать по воздуху красивую кривую линию, за которую капитан пожал мне руку.

Стенбау не терял времени. Вместо больших парусов, покрывающих весь корабль, он велел распустить только три малых. При этом мы не подставляли борта ветру, и валы не могли поддавать. Маневр заслужил полное одобрение Боба, и он, похвалив меня за мое отважное путешествие по воздуху, принялся толковать мне, в чем дело. По его мнению, буря уже почти прошла, и ветер скоро должен был перескочить с юго-востока на северо-восток. В таком случае стоит только поднять большие паруса, и мы тотчас вознаградим потерянное время.

Вышло точно так, как Боб говорил. Буря утихала, хоть волны еще страшно бушевали; к вечеру ветер подул с западо-северо-запада; мы мужественно приняли его правым бортом, и на другое утро шли тем же путем, с которого вчерашняя буря нас сбила.

В тот же вечер Лиссабон был у нас в виду, а на третий день, проснувшись рано утром, мы увидели вместе берега Европы и Африки. Вид этих берегов, столь близких один от другого, был восхитителен: с обеих сторон возвышаются покрытые снегом горы, а на испанском берегу стоят местами мавританские города, которые как будто не принадлежат к Европе, а к Африке, и некогда перескочили через пролив, оставив противоположный берег пустым. Весь экипаж вышел на палубу полюбоваться этим великолепным зрелищем. Я искал между матросами бедняка Девида, о котором в последние дни совсем забыл: один он, ко всему нечувствительный, не выходил наверх.

Часа через три после того мы бросили якорь под

пушками Гибралтара, салютовали двадцатью одним выстрелом, и форт вежливо отвечал нам тем же числом.

## XI

Гибралтар не город; это крепость, в которой строгая воинская дисциплина простирается на всех жителей. Зато он важен только как военный пост; в этом отношении Гибралтар всем известен, и я не стану о нем говорить.

Высадив нового губернатора, мы должны были дожидаться на рейде приказаний от правительства. По обыкновенной своей доброте капитан Стенбау, чтобы нам не так скучно было, позволял всякий день половине экипажа сходить на берег; мы скоро познакомились с несколькими офицерами гибралтарского гарнизона, а они представили нас в домах, в которые были вхожими. Эти посещения, прекрасная библиотека, принадлежащая крепости, и прогулки верхом по окрестностям города составляли все наши забавы.

Я очень подружился с Джемсом; мы везде бывали вместе, и так как у него кроме жалованья ничего не было, то я всегда принимал на свой счет большую часть издержек, которые мы вместе делали, но так, чтобы он не мог этим обидеться. Так, например, я нанял на все время нашей стоянки двух прекрасных арабских коней и, разумеется, Джемс, пользуясь этой расточительностью, ездил на одном из них.

При одной из таких поездок мы увидели орла, который спустился на палую лошадь и, не во гнев знатокам этой благородной птицы, пожирал падалицу с такою жадностью, что подпустил меня к себе на сто шагов. Я часто видывал, как наши мужики били зайцев в логовище: они ходили около зверька, все более сужая круг, и, наконец, убивали его палкой по голове. Царь птиц сидел так неподвижно, что я вздумал попробовать то же средство. У меня были в карманах превосходные маленькие пистолеты; я вынул один из них, взвел курок и начал скакать вокруг орла, во всю прыть моего коня; а Джемс стоял на месте, посматривал на этот опыт и сомнительно покачивал головою. Точно ли это кружение производит на животное такое действие, что оно не может сойти с места, или орел в припадке обжорства до того наклевался, что ему трудно было подняться, только, как бы то ни было, он подпустил

меня к себе на каких-нибудь двадцать пять шагов; тут я вдруг остановил лошадь и приготовился выстрелить: видя, что жизнь его в опасности, орел хотел было полететь, но еще не успел подняться, как я уже выстрелил и перебил ему крыло.

Мы оба с Джемсом вскрикнули от радости и соскочили с лошадей, чтобы взять свою добычу; но это было нелегко; раненый приготовился к обороне и, казалось, решил дорого продать свою свободу. Убить его было бы нетрудно, но нам хотелось взять его живым, чтобы свезти на корабль, и мы повели правильную атаку.

Я ничего не видал прекраснее этого царя пернатых, когда он с гордым видом посматривал на наши приготовления. Сначала мы было хотели схватить его поперек тела, загнуть голову под крыло и унести, как курицу; но два или три удара клювом, из которых один сделал Джемсу на руке довольно глубокую рану, заставили нас отказаться от этого средства. Мы попробовали другой способ: взяли свои платки; одним я замотал ему голову, другим Джемс спутал ноги; потом мы подвязали крыло, закутали орла, как мумию, привязали в тороки и, гордясь своей добычей, возвратились в Гибралтар. Баркас ждал нас в порту и с торжеством повез на корабль.

Приближаясь к кораблю, мы показали сигналами, что везем нечто необычайное, и потому все оставшиеся на корабле ждали нас у трапа. Прежде всего мы позвали фельдшера, чтобы отрезать крыло; но так как закутанного орла трудно было отличить от индейки, то наш помощник эскулапов объявил, что это не его дело, а повара. Позвали повара, и тот в минуту отнял раненое крыло. Потом мы распутали орлу ноги, раскутали голову и весь экипаж вскрикнул от удивления при виде благородного пленника. С позволения капитана мы отвели ему место на корабле, и в неделю наш Никк сделался ручным, как попугай.

В Плимуте я доказал свою сметливость, управляя экспедициею в Вальсмоут; во время бури доказал я свою неустрашимость, срезав парус крьюсель; теперь доказал я свою ловкость, подстрелив из пистолета орла. Зато с этих пор на меня уже смотрели на «Трезубце» не как на новичка, а как на настоящего моряка.

Стенбау обращался со мною совершенно дружески, сколько можно было, чтобы не обидеть моих товарищей; зато Борк, кажется, более и более меня ненавидел.



Впрочем, это было общее несчастье всех моих молодых товарищей и других офицеров, принадлежавших, подобно мне, к аристократии. Делать было нечего и я, так же как они, не обращал на это большого внимания. Я исполнял свои обязанности с величайшею точностью, во время нашей стоянки не доставил лейтенанту ни одного случая наказать меня, и потому он, при всем желании, принужден был отложить это до другого времени.

Мы уже стояли в Гибралтаре около месяца, ожидая предписаний адмиралтейства; наконец, на двадцать девятый день вдали показался корабль, который маневрировал, чтобы войти в порт. Мы тотчас рассмотрели, что это сорокашестипушечный фрегат «Соулсет», и были уверены, что он везет нам предписания. Весь экипаж радовался, потому что жизнь в Гибралтаре надоела уже офицерам и матросам. Мы не ошиблись; под вечер капитан фрегата «Соулсет» привез на «Трезубец» давно желанные депеши. Стенбау сам вскрыл пакет; кроме предписаний адмиралтейства тут было много частных писем и, между прочим, одно к Девиду; капитан отдал его мне.

Во все двадцать девять дней, которые мы провели в Гибралтаре, Девид ни разу не ездил на берег: он все оставался на корабле, мрачный и безмолвный; но между тем исполнял свои обязанности с точностью и ловкостью, которые сделали бы честь настоящему матросу. Я нашел бедняка в парусном чулане; он чинил парус. Я отдал ему письмо, и он, узнав руку, тотчас его распечатал. С первых строк он страшно побледнел; дрожащие его губы посинели, потом крупные капли пота покатались по его лицу. Дочитав письмо, он сложил его и спрятал за пазуху.

— Что тебе пишут, Девид? — спросил я.

— Чего я ожидал, — отвечал он.

— Однако ж письмо, кажется, очень поразило тебя?

— Да, ведь хоть и ждал удара, от этого не меньше больно.

— Девид, — сказал я, — поверь мне свою тайну, как другу.

— Теперь никакой друг на свете мне не поможет; однако ж я все-таки благодарен вам, мистер Джон. Я никогда не забуду, что вы и капитан для меня делали.

— Не унывай, любезный друг Девид, не теряй мужества.

— Вы видите, я спокоен, — сказал он, принявшись снова зашивать парус.

И точно он казался спокойным, но это было спокойствие отчаяния и безнадежности.

Я возвратился к капитану с чувством горечи, вызванной разговором с Девидом. Он был занят изучением полученных распоряжений и разбором частной почты. Я хотел сообщить капитану свои опасения на счет Девида, но он тотчас сказал мне:

— Я сейчас обрадую вас, мистер Девис. Мы идем в Константинополь подкрепить представления, которые нашему послу, г. Эдеру, поручено сделать Блистательной Порте. Вы увидите землю «Тысячи и одной ночи», Восток, о котором вы всегда мечтали; увидите его, быть может, сквозь пороховой дым, но это, конечно, не отнимет у него поэзии. Объявите об этом экипажу и прикажите, чтобы все были готовы к выходу в море на рассвете.

Капитан угадал: ничто не могло быть для меня приятнее этой вести; она выгнала из головы моей все другие мысли. Я тотчас пошел сообщить лейтенанту приказание капитана. Со времени приключения с Девидом Стенбау почти никогда не обращался прямо к нему и обыкновенно сообщал свою волю через меня. Борк не мог не заметить этого, и еще более невзлюбил меня.

В разговоре между нами соблюдалась почтительность, диктуемая строгой дисциплиной. Я передал приказ Стенбау, он отвечал с холодною и принужденною учтивостью, и мы разошлись.

Вечером мы начали сниматься с якоря, и, так как ветер был благоприятный, ночью подняли паруса и на другой день часа в четыре пополудни уже потеряли землю из виду.

Первая вечерняя вахта, которую я стоял, сменилась, и я начинал уже раздеваться, как вдруг в кормовой части слышался шум, и раздался крик: «Резут!» Я бросился на палубу, и меня поразило ужасное, неожиданное зрелище.

Четыре матроса держали Девида, в руках у него был окровавленный нож, а первый лейтенант, сбросив мундир, показывал широкую рану в верхней части правой руки. Как ни удивительно было это происшествие, но было ясно, что Девид хотел убить Борка; к счастью, матрос, стоявший поблизости, увидел, как железо блеснуло, закричал, и лейтенант отразил удар рукою: нож, направленный ему прямо в грудь, попал в плечо. Девид замахнулся было снова, но Борк схватил его за руку; между тем подоспели матросы и связали убийцу.

Стенбау выбежал на палубу почти в одно время со мною и все это видел. Невозможно выразить горести, которая изобразилась при этом зрелище на почтенном лице доброго старика. В сердце *своем* он всегда был расположен более к Девиду, чем к Борку; но подобного поступка извинить ничем невозможно: это — настоящее преднамеренное убийство. Капитан приказал заковать преступника в кандалы и посадить в трюм; потом назначил собрание военного суда.

Ночью накануне собрания капитан прислал за мною и спросил, не знаю ли я чего особенного об этом несчастном деле? Я знал только то, что известно было и самому капитану, и потому не мог сообщить ему никаких сведений. Я предлагал сходить в трюм, чтобы выспросить, что можно, у самого Девиды; но это было противно военным законам: преступник до начала суда не мог иметь никаких сообщений с кем бы то ни было.

На другой день после чистки оружия, то есть часов в десять, военный суд собрался в кают-компани. Там поставлен был большой стол, покрытый зеленым сукном, посередине его лежала большая Библия. Судьи сели в конце стола против дверей: капитан Стенбау, два вторых лейтенанта, подшкипер и Джемс, как старший из мичманов. По сторонам стояли сержант и офицер, которому поручено было поддерживать обвинение, оба с непокрытой головою, а первый с обнаженною шпагою в руках. Как скоро судьи заняли свои места, двери растворили и впустили матросов, которые стали в оставленном для них полукружии; что касается до первого лейтенанта, то он оставался в своей каюте.

Привели преступника: он был бледен, но совершенно спокоен; все мы вздрогнули при виде этого человека, которого насильственно отторгли от жизни спокойной и счастливой, и который, как безумный, решился на преступление. По закону, конечно, он был виноват; но между тем этот человек был некоторым образом вовлечен в преступление нами самими и, несмотря на все наше соболезнование, мы могли только столкнуть его в бездну, на край которой он ступил.

Несколько минут продолжалось молчание, и такие же мысли, конечно, представлялись всем участникам этой торжественной сцены. Наконец, раздался голос капитана.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Девид Монсон, — отвечал преступник голосом тверже голоса судьи.

— Который тебе год?

— Тридцать девять лет и три месяца.

— Откуда ты родом?

— Из деревни Сальтас.

— Девид Монсон, тебя обвиняют в том, что ты в ночь с четвертого на пятое декабря пытался убить лейтенанта Борка.

— Это правда.

— Какие причины побудили тебя к этому преступлению?

— Некоторые из этих причин вы знаете, капитан, и я не стану говорить о них. А вот и другие.

При этих словах Девид вынул из-за пазухи бумагу и положил ее на стол. Это было письмо, которое я отдал ему дня три назад в Гибралтаре.

Капитан взял его и, читая, был заметно тронут; потом передал своему соседу; таким образом оно перешло через руки всех судий, и последний из них, прочтя, положил его на стол.

— Что ж такое в этом письме? — спросил офицер обвинитель.

— В этом письме пишут, — сказал Девид, — что жена моя, овдовев при жизни мужа и оставшись с пятерыми детьми, продала все, что у нее было, чтобы их прокормить, а потом стала просить милостыню. Однажды ей за целый день ничего не подали, голодные дети плакали, она украла у булочника кусок хлеба: из милости и из сострадания к ее горестному положению ее не повесили, но посадили на всю жизнь в тюрьму, а детей моих, как бродяг, отдали в богадельню. Вот что в этом письме... О, мои детушки, мои бедные детушки! — вскричал Девид с таким раздирающим сердце рыданием, что слезы брызнули из глаз всех.

— О, — продолжал Девид после минутного молчания, — я бы все простил ему, как христианин, клянусь Библией, которая лежит перед вами, господа. Я бы простил ему, что он отнял у меня все на свете, оторвал меня от родины, от дому, от семейства; простил бы ему, что он был меня, как собаку... Как бы он ни мучил меня, я бы простил его... Но бесчестье жены и детей моих!.. Жена моя в тюрьме, дети мои в богадельне! О, когда я получил это письмо, мне казалось, что все злые духи ада забрались ко мне в грудь и кричат: «Отмстить ему!»

— Ты ничего больше не имеешь сказать? — спросил капитан.

— Ничего, мистер Стенбау; только, ради Бога, не прикажите томить меня. Покуда я в живых, я все буду видеть несчастную жену мою и бедных моих детушек. Сами изволите видеть, чем скорей мне умереть, тем лучше.

— Отведите его назад в трюм, — сказал капитан голосом, которому он тщетно старался придать некоторую твердость.

Два матроса вывели Девида. Нас тоже выслали, потому что суд должен был приступить к совещанию. Но мы не отходили от дверей, чтобы поскорее узнать решение. Через полчаса сержант вышел; в руках у него была бумага с пятью подписями — смертный приговор Девиду Монсону.

Хотя все его ожидали, однако эта весть произвела горестное, глубокое впечатление. Что касается меня, то я снова почувствовал раскаяние, которое уже не раз меня мучило. Не я захватил Девида, но, однако ж, я принимал участие в экспедиции. Я отвернулся, чтобы скрыть свое смущение. За мною стоял Боб, прислонившись к стене; в простоте сердца он не мог скрыть чувств своих, и две крупные слезы скатились по суровому лицу его.

— Мистер Джон, — сказал он, — вы всегда были благодетелем несчастного Девида. Неужели вы теперь его покинете?

— Но что ж я могу для него сделать, Боб? Если ты знаешь какое-нибудь средство спасти его, говори: я на все готов, хоть бы мне это самому Бог знает чего стоило.

— Да, да, я знаю, — сказал Боб, — что вы добрый и хороший человек. Знаете что? Не можете ли вы предложить экипажу, чтобы все пошли просить за него капитана? Вы знаете, мистер Джон, он у нас милостивый командир.

— Плохая надежда, любезный мой! Однако нужды нет, попробуем. Только поговори ты, Боб, с экипажем; нам, офицерам, нельзя этого предлагать.

— Но вы, по крайней мере, можете представить капитану просьбу его старых матросов? Вы можете сказать ему, что об этом просят его люди, которые всякую минуту готовы умереть за него.

— Я сделаю все, что ты хочешь. Поговори со своими товарищами.

Предложение Боба было принято с единодушными, радостными восклицаниями. Джемсу и мне поручено было представить капитану просьбу экипажа.

— Теперь, друзья мои, — сказал я, — как вы думаете, не попросить ли Борка пойти вместе с нами к капитану? Он был причиною несчастий Девида, его хотели убить. Или он не человек, или в подобных обстоятельствах будет красноречивее нас!

Предложение мое было встречено мрачным молчанием. Но оно было так натурально, что спорить никто не стал. Только послышался ропот, изъяслявший сомнение. Боб покачал головою и пыхтел громче, чем когда-нибудь.

Мы, однако ж, решились идти к лейтенанту.

Он ходил большими шагами по своей каюте; рука у него была подвязана. Я с первого взгляда заметил, что он чрезвычайно взволнован; между тем, увидев нас, он в ту же минуту принял строгое и мрачное выражение, характерное для его лица. С минуту продолжалось безмолвие, потому что мы поклонились ему молча, а он смотрел на нас так, как будто хотел проникнуть до глубины наших сердец. Наконец, он сказал:

— Позвольте спросить, господа, чему я обязан вашим посещением?

— Мы пришли предложить вам великое и благородное дело, мистер Борк.

Он горько улыбнулся. Я заметил и понял эту улыбку; однако продолжал:

— Вы знаете, что Девид приговорен к смертной казни?

— Да, и единогласно.

— И это не могло быть иначе, потому что на корабле есть один только человек, который мог бы возвысить голос в его пользу, а этот человек не присутствовал на суде. Но теперь, когда суд вынес свое решение, когда правосудие удовлетворено, не могло ли милосердие начать свое дело?

— Продолжайте, мистер Джон, — сказал он, — вы говорите красно и умилительно, как наш почтенный пастор.

— Экипаж предложил отправить к капитану депутацию и просить помилования Девиду, и это доброе дело возложено на нас с Джемсом; но мы не посмели присвоить обязанности, которую вы, может быть, предоставили себе.

На тонких и бледных губах лейтенанта появилась одна

из тех презрительных улыбок, какие я только у него и видывал.

— Вы хорошо сделали, господа, — сказал он, кивнув головою. — Если бы преступление совершено было над последним матросом, и это дело лично меня не касалось, я бы, по долгу своему, был неумолим. Но убить хотели меня; это другое дело. Нож вашего любимца поставил меня в такое положение, что я могу предаться внушениям сердца. Пойдемте к капитану.

Мы с Джемсом переглянулись, не сказав ни слова.

Во всем, что говорил Борк, он явился точно таким, каким мы его всегда знали, человеком, который повелевает собою с такою же сухостью, как другими, человеком, у которого лицо не зеркало души, а дверь тюрьмы, куда она в наказание посажена.

Мы пришли к капитану; он сидел, или лучше сказать, лежал на лафете пушки, стоявшей в его каюте, и, казалось, был погружен в глубочайшую горесть. Увидев нас, он встал и подошел к нам.

Борк начал говорить и объяснил ему причину нашего посещения.

Надобно признаться, что он сказал капитану все, что сказал бы в подобном случае адвокат, но и не более того, то есть, он не молил, а произнес речь. Ни одно сердечное выражение не освежило сухости слов, выходявших мерно из уст его, и, выслушав эту просьбу, я понял, что капитану невозможно простить, как бы он ни был расположен к этому. Ответ был таков, как мы ожидали; но как будто вмешательство лейтенанта в это дело иссушило источник чувствительности в душе Стенбау, в голосе его была суровость, какой я никогда не замечал в нем. Что касается слов, то это были официальные выражения начальника, который может думать, что ответ его будет доведен до сведения лордов адмиралтейства.

— Если б это было возможно, — сказал он, — я бы с душевным удовольствием согласился на просьбу экипажа, особенно, когда вы, г. Борк, мне ее представляете; но вы знаете, что долг не позволяет мне исполнить вашего желания. Польза службы требует, чтобы столь важное преступление было наказано по всей строгости законов; личные наши чувствования не могут идти в сравнение с интересами службы, и вы, лейтенант, лучше чем кто-нибудь знаете, что я бы по справедливости подверг себя порицанию от начальства, если б показал малейшее

снисхождение в деле, которое касается поддержания дисциплины.

— Но, мистер Стенбау, — вскричал я, — подумайте о необыкновенном положении несчастного Девида, о насилии, может быть, законном, но, конечно, несправедливом, которое сделало его матросом! Помните обо всех его страданиях, и помилуйте, как помиловал бы сам Господь Бог.

— Мне даны готовые законы: мое дело только исполнять их, и они будут исполнены.

Джемс хотел говорить, но капитан протянул руку, чтобы заставить его молчать.

— Так извините, что мы вас беспокоили, — сказал Джемс дрожащим голосом.

— Я и не думал сердиться на вас, господа, за поступок, внушенный вам сердцем, и, хотя я отказал вам, однако, могу сказать, не согласно с моими чувствами, — отвечал капитан совсем другим уже голосом. — Ступайте, господа, и оставьте нас с г. Борком. Скажите экипажу, что мне очень жаль, что я не мог исполнить его просьбы, и что казнь будет завтра в полдень.

Мы поклонились и вышли, оставив капитана с лейтенантом.

— Ну что? — вскричали все, как только увидели нас.

Мы печально покачали головою: у нас не доставало духу говорить.

— Так вы ничего не выпросили, мистер Джон? — спросил Боб.

— Нет, любезный Боб. Девиду остается только приготовиться к смерти.

— И он приготовится, как христианин, мистер Джон.

— Я надеюсь, Боб.

— А когда назначена казнь?

— Завтра в полдень.

— Можно мне будет повидаться с ним до тех пор?

— Я сейчас попрошу об этом капитана.

— Благодарю, покорнейше благодарю вас, мистер Джон, — вскричал Боб, схватив мою руку и хотел поцеловать. Разумеется, я отнял ее.

— Теперь, друзья мои, за работу, — сказал я.

И матросы принялись за работу с обыкновенной своей безропотной покорностью. Через пять минут после того все на корабле шло по-прежнему, только всюду царствовало печальное безмолвие.



Что касается меня, то мне оставалось исполнить долг совести. Я принимал участие в экспедиции, которая привела Девида на корабль, и совесть беспрестанно терзала меня с тех пор, как я увидел, что это добром не кончится. Я пошел в кубрик и велел отпереть тюрьму, в которой заключен был Девид. Он сидел на колоде, облокотившись на колена; на ногах и на руках у него были кандалы. Услышав стук двери, он поднял голову; но так как лампа стояла таким образом, что лицо мое было в тени, то он сначала не узнал меня.

— Это я, Девид, — сказал я. — Ты знаешь, что я был отчасти невинною причиною твоего несчастья: мне хотелось сказать тебе еще раз, как я об этом жалею.

— Да, я знаю, мистер Джон, — сказал Девид, вставая, — вы всегда были добры ко мне: вы вывели меня однажды из этой самой тюрьмы и доставили мне случай увидеть еще раз Англию; вы просили обо мне, когда мистер Борк сек меня: прости его, Господи, как я его прощаю.

— Так ты знаешь, что решил суд?

— Да, ваше благородие, мне сейчас прочли приговор. Ведь завтра в полдень?

— Садись же, Девид, — сказал я, чтобы увернуться от этого вопроса, — тебе надобно отдохнуть.

— Да, мистер Джон, пора мне отдохнуть, и, слава Богу, скоро буду отдыхать так, что никто уже не потревожит.

Пользуясь этим, я стал говорить ему о покаянии, о будущей жизни, где он снова увидится с женою и детьми.

— Но... я совершил преступление, — сказал боязливо Девид.

— Раскаиваешься ли ты в этом?

— Постараюсь, постараюсь раскаяться, мистер Джон; но я еще не довольно близок к смерти, чтобы забыть свою ненависть. Послушайте, мистер Джон, я надеюсь, что у меня достанет на это силы, но, если б недостало, скажите, не может ли служить искуплением позорная смерть моя.

— Да, перед людьми, но не перед Богом.

— Хорошо, так я постараюсь, всеми силами постараюсь простить ему, не смерть мою, — Богу известно, что я простил его в этом, — но позор жены моей, нищенство моих детей. Да, я постараюсь, я надеюсь, что прощу ему и это.

В это время ключ в замке снова повернулся, дверь отворилась и вошел капитан с матросом, который служил тюремщиком.

— Кто ж это здесь? — спросил капитан, стараясь рассмотреть меня.

— Я, мистер Стенбау! — вскричал я с радостью, ожидая всего от этого неожиданного посещения: — Я пришел в последний раз проститься с Девидом.

С минуту продолжалось молчание; капитан посматривал то на меня, то на Дэвида, который стоял перед ним с мрачным, но почитательным видом. Наконец, он сказал:

— Дэвид, я пришел просить у тебя прощения, как человек, в том, что осудил тебя, как судья; но я должен, непременно должен был сделать это.

— Я знаю, что меня ожидает, капитан. Смерть за смерть.

— Дэвид, — сказал капитан торжественным и печальным голосом, — поверь мне, преступление всегда преступление перед Богом; виновный может укрыться от правосудия людского, но не укроется от правосудия небесного. Скажи же мне, Дэвид, скажи, как перед Богом: мог ли я поступить иначе?

— Да, да, — вскричал Дэвид, — вы могли поступить иначе, вы могли быть безжалостны ко мне, как мистер Борк, и я бы умер в отчаянии, проклиная все на свете; я бы думал, что на земле нет сердца сострадательного, а вы, капитан, вы сделали для меня все, что только могли сделать. Заметив мое горе, вы прислали мистера Джона сказать, что отпустите меня, как скоро мы воротимся в Англию; когда вы принуждены были наказать меня, хотя и знали, что я не виноват, вы, сколько могли, смягчили наказание; а когда должны были приговорить меня к смертной казни, вы пришли ко мне в тюрьму; капитан, вы утешили меня своим состраданием. Да, капитан, вы сделали для меня все, что могли, даже, может быть, больше, чем бы должны были. Ваши милости придают мне смелость представить вам последнюю просьбу мою.

— Говори, говори, что ты хочешь, — сказал капитан, протягивая к Дэвиду дрожащие свои руки.

— Дети мои, капитан! — вскричал Дэвид, бросаясь к ногам почтенного старца. — Дети мои... они выйдут из богадельни и принуждены будут просить милостыню...

— Они будут моими детьми, — сказал Стенбау, прерывая его. — Не бойся за них; я постараюсь, чтобы они простили меня в том, что я отнял у них отца, как ты прощаешь меня в том, что я отнял у тебя детей. Жены твоей я тоже не забуду; возвратясь в Англию, я буду

просить за нее короля, и, надеюсь, что за мою верную сорокалетнюю службу он не откажет мне.

— Благодарю, благодарю вас, капитан, — отвечал Девид, рыдая. — О, теперь, клянусь вам, теперь я не боюсь более смерти!.. Я даже благословляю ее, потому что она доставляет жене и детям моим такого благородного покровителя. О, теперь, капитан, благодаря вам душа моя исполнена чувств христианских!.. Любовь моя усилилась, ненависть погасла; теперь я хотел бы видеть Борка между вами и мистером Джоном и, клянусь вам, я поцеловал бы руку, которая меня губит.

— Теперь скажи мне, Девид, не могу ли я еще чего-нибудь для тебя сделать?

— Эти кандалы ужасно тяготят меня, капитан: я боюсь, что они не дадут мне спать, а мне нужно соснуть, чтобы не обессилеть завтра. Я бы хотел умереть с твердостью перед людьми, которые привыкли видеть смерть.

— Я вволю сейчас снять их с тебя. Не нужно ли тебе еще что-нибудь?

— Есть ли здесь пастор?

— Я сейчас пришлю его к тебе.

— Боб просит позволения прийти сюда и переночевать с ним, капитан, — сказал я.

— Боб может прийти и оставаться здесь, сколько хочет.

— Вы осыпаете меня милостями, капитан, — сказал Девид. — Сегодня я благодарю вас за это на земле, а завтра буду молиться за вас на небе.

Больше мы с капитаном не могли выдержать. Мы постучали в дверь, тюремщик отворил, и мы ушли. Стенбау приказал, чтобы все, о чем просил Девид, было немедленно исполнено. Боб стоял в таком месте, где мы непременно должны были проходить. Ему хотелось поскорее узнать, исполнит ли капитан его просьбу. Я сказал ему, что он может идти к Девиду, что им принесут в тюрьму две порции ужина, вина и грога. Тут он так неожиданно и стремительно схватил и поцеловал мою руку, что я уже не успел ее вырвать.

Я должен был идти на вахту в четыре часа, и следственно, оставался на палубе до двух часов утра; все это время я не видал Боба и догадался, что он сидит с Девидом. В два часа я сменился, но вместо своей комнаты пошел к тюрьме, узнать, все ли приказания капитана исполнены. Все было сделано: кандалы сняты, пастор пробыл у Девиды до часу и ушел тогда уже, когда тот

упрашивал его отдохнуть. Девид и Боб остались одни; я приложил ухо к дверям, чтобы послушать, спят ли они; но они еще не ложились, и Боб утешал своего друга, как мог.

— Ведь это еще не Бог знает что! — говорил Боб. — Минутное дело, затянуть галстук потуже, да и конец. Случалось ли тебе когда-нибудь давиться? Ну вот, точнехонько. Я видел, однажды, как повесили тридцать человек бразильских пиратов; в полчаса все было готово: так ведь это приходится по минуте на человека! Тебя еще скорее отправят; теперь мы все тут будем, а тогда, кто там, кто тут, дела-то было вволю.

— Да мне страшно не то, когда уже придется умереть, а приготовления-то! — сказал Девид довольно твердым голосом.

— Приготовление, Девид, да ведь это между своими! Не то, как если бы повесили на земле, хотя бы за воровство. О, тогда дело бы другое; там бы пришлось возиться с палачом и его помощниками, а это, брат, не весело; да притом, на тебя стали бы глядеть чужие и толковать бы, что, дескать, стыдно, что мужчина не сумел прокормиться своими руками. А здесь дело другое: всякий о тебе пожалеет, Девид, и если бы можно было сложиться, отдать по месяцу жизни с человека, чтобы вышла тебе целая жизнь, так уж, верно, ни один матрос не отказался бы от складчины, а офицеры, пожалуй, положили бы по два.

— Но уж, как быть, так и быть: но после-то, кто похоронит мое грешное тело?

— Кто? А я-то что? — сказал Боб, пыхтя, как кит. — Уж у меня пальцем никто до тебя не дотронется; я тебя зашью в койку чистенько, хоть бы пикадильской швее так смастерить. Потом привяжу тебе к ногам мешок с песком, побольше, чтобы ты разом нырнул ко дну; а там у тебя будет могила знатная, Девид, настоящая матросская; небось, не тесно, как в сосновом гробу. Когда-нибудь и я к тебе попаду. Я уж непременно умру на корабле, как добрый матрос, а не на постели, как какой-нибудь нищий в богадельне. Будь уж спокоен, все будет справлено, как следует.

— Спасибо тебе, Боб, у меня на сердце отлегло; теперь мне так легко стало, что хотелось бы заснуть.

— Ну, так прощай же, брат; я не хотел тебе сказать, а я и сам рад прикорнуть.

Они улеглись; через несколько минут я услышал громкое храпение Боба и более тихое дыхание бедного Девиды.

Я пошел в свою каюту, но не надеясь успокоиться, как они. И действительно, я не спал всю ночь, и на рассвете вышел на палубу.

Было еще довольно темно; идя к носовой части, я запнулся за что-то у подножия грот-мачты; я нагнулся посмотреть, что это такое, и увидел блок, прикрепленный к деку.

— Зачем это здесь блок? — спросил я матроса, который был ближе ко мне.

Тот, не говоря ни слова, указал на второй блок, прикрепленный к грот-рее, и третий, который приделывали к юту. Я понял, что приготовления к казни уже сделаны. Подняв глаза к верху мачты, я увидел, что два матроса привязывают флаг юстиции; он был еще свернут и опутан бечевкою, которая висела до палубы, чтобы можно было распустить его в минуту казни.

Все эти приготовления делались в молчании, которое прерывал только Никк, сидя на конце грот-реи.

В половине двенадцатого барабан вызвал всех на палубу. Матросы стали в два ряда у правого и левого борта, в нескольких футах от обшивки и вокруг мачты.

В двенадцать часов без пяти минут Девид появился из люка носового трапа; с одного бока его был пастор, с другого Боб; Девид был очень бледен, но шел твердо...

Время, в которое происходила последняя церемония, сама по себе печальная и торжественная, придавало ей еще большую мрачность. Солнце проглянуло на минуту на западе и скрылось за широкими полосами облаков в море, а сумерки спускались быстро, как обыкновенно бывает в полуденных странах; весь экипаж стоял с непокрытыми головами. Пастор прочел отпускные молитвы; Боб толкнул ростер, койка с трупом упала в море, которое сомкнулось над нею, и корабль величественно удалился, заглаживая своим следом круги, которые образовал труп Девиды, канувший в море.

Это происшествие опечалило весь экипаж, и никто еще не развеселился, когда через десять дней после того мы пришли в Мальту.

Как только мы вступили в гавань этого интересного острова, которую называют портом англичан, нас окружило множество маленьких лодок с дынями, апельсинами, гранатами, виноградом и кактусовыми яблоками; те, которые привезли эти плоды, предлагали свой товар с такими разнообразными криками и на таком странном наречии, что можно было бы подумать, будто мы очутились между туземцами какого-нибудь дикого острова южного моря, если бы не видали одного из чудес человеческой цивилизации — Мальты, которая походит на кучу перегорелых кирпичей, навешанную на пепле вулкана.

Я не стану говорить об удивительных фортификационных работах, которые сделали Мальту крепостью совершенно неприступною. Когда французы взяли Мальту, Бонапарт и его офицеры осматривали эти укрепления и удивлялись, что все это так легко досталось в их руки. Кафарелли, который был тут же, сказал: «Право, генерал, хорошо, что тут случился гарнизон: было кому отворить нам ворота». Вместо описаний, я посоветую читателю взглянуть на какой-нибудь план Мальты. Но никакой на свете план не может дать понятие о зрелище, которое представляет Лавалеттская пристань: несмотря на всю мою самоуверенность, я не надеюсь верно изобразить ее. Хотя на нас были мундиры, повсюду здесь уважаемые, однако мы с трудом пробирались между торговцами, которые жгли кофе у самых наших ног, женщинами, которые преследовали нас, предлагая плоды, водоносами, которые оглушили нас криками: *Aqua riga*; наконец, нищими, которые обступали нас, протягивая свои шляпы так, что надобно было расталкивать их локтями, чтобы пробираться вперед. Несмотря на сильное соперничество, кажется, что это ремесло прибыльно; нищий отказывает сыну своему в наследство место, которое занимал на *strada*, ведущей к городу, точно так же, как лорд передает сыну место свое в верхней палате. Лестница, где это происходит, по одному уже своему имени кажется исключительным достоянием тех, кто ее занимает. Она называется *Nix tangiare*. Ученым, конечно, трудно бы было найти этимологию этого слова, но я помогу им. Один старый нищий, араб, не зная ни итальянского языка, ни

мальтийского арабского наречия, излагал просьбу свою прохожим следующим образом:

— Nix padre, nix madre, nix mangiare, nix berebere.

То есть, нет ни отца, ни матери, нечего есть, нечего пить. Он с таким горестным выражением произносил слова nix mangiare, что они всех поражали, и разноплеменные матросы, останавливающиеся на Мальте, прозвали таким образом и лестницу, на которой он отправлял ремесло свое.

Мальтийцы носят куртки с тремя или с четырьмя рядами металлических пуговиц в виде колокольчиков, красный платок на голове и пояс того же цвета; черты их вообще резки и грубы, а в черных глазах выражается или дерзость, или низкое коварство. У женщин к этому неприятному выражению лица присоединяется еще отвратительная нечистота. Хорошенькие женщины, которых изредка встречаешь в Мальте, все — сицилианки; этих полугречанок узнаешь с первого взгляда: лицо у них миловидное, улыбка лукавая, глаза мягкие, как бархат, всегда заглядываются на офицерские эполеты, мичманские усики и кортики. Они присвоили себе исключительное право обращать в свою пользу чувствительность моряков. Мальтийки стараются оспаривать у них это преимущество, но победа почти всегда остается на стороне хороших сицилианок.

Приехав в Лавалетту, мы были поражены противоположностью города с портом: порт весел и шумен, город скучен и безмолвен. Впрочем, мы выходили на берег, только чтобы пополнить запасы воды и тотчас возвратились на корабль. Ветер был благоприятный, и мы в тот же вечер снялись с якоря.

Мы шли с попутным ветром всю ночь и следующий день, и Борк во все время не выходил на палубу; вечером вахту сменили и, как обыкновенно, послали спать в тридцатисестифутовую батарею. Все мы, укачиваемые Ионийскими волнами, с час уже спокойно спали в своих койках, как вдруг ядро просвистало в наших снастях и пробило малый стаксель; за ним последовало другое и пролетело сквозь парус бизань-мачты. Вахтенный, видно, заснул: мы сошлись с кораблем, который тотчас и прислал нам пару визитных билетов. Но что это было за судно, линейный корабль, фрегат или канонерская лодка, — этого, в ночной темноте никто не знал. Когда я выскочил на палубу, третье ядро ударило в шпиль. Прежде всех

попался мне Борк; он давал разные противоречащие приказания; это происшествие застигло лейтенанта врасплох, и потому голос его не имел своей обыкновенной твердости, и мне во второй раз пришлось в голову, что этот человек трус и только умеет преодолевать себя. Я еще более утвердился в этом мнении, услышав на шканцах твердый, звучный голос капитана.

— Живо за работу! — кричал старый морской волк, у которого в подобных случаях являлась неожиданная твердость. — К ружью! По местам! Койки долой! Где сигнальный? Где все?

Тут началась суматоха, которой я не берусь и описывать; потом все пришло в порядок, и минут через десять все были на своих местах.

Между тем мы переменяли положение и вышли из вида неприятеля; потом, когда все было готово, капитан велел наступать. Через минуту мы увидели паруса, которые казались легкими белыми облаками: в ту же минуту судно опоясалось огнем, и снасти наши затрещали; несколько обломков рей упало на палубу.

— Это бриг! — вскричал капитан. — Погоди, голубчик, попался ты нам! Смирно! Эй, на бриге! — продолжал он, крича в рупор. — Кто там? Мы «Трезубец», семидесятипушечный фрегат британского флота.

Через несколько секунд голос, как будто какого морского духа, прилетел по воздуху.

— А мы шлюп британского флота «Обезьяна».

— Вот тебе на! — сказал капитан.

— Вот тебе на! — повторил весь экипаж, и все расхохотались, потому что раненых никого не было.

Не прими капитан благоразумной предосторожности, мы принялись бы палить в своих, как они стреляли в нас, и вероятно, только при abordage узнали бы друг друга, потому что стали бы кричать на одном и том же языке.

Капитан шлюпа «Обезьяна» прибыл к нам и извинился, садясь с нами за чайный стол. Между тем койки были снова спущены, сигналы исчезли, пушки возвратились на свои места, и часть экипажа, которая не была на вахте, спокойно отправилась продолжать прерванный сон.



### ХІІІ.

Через несколько дней мы пришли в Смирну, и как только бросили якорь, консул наш прислал письмо. Он писал, что у одного знатного англичанина в Смирне есть предписание адмирала ко всем капитанам английских судов в Леванте перевезти его со свитой в Константинополь: об этом консул и сообщал нам на случай, если мы зайдем туда. Стенбау отвечал, что готов принять этого пассажира, но что тот должен поторопиться, потому что он зашел в Смирну только для того, чтобы узнать, нет ли каких предписаний от правительства, и намерен в тот же вечер сняться с якоря.

Часа в четыре лодка отчалила от берега и гребла к «Трезубцу»: она везла нашего пассажира, двух его друзей и слугу, албанца. В море малейшее происшествие возбуждает любопытство и служит рассеянием; поэтому не мудрено, что весь экипаж высыпал на шканцы встречать своих гостей. Тот, кто вошел первый, шел с таким видом, как будто эта честь составляла его неотъемлемое право, это был молодой человек лет двадцати пяти или шести; красавчик; чело высокое, надменное, волосы черные, вьющиеся, руки совершенно женские. Он был в красном мундире с каким-то шитьем и эполетами, в лосиных, обтяжных панталонах и в сапогах; входя по трапу, он приказывал что-то своему слуге на новогреческом языке, на котором объяснялся очень свободно. С первой минуты, как его увидел, я не мог отвести от него глаз: мне казалось, что я где-то видел это замечательное лицо, но я никак не мог вспомнить, где именно; голос его тоже был мне знаком. Взойдя на палубу, пассажир поклонился офицерам и сказал, что ему очень приятно после годового отсутствия снова встретиться с соотечественниками. Борк отвечал на эту вежливость, по обыкновению своему, весьма холодно и по приказанию капитана ввел гостя в его каюту. Через несколько времени Стенбау вышел на ют, держа молодого человека в красном мундире за руку. Найдя тут всех офицеров, он подошел к нам и сказал:

— Господа, рекомендую вам лорда Джорджа Гордона Байрона и его друзей, господ Гобгауза и Экенгида. Уверен, что он будет пользоваться здесь вниманием, достойным его таланта и имени.

Мы поклонились. Я не ошибся: благородный поэт был именно тот молодой человек, который вышел из

коллегиума Гарро-на-Холме в тот самый день, когда я вступил туда, и о котором я не раз слыхивал; о нем говорили много странного и почти всегда неодинаково.

Впрочем, в то время лорд Байрон был более известен по своим странностям, чем по таланту: о нем рассказывали множество удивительных вещей, доказывавших, что он или гений, или сумасброд. Он хвастался, что у него было только двое друзей, Метью и Лонг, которые оба утонули. Несмотря на это, он страстно любил плавание; впрочем, большую часть времени проводил в том, что ездил верхом или фехтовал. Пиры его в Ньюстедском замке славились во всей Англии, и сами по себе, и по обществу, которое он со своим медведем принимал, и которое состояло из жокеев, кулачных бойцов, лордов и поэтов; все эти честные господа, одетые в погребальные платья, пили по целым ночам бордо и шампанское из человеческого черепа, обделанного в виде чаши. Что касается его стихов, то им издан был в то время только один том, под названием «Часы досуга»; но лучшие из произведений, помещенных в этой книге, впрочем, замечательные по форме, совсем еще не предвещали блистательных чудес поэзии, которыми он наделил мир впоследствии. «Эдинбург Ревю» жестоко разбил эту книгу, и критика шотландского аристарха до того поразила благородного поэта, что один из его приятелей, войдя к нему в ту минуту, как он только дочитал ее, подумал, что бедный Байрон болен или что с ним случилось ужасное несчастье. Но он тотчас ободрился, решив отомстить за критику сатирю. Знаменитое его «Послание к шотландским критикам» было опубликовано, и он утешился. Потом, совершив месть, подождав некоторое время, чтобы те, кого он жестоко оскорбил, потребовали от него удовлетворения. Не дождавшись никого, наскучив всем, он выехал из Англии, посетил Португалию, Испанию, Мальту, поссорился там с одним офицером главного штаба генерала Окса, вызвал его на дуэль, но тот приехал с извинениями, когда уже Байрон со своими секундантами ждал его на месте. Тогда лорд Байрон сел опять на корабль и через неделю прибыл в Албанию, простившись со старою Европою и с христианскими языками; проехал полтораста миль, чтобы познаться в Тебелени с знаменитым Али-пашою: тот должен был куда-то ехать, но зная, что знатный англичанин намерен посетить его, приказал приготовить ему дворец, лошадей и оружие.

Возвратившись, Али-паша тотчас принял его с большими почестями и чрезвычайно ласково. Видно, у этого паши, который узнавал людей знатного происхождения по вьющимся волосам, маленьким ушам и белым рукам, были также какие-нибудь приметы, по которым он узнавал и гениальных людей. Как бы то ни было, дружба его к лорду Байрону сделалась столь сильною, что он называл его своим сыном, просил, чтобы тот звал его не иначе, как отцом, и двадцать раз в день посылал к лорду щербетов, плодов и варенья. Наконец, прожив с месяц в Тебелене, лорд Байрон отправился в Афины, прибыл в столицу Аттики, остановился в доме вдовы вице-консула мистрисс Теодоры Макри, и, уезжая из города Минервы, посвятил старшей дочери своей хозяйки песнь, которая начинается следующими словами: «Дева афинская, теперь перед разлукой, возврати, о, возврати мне мое сердце!» Наконец, он поехал в Смирну, и там, в доме генерального консула, откуда переехал к нам на корабль, окончил две первые песни «Чайльд Гарольда», которые начал месяцев за пять перед тем в Янине.

В самый день приезда лорда Байрона на корабль я напомнил ему о том, как он вышел из коллегiums Гарро-на-Холме. Байрон всегда любил детские воспоминания и долго проговорил со мною об учителях, о Вингфильде, которого он знал, и Роберте Пиле, с которым был очень дружен. В первые дни нашего знакомства это был единственный предмет наших разговоров. Потом мы стали рассуждать об общих предметах; наконец, мы перешли к дружеской беседе, и так как мне нечего было рассказывать ему о себе, то речь шла большею частью о нем.

Характер пэра-поэта, сколько я мог судить по этим разговорам, был смесью самых разнородных, противоположных чувствований: он гордился своей знатностью, своей совершенно аристократическою красотой, своим искусством во всех телесных упражнениях, часто толковал о том, как хорошо бьется на кулаках и фехтует, и никогда не говорил о своем таланте. Он был очень худ, но с определенного времени чрезвычайно боялся растолстеть. Впрочем, может быть, он делал это из подражания Наполеону, от которого был тогда в восторге: Байрон и подписывался так же, как он, начальными буквами своего имени и фамилии, Н. Б. — Ноэль Байрон. Прилежное чтение Юнговых «Ночей» придало ему страсть к мрачным

впечатлениям, и эта страсть, примененная к нашим антипоэтическим обществам, была часто смешна: он сам это чувствовал, и иногда, пожимая плечами, говорил о знаменитых ньюстедских ночах, когда он и его приятели старались воскресить и товарищей Генриха V, и Шиллеровых разбойников. Но в глубине сердца он чувствовал потребность в чудесном, в котором образованный мир ему отказывал, и он приехал искать его в стране древних воспоминаний, посреди племен, бродящих у подножия гор с дивными названиями: Афон, Пинд, Олимп. Тут ему было легко и привольно. Он говорил мне, что со времени выезда своего из Англии идет на всех парусах.

После меня из живых существ на корабле он всех более полюбил Никка, орла, которого я ранил в Гибралтаре, и который почти всегда сидел на борту баркаса, стоящего у подножия грот-мачты. С тех пор как высокочтимый поэт прибыл к нам на корабль, Никку стало гораздо лучше жить: Байрон сам всегда кормил его, обыкновенно голубями и курицами, которых повар должен был сначала зарезать, и притом где-нибудь подальше, потому что лорд Байрон не мог видеть, когда режут какое-либо животное. Он говорил мне, что когда ездил к дельфийскому источнику, там вдруг поднялось двенадцать орлов, что бывает очень редко, и это предзнаменование на горе, посвященной богу поэзии, подало ему надежду, что потомки, подобно этим благородным пернатым, признают его поэтом; ему также случилось подстрелить орленка на берегу Лепантского залива, близ Востицы, но тот, несмотря на все его попечения, вскоре умер. Никк был очень благодарным за старания своего друга и, увидев его, радостно вскрикивал и начинал махать крылом. Лорд Байрон брал его в руки, чего никто из нас не смел делать, и орел даже ни разу не оцарапал его. Байрон говорил, что так и надобно обходиться с животными дикими или свирепыми. Это средство удалось ему с Али-пашою, со своим медведем, со своей собакою Ботсвайном: она умерла, а он до последней минуты ласкал ее и обтирал голыми руками смертоносную пену, которая текла у нее изо рта.

Я находил в лорде Байроне большое сходство по характеру с Жан-Жаком Руссо. Однажды я сказал ему об этом, но, по тому, как он начал опровергать это сравнение, я тотчас заметил, что оно ему неприятно. Байрон говорил, что, впрочем, не я первый сделал ему такой комплимент:

и он произнес это слово с особенным выражением, не придавая ему, однако, точного значения. Я надеялся, что этот спор выкажет мне какие-нибудь черты его характера, и потому продолжал поддерживать свое мнение.

— Впрочем, — сказал он, — вы, любезный друг, заразились общею болезнью, которую я, кажется, сообщаю всем окружающим. Как скоро кто меня увидит, сейчас начинает с кем-нибудь сравнивать, а это для меня очень невыгодно: надобно думать, что я не довольно оригинален, чтобы быть самим собою. Никого на свете не сравнивали столько, как меня. Сравнивали меня и с Юнгом, и с Аретином, с Тимоном афинским, с Гопкинсом, с Шенье, с Мирабо, с Диогеном, с Попом, с Драйденом, с Борисом, с Севеджем, с Чаттертоном, с Чорчилем, с Кином, с Альфиери, с Броммелем, с алебастровою вазою, освещенною изнутри, с фантазмагорией и с бурей. Что касается Руссо, то, думаю, я ни на кого не похожу так мало, как на него. Он писал в прозе, я пишу стихами; он был разночинец, я — вельможа; он философ, а я ненавижу философию; он издал первое свое творение уже сорока лет от роду, я начал писать восемнадцати лет: первое его сочинение было с восторгом принято всем Парижем, а мое разругано критиками во всей Англии; он воображал, что весь свет против него в заговоре, а, судя по тому, как люди со мной обходятся, кажется, они уверены, будто я составляю против них заговор; он очень хорошо знал ботанику, а я только люблю цветы; у него была дурная память, у меня память превосходная; он писал с трудом, а я пишу без малейших поправок; он никогда не умел ни ездить верхом, ни фехтовать, ни плавать, а я один из лучших пловцов во всем свете, хорошо фехтую, особенно палашом, ловко бьюсь на кулаках, — так, например, я однажды у Джемсона сбил с ног Порлинга и переломил ему ключицу; верхом ежжу я тоже недурно, только немножко робко, потому что, учась вольтижировать, сломал себе два ребра. Вы видите, что я ничем не похож на Руссо.

— Но вы, милорд, говорите только о наружных противоположностях, а не о сходстве, которое можно найти между вашими душами и талантами.

— Да скажите же, ради Бога, мистер Джон, что ж между нами общего?

— Вы не рассердитесь?

— Нисколько.

— Всегдашняя скрытность Руссо, недоверчивость к дружбе и людям, неуважение к внутреннему самосознанию и расположение отдавать свои действия на суд публики, все это есть и в вас. Руссо написал свою «Исповедь», род монумента самому себе, которую он выставил публично на пьедестале своей гордости, а вы читали мне две песни Чайльд Гарольда, которые очень похожи на недоконченный бюст автора «Часов досуга» и «Сатиры» на английских поэтов и шотландских критиков.

Лорд Байрон задумался.

— Надобно признаться, — сказал он, наконец, — что вы ближе всех других моих судей подошли к истине, и в таком случае она очень лестна для меня. Руссо был великий человек, и я очень благодарен вам, мистер Джон. Что вы не пишете в журналах? По крайней мере, хоть один человек судил бы обо мне справедливо.

Весь этот разговор, для меня чрезвычайно интересный, происходил в прекраснейших во всем мире местах, посреди островов, разбросанных, как корзины цветов, по морю, в котором родилась Венера. Ветер был противный, однако, через несколько дней мы миновали остров Хиос, землю благоуханий, и обогнули Митилену, древний Лесбос; наконец, через неделю после того как вышли из Смирны, мы увидели Троаду и Тенедос, ее передовой пост, и перед нами раскрылся пролив, получивший свое имя от Дардана. Мы любовались великолепным зрелищем, которое развивалось перед нашими глазами, как вдруг пушечный выстрел с форта вывел нас из созерцания; турецкий фрегат окликнул нас, и два баркаса с несколькими солдатами и офицером приближались к нам, чтобы узнать, не русский ли это корабль, идущий под английским флагом. Мы предъявили свои бумаги; однако нам велели ждать при входе в пролив фирмана Блистательной Порты с позволением идти к заветному городу. Хотя этот обряд был очень неприятен, однако мы принуждены были ему подвергнуться; только двое радовались такой остановке, лорд Байрон и я. Он попросил позволения сойти на берег, я — командовать баркасом, который повезет его. Капитан охотно согласился, и мы собрались осмотреть на другой день места, где была Троя.

Ступив в барку, лорд Байрон по своей нетерпеливости тотчас стал просить меня как можно больше наполнить парус; я заметил ему, что в этом море течение из пролива довольно сильно, и что потому нас легко может опрокинуть.

Он спросил, разве я не умею плавать. Мне пришло в голову, что он сомневается в моем мужестве, и потому я предложил ему снять на всякий случай верхнее платье и выставил на ветер до последнего дюйма парусины. Против моего ожидания и благодаря искусству рулевого маленькое наше судно, качаясь и кувыркаясь, то поднимая корму, то выставляя нос, благополучно доставило нас на место: мы вышли на берег позади Сигейского мыса, который нынче называется мысом Янычар.

Мы мигом взбежали на холм, где, по преданию, погребен был Ахилл, знаменитый холм, вокруг которого Александр из уважения к нему обходил три раза нагой и с цветами на голове. В нескольких шагах от этой мнимой могилы заметны остатки храма, и один греческий монах преважно уверял нас, что это развалины Троя; но, на беду его, с того места, где мы стояли, видна была гора, на которой, по всей вероятности, стояла Троя, в глубине долины, где течет ручей; это не что иное, как знаменитый Скамандр, которому Гомер дал место в числе богов под именем Ксанта; несколько повыше деревни, называемой Энаи, к нему присоединяется Симоис, и тогда только он делается несколько похожим на реку. Мы отправились в эту долину и пришли туда в полчаса. Лорд Байрон сел на обломке скалы; Экенгид и Гобгауз принялись стрелять бекасов, как будто в корнуэльских болотах, а я начал измерять Гомерова героя, перепрыгивая через ручей. Прошло с час. Лорд Байрон еще менее прежнего знал теперь, где именно была Троя. Экенгид и Гобгауз убили штук двадцать бекасов и трех каких-то зверьков, очень похожих на европейских зайцев, а я три раза упал не в воду, но в почтенную тину, в которую ложились девы Греции, когда приходили сюда для жертвоприношений.

Потом мы собрались в путь. Лорду Байрону хотелось пройти по берегам Скамандра до того места, где он впадает в море, и мы пустились в путь, приказав, чтобы лодка дожидалась нас у Янычарского мыса. В Бунар-баши мы остановились завтракать; потом пошли далее и через час были уже на берегу пролива, там, где он суживается между новым азиатским замком и мысом. Там лорду Байрону вздумалось повторить подвиг Леандра, переплыть пролив, который в этом месте будет около четырех верст шириною. Мы убеждали его не делать этой шалости, но, что мы ни говорили, он никак не соглашался оставить своего намерения, а, верно, бросил бы его, как шутку, если б мы

не вздумали отговаривать: в характере лорда Байрона было много упрямства, совершенно детского или женского. Впрочем, именно настойчивость принадлежала к сущности его гения. Говорили, что он плохой стихотворец, и он сделался великим поэтом; природа создала его калекою, и он начал бороться с этим недостатком и прослыл одним из прекраснейших мужчин своего времени. Мы утверждали, что ему жарко, что он недавно позавтракал, и что течение очень быстро, и он чуть было не бросился в воду тотчас, весь в поту. Заставить лорда Байрона переменить свое мнение, все равно было, что поднять гору и перенести ее из Европы в Азию.

Однако я упросил его, по крайней мере, подождать, пока шлюпка придет. В этом была двойная выгода: он успел бы отдохнуть и остыть, и притом я мог следовать за ним в нескольких шагах, и тогда предприятие его было бы неопасно. Я взошел на самое возвышенное место берега и сделал шлюпке знак, чтобы она приблизилась. Когда я воротился, Байрон был уже совсем раздет: минут через десять после того он плыл по морю, а я в нескольких шагах от него плыл в шлюпке. Минут сорок все шло как нельзя лучше, и он, почти не уклоняясь от прямой линии, проплыл две трети пути, но тут он начал поднимать грудь выше воды, и я догадался, что он устал. Я заметил ему это и хотел подойти поближе; он показал мне знаком, что не нужно. Мы удалились несколько, однако не теряли его из виду. Он проплыл еще с сотню сажен; дыхание его делалось громче и громче; я понемножку приблизился к нему, видя, что его тело начинает коченеть, и он уже подавался вперед только порывами, наконец, голова два раза погрузилась в воду; при третьем Байрон кликнул нас. Мы подали ему весло и втащили в шлюпку.

Здесь в полной мере проявилась слабость его характера: он приуныл, как будто с ним случилось большое несчастье, или стыдился как будто поражения, и не говорил ни слова, пока мы его вытаскивали.

Впрочем, Байрон еще не отказывался от своего намерения; неудачу свою он, по справедливости, приписывал быстроте течения и думал, что в другом месте, не столь сжатом, расстояние будет больше, но зато плыть легче. Решено было, что на другой день мы отправимся в Абедос, и лорд Байрон возобновит свою попытку в том самом месте, где Леандр столько раз переплывал. Мы возвратились на корабль.



На другой день мы вышли на берег на рассвете; взяли лошадей в деревушке Ренне-Кьой, оставили слева мельницы и хижины и ехали все вдоль азиатского берега.

Хоть это было вначале нашей европейской зимы, однако погода стояла чрезвычайно жаркая; горячая пыль, которая казалась вихрем красного пепла, поднималась из-под ног наших лошадей, и мы торопились к кипарисовой роще, свежей и тенистой, которая находилась подле дороги. Нам оставалось проехать шагов двести, как вдруг из лесу выступил отряд турецких всадников и выстроился. Послышались голоса. Турки окликали нас, но никто их не понял, и, следственно, никто не отвечал. Мы смотрели друг на друга, не зная, что делать; лорд Байрон поднял лошадь в галоп и поскакал прямо к роще, как будто хотел отбить ее у турок. Увидев это, они обнажили сабли и выхватили пистолеты. Лорд Байрон сделал то же; но проводник наш бросился вперед и остановил его лошадь; потом побежал к туркам один и объяснил им, что мы английские путешественники и без всяких неприязненных намерений, обозреваем Троаду. Эти чудаки приняли нас за русских, потому что Турция была тогда в войне с Россией. Им и в голову не пришло спросить самих себя, каким образом мы пробрались из России на азиатский берег Дарданелл? Дело в том, что решение этого вопроса потребовало бы некоторого размышления, а турок всегда думу думает, но размышлять не берется.

Этот турецкий эскадрон, готовившийся к битве, представлял прекраснейшее воинское и поэтическое зрелище. Люди, как дикие звери, радовались, чуя кровь; густые усы их поднимались дыбом; вместо того, чтобы стоять смиренно, холодно, бесчувственно, как человеческие стены, составляющие наши европейские армии, они крутили коней своих, будто возбуждая сами себя, как, говорят, лев рычит и бьет себя хвостом по бедрам. Куртки, зашитые золотом, красивые тюрбаны, арабские лошади, убранные бархатными кистями, все это, было так эффектно и давало турецкому отряду неизмеримое преимущество перед прекраснейшими английскими и французскими полками. Во время остановки, когда мы еще не знали, чем это кончится, я взглянул на Байрона. Лицо его было очень бледно, но глаза сияли, и губы обнажили ослепительно белые зубы. Ясно было, что альбионскому волку очень хотелось бы сцепиться с этими восточными тиграми. К счастью, вышло иначе. Проводник наш

успокоил турецкого командира. Сабли ушли назад в ножны, пистолеты за пояса, и грозные щетинистые усы улеглись по губам. Нам показали знаками, чтобы мы подъехали, и через минуту мы дружески перемешались с теми, кого только что считали неприятелем.

Лорду Байрону недаром хотелось отдохнуть в кипарисовой роще: там царствовала восхитительная прохлада, веющая от ручейка, который вился по ней серебряною лентою. Мы уселись на берегу этой безымянной реки, которая преважно впадает в море, как будто какой-нибудь Днепр или Дунай, и достали свою провизию: огромный пирог из вчерашней дичи и несколько бутылок лафиту и шампанского вина. Лорд Байрон был чрезвычайно весел и любезен; рассказывал нам о своем пребывании в Тебелени, о своих отношениях с Али-пашою и странной привязанности к нему этого сурового сатрапа; наконец, предложил мне рекомендательное письмо к нему, и я согласился, на всякий случай, не думая, чтобы оно мне когда-нибудь понадобилось, а более для того, чтобы иметь собственноручное письмо знаменитого поэта.

Позавтракав, мы снова пустились в путь и часа через два прибыли в бедную деревушку, которая поддерживается только своим мифологическим прошлым: оно привлекает туда по временам любопытных путешественников и отважных любовников. Здесь Байрон должен был повторить опыт. В этот раз Экенгид решился пуститься вместе с Байроном. Мне тоже очень хотелось попытаться. От Абидоса до Сестоса не более полуторы мили, а мне казалось, что столько-то я проплыву. Но мое дело было оставаться в шлюпке, чтобы беречь жизнь знаменитых соотечественников. Ответственность моя была слишком велика, и я не осмелился пренебречь ею.

Оба они плавали очень хорошо, и хотя лорд Байрон был искуснее, однако сначала казалось, что преимущество принадлежит Экенгиду. Дело в том, что неправильная нога Байрона не позволяла ему отбивать воду совершенно ровно, и он, даже в стоячей воде, не мог плавать совсем прямо. Я по-прежнему держался на небольшом расстоянии от них; но, потому ли, что Байрона подстрекало соревнование, или потому, что течение выше Дарданелл не так быстро, как пониже их, только он доплыл в полтора часа; однако вышел на берег тремя милями ниже назначенного места. Экенгид поспел восемью минутами прежде его. Что касается нас, то подойти к земле —

значило бы нарушить турецкие законы, и потому мы держались на ружейный выстрел от европейского берега.

Лорд Байрон, еще не отдохнув от вчерашней усталости и прибавив к ней новую, до того измучился, что, добравшись до берега, повалился почти без чувств. Один бедный рыбак, который чинил свои сети и по временам, не понимая намерения этих двух чудаков, недоверчиво на них посматривал, увидев, что Байрон совершенно ослабел, предложил ему отдохнуть у себя в хижине. Я уже говорил, что лорд Байрон свободно объяснялся на греческом языке; он понял предложение рыбака и отвечал, что охотно его принимает. Экенгид хотел остаться с ним, но Байрону показалось, что таким образом приключение его лишится всей своей необыкновенности, и он никак на это не согласился. Я собрал его платье, привязал себе к голове, бросился в воду и доплыл к нему; потом мы воротились с Экенгидом, который также до того утомился, что с трудом доплыл до лодки, хоть она была в каких-нибудь трехстах шагах от берега. Байрон закричал нам, чтобы мы не беспокоились о нем, если он на другой день не воротится.

Турок и не воображал, какого знатного и важного гостя принимает в своей хижине, однако оказывал ему все почести, предписываемые гостеприимством, единственным божеством, еще уважаемым на Востоке из всех шести тысяч олимпийских божеств. Рыбак и жена его так хорошо ходили за лордом Байроном, что он дней в пять совершенно оправился и воротился на корабль в какой-то тенедосской лодке, которая шла в ту сторону. На прощанье хозяин дал ему большой хлеб, кусок сыру и мех вина, принудил его взять еще несколько мелких монет и пожелал ему счастливого пути. Байрон принял все это, как священные дары гостеприимства, и только поблагодарил доброго турка. Но, прибыв на корабль, он тотчас отправил к нему своего верного Стефана, слугу, которого дал ему Али-паша, и послал рыбаку полный прибор рыболовных снастей, охотничье ружье, пару пистолетов, шесть фунтов пороху и большой кусок шелковой материи для жены его. Все это доставлено было в тот же день: добрый турок не понимал, как можно давать такие богатые подарки за такое бедное угощение! Ему непременно хотелось поблагодарить своего великодушного гостя. На другой день он решился переплыть Геллеспонт; спустил свою лодку на воду, вышел в море, добрался почти до

середины канала, но тут сильный ветер опрокинул его лодку, и бедняк, не умея плавать, как лорд Байрон и Экенгид, утонул.

Мы узнали об этом на третий день; несчастье рыбака чрезвычайно огорчило Байрона; он тотчас послал вдове его пятьдесят испанских пиастров и свой адрес в Лондоне, написанный по-гречески, и собирался на другой день к ней; но мы в тот же вечер получили фирман с позволением войти в Дарданеллы. Так как мы целую неделю его прождали, то капитану хотелось как можно скорее наверстать потерянное время. Мы тотчас подняли паруса и на третий день, часу в четвертом пополудни, бросили якорь у Серальского мыса.

#### XIV.

В эти два дня плавания Азия справа, Европа слева, раздвигались перед нами такие великолепные картины, что, дойдя до Серальского мыса, мы спрашивали сами себя: да где ж этот расхваленный путешественниками, великолепный Константинополь, который оспаривает у Неаполитанского залива пальму живописности? Но когда мы сели в баркас, чтобы свезти капитана в английский посольский дом, находящийся в Галате, и, обогнув Серальский мыс, пошли вдоль Золотого Рога, Стамбул явился нам на скате своего обширного холма, с пестрым амфитеатром домов, золотоверхими дворцами, кладбищами, где усопшие покоятся под тенью кипарисов, и мы, наконец, узнали восточную прелестницу, для которой Константин изменил Риму и которая, как nereida, окутала его голубым шарфом вод.

В то время европейцам опасно было ходить по улицам Галаты без стражи, и потому Эдер, зная уже о нашем прибытии, выслал к нам навстречу янычара: присутствие его было необходимо для того, чтобы показать народу, что мы находимся под покровительством султана. В такой стране, где все, даже дети, ходят с оружием, ссоры весьма часто оканчиваются кровопролитными драками, и юстиция обыкновенно не разбирает уже распри, а только карает за смерть жертвы. Притом народ был ожесточен против гяуров, и потому необходимо было показать, что мы принадлежим к дружественной нации.

Матросы наши остались в баркасе под командою

Джемса, а мы с капитаном Стенбау и с лордом Байроном пошли в посольский дом. Почти на половине пути на улице столпилось столько народу, что мы не знали, как пройти, но янычар наш, у которого была палка в руках, принялся так усердно колотить по этой человеческой стене, что, наконец, пробил брешь. Причину давки было зрелище, любопытное и приятное для мусульман: какого-то грека вели на казнь. То был видный старик с длинной седой бородой; он шел твердыми, медленными шагами между двумя палачами и холодно безбоязненно поглядывал на чернь, которая провожала его ругательствами и проклятиями. Это зрелище произвело чрезвычайно сильное впечатление на всех нас, особенно на лорда Байрона, и он тотчас спросил нашего толмача по-английски, нельзя ли как-нибудь спасти этого несчастного через посредство посланника или заплатив большую сумму денег, но толмач с испуганным видом положил палец на губы, чтобы Байрон молчал; несмотря на это, когда старик проходил мимо нас, поэт закричал ему по-гречески: «Мужайся, мученик!» Руки страдальца были связаны, и потому он поднял к небу только глаза, показывая, что уж давно готов к смерти. В ту же минуту прямо против нас из-за решетки раздался другой крик; чьи-то пальцы просунулись сквозь решетку и потрясли ее. При этом крике, как бы знакомом, старик вздрогнул и остановился, но один из палачей толкнул его в спину концом своего ятагана. Кровь полилась. Байрон хотел было броситься вперед; я схватился за кинжал, но капитан, поняв наше намерение, удержал нас за руки и сказал по-английски: «Ни слова, или нас убьют!» Он указал нам на янычара, который уже косился на нас. Мы остановились, чтобы подождать, пока толпа пройдет. Улица мало-помалу очистилась, и минут через десять мы, еще бледные от душевного волнения, пришли в посольский дом.

Причина, по которой нам велено было идти в Константинополь, была устранена еще до нашего прибытия. Требование, которое мы должны были подкреплять, уже было удовлетворено, и оттоманское правительство извинилось перед нашим послом. Поэтому политическое совещание капитана Стенбау с Эдером было весьма непродолжительно, и нас с Байроном тотчас позвали к послу. После обыкновенных приветствий благородный лорд спросил, что сделал бедный грек, которого вели на казнь. Эдер печально улыбнулся. Несчастный старик был

виновен в трех преступлениях, из которых каждое, в глазах турок, стоило смертной казни: он был богат, мечтал об освобождении своего отечества и притом его звали Афанасием Дукасом, то есть он был одним из последних потомков дома, который царствовал в тринадцатом столетии. По настоятельным просьбам друзей своих он было уехал из Константинополя, но потом не мог устоять против желания повидаться со своим семейством и воротился в Галату. В тот же самый вечер его взяли под стражу; дочь его, которая славилась своею красотой, была похищена и продана за двадцать тысяч пиастров одному богатому турку. Дом Дукаса конфисковали, жену его оттуда выгнали и не позволили ей ни идти с мужем в тюрьму, ни умереть вместе с ним; она просила пристанища у многих греков, но двери при виде ее затворялись. Наконец, Эдер велел сказать, что она может найти в доме английского посольства убежище священное и нерушимое; бедная женщина с признательностью приняла это великодушное предложение, но накануне казни мужа она скрылась, и никто не знал, куда она девалась.

Эдер предлагал лорду Байрону жить в посольском доме, но тот, боясь, что это стеснит его свободу, отказался и просил только, чтобы посол приказал нанять ему турецкий домик, где бы он мог жить по-туземному. Сверх того он просил Эдера взять его с собою, если ему случится представляться султану. Весьма вероятно было, что по случаю нашего прибытия посол вскоре будет иметь аудиенцию.

Пробыв у Эдера с час, мы распрощались с ним и пошли назад по улицам Галаты. Янычар шел впереди; мы скоро заметили, что он ведет нас не по прежним улицам, и хотели было спросить его об этом, но толмач, угадав наше намерение, показал нам на какую-то безобразную группу на середине площади, на которую мы пришли. Мы еще не могли рассмотреть, что это такое, но по какому-то уже предчувствию вздрогнули. По мере приближения нашего этот предмет принимал человеческую форму; тут мы увидели, что это труп, стоящий на коленях с отрубленную голову, которая была у него между ног; наконец мы рассмотрели, что это голова старика, которого мы встретили, когда его вели на казнь; подле трупа сидела женщина, опершись головою на обе руки: можно было подумать, что это статуя Печали. Временами она изменяла это положение, брала палку, которая лежала

возле нее, и отгоняла ею собак, приходивших лизать кровь. Эта женщина была женой несчастного страдальца, которая накануне убежала из посольского дома. Янычар, видно, нарочно повел нас по другой дороге, чтобы показать нам разительный, наглядный пример кротости и правосудия турок.

Мы попали в Константинополь в самое лучшее время и сразу стали очевидцами событий, как герои «Тысяча и одной ночи». Эта отрубленная голова, дочь, проданная в неволю, вдова, сидящая у трупа казненного мужа, — все это казалось мне сном и жуткой фантазией, а окружающие предметы — декорацией. В Константинополе вы не заметите ни нищих, ни лохмотьев; все одежды сшиты, как будто для князей; платье каждого турецкого мужика так же парадно, как мундир нашего гусара; у жены всякого мелкого торговца есть горностаевый полушубок, и простая женщина, сидя дома, надевает на себя более драгоценных вещей, чем супруга члена нижней палаты, когда собирается в гости к супруге лорда. В каждом семействе есть наследственная одежда, которая передается от отца к сыну, как в Германии бриллианты, и надевается только в торжественные дни. После праздника ее складывают и прячут до следующего важного случая. Это точно такой же костюм, какой носили во время Магомета II или даже Орхана, потому что в Константинополе мода не двигается с места. Впрочем, сохраняя основные черты, главный фасон, она до бесконечности разнообразится в подробностях. Опытный глаз с первого взгляда распознает турецкого денди, для которого наряд — главное дело жизни. Оклад бороды, складки чалмы, загиб носка желтых туфель, арабски пистолетов и украшения ханджара для молодого турка такие же важные вещи, как принадлежности туалета для европейского франта. Чалма всего более подвержена прихотям моды: турок трудится над нею так же, как парижанин над галстуком. Есть чалмы кандиотские, египетские, стамбульские; сирийца вы узнаете по чалме полосатой, алепского эмира — по зеленой, мамелюка — по белой. Впрочем, в Константинополе, как и во всякой другой столице, вы увидите человеческую мозаику, в которой европейцы, последователи французов, из-за своей кургузой и бедной одежды в ее узоре представляют самые малоценные камни.

Не знаю, какое действие произвело это странное зрелище на моих товарищей, а у меня была какая-то

лихорадка, когда я воротился на корабль. Даже Байрон, несмотря на то, что он всегда старался казаться холодным, был, по-видимому, поражен, и я уверен, что если бы не его роль великого человека, которая требовала некоторой сдержанности, то так же, как я, он был бы в плену впечатлений от увиденного. Правда, благородный лорд уже с год как выехал из Англии, прожил с полгода в Греции и, следственно, был приготовлен к этому зрелищу. Со мной дело было совсем другое: я только два месяца назад выехал из Англии, и, так сказать, прямо перескочил из обыкновенной жизни в этот странный мир; я так и ждал, что со мной случится какое-нибудь непредвиденное, необыкновенное приключение.

Впрочем, в этот день ничего особенного не случилось, кроме того, что к нам на корабль приехало несколько праздных турок, которые образуют в Константинополе почтенный класс общества, известный в Европе под общим именем зевак. Они таскали по палубе свои длинные трубки; между тем с нами было много пороху, потому что, отправляясь из Лондона, мы не знали, в каком расположении найдем Блистательную Порту. Большого труда стоило нам растолковать тупоумным османам, что на корабле курить запрещено. Наконец, они поняли, чего мы от них требуем; но, по-видимому, очень удивились, узнав, что мы принимаем предосторожности против несчастья, потому что если Аллах определил быть несчастию, так уже тут никакие в свете предосторожности не помогут. Требование наше показалось им очень неучтивым, и они с сердитым видом уселись на наши каронады, сложив под себя ноги. Это тоже было противно флотским правилам, и потому канонир тотчас согнал их. Такое нарушение гостеприимства до того их рассердило, что они не хотели более оставаться на корабле и сошли преважно в лодку, в которой приехали. Турок, который сзади всех спускался по трапу, оборотился и с видом глубочайшего презрения плюнул на палубу. Но это неуважение к корабельному порядку чуть было не обошлось ему довольно дорого. Боб, который стоял подле этого неучтивца, схватил было уже его за руку и хотел вытереть палубу его бородою; но, к счастью, я подоспел к нему на помощь. С трудом уговорил я Боба распусть тиски, в которых сжал он левую руку несчастного турка; правда, что в то же время я принужден был схватить мусульманина за правую руку, потому что он очень



простодушно протянул ее уже к ханджару. Боб, заметив это движение, отыскал глазами ганшпуг и схватил его. Я воспользовался этою минутою и заставил турка спуститься по трапу; гребцы разом двинули лодку вперед, и доблестные витязи были разлучены.

Из всех наших посетителей на корабле остался один только жид Моисей, который приехал к нам по торговым делам. Этот иудей был настоящий первообраз мелкого торгаша. Карманы его были набиты образчиками. В ящике находились вещи всех возможных родов. Этот человек торговал всем на свете, от шалей до трубок; а с первых слов его я догадался, что у него есть еще и другое ремесло. Он дал мне адрес своего магазина в Галате, уверяя, что я найду там лучший табак во всем Константинополе, не исключая даже и того, который привозится для Сералея прямо из Латакие и с Синайской горы. Я взял адрес на всякий случай и сказал Моисею, что скоро у него буду. Жид говорил по-английски так, что его можно было кое-как понимать, а это настоящая находка для искателя приключений, каким был лорд Байрон, и для человека, который подобно мне грезит наяву. Мы спросили еврея, не сыщет ли он нам смышленного проводника, потому что лорд Байрон намеревался на следующий день объехать константинопольские стены и просил капитана отпустить меня с собою, на что тот охотно согласился. Еврей вызвался сам провожать нас: он уже лет двадцать жил в Константинополе и знал город лучше большей части турок, которые там родились. Притом у него не было никаких ни общественных, ни религиозных предрассудков, и он обещал рассказать нам все, что знает о людях, с которыми мы встречаемся, и местах, по которым будем проезжать. Мы приняли предложение услужливого иудея, с тем чтобы после первой поездки взять другого чичероне, если будем недовольны этим.

Мы начали свое странствование на рассвете, и так как часть константинопольских стен выходит прямо из воды, то взяли мы лодку, подъехали к Семибашенному замку и там уже вышли на берег. Еврей стоял уже с лошадьми, которых он взял внаймы, но мог и продать, если они нам понравятся. Порода их была прекрасна. Арабские лошади ходят не иначе как шагом или в галоп; рысь и иноходь, поступи ненатуральные, на Востоке совершенно неизвестны. Мы поехали шагом, потому что хотели все внимательно рассмотреть.

С суши Константинополь представляет зрелище, еще более восхитительное, чем со стороны Босфора Фракийского или от Золотого Рога. Вообразите пространство в четыре мили, окруженное тройными огромными зубцами, которые поросли травой и над которыми возвышается двести восемнадцать башен; а по другой стороне дороги турецкие кладбища, отененные кипарисами, на которых тысячами сидят горлицы, соловьи и малиновки. Все это смотрится в синее море и тонет в небе, на котором разборчивые древние боги устроили Олимп свой.

У развалин древнего Константиновского дворца, которые более походят на казарму, чем на дворец, мы переехали Золотой Рог и снова очутились в Азии. Еврей повел нас к холму Бургулу, который лежит почти в миле от стен, и откуда видны Мраморное море, гора Олимп, азиатские долины, Константинополь и Босфор, который извивается между садами, наполненными самой роскошной зеленью, между красивыми павильонами и дворцами, расписанными всеми возможными цветами. На этом самом месте Магомет II, восхищенный зрелищем, которое представилось глазам его, водрузил свое знамя и поклялся пророком, что возьмет Константинополь или умрет под его стенами.

Какой-то армянин воспользовался историческим преданием и построил кофейный дом на том самом месте, где последний Палеолог лишился и престола, и жизни. Истомленные усталостью и зноем, мы сошли с коней под чинарой, осеняющей двор, и, войдя в кофейный дом, принуждены были тотчас отложить свое европейское самолюбие и признаться, что одни только турки умеют вполне наслаждаться жизнью. Вместо того чтобы толкаться в какой-нибудь публичной зале или забиться в тесную и душную комнату, люди идут здесь через прекрасный сад на берег ручья. Мы сладострастно разлеглись на зеленом ковре, который оставлял далеко за собою искусственные лужайки наших парков; хозяин принес нам трубок, щербету, кофе, и ушел, чтобы мы могли свободно позавтракать по-восточному. Лорду Байрону все эти наслаждения надоели уже в Греции; но я испытывал их в первый раз и потому был в восхищении.

Выкурив по несколько трубок самого лучшего табаку, какой только был у нашего жида, в кальянах с розовой водой, мы снова сели на коней, чтобы продолжать свое

путешествие, и через четверть часа приехали к небольшой греческой церкви, весьма почитаемой в той стране. Как только мы вошли в ограду, монах, исполнявший должность чичероне, вместо того, чтобы показать нам внутренность церкви, повел нас к пруду, окруженному вызолоченною загородкою. Там он начал кидать в воду хлебные катышки, и бесчисленное множество рыбок, которые показались мне линиями, всплыли на поверхность пруда и стали ловить крошки, а монах между тем почтительно кланялся; это меня удивило: я всегда полагал, что в подобном случае благодарить должны рыбы, а не тот, кто их кормит. Но на этот раз я ошибался: это были заповедные рыбы, и монахи очень бедно отплачивали им хлебными крошками за обильную милостыню, которую они доставляют монастырю. Случай, которому эти рыбки обязаны таким уважением, был во время взятия Константинополя, и я передам его читателям во всей чистоте предания.

Взяв Константинополь и намереваясь сделать его своею резиденцией, Магомет II, чтобы совместить признательность к своим воинам и уважение к будущей столице, разрешил грабеж, но запретил делать пожар. На это назначено было только три дня, и потому солдаты усердно пользовались позволением и проникали в самые сокровенные убежища. Стена, ограждавшая греческий монастырь, считалась неприступною; полагаясь на это, настоятель ничего не боялся и спокойно жарил себе рыбу к обеду. Вдруг вбегает монах и кричит, что турки пробили в стене пролом и проникли в монастырь. Эта весть показалась настоятелю столь невероятною, что он пожал плечами и сказал: «Я скорей поверю, что эти рыбы соскочат со сковороды и начнут прыгать по полу.» Только он выговорил это, как рыбы разом соскочили на пол, и ну скакать и прыгать. Испуганный этим зрелищем настоятель выпустил их на волю, но лишь только он вышел в сад, один турок, думая, что он хочет убежать и унести какие-нибудь сокровища, ударил его кинжалом в грудь. Несмотря на смертельную рану, настоятель продолжал бежать и упал уже на берегу пруда. Рыбы поскакали в воду и зажили по-прежнему.

Потомки этих-то почтенных рыб привлекают к пруду путешественников всех стран, любопытных иностранцев, и никто не уходил без того, чтобы не оставить в монастыре более или менее значительной милостыни, смотря по

своему званию и богатству. Мы тоже дали кое-что доброму монаху, который показывал нам рыб.

Из монастыря, стоящего на половине дороги в Перу, мы отправились на турецкое кладбище, на которое уже издали любовались. Подобно древним римлянам турки простирают любовь к неге и за пределы жизни. Одно из величайших наслаждений в этом знойном климате есть, без сомнения, тень и свежесть. Мусульмане всю жизнь ищут этих благ, столь редких на Востоке, и потому заботятся о том, чтобы наверное наслаждаться ими и после смерти. Поэтому турецкие кладбища — не только прекрасное место успокоения для усопших, но и прелестное место отдыха для живых. Памятники обыкновенно состоят из колонны, покрытой розовою или голубою краскою, увенчанной чалмою и исписанной золотыми буквами. Они нисколько не напоминают о смерти и скорее походят на прихотливые украшения сада. Кладбища служат местом для любовных свиданий, и тут турецкие ловеласы, развалившись на дерне, ждут, чтобы греческий невольник или жидовка явились к ним с поручением от какой-нибудь красавицы. Впрочем, как скоро начинает смеркаться, эти прелестные места пустеют, делаются достоянием воров, театром мщения, и там нередко по утрам находят трупы.

Было уже поздно; мы объехали все стены, то есть, проехали миль восемнадцать. Поэтому мы велели своему проводнику показать нам, что еще остается посмотреть любопытного. Но для этого нам надобно было вернуться в посольский дом и взять янычара: иначе мы могли бы подвергнуться оскорблениям и даже нападениям в стенах священного для мусульман города; они очень жалеют и о том, что предместья и окрестности предоставлены гяурам. Мы отправились к г. Эдеру. Он задержал нас на несколько минут и по турецкому обычаю велел подать нам трубок, щербету и кофе; потом мы снова пустились в путь и еще раз пересекли через Золотой Рог из Галаты в Валиде: это была та самая дорога, по которой мы в первый раз шли к послу. Мы узнали улицу, где встретили несчастного Дукаса, когда его вели на казнь. Я невольно взглянул на окно, из которого тогда слышался женский крик, и мне показалось, будто за частою решеткой блестят два светлых глаза. Я отстал немножко от своих спутников; тоненький пальчик просунулся сквозь решетку и бросил какую-то вещичку на улицу. Проехав пять или шесть шагов, я отдал свою лошадь подержать носильщику, который тут стоял, а

сам сошел, как будто что потерял. Это был перстень с богатым изумрудом. В твердой уверенности, что он не уронен, а брошен, я поднял его и надел на палец, надеясь, что это талисман, который поведет меня к какому-нибудь любовному приключению. Надобно сказать, что для новичка я исполнил маневр свой очень удачно: никто не догадался, зачем я сходил с лошади, за исключением только нашего жида; тот раза два взглядывал на мою руку, но напрасно: перстень был уже у меня под перчаткою.

Признаюсь, что с той минуты я погрузился в самые безрассудные мечты, и одно уже мое тело посещало достопримечательности турецкой столицы. Мы осматривали еще наружность Софийской церкви, обращенной в мечеть, в которую пускают одних правоверных; ипподром, обелиск, цистерну, трех тщедушных, чахоточных львов, которых содержат в сарае, да несколько черных медведей и дрянного слона. Одни только серальские ворота, украшенные отрубленными головами и отрезанными ушами, привлекли на минуту мое внимание, и я возвратился на корабль, мечтая о приключениях, каких нет и в «Тысяче и одной ночи». Я тотчас побежал в свою каюту, запер дверь и принялся рассматривать свой перстень, думая, нет ли в нем какой надписи, которая показала бы мне, кому он принадлежит; но надежда моя не исполнилась: то было простое золотое кольцо с большим и прекрасным изумрудом, и поиски мои несколько не вывели меня из недоумения, а только воспламенили еще более мечты мои.

Я вышел на палубу, чтобы полюбоваться на последние лучи солнца, которое уже садилось за азиатскими горами и каждый вечер представляло нам самое великолепное зрелище. Весь экипаж вымылся и принарядился: матросы не забывали, подобно мне, что тогда было воскресенье, и вели себя чинно, как обыкновенно английский народ в этот день. Одни спали на люках, другие читали, лежа на канатах, третьи с важностью прохаживались по палубе, как вдруг на берегу, около большого здания, раздались страшные крики, и все головы обратились в ту сторону. Какой-то турок, преследуемый яростною толпою, выбежал из ворот, бросился к берегу, вскочил в лодку, отвязал ее и отчалил с проворством и силою отчаяния. Сначала беглец, по-видимому, не знал, куда ему обратиться; но толпа тоже бросилась в лодки, стоявшие у берега, и

погналась за ним; он обратил обитый железом нос своей лодки к «Трезубцу» и, несмотря на то, что вахтенный в него прицелился, он схватился за трап, взбежал на палубу, бросился к шпилью и потом, став на колени, раздирая чалму свою и крестясь, произносил какие-то слова, которых никто из нас не понимал. В это время еврей, получив от лорда Байрона плату за труды свои, вышел с ним на палубу. Моисей объяснил нам, что этот человек, верно, сделал какое-нибудь преступление и, чтобы приобрести наше покровительство говорит, что хочет сделаться христианином. В ту самую минуту с моря раздались ужасные крики, и несколько голосов требовали, чтобы убийцу выдали. «Трезубец» был осажден пятьюдесятью или шестьюдесятью лодками, в которых было по крайней мере триста человек.

Не выдавши этого зрелища, невозможно вообразить его. Подобно восточным коням, которые ходят только шагом или в галоп, турки не знают середины между совершенною безмятежностью и ужаснейшею запальчивостью. В последнем случае они настоящие демоны: жесты их быстры, безумны и убийственны, как и гнев, который их волнует. Вишо запретил им Магомет, зато они пьянеют при виде крови, и, как скоро ее попробовали, они уже не люди, а дикие звери, на которых не действуют ни рассуждения, ни угрозы. Я не понимаю, каким образом наш толмач мог разобрать что-нибудь посреди этого потока речей, смешанных звуков, яростных восклицаний, которые поднимались к нам, как бурный вихрь. В этой сцене было что-то фантастическое, и дело принимало такой важный оборот, что все матросы без приказа вооружились, как будто готовясь защищать корабль от абордажа. Между тем нападающие, казалось, поостыли, когда это заметили, и Борк, который тоже вышел на палубу, воспользовался этою минутою и приказал нашему жиду спросить, чего они хотят. Моисей показал знаками, что он желает говорить, но тут крики начались снова, сабли и кинжалы заблестали, и поднялся шум еще сильнее прежнего.

— Возьмите его, бросьте в море, и дело с концом, — сказал Борк, указав на беглеца, который, обнажив бритую свою голову, сверкая глазами, исполненными страха и гнева, уцепился за бизань-мачту и как будто прирос к ней.

— Кто смеет распоряжаться на моем корабле, когда я здесь? — сказал твердый голос, который, как обыкновенно в бурю или сражение, заглушил все прочие голоса.

Все обернулись. Капитан стоял на юте, господствуя над всей этой сценою. Никто не видал, как он туда взошел. Борк замолчал и побледнел. Турки, видно, тоже догадались по высокому росту, седым волосам и мундиру капитана, что это начальник христиан: все они обратились к нему и кричали в один голос.

Капитан спросил жида, как сказать по-турецки «Молчать!» и, взяв рупор, произнес турецкое слово с такою силою, что эти слова громом загрохотали над толпою. В ту же минуту, как по волшебству, шум утих, сабли и кинжалы скрылись, весла остановились неподвижно. Моисей, став на люк, спросил, что сделал человек, которого они преследуют?

Все голоса хором закричали:

— Он убийца! Смерть за смерть!

Моисей показал знаками, что хочет говорить, и толпа снова умолкла.

— Кого он убил? Как он убил?

На одной лодке встал молодой турак.

— Я сын того, кого он убил, — сказал турак, — кровь, которая у него на кафтане, кровь отца моего. Этой кровью, клянусь, я вырву его сердце у него из груди и брошу на съедение собакам.

— Каким образом убил он отца твоего? — спросил Моисей.

— Из мести. Убил сначала брата моего, который был в доме, потом отца, который сидел на пороге. Убил их низким, подлым образом, без меня; один был ребенок, другой старик, и ни тот, ни другой защищаться не могли. Он убил, и его надобно убить!

— Отвечай, — сказал капитан, — что это, может быть, и правда, но что во всяком случае дело должен разобрать судья.

Как скоро Моисей пересказал это, крики раздались снова.

— Что нам до судей! — кричали турки. — У нас коль станешь ждать судей, так никогда конца не добьешься! Мы сами с ним разделяемся. Давайте нам его сюда! Выдайте убийцу! Убийцу! Убийцу!

— Мы отвезем убийцу в Константинополь и сдадим с рук на руки кади.

— Нет, нет! — кричали турки. — Давайте его нам. Выдайте его, а не то валлах! биллях! таллах! Мы сами возьмем.

— Стыдно вам так клясться! — сказал Моисей.

— В ад жиды! — закричали турки, снова обнажив сабли и ханджары! — Убьем гяуров!

— Трапы долой! — закричал капитан в рупор, чтобы заглушить шум. — Стреляй в первого, кто сунется.

Приказание тотчас было исполнено, а человек двадцать матросов с ружьями и карабинами влезли на марсы.

Эти приготовления, значение которых было очень ясно, немного утомили нападающих, и они удалились от корабля футов на тридцать. В это время с лодок раздались два выстрела, но, к счастью, никого не ранили.

— Выпалить из пушки холостым зарядом! — вскричал капитан. — Не уймутся, так потопить лодки две, три, а там, что Бог даст!

За этим приказанием последовало минутное молчание; потом весь корабль дрогнул от выстрела тридцатишестифунтовой пушки; облако дыма взлетело, поиграло вокруг рей, и так как воздух был совершенно тих, то оно медленно поднялось прямо к небу. Когда дым рассеялся, мы увидели, что лодки несутся к берегу, за исключением только той, в которой был сын убитого. Он остался один и, казалось, своим ханджаром вызывал на бой весь экипаж.

— Тридцати солдатам, вооружившись хорошенько, сесть в баркас и отвезти преступника к кади! — сказал капитан.

Баркас тотчас спустили на воду; туда снесли убийцу; тридцать матросов с заряженными ружьями и шестью патронами сошли вслед за ним; двенадцать дюжих гребцов ударили веслами, и шлюпка быстро понеслась по волнам, которые уже начинали покрываться мраком.

При этом виде турецкие лодки снова собрались, образовали полукружие и следовали издали за убийцею, который был причиною всего этого шума.

Корабль поворотил боком, чтобы в случае нужды дать залп по берегу, но эта предосторожность была излишняя. Турки держались на почтительном отдалении от нашей шлюпки; матросы спокойно вышли на берег и повели преступника к кади. Турки тоже пристали к берегу, покинув свои лодки на произвол судьбы, и побежали в те же ворота, в которые вошли матросы. Минут через десять мы увидели, что наши спокойно и в величайшем порядке идут назад к баркасу. Виновный был в руках правосудия. В этом случае, как во всех, в которых призывалось здоровое



суждение и непоколебимое мужество, Стенбау сделал именно то, что было надобно.

Еще несколько времени тревожные толпы бродили по берегу и как бы угрожали нам, но мало-помалу мрак вокруг них сгустился, и крики стихли. Вскоре пространное водное зеркало, которое еще недавно оглашалось шумом и восклицаниями, погрузилось в глубокое безмолвие. Мы подождали еще с час; потом, из предосторожности от тайного нападения, капитан приказал пустить ракету. Огненная змейка взвилась к небу, ракета допнула в воздухе, озарила на минуту своими бесчисленными звездочками весь Константинополь от Семибашенного замка до Константиновского дворца, и мы увидели, что по берегу бродит уже только стая собак, которые с воем искали пищи.

На другой день посол наш пригласил капитана и всех офицеров «Трезубца» сопровождать султана в мечеть, куда он ехал благодарить Аллаха за то, что он внушил Наполеону мысль снова объявить войну России; по возвращении из мечети мы должны были обедать в серале, а потом представляться повелителю правоверных.

Вместе с этой известием привезли письмо к Байрону. Эдер уведомлял его, что домик для него в Пере нанят, и что он может переехать туда, когда ему угодно. Байрон тотчас собрался и в тот же день съехал с корабля с Гобгаузом, Экенгидом и с двумя греческими слугами. Капитан позволил мне проводить их с тем, чтобы я возвратился к девяти часам вечера.

Новое жилище лорда Байрона был прелестный дом, убранный совершенно по-турецки; он стоял посреди прекрасного сада, усаженного кипарисами, чинарами и сикоморами; широкие цветники были усеяны тюльпанами и розами, которые в этом благотворном климате цветут круглый год. Внутри были, по восточному обыкновению, ковры, софы и несколько шкафов, или, лучше сказать, сундуков, украшенных перламутром и слоновою костью и расписанных яркими красками. Эдер велел прибавить к этому три кровати, думая, что Байрон как ни любит восточной жизни, все-таки не станет простирасть своего фанатизма до того, чтобы, подобно туркам, спать во всем платье на софе. Это предположение чрезвычайно не понравилось Байрону, и, несмотря на крик и жалобы своих товарищей, он тотчас отослал все три кровати назад в посольский дом.

Утром в день, назначенный для аудиснции, я одевался, стараясь быть как можно наряднее, чтобы не слишком отличаться от турецких офицеров. Моисей вошел в мою каюту и запер за собою дверь с видом человека, который имеет важное и тайное поручение. Потом после всех этих предосторожностей он подошел ко мне на цыпочках и держа палец на губах. Я следил за ним глазами, смеясь, что он так важничает, и думая, что все это кончится тем, что он предложит мне какой-нибудь товар, запрещенный во владениях султана, но он, посмотрев еще раз вокруг себя, чтобы удостовериться, что никого лишнего нет, сказал мне:

— У вас на левой руке перстень с изумрудом.

— Это что значит? — сказал я, вздрогнув с радости и надеясь, что происшествие, которое ни на минуту не выходило у меня из головы, наконец, объяснится.

— Этот перстень, — продолжал он, не отвечая на мой вопрос, — бросили вам из окна в Галате, в тот день, как вы осматривали город.

— Да!.. Но почему же ты это знаешь?

— Перстень бросила женщина, — продолжал Моисей.

— Молоденькая, хорошенькая?

— Хотите посмотреть ее?

— О, разумеется!

— Вы, однако ж, знаете, чему вы подвергаетесь?

— Что мне до опасностей!

— Ну, так приезжайте ко мне нынче вечером, в семь часов.

— Непременно буду.

— Тс!.. Кто-то идет.

Вошел Джемс, и Моисей оставил нас одних. Джемс улыбаясь, следовал за ним взглядом.

— Гм!.. Ты, я вижу, вступил в тайные сношения с il signor Mercurio; желаю, чтобы тебе лучше моего посчастливилось. Я уж не беру у него ничего, кроме табаку, потому что все прочее, несмотря на его хвастовство, просто дрянь. Он насулит тебе свиданий с турчанками, гречанками, как будто ему некуда от них деваться, а потом познакомит в какую-нибудь жидовкою, да такую, что в Лондоне носильщик не поглядел бы на нее.

— Нет, брат Джемс, у меня дело совсем другое, — сказал я, покраснев при мысли, что, может быть, все

мечты мои поведут к такому же концу. — Не я ищу приключений, а приключения меня. Посмотри-ка этот перстень.

— Тем хуже, — сказал он, взглянув на перстень, — мне еще в молодости натвердили о говорящих букетах, о немых, о кожаных мешках, которые кричат, когда их бросают в море. Не знаю, правда ли все это, но только по рассказам такие истории именно здесь и случаются.

Я сомнительно покачал головою.

— А позвольте вас спросить, — продолжал Джемс, — как это достался вам такой талисман?

— Мне его кинули из решетчатого окна, откуда раздался крик в тот день, как мы встретили старого грека, которого вели на казнь. Помнишь?

— Да, я это знаю. Так, видно, тебя в этом-то доме и ждут?

— Я думаю.

— А позвольте спросить, когда?

— Сегодня часов в семь или восемь.

— И ты пойдешь?

— Разумеется.

— Ступай, любезный. Конечно, и я ни за что бы на свете не отказался от такого завлекательного приключения. А я сделаю то, что ты бы сделал в подобном случае, если бы был на моем месте, а я на твоём.

— Что же ты сделаешь?

— Этого я тебе не скажу.

— Делай, что хочешь, любезный Джемс. Я совершенно полагаюсь на твою дружбу.

Джемс пожал мне руку, я окончил свой туалет, и мы вместе вышли на палубу.

Залп пушек от сераля возвестил народу, что он скоро будет наслаждаться лицезрением своего падишаха. На этот отвечали другие залпы в янычарской казарме и Топханэ. Все корабли, стоявшие на якоре в Босфоре, подняли флаги и тоже начали палить. Константинополь представлял в эту минуту инстинно волшебный вид: весь Золотой Рог был в огне; с нашего корабля, который вздрагивал и гремел подобно другим, мы видели, сквозь промежутки дыма мечети, укрепления, минареты, красивые дома, сады, наполненные густою зеленью, кладбища с огромными кипарисами, амфитеатр зданий, беспорядочно нагроможденных, и все это, видимое сквозь дымный туман, принимало гигантские размеры, фантасти-

ческие формы и казалось как бы сном. Словно как будто какая волшебная страна!

Эти залпы со всех сторон призывали нас в сераль; мы сели с капитаном в баркас и поспешили к берегу. Там ждали нас богато убранные лошади; мне достался прекрасный серый конь в яблоках, с золотою сбруею, конь, на котором бы не стыдно было разезжать главнокомандующему в день битвы. Я вскочил на него с легкостью, которой позавидовали бы многие морские офицеры. У ворот сераля мы встретили нашего посла и лорда Байрона; последний был в алом мундире с богатыми золотыми нашивками, похожем на мундир английских адъютантов. Посол пригласил его, как постороннего зрителя, присутствовать при этой церемонии, а между тем она его чрезвычайно беспокоила. Байрон заботился о том, какое место занять в поезде, потому что он даже в глазах неверных хотел сохранить преимущества своего звания. Эдер тщетно уверял его, что не может назначить ему никакого особенного места, и что турки ровно ничего не понимают в обычаях английской знати; лорд Байрон успокоился только тогда, когда австрийский интернунций, судья в этих делах чрезвычайно сведущий, сам вызвался выбрать ему место в свите Эдера.

Мы вошли на первый двор, где должны были ждать, покуда ход начнется; через несколько минут шествие появилось.

Впереди шли янычары; за ними разные другие войска, грязные и оборванные, потом множество серальских и государственных сановников в колоссальных тюрбанах; наконец, явился сам султан Махмуд на пышном арабском коне. Кроме черной собольей шубы и бриллиантового пера на белом тюрбане, никаких других знаков высокого сана не заметили мы на этом государе. Перед султаном шел казначей и бросал в народ мелкие, только что отчеканенные деньги, а за ним секретарь, который принимал в желтый протфель просьбы и жалобы, подаваемые султану. Не знаю, кто шел позади секретаря, да я об этом и не заботился. Посол сделал знак, что нам пора присоединиться к шествию; мы тотчас въехали в пустое пространство, оставленное нам между султанскими телохранителями и какими-то кавалеристами в золотых касках. Мы поехали за его султанским величеством, ослепленные или, лучше сказать, пораженные этим восточным величием, которого Европа на могла бы достичь, если бы

даже собрала и выставила напоказ все свои сокровища.

Нам надобно было проехать весь город, чтобы достичь мечети Султана Ахмеда, стоящей на южном краю знаменитого в византийских летописях ипподрома, который турки называют Ат-мейданом, что тоже значит — конское арена. Султан с главными сановниками вошел в мечеть. Нам, как неверным, нельзя было войти туда, и потому Махмуд, чтобы сделать для нас это запрещение менее чувствительным, с истинно восточной учтивостью оставил три четверти своей свиты вместе с нами у Фсодосиева обелиска.

Пробыв в мечети с полчаса, султан снова сел на коня и поехал смотреть на игру в джерид; место для этого турнира, любимой забавы турок и египтян, назначено было на Пресных Водах.

Мы пустились в путь; миновали Константинов дворец и ехали все по берегу до места, где устроены земляные уступы в виде амфитеатра. Посередине, между рядами уступов, была платформа, назначенная для султана и двора его, а в противоположном конце ипподрома — купа деревьев, под которыми теснились зрители, не имевшие права на почетные места. Как скоро султан занял свое место, уступы наполнились народом: с одной стороны сидели женщины, с другой мужчины. Мы, европейцы, имеем вообще такие ложные понятия о Востоке, что я чрезвычайно удивился, увидев на публичном празднестве женщин знатнейших фамилий. Правда, они сидели отдельно от мужчин и притом в покрывалах, но все-таки это доказывало, что они свободнее древних гречанок, которым никогда не позволялось присутствовать на играх, в гимназиях или на состязаниях. Дело в том, что турецкие женщины живут совсем не в таком рабстве, как мы воображаем, за исключением султанских жен, за которыми строго присматривают. Прочие женщины ходят друг к другу в гости, в бани, по лавкам, бывают на гуляньях, принимают у себя врачей, даже некоторых коротко знакомых мужчин.

В Европе женщины своими нарядами служат украшением всякому собранию, а здесь совершенно напротив, нарядом отличаются мужчины.

Как скоро султан занял свое место, стражи, стоявшие по четырем углам ипподрома, расступились, и оттуда явилась толпа молодых людей. Они скакали так быстро и в таком беспорядке, что ничего нельзя было различить в

этом вихре, образовавшем густое, ослепительное облако алых седел, золотых шпор, блестящих ятаганов, серебряных нагрудников и рубиновых султанов. Игра началась простыми конными представлениями. При всякой картине смесь цветов и форм становилась более и более блестящей; группы свивались вензелями, раскидывались цветами, разбрасывались разноцветным ковром. Потом каждый старался показать свою ловкость, попадая в соперника джеридом или увертываясь от его ударов. Тогда пошли в дело трости с железными крючками. Всадники с удивительною ловкостью поднимали ими свои джериды или дротики с земли на всем скаку лошади, но другие, пренебрегая этим средством, спускались почти под самое брюхо лошади и поднимали джерид рукою.

Эта дивная борьба продолжалась часа два; ни у одного из всадников не было ни лат, ни шлема с наличником, между тем ни один из них не был ранен, что, однако же, не всегда случается. Наконец, ужасная музыка, которою подан был сигнал к началу битвы, раздалась в знак ее окончания. В ту же минуту джериды перестали летать и прицеплены были к седлам; всадники ускакали, ипподром опустело.

За всадниками явились плясуны на канате, странствующие паяцы, фокусники и ученые медведи. Все они начали показывать свое искусство: одни плясали, другие разыгрывали фарсы, третьи делали фокусы, так что каждый зритель мог выбрать зрелище по своему вкусу или рассеянными взорами окидывать все это странное и разнообразное зрелище. Что касается меня, то, признаюсь к стыду моему, я был одного мнения с лордом Эссексом из «Кенильворта», который, как читатели, конечно, помнят, предпочитал медведя даже Шекспиру, и я совершенно предался созерцанию милого четвероногого. Впрочем, надобно сказать, что внимание мое разделял и его вожатый, важный турок, который смеялся не больше своего зверя; ясно было видно, что он весь, от шелковой кисти своей шапочки до загнутых кончиков туфель, был проникнут чувством чести, которой удостоился. Всякий раз, когда султан изъявлял свое удовольствие, он, в полном убеждении, что это относится к нему и его медведю, останавливался, кланялся, заставлял кланяться медведя и потом начинал снова. К сожалению моему, это занимательное зрелище было вскоре прервано. Султан встал, чтобы ехать в сераль обедать. Все тотчас встали в

одну минуту: паяцы, фокусники, народ, визири и медведи, все разошлось, исчезло. Наши отправились тоже в сераль, а я, отдав лошадь слуге, пошел к берегу, сел в лодку и отправился в Галату; там при помощи нескольких слов французского наречия, которое я уже выучил, и адреса, который дал мне Моисей, я скоро отыскал его лавку.

Еврей не ждал меня так рано: он звал в семь, а тогда было еще только пять часов. Я рассказал ему, в чем дело, и просил дать мне что-нибудь поесть. Моисей был человек бесценный: он знал все возможные ремесла. Он тотчас принес мне самый лучший обед, какой только можно сыскать в Константинополе, то есть вареного цыпленка, рису с шафраном и пирожного; потом подал душистый кальян с превосходным табаком.

Я роскошно лежал на диване, как вдруг вошел Моисей и за ним женщина, закутанная в плащ и покрывало. Он тотчас запер за собою дверь. Воображая себе, что это моя богиня, которая решилась предстать передо мною в виде простой смертной, я вскочил с дивана и начал раскланиваться, но Моисей остановил меня.

— Времени тратить некогда, — сказал он.

— Да я и не намерен.

— Вы ошибаетесь. Это не барыня, а служанка.

— Ага! — сказал я с сожалением.

— Послушайте меня, — сказал Моисей, — оставьте это, пока еще можно; вы пускаетесь на дело, опасное везде, а в Константинополе и подавно. Мне заплатили, чтобы предложить вам свидание, я и предложил; но ни за что на свете не приму на себя ответственности за то, что может с вами случиться.

Я вынул кошелек и, высыпав на руку половину того, что в нем было, подал Моисею.

— Вот, — сказал я, — несколько цехинов в знак признательности за то, что ты исполнил это поручение, и в доказательство, что я отступаться не намерен.

— Так и быть, — сказал Моисей, отвязывая покрывало и верхнее платье женщины, которая почтительно стояла у дверей, не понимая того, что мы говорили. — Наряжайтесь, — прибавил он. — и дай Бог вам выпутаться из беды, в которую сами лезете.

Признаюсь, что я немножко поколебался, увидев, что надобно закутаться в это платье, в котором мне, как мумии, невозможно будет действовать руками. Но я зашел

уже слишком далеко, отступить было бы стыдно, и я, очертя голову, продолжал свое опасное предприятие.

— Научи же меня, что мне теперь делать? — сказал я.

— Ступайте только за невольником, который поведет вас, а главное, молчите. Одно слово, и вы погибли.

Все это было не очень весело; но уж так и быть, я на все решился. Читатели уже видели, что я не труслив, да притом меня влекло любопытство, столь свойственное молодым людям. Я прикрепил только свой мичманский кортик, надел платье и покрывало и в этом костюме, скрывающем все формы, походил, как две капли воды, на ту, которая уступила мне свою одежду. Это я угадал по взгляду, которым мы с Моисеем обменялись.

— Ну, а теперь что мне делать? — спросил я, нетерпеливо желая узнать, к чему все это меня поведет.

— Пойдемте со мною, — отвечал Моисей, — и только ради Бога...

Он положил палец на губы.

Я кивнул головою, otvorил дверь и, сойдя с лестницы, очутился в магазине.

Там ждал нас черный невольник. Обманутый моим нарядом, он тотчас побежал отвязать осла. Турчанки обыкновенно ездят на ослах. Моисей почтительно проводил меня до дверей, помог мне сесть в седло, и я пустился в путь, сам не зная, куда меня везут.

## XVI.

Мое путешествие продолжалось минут десять; я не узнавал ни одной из улиц, по которым ехал. Наконец мы остановились у довольного большого дома. Провожатый мой otvorил ворота, я въехал, и он опять их запер. Я очутился на квадратном дворе, видно хорошо знакомом моему ослу, потому что он сам пошел прямо к двери напротив ворот. Я хотел было соскочить, но невольник стал на одно колено, чтобы другое послужило мне вместо ступеньки, и подставил мне голову, чтобы я оперся на нее рукою. Я последовал принятому порядку; потом, видя, что невольник хочет ограничить этим свои услуги и собирается вести осла в конюшню, я показал ему повелительным жестом, чтобы он шел вперед. От тотчас повиновался с почтительностью, доказывавшей его привычку к языку жестов.



Предосторожность была не лишняя. Я бы никогда не выпутался из лабиринта комнат и коридоров, по которым вел меня невольник. Между тем я посматривал вокруг себя, чтобы запомнить путь, если придется удрать, поспешно скрываться, и по множеству слуг и стражей, которые мельками мимо меня, как тени, или стояли неподвижно, как статуи, я догадался, что нахожусь в доме какого-то знатного турецкого господина. Наконец, отворилась дверь в комнату, светлее и лучше убранную, чем все прочие. Проводник мой впустил меня туда, затворил дверь и я очутился перед девушкою лет четырнадцати или пятнадцати, которая показалась мне совершенной красавицей.

Прежде всего я запер дверь позолоченной задвижкой, повернулся и стоял несколько секунд неподвижно, вне себя от удивления и радости, пожирая глазами фею, которая как бы волшебным жезлом отворила мне двери этого очарованного дворца. Она лежала на шелковых подушках; на ней был кафтан из розовой шелковой материи с серебряными цветочками и верхнее платье из белого штофа с золотыми цветочками, стянутое в талии и вырезанное на груди; длинные рукава этой ферязи висели позади, а под ними рукава белой шелковой газовой рубашки, которая застегнута была на груди бриллиантовой запонкою. На голове у девушки был прелестный головной убор турчанок, который состоит из бархатной алого цвета шапочки с золотой кистью и надевается набекрень. Волосы на виске, выбивавшиеся из-под шапочки, были приглажены, и в них заткнут букет из драгоценных камней, обделанных в виде цветов; жемчужины изображали померанцевые цветы, рубины — розы, бриллианты — жасмины, а топазы — фиалки. Волосы красавицы, длинные, каких у нас никогда не видно, падали бесчисленными плетенками до вышитых золотых туфель. Что касается лица, то у ней были черты совершенно правильные; это была греческая красота во всем своем строгом и прелестном величии — лицо с большими черными глазами, аполлоновским носом и коралловыми губами.

Само собой разумеется, что я рассмотрел все это одним взглядом. Красавица между тем протянула вперед головку, согнув шею, как лебедь, и устремив на меня беспокойный взор. Я вспомнил о странном своем наряде и догадался, что она сомневается, точно ли я тот, кого она

ждала. Я в ту же минуту разорвал, сбросил с себя платье и покрывало и очутился в своем мичманском мундире. Прекрасная гречанка встала, пошатываясь, и, протянув ко мне руки, воскликнула:

— Ради Бога, спасите меня!

— Скажите мне, кто вы, и от какой опасности я должен спасти вас? — спросил я, подбегая, чтобы поддержать ее.

— Кто я? — сказала она. — Я дочь того, кого вы встретили, когда его вели на казнь, и вы можете спасти меня от опасности быть любовницей того, кто причиною смерти отца моего.

— Скажите только, что я должен делать? Я на все готов.

— Прежде всего вам надобно знать, чего я боюсь и на что надеюсь. Я вам расскажу это в нескольких словах.

— Но не напрасно ли мы будем терять драгоценное время? Вы молоды, прекрасны, несчастны. Вы понадеялись на мое мужество и благородство, иначе бы вы меня не призвали, чего ж мне более?

— Теперь покуда нам бояться нечего. Глава ичь-огланов по случаю праздника в серале, но в доме не спят, и бежать нам еще нельзя.

— Так говорите.

— Отец мой был грек, царской крови и богат. Это три преступления, которые в Константинополе стоят смертной казни. Глава ичь-огланов донес на него. Его взяли под стражу, меня продали; его отвели в тюрьму, меня сюда; его приговорили к смерти, меня к позору. Одну матушку пощадили.

— О, я ее видел! — вскричал я. — Это, верно, она стерегла труп вашего несчастного батюшки?

— Да, да, — отвечала девушка, ломая себе в отчаянии руки. — Да, это верно была она!

— Мужайтесь! — сказал я.

— О, вы увидите при случае, что я мужественна! — сказала она с улыбкою ужаснее слез. — Меня отвели к моему господину, к убийце отца моего; он запер меня в эту комнату. На другой день я услышала шум. Все еще надеясь, сама не знаю на что, я подбежала к окну: то отца моего вели на казнь!

— Ах, так это вы схватились за решетку, вы испустили горестный крик, который раздался в моем сердце?

— Да, это я, — отвечала она, — я видела, как вы при этом крике подняли голову и схватились за кинжал. Я

угадала, что вы человек великодушный, и что вы спасете меня, если только можете.

— О, конечно!.. Приказывайте, я сделаю все, что только возможно.

— Но для этого надобно было как-нибудь вступить в сношение с вами. Я решилась сносить покуда присутствие моего господина. Да, я без гнева смотрела на человека, запятнанного кровью отца моего; я говорила с ним и не проклинала его. Он считал уже себя счастливым и вздумал наградить меня этими богатыми платьями и великолепными вещами. Однажды утром ко мне привели Моисея, богатейшего ювелира во всем Константинополе.

— Как, этот жалкий жид — богатый ювелир?

— Да. Я его давно знаю. У батюшки, кроме меня, детей не было; он чрезвычайно баловал меня и покупал иногда у Моисея материи и драгоценные вещи на огромные суммы. Я показала ему знаками, что мне нужно поговорить с ним. Догадливый жид сказал Главе, что с ним нет ничего, что мне нужно, и что он придет завтра. На другой день Глава ичь-огланов должен был оставаться в серале, но приказал, чтобы Моисея и без него впустили ко мне, но чтобы при этом были двое его сторожей. Между тем я все стояла у окна, надеясь, что как-нибудь увижу вас. И точно, я увидела, что вы едете. Тут мне пришлось в голову бросить свой перстень, и вы подняли его с такой радостью, что с тех пор я уже полагалась на вас, как на друга. На другой день Моисей пришел, сторожа были тут, но я сказала ему все, что нужно было, по-итальянски. Я описала вас всего, от цвета ваших волос до формы вашего кинжала. Я все заметила! Моисей сказал, что он, кажется вас знает. Вообразите мою радость! Не зная, удастся ли нам еще раз увидится, мы приготовили все на нынешний день, потому что в серале праздник, и голова должен быть там. Кормилица моя, которую оставили при мне, не из сострадания, а скорее по равнодушию, должна была, по обыкновению, ехать с невольником к Моисею за духами; он обещал, что вы будете в это время у него и приедете ко мне в ее платье. Между тем она пошла сказать матушке, чтоб у Галатской Башни был готов ялик. Моисей сказал, что придет мне гитару, если вы согласитесь идти на свидание. Он прислал мне ее... вот она... а теперь и вы здесь... Хотите ли вы помочь мне? До сих пор все шло хорошо. Остальное зависит от вас.

— Скажите только, что я должен делать?

— Пройти через все эти комнаты вещь невозможная. Но мы можем спуститься из окна этого кабинета.

— Но от окна до земли будет футов двенадцать.

— Это бы еще ничего: вы можете спустить меня на моем шелковом поясе. Но за деревянной решеткой есть железная.

— Я выломаю одну из перекладин кинжалом.

— Так принимайтесь же за работу: пора.

Я вошел в кабинет и за шелковыми занавесками будуара увидел тюремную решетку. Выглянув на улицу, я заметил, что прямо против дома, за углом, стоят какие-то два человека. Несмотря на это, я молча принялся за работу, в твердой уверенности, что они тут по своим делам, а не для того, чтобы присматривать за нами.

Камень был довольно мягкий, но между тем я при каждом ударе мог отделять только небольшой кусочек. Гречанка смотрела на мою работу с любопытством и надеждой. Роль моя переменилась; но, несмотря на ее дивную красоту, я гордился тем, что она избрала меня в избавители, еще более, чем если бы я был ее любовником. Таким образом, в моем приключении было много рыцарского благородства, и я решился действовать с величайшим бескорытием.

Работа моя шла успешно; я добрался уже до основания перекладины, как вдруг девушка положила одну ручку на мою руку, а другую протянула в сторону, где послышался легкий шум. Она стояла таким образом с минуту, безмолвно и неподвижно, как статуя, и только более и более судорожно сжимая мою руку. Пот выступил у меня на лице.

— Это он вернулся, — сказала она, наконец.

— Что нам теперь делать? — спросил я.

— Посмотрим. Может быть, он не придет сюда, тогда ничего страшного, что он вернулся!..

Она снова принялась слушать и через минуту сказала:

— Идет!

Я хотел было броситься в другую комнату, чтобы встретить его лицом к лицу, когда он откроет дверь.

— Ни слова! Ни с места, — сказала она, — или мы оба погибли.

— Но я не могу прятаться! Это было бы низко и подло!

— Молчите! Ради Бога!.. Молчите и дайте мне волю!

— сказала она, положив одну ручку мне на губы и вырвав другой мой кортик.

Она бросилась в другую комнату и спрятала кортик под подушки, на которых лежала, когда я вошел. В эту самую минуту постучались у дверей.

— Кто там? — спросила гречанка, поправив подушку.

— Я, — отвечал мужской голос, сильный, но который заметно старались смягчить.

— Сейчас отопру, — сказала девушка. — Раба ваша всегда рада своему господину.

При этих словах она подошла к кабинету, затворила дверь и заперла задвижкой, и я должен был если не видеть, по крайней мере слышать, что будет тут происходить.

Много опасностей испытал я во время моей тревожной жизни, но ни одна из них не производила на меня такого тягостного впечатления, как та, которой я подвергался в эту минуту. Я был без оружия, не мог защитить ни самого себя, ни женщины, которая призвала меня на помощь, и принужден был предоставить дело, от которого зависела жизнь моя, существу слабому, не имеющему никакого другого оружия, кроме врожденной у греков хитрости. Если бы она проиграла дело, я был бы в кабинете, как волк в западне, не в состоянии ни вырваться, ни защищаться; если бы выиграла, тогда она бы встречала опасность смело, как следует мужчине, а я бы прятался, как женщина. Я искал вокруг себя какой-нибудь мебели, которую бы мог употребить как оружие; но тут не было ничего, кроме подушек, тростниковых табуретов и горшков с цветами. Я подошел к дверям и стал прислушиваться.

Они говорили по-турецки, и я, не видя их телодвижений, не мог понимать. Между тем по выражению голоса мужчины я догадался, что он не грозит, а молит. Через несколько минут мне послышались звуки гитары, потом чистый, мелодичный голос гречанки и пение, которое казалось и мольбою рабыни, и гимном любви: так оно было заунывно и нежно. Я был вне себя от удивления. Эта девушка, не старше пятнадцати лет, несколько минут назад, ломая руки, оплакивала смерть отца, свое собственное рабство и гибель своего семейства; ей помешали, когда она готовилась к бегству и уже заранее наслаждалась мыслию о свободе; она знала, что я тут, подле, знала, что вся надежда ее в кинжале, лежащем под подушками, на которых она сидит, — и между тем эта эта девушка пела голосом, по-видимому, столь же спокойным, как некогда, сидя между отцом и матерью, под чинарой, у дверей родительского дома!

Все это казалось мне сновидением. Я слушал и ждал. Наконец, пение прекратилось. Разговор, который за ним последовал, казался еще нежнее прежнего; потом наступило молчание, и вдруг раздался болезненный, заглушенный крик. Я не смел дышать и смотрел на дверь, как будто стараясь проникнуть сквозь нее взорами. Послышался еще глухой стон; потом воцарилось мертвое молчание. Вскоре легкие шаги, которые я едва различал при сильном биении моего сердца, приблизились к кабинету; задвижка щелкнула, дверь отворилась, и свет луны, проникавший сквозь окошко, упал прямо на гречанку. Она была в длинном нижнем платье, бела и бледна, как привидение, и из всего убранства сохранила один только бриллиантовый букет, который был у нее в волосах. Я хотел заглянуть в ту комнату, но там было темно, и я ничего не мог различить.

— Где ты? — сказала она, потому что я стоял в тени.

— Здесь, — сказал я, подвинувшись вперед и став на то место, куда светила луна.

— Я кончила свое дело; теперь твоя очередь, — сказала она, подавая мне кортик.

Она держала его за рукоятку; я взял за лезвие. Оно было тепло и мокро; я раскрыл руки и при свете луны увидел, что оно в крови.

В первый раз дотронулся я до человеческой крови! Волосы мои встали дыбом, и дрожь пробежала по всему телу; но я тотчас понял, что времени терять нельзя, и принялся за работу. Два человека, которых я уже видел, по-прежнему стояли у угла; но я не обращал на них внимания и продолжал выламывать перекладину, хотя, слыша шум, они часто посматривали на окно. Наконец, перекладина была выломана, и отверстие так велико, что мы могли пролезть в него. Оставалась одна наружная решетка; но мне стоило только толкнуть ее, и она упала. В ту же минуту один из людей, стоявших у угла, выбежал на середину улицы.

— Это ты, Джон? — сказал он. — Не помочь ли тебе? Мы с Бобом к твоим услугам.

— Джемс! Боб! — вскричал я. Потом, обратившись к гречанке, которая не понимала того, что мы говорили, я сказал:

— Теперь мы спасены. — Нет, нет, — продолжал я, говоря с Джемсом, — помощи мне не нужно. А нет ли у вас веревки?

— У нас есть лестница, это еще лучше, — сказал Джемс — Поди-ка сюда, Боб, стань к стене.

Матрос тотчас подошел; Джемс влез к нему на плечи, подал мне веревочную лестницу, и я привязал ее к пере-кладинам. Джемс соскочил на землю и взял лестницу за нижний конец, чтобы она не качалась. Подруга моя тотчас влезла на окно и через минуту очутилась на улице, к великому удовольствию Джемса и Боба, которые не могли понять, что это значит. Я тоже тотчас спустился к ним.

— Скажи, ради Бога, что это с тобой сделалось? Ты бледен, как смерть, и весь в крови. Не гонятся ли за тобою?

— Гнаться некому, кроме разве привидения, — отвечал я. Но я тебе расскажу это после. Теперь некогда. — Где же лодка ждет вас? — спросил я гречанку по-итальянски.

— У Галатской Башни, — отвечала она, — но я не в состоянии вести вас. Я не знаю дороги.

— Найдем, — сказал я, схватив ее за руку, чтобы вести. Но тут только заметил, что у нее босые ноги, и что она не в состоянии идти. Я хотел было взять ее на руки, но Боб, угадав мое намерение, предупредил меня, поднял ее, как ветер перышко, и побегал к берегу. Джемс подал мне пару пистолетов и, вынув из-за пояса другую, сделал мне знак, чтобы я шел с правой стороны Боба, а сам пошел с левой.

Мы шли таким образом, не встречая никаких препятствий. В конце улицы нам представилось огромное синее зеркало Мраморного моря. Тут мы повернули влево и пошли по берегу: множество лодок переезжало из Константинополя в Галату и из Галаты в Константинополь. Одна только лодка стояла неподвижно на некотором расстоянии от берега. Мы остановились перед нею, и гречанка пристально на нее смотрела, потому что она была, по-видимому, пуста. Но вдруг из нее поднялся какой-то призрак.

— Матушка! — вскричала трепещущим голосом девушка.

— Милая моя! — отвечал голос, от которого все мы вздрогнули. — Дитя мое! Ты ли это?

В ту же минуту четверо гребцов, которые лежали на дне барки, сели на свои места; лодка полетела, как ласточка, и через минуту причалила к берегу; мать и дочь бросились друг другу в объятия; потом старуха кинулась к ногам нашим и спросила, чьи колена ей обнимать. Я поднял ее и сказал:

— Ступайте, ступайте, ради Бога, не теряйте времени; иначе вы погибли!

— Прощайте, — сказала девушка, пожав мне руку; одному Богу известно, увидимся ли мы с вами когда-нибудь. Мы отправимся в Кардики, в Эпир: там у нас есть родные. Скажите мне, как вас зовут, чтобы я могла всякий день поминать ваше имя в своих молитвах.

— Меня зовут Джон Девис, — сказал я. — Очень жалею, что я мало для вас сделал; но я сделал все, что мог.

— А меня зовут Василики. Бог милостив; может быть, мы еще и увидимся.

При этих словах она прыгнула в лодку и, сорвав с головы букет, сказала:

— Возьмите. Это награда, которую я обещала Моисею. А вас один Бог в состоянии наградить за все, что вы для меня сделали.

Букет упал к ногам моим; лодка быстро удалилась от берега. Белые платья матери и дочери еще несколько времени мелькали, как покровы двух привидений; потом лодка, гребцы, белые покрывала, все исчезло, как легкое видение, и погрузилось во мрак ночи.

Я стоял с минуту неподвижно на берегу, и верно бы принял все это за сновидение, если бы в руках у меня не осталось драгоценного букета, а в памяти имени Василики.

## XVII

Когда лодка исчезла, мы опомнились и стали думать о себе. Положение наше было очень незавидное. Во-первых, мы были на берегу, в полночь, без позволения; потом нам надобно было идти от Галаты до Топханэ берегом, а тут голодные собаки бродили целыми стаями; они легко узнавали, что мы иностранцы, и потому считали себя вправе терзать нас. Притом у меня не выходило из головы, что хоть я и не участвовал в убийстве, однако все-таки убит был поклонник Магомета — важный сановник, голова пажей султана.

Мы знали, что на корабле нам не миновать наказания, но две последние причины побуждали нас вернуться туда как можно скорее. Мы пустились в путь, прижавшись друг к другу; за нами шла целая стая голодных собак, глаза которых сверкали в темноте, как горящие уголья. По



временам они так близко подходили к нам и притом со столь явными неприязненными намерениями, что мы принуждены были останавливаться, оборачиваться, чтобы испугать их. Боб пускал в дело палку, которая была у него в руках, и которою он действовал очень ловко; преследователи наши отступали, мы продолжали путь, но потом собаки опять нас нагоняли и чуть не хватили за пятки. Если бы кто из нас отстал или упал, то ему, верно бы, не сдобровать, да и остальным тоже, потому что как скоро собаки попробовали бы крови, их бы уже не отогнать.

Собаки провожали нас таким образом до самой Топханэ, где стояла лодка Джемса и Боба. Джемс первый вошел в нее, я за ним; Боб прикрывал наше отступление, а это было нелегко. Противники наши, догадываясь, что мы ускользаем от них, подступили так близко, что Боб, махнув палкою, убил собаку, которая была посмелее; прочие в ту же минуту бросились на труп и растерзали его. Боб воспользовался этой минутой, отпер замок цепи, которой лодка была причалена к берегу, и прыгнул в нее; мы с Джемсом ударили в весла и быстро удалились от берега, сопровождаемые воем, который показывал, как собакам жаль, что им не удалось покороче с нами познакомиться. Футах в ста от берега Боб взял у нас весла и начал грести сильнее нас двоих.

Кому не случалось наслаждаться тихою, улыбающеюся восточною ночью, тот не может составить себе о ней ни малейшего понятия. При свете луны Константинополь со своими расписанными домами, золотокранными павильонами, деревьями, рассеянными повсюду в живописном беспорядке, казался настоящим волшебным садом; небо было чисто, без малейшего облака, море спокойно и похоже на огромное зеркало, в котором отражались все звезды небесные. Корабль наш стоял немножко подале от скутарийского дворца, на высоте Леандровой башни, за ним был маяк на мысе Халкедонского порта; красивые мачты и ванты «Трезубца» подобно нитям паутины вырисовывались темным цветом на фоне маяка. Красота зрелища, которое представлялось глазам нашим, заставила было нас забыть о нашем положении, но вид корабля напомнил нам о нем. Мы были уже близко, и потому велели Бобу грести потише, чтобы весла не выбивали столько огня из фосфористого моря и не делали такого шума. Мы надеялись, что нам удастся подойти к кораблю

так, что вахтенный нас не заметит, или, если он из наших, по крайней мере соизволит показать, будто не видел. Тогда мы бы пробрались на корабль через одно из тех отверстий, которые никогда не закрываются на боках судна, улеглись бы потихоньку в свои койки, а на другой день вышли бы на вахту, как ни в чем не бывало. К несчастью, против нас приняты были всевозможные предосторожности. Когда мы приблизились шагов на тридцать к «Трезубцу», часовой, которого только голова виднелась из-за борта, встал на бак и закричал изо всей силы:

— Эй, на лодке, что надо?

— Мы хотим на корабль, — отвечал я, держа руки перед ртом, чтобы не так громко было.

— Кто вы такие?

— Мичманы Больвер и Девис и матрос Боб.

— Прочь!

Мы взглянули вне себя от удивления, тем более, что вахтенный матрос был короткий приятель Боба и, верно, очень бы желал скрыть нашу провинность. Думая, что он, может быть, не расслышал, я сказал ему:

— Ты, верно, не слыхал, Патрик. Говорят тебе, что это мы, Больвер, Девис и Боб, и что мы возвращаемся на корабль. Неужели ты не узнаешь моего голоса?

— Прочь! — завопил опять Патрик таким громким и повелительным голосом, что, вскрикнув в третий раз, он, верно, разбудил бы весь корабль; поэтому Боб, не дожидаясь третьего крика, начал грести прочь.

Мы поняли его намерение и, в знак согласия, кивнули ему головой. Он хотел выйти из вида корабля и потом, сделав круг, подойти еще с большими предосторожностями с другого бока, в надежде, что, может быть, там посчастливится. Удалившись на некоторое расстояние от корабля, мы остановились на минуту; обернули весла своими носовыми платками и небольшим парусом, который разодрали надвое; потом Боб снова начал грести, но так тихо, что мы сами не слыхали шуму весел, и один только фосфорический след, который мы оставили за собой, мог обличить нас. Мы радовались своей хитрости, были почти уверены, что проберемся на корабль; но, подойдя к нему футов на двадцать, увидели, что часовой, матрос, ходивший по палубе, остановился. Через минуту опять послышался крик:

— Эй, на лодке! Что надо?

— Да черт вас возьми!.. Ведь вам толком говорят, что

мы хотим вернуться на корабль, — сказал Джемс, который, подобно мне, выходил уже из терпения.

— Прочь! — закричал часовой.

— Да что с вами сделалось? Ведь мы не пираты! — сказал я.

— Прочь! — повторил часовой.

Мы не послушались и велели Бобу грести к кораблю.

— Прочь! — закричал опять часовой, опустив ружье к нам дулом: — Прочь или я выстрелю!

— Тут какая-то чертовщина, — пробормотал Боб. — Я думаю, ваше благородие, что всего лучше теперь послушаться.

— Да когда же мы попадем на корабль? — спросил я.

— В утреннюю вахту, когда уже будет светло.

До утренней вахты оставалось еще часа четыре; но делать было нечего: мы решились ждать и отошли от корабля на положенное расстояние. Боб предлагал было съехать на берег, потому что там удобнее было бы отдохнуть, чем в лодке, но собаки отбили у нас охоту гулять ночью по Константинополю. Мы остались посреди Босфора. Если б наказание наше этим и ограничилось, было бы еще сносно, потому что ночь была прекрасна и воздух теплый; но прием, какой нам сделали, не обещал ничего доброго, и не мудрено, что это нас беспокоило, потому что мы хорошо знали характер Борка. Несмотря на красоту зари, которая начинала занимать, и великолепного зрелища, которое представилось нам при солнечном восходе и в другое время привело бы меня в восторг, эти четыре часа показались нам ужасно долгими и несносными. Наконец, свисток возвестил нам, что вахту сменяют. Мы снова приближались к кораблю. В этот раз нас уже не окликали.

Войдя на палубу, мы увидели, что лейтенант Борк в полном мундире стоит перед всем корпусом офицеров, которые были собраны как будто на военный совет. За такой проступок, в каком мы провинились, мичманов наказывают обыкновенно арестом, а матросов несколькими ударами, и потому мы представить себе не могли, чтобы вся эта церемония делалась для нас. Но мы скоро разуверились и догадались, что Борк хочет выдать нас перед капитаном за дезертиров. Как только мы вошли на палубу, он сложил руки на груди, посмотрел на нас глазами, в которых надежда наказать кого-нибудь всегда сверкала каким-то странным блеском, и сказал:

— Откуда вы?

— Мы были на берегу, лейтенант, — отвечал я.

— С чьего позволения?

— Вы знаете, что я был с капитаном.

— Знаю, но все другие вернулись в десять часов, а вы в пять.

— Мы вернулись в двенадцать часов, да нас напустили.

— А разве кого-нибудь пускают на военный корабль в полночь?

— Я знаю, что обыкновенно в такое время не возвращаются, но есть обстоятельства, которые могут задержать против воли. Я был с капитаном, разлучился с ним случайно, и ему только обязан отчетом во всем. Кроме капитана, никто не может вмешиваться в это дело.

Борк с досадою увидел, что ему не удалось поддеть меня. Он отпустил офицеров и стал ходить один по палубе, поглядывая на меня самым злобным, хитрым и подозрительным образом.

Я много сносил от Борка, но не знаю отчего эти взгляды до того меня взбесили, что я подошел к нему и решительно попросил его объяснить мне причину столь оскорбительного поведения. Слово за словом, у нас произошла страшная ссора. Борк до того разгорячился, что совершенно вышел из себя и назвал меня «дрянным мальчишкою, которого он, если бы был отцом моим, велел высесть розгами».

Что я в эту минуту почувствовал, этого я выразить не умею. Вся кровь моя, которая за минуту перед тем прилила к сердцу, бросилась в голову.

Прибежав в каюту, я схватился обеими руками за волосы, кинулся ничком на пол и несколько времени оставался таким образом неподвижно, как бы уничтоженный, не подавая никаких признаков жизни, кроме какого-то хрипенья, выходявшего из глубины моей груди. Потом, не знаю через сколько времени, потому что в тогдашнем моем состоянии я его не замечал, я медленно поднялся и улыбнулся в свою очередь.

Мысль о мщении до такой степени меня целый день занимала, что я сделался больным, слег в постель и не дотрагивался до пищи, которую мне приносили. Между тем я казался спокойным, и матрос, который принес мне на другой день завтрак, конечно, не догадался, что во мне происходит. Чтобы не подать ему подозрения, я начал есть

при нем и спросил, вернулся ли капитан. Матрос отвечал, что капитан прибыл еще накануне, что мне и Джемсу объявлен месячный арест за несвоевременное возвращение на судно, что презрительный отзыв обо мне, произнесенный лейтенантом, разбудил негодование всех офицеров, и они, чтобы сколько можно отплатить ему, «наложили на него карантин». Это меня обрадовало, как доказательство, что весь экипаж одинаково со мною смотрит на поступки Борка. И я еще более утвердился в моем намерении.

Теперь я должен объяснить тем из моих читателей, которые незнакомы с английской морской жизнью, что значит наложить на кого-нибудь карантин.

Когда кто-нибудь из офицеров несправедливо обидит своего товарища или сделает неблагородный поступок, все прочие составляют род совета и объявляют, что этот офицер будет столько-то времени в карантине. Но такое решение должно быть принято единогласно, потому что все до одного должны содействовать его исполнению.

Теперь вот в чем состоит наказание.

Как скоро офицер в карантине, он точно пария, прокаженный, зачумленный. Никто не подходит к нему иначе, как по делам службы; если он спрашивает, ему отвечают как можно короче; если он протягивает руку, ему не подадут руки; если он предлагает сигару, никто не берет; если он идет на носовую часть, офицеры переходят на корму. За обедом никто ему ничего не подает; соседей его потчуют, его никогда; он должен или просить, чтобы ему подали, или сам взять. Жизнь на море и без того не слишком разнообразна, и потому подобное наказание — настоящая мука; с ума можно сойти. Зато наказанный обыкновенно покоряется, исправляется. Тогда он тотчас снова делается человеком, добрым малым, и наслаждается всеми правилами хорошего товарища; перестает быть исключением и подходит под общее правило. Но если он не покоряется, никто ни на минуту не нарушает определения, и покуда он упрямится, до тех пор продолжается карантин.

По характеру Борка легко было предвидеть, что он никогда не переменится. Притом эта мера и не производила большой перемены в обыкновенном его образе жизни. Он всегда был один, а теперь сделался, если можно, еще мрачнее и строже прежнего.

Что касается меня, то одиночество только укрепляло

меня в моем намерении. По временам, при воспоминании об обиде, нанесенной мне лейтенантом, сердце мое сжималось, и кровь поднималась в голову; бывали, однако, и такие минуты, когда решимость моя ослабевала, и я старался оправдать в собственных глазах его наглое, ненавистное поведение. Но однажды Патрик, принесший кушанье, сообщил мне по секрету, что Борк произнес на палубе, перед офицерами, новые оскорбления и угрозы против меня, обещая, до тех пор, пока он будет жив, гнать и унижать «этого дрянного мальчишку Девиса». Дело конченное, нам с Борком нельзя было долее жить на одном судне. Мне оставалось избрать одно из двух: или совсем оставить службу, или просить о переводе. Второе было бы безуспешнее, да и не повело бы ни к чему в случае успеха. Отомстить Борку я мог только на свободе.

## XVIII

Я тотчас начал готовиться к своему предприятию. Я перечел свою казну: в ней было еще деньгами и векселями около пятисот фунтов стерлингов, больше чем нужно, чтобы прожить без нужды два года, а два года в те времена — два века. Я написал к батюшке и матушке длинное письмо, в котором говорил им о своих чувствах и рассказал все, что случилось со мною, с тех пор как я поступил на «Трезубец». Письмо оканчивалось тем, что я решился вызвать Борка на дуэль.

Мне стало как-то легче, когда я окончил эти главные приготовления; мне казалось уже, что мщение мое началось и что теперь оставить мое предприятие невозможно. Вызвать Борка на дуэль на корабле было бы безрассудно; я построил план свой совсем иначе.

Борк ездил иногда к послу по делам капитана и по своим собственным. Людей он не очень любил, о природе и не думал и потому всегда ходил туда по самой короткой дороге. Эта дорога шла через одно из самых больших и прекраснейших константинопольских кладбищ. Чтобы никого не компрометировать, я решился ждать его там один и непременно заставить со мною драться, на чем он хочет: у обоих у нас были шпаги, а сверх того я хотел взять с собою пару пистолетов.

Между тем пришла очередь Боба прислуживать мне.

Как только он вошел, я бросился к нему и спросил о Моисее. Жид несколько раз был на корабле и хотел меня видеть, но ему говорили, что я под арестом и что ко мне не пускают. Я понимал, как он должен был беспокоиться, потому что не получил еще букета, который Василика обещала ему за труды. Я велел Бобу сказать, что сам снесу ему этот букет, как только выйду из-под ареста, что мне тоже нужны его услуги, и что я за них щедро заплачу.

День моего освобождения приближался, и я приготовил все, чтобы при первом удобном случае выполнить свое намерение. Наконец, ровно через месяц, час в час, арест мой кончился.

Прежде всего пошел я к капитану. Он был так же добр и ласков со мною, как прежде; побранил меня за то, что я не попросил позволения, в котором бы он, конечно не отказал мне, и подробно расспрашивал о моем приключении с молодой гречанкою, о великодушном поступке Джемса и Боба, о возвращении нашем на корабль и сцене, которая была у меня с лейтенантом. Я все рассказал с величайшим откровением, потому что глубоко уважал Стенбау, и притом он был друг отца моего.

При смене вечерней вахты Борк вышел на палубу, и я увидел его в первый раз после нашей ссоры. В сердце моем закипели все ненавистные страсти, которые он во мне возбудил. Мне казалось, что блаженнейшей минутой моей жизни будет та, когда я отомщу ему.

На другой день Борк объявил капитану, что ему надо побывать в посольском доме и он вернется после вечерней вахты. Эта весть должна бы меня обрадовать, а между тем сердце у меня замерло, когда я ее услышал. Дело в том, что как бы ни было твердо намерение человека, но когда речь идет о всей его жизни, между его выгодами и страстями всегда происходит борьба. Конечно, мне выгоднее было бы снести обиду и продолжать карьеру, которая при обширном знакомстве отца моего и при помощи мистера Стенбау могла бы повести меня к высшим морским чинам. Но страсти мои были совершенно противоположны моим выгодам.

Весь день провел я в грустных размышлениях, но как они ни были мрачны, а ни на минуту не поколебали моего намерения. Я спал мало, однако провел ночь довольно спокойно. Утром я пошел к капитану проситься на берег.

Мне надобно было сделать два визита, один нашему

жиду Моисею, а другой лорду Байрону. Первому я отдал букет Василики и прибавил к этому двадцать пять гиней; потом дал ему еще столько же, чтобы он спросил, нет ли на рейде какого-нибудь корабля, который шел бы в Архипелаг, Малую Азию или в Египет, и мог взять пассажира, независимо от того, какому государству корабль принадлежит. Моисей обещал мне сделать это в тот же вечер; оно, впрочем, было и немудрено, потому что каждый день какой-нибудь корабль отходил в Дарданеллы. Кроме того, я велел Моисею купить для меня полный греческий костюм.

Лорд Байрон принял меня с обыкновенною своею любезностью. Не видя меня так долго, он ездил к мистеру Стенбау узнать обо мне. Я был под арестом, и потому он не мог видаться со мною. Я сказал ему, что так как мы, может быть, еще долго будем стоять в Босфоре, то я намерен отправиться в отпуск, чтобы посетить Грецию, и пришел за рекомендательным письмом к паше янинскому, которое он прежде сам предлагал мне. Он тотчас сел к бюро, написал письмо по-английски, чтобы я мог понимать его, и потом велел перевести его греку, которого дал ему Али-Паша, и который был у него вместе и камердинером, и секретарем; наконец, он подписал письмо и приложил подле подписи свою гербовую печать.

Мне пора уже было на корабль; я простился с лордом Байроном, не сказав ему ничего; впрочем, я надеялся еще раз с ним увидеться.

На «Трезубце» был праздник; все перегородки были сняты, как во время сражения, и во всю длину столовой и совещательной комнаты был накрыт стол на двадцать приборов.

За десертом, по английскому обычаю, провозглашены были тосты, между прочим, один за дружбу, и при этом Джемс обнял меня за всех; все это было как бы нарочно, и, обнимая его, я со слезами на глазах мысленно простился с ним.

Часы пробили шесть; мне было пора; я сказал, что мне нужно по важному делу на берег; позволение удалиться дано было мне с обыкновенными шутками. Я принимал их, сколько можно, с веселым видом и ушел в свою каюту, так что никто и не подозревал о моих намерениях. Дорогой я велел Бобу приготовить шляпку.

Когда мы отплыли от корабля шагов на тридцать, Джемс увидал меня и вызвал всех на борт. Тут начались такие громкие ура, что Стенбау вышел из своей каюты.



Не могу выразить, что почувствовал я, увидев, посреди всех этих молодых людей доброго старика, который был общим нашим отцом и которого я видел в последний раз. Слезы навернулись у меня на глазах; я было поколебался, но мне стоило только вспомнить Борка и оскорбительный отзыв его, и я дал знак матросам, чтобы гребли сильнее.

Мы вышли на берег у ворот Топханэ. Я выскочил на землю; при этом у меня выпал из кармана пистолет. Боб, который все время был очень задумчив, поднял его и подал мне.

— Мистер Джон, — сказал он, — вы не доверяете Бобу, потому что он простой матрос, и, право, напрасно.

— С чего ты это взял, любезный друг?

— Да я ведь, ваше благородие, не разиня, сразу угадаю характер человека, и я уверен, что вы теперь идете не на любовное свидание.

— Кто же это тебе сказал?

— Никто. Во всяком случае, если Боб вам на что-нибудь годится, так не забудьте меня, мистер Джон; я всегда готов к вашим услугам, днем и ночью, душой и телом, на жизнь и на смерть.

— Спасибо тебе, спасибо, любезный друг. Я не думаю, чтоб ты знал, зачем я приехал на берег, но если завтра утром ни я, ни Борк не вернемся, скажи Джемсу, чтобы он отпросился, и приезжайте вместе на Галатское кладбище, может быть, что-нибудь и узнаете о нас.

Я подал ему руку, и он поцеловал ее так скоро, что я не успел вырвать. Потом, вскочив шлюпку, он закричал:

— Ну, ребята, за весла! Прощайте, мистер Джон, то есть, до свиданья. Будьте осторожны!

Я кивнул ему головой и пошел по дороге в посольский дом через Галатское кладбище.

## XIX.

Это одно из прекраснейших кладбищ в Константинополе, осененное мрачными соснами и зелеными чинарами, уединенное и безмолвное даже днем и посреди шума. Я прислонился к могиле молоденькой девушки; памятник ее состоял из обломленной колонны с мраморною гирляндой

из жасминов и роз, которые у всех народов служат символом юности и невинности. По временам проходила мимо меня какая-нибудь женщина в белом покрывале, из-под которого виднелись глаза ее; она походила на тень одного из тех покойников, которых я полирал негами: атласные ее туфли, вышитые серебром, не производили на малейшего шума. Тишина нарушалась только пением соловьев, которые на Востоке всегда водятся на кладбище. Турки, погружаясь в мечтательность, слушают их без усталости, потому что считают душами девушек, умерших в девственном состоянии. Сравнивая шум, жар, волнение вне кладбища с тишиною, свежестью, спокойствием этого прелестного оазиса, я стал завидовать покойникам, у которых такие приятные концерты, такие прекрасные деревья, такие богатые памятники. Мечтая таким образом, я стал вспоминать всю прошедшую жизнь мою и несчастную ссору с Борком; я сравнивал всю эту тревожную сцену со спокойствием людей, которых мы называем варварами, потому что они проводят жизнь, куря трубку, на берегу какого-нибудь ручья, не заботясь о бреднях науки, повинаясь инстинкту, думая только о женщинах, оружии, конях, благовониях, о всем, что может служить наслаждению и, проведя жизнь в чувственности, ложатся на покой в зелени, с надеждою проснуться в Магометовом раю, посреди гурий; и время, проведенное мною с самого младенчества, казалось мне периодом безумства и лихорадочного бреда. Эти мечтания не изменили моего намерения, но я уже мало заботился о результате и чувствовал в себе мужество, подходившее к беспечности.

Подобное состояние, конечно, должно было дать мне большое преимущество перед моим соперником; и я находился в том же расположении духа, когда послышались шаги. Не глядя в ту сторону, откуда происходил шум, я тотчас догадался, что это Борк. Я подпустил его к себе на три или четыре шага, тогда уже поднял голову и очутился лицом к лицу с моим неприятелем.

Само собою разумеется, что он нисколько не ожидал встретить меня в этом месте и в такое время; он так удивился, и притом на лице моем написала была такая решительность, что я еще не сказал ни слова, а он уже отступил и спросил меня, что мне угодно. Я засмеялся.

— Что мне угодно? По вашей бледности видно, что вы уже знаете, что мне угодно; впрочем, на всякий случай я,

пожалуй, и скажу вам. Вы меня гнали, преследовали, оскорбляли. Я не могу простить вам жестокой обиды, которую вы нанесли мне. Вы при шпаге, я тоже: защищайтесь!

— Но, мистер Джон, — сказал Борк, побледнев еще более, — вы забываете, что дуэль, как бы она ни кончилась, всегда будет для вас пагубна; из жалости к самому себе, оставьте ее и оставьте меня в покое.

Он хотел было идти, но я протянул руку, чтобы не пропустить его.

— Если вы так интересуетесь мною, то я готов сказать вам, что я намерен делать. Если вы меня убьете, так нечего и говорить; воинские законы, как они ни строги, для мертвого не страшны. Меня похоронят вот на этом кладбище, а если уж надо умереть, так, право, лучше покоиться вечным сном, как те, которых мы попираем ногами, в свежей тени этих деревьев, чем быть в койке на дне моря и достаться в добычу акулам. Если же я вас убью, то у меня уже нанято место на корабле, который нынче же ночью повезет меня, не знаю куда, но это мне решительно все равно. У отца моего пятьдесят тысяч фунтов стерлингов дохода, а единственный его наследник я; следовательно, куда бы судьба ни занесла меня, везде мне будет хорошо жить. Теперь, надеюсь, вы на мой счет совершенно спокойны и, следовательно, не имеете более никакой причины отказываться от дуэли; так потрудитесь же обнажить шпагу.

Он опять хотел было идти, но я опять заступил ему дорогу.

— И я требую удовлетворения, милостивый государь, за оскорбление, — продолжал я с прежним спокойствием.

— Но если я сделал это невольно, забывшись, и сам об этом жалею, то вам и говорить нечего.

— Извините, я еще могу вам сказать вот что: я давно замечал, да мне не верилось, а теперь я совершенно убедился, что вы трус.

— Мистер Джон! — вскричал Борк, побледнев от злости. — Теперь вы меня оскорбляете, и я требую от вас удовлетворения. Завтра мы будем с вами драться. Я не хочу драться теперь только потому, что никогда не учился фехтовать и, следовательно, не могу бороться с вами на шпагах. На пистолстах дело другое.

— И прекрасно, я предвидел ваше возражение, — сказал я, вынимая из кармана пистолеты. — Вот все, что

вам нужно, и нет никакой надобности откладывать до завтра; оба пистолета заряжены одинаково; впрочем, выбирайте любой."

Отнекиваться долее было уже невозможно. Борк, наконец, схватился за шпагу, я бросил пистолеты и тоже обнажил шпагу. В ту же минуту клинки скрестились, потому что он бросился на меня, в надежде, что я не успею принять оборонительного положения, но я помнил совет Боба и остерегся.

С первых нападок я заметил, что Борк солгал, он дрался на шпагах очень хорошо, хотя и уверял меня, что никогда не учился фехтовать. Признаюсь, это меня обрадовало, потому что ставило нас на одну доску, и мне казалось, что в таком случае дуэль наша не будет судом случая. Единственным моим преимуществом перед ним было страшное хладнокровие, плод размышлений моих перед битвою. Впрочем, как скоро дуэль началась, Борк действовал уже хорошо: он знал, что дело очень серьезно: ему придется или умереть, или убить меня.

Мы дрались таким образом минут с пять, не отступая ни шагу, и сблизились до того, что парировали не столько клинками, сколько эфесами. Видно, мы оба в одно время почувствовали невыгодность этого положения, потому что оба вместе отступили и, таким образом, разошлись. Но я тотчас сделал шаг вперед, и шпаги наши снова скрестились.

В этом случае в Борке было то, что всегда бывало во время битвы и бури: в первую минуту в нем торжествовала природа, и он оказывал некоторую робость, но потом гордость и необходимость брали верх, и он делался храбрым по расчету.

Я уже говорил, что Борк дрался на шпагах превосходно, хотя этого никто за ним не знал, но благодаря настояниям батюшки и Тома меня тоже хорошо учили этому искусству. Для Борка это была новость, и он опять оробел. Он был сильнее меня, но я проворнее его, и, пользуясь его робостью, я начал наступать. Он сделал шаг назад: это значило уже некоторым образом признать себя побежденным. Шпаги наши были, как ящерицы, которые, играя, переплетаются, и раза два — три я дотрагивался до его груди так, что раздирал на нем мундир. Борк сделал еще шаг назад, но, надобно сказать правду, сделал по всем правилам искусства, как будто мы дрались на рапирах. Отступая, он сошел с прямой линии, а в трех шагах за

ним был памятник. Я стал теснить его более и более, и он задел меня шпагою по лицу, кровь полилась. «Вы ранены», сказал он. Я улыбнулся и, сделав шаг вперед, снова заставил его отступить. Я не давал ему вздохнуть, шпага моя так и вертелась подле его груди, и он принужден был отскочить, чтобы увернуться. Этого-то мне и хотелось: он дошел уже до самого памятника, больше отступать было невозможно.

Тут-то и начался настоящий поединок: до тех пор мы как будто фехтовали. Раз или два я почувствовал холод железа; два раза видел, что я попал. Но ни один из нас не вымолвил ни слова. Наконец, напав с большей силой, я почувствовал, что шпага моя наткнулась на что-то твердое. Борк вскрикнул. Дело в том, что я проколол его насквозь; кончик моей шпаги загнулся, попав в мраморный памятник, и я не мог уже его вытащить. Шпага осталась в ране; я отскочил. Напрасно. Борк был уже не в состоянии меня преследовать. Он хотел было двинуться вперед, но ослабел, шпага вывалилась у него из рук, и он упал, вскрикнув еще раз и ломая себе в ярости руки.

Признаюсь, в эту минуту злоба моя исчезла, и мне стало жаль его. Я бросился к нему. Чтобы помочь Борку, надобно было прежде всего вынуть из него шпагу; я потащил ее, но не мог вырвать, хотя и он тоже тащил обеими руками. Это последнее усилие было смертельно; он открыл рот, как будто хотел говорить, но вместо того кровь хлынула ручьем, глаза его как будто вывернулись; он два судорожно согнулся, потом вытянулся, захрипел и умер.

Видя, что ему уже нечем помочь, я стал думать о себе. Во время нашего поединка совсем стемнело. Я подобрал свои прекрасные пистолеты, которыми я очень дорожил; потом выбрался с кладбища и пошел к дому Моисея. Он сделал все по нашему уговору и ждал меня; отыскал неаполитанский корабль, который шел в Мальту, Палермо и Ливорно и должен был сняться с якоря на рассвете. Это и было мне нужно. Моисей взял для меня место и сказал, что я приду ночью. Что касается платья, то он и эту часть моего поручения исполнил как нельзя лучше: приготовил мне великолепный паликарский наряд и еще другой костюм попроще.

Я тотчас надел свое новое платье; оно было как будто по мне сшито. За оба платья, саблю и ятаган приходилось

восемьдесят гиней; я прибавил еще пятьдесят Моисею за труды; потом просил его перевести меня как-нибудь на корабль. Все было готово: он нанял лодку и велел ей быть в одиннадцать часов против Галатской Башни.

В ожидании этого времени я прибавил несколько строк в письме к батюшке: рассказал ему о своей дуэли и просил открыть мне кредит в Смирне. Так как я намерен был остаться на Востоке, то Смирна, по своему центральному положению и разнородному населению, с которым я спокойно мог смешаться, была для меня самым удобным местом пребывания.

Я написал также к лорду Байрону, поблагодарил его за дружеское расположение ко мне и просил похлопотать за меня в адмиралтействе, если ему случится быть в Англии. Он знал Борка. Я отдал Моисею письма к лорду Байрону, к капитану Стенбау и к батюшке, велел свести их утром на корабль и сказать, где лежит тело Борка.

Потом мы закутались в плащи и пошли к Галатской Башне.

Лодка была на месте, и мы тотчас пустились в путь, потому что неаполитанский корабль, на который мы ехали, стоял в Халкедонском порту близ Фанарикоя, и потому нам надобно было пройти канал диагонально во всю ширину его. К счастью, матросы наши были добрые гребцы, и мы легко прошли Золотой Рог и обогнули Серальский мыс.

Ночь была светлая, и море не шелохнулось. Посреди пролива, немножко впереди Леандровой Башни, стоял прекрасный корабль наш, мачты, штаги, даже малейшие канаты его рисовались на светлом круге, образовавшемся вокруг луны. Сердце у меня сжалось. «Трезубец» был вторым моим домом; из всего света мне дороги были только Виллиамс-Гауз и «Трезубец», после батюшки и матушки, которые жили в Виллиамс-Гаузе, я любил всего более многих из тех, которые были на «Трезубце»; Там оставил я капитана Стенбау, доброго и почтенного старика, которого уважал, как отца; Джемса, которого искренняя и благородная дружба ко мне ни на минуту не изменялась; Боба, настоящего матроса, с редким сердцем под грубой оболочкою; я жалел даже и о самом корабле. По мере нашего приближения, он величественно вырастал, и через несколько минут мы были так близко от него, что вахтенный офицер услышал бы, если бы я высказал

громкое горестное прощание, которое шепотом говорил моим добрым товарищам; после вчерашнего праздника они и не воображали, что я, покидая их навсегда, прощаю так близко. Это была одна из самых горьких минут в моей жизни. Я жалел о том, что сделал, и не мог скрыть от себя, что одним ударом переиначил всю жизнь мою и променял будущее верное на будущее неизвестное. И кто знает еще, что ожидает меня!

Между тем мы прошли мимо «Трезубца» и при свете маяка начинали уже различать суда, стоящие на якоре в Халкедонском порту. Моисей издали указал мне снасти того, на который я ехал; и хотя мне было недолго оставаться на нем, однако, по мере приближения, я невольно обозревал и разбирал его глазами моряка. Сравнение с «Трезубцем», одним из прекраснейших кораблей английского флота, конечно, не могло быть выгодно для неаполитанского судна. Впрочем, оно было построено довольно удобно для выполнения цели судозахватов, скорого хода и вместительности. Размеры его подводной части были хороши: она была довольно широка, чтобы вмещать в себя большой груз, и довольно узка, чтобы легко рассекать море. Что касается оснастки, то она была, как и у всех судов, назначенных для плавания в Архипелаге, немножко низка, для того чтобы судно, в случае нужды, могло прятаться за скалы и острова. Эта предосторожность против пиратов, которых тогда было множество в Эгейском море, конечно, была полезна ночью, поблизости земли, но вредна, если судну понадобилось бы уйти от корсара в открытом море. Все эти мысли пришли мне в голову с обыкновенною быстротой взгляда моряка, который, еще не вступив на корабль, знает все его хорошие и дурные свойства. Поэтому, прибыв на «Прекрасную Левантинку», я уже знал ее хорошо; оставалось познакомиться с ее экипажем.

Меня уже ждали, как Моисей и говорил. Часовой окликнул меня по-итальянски, я отвечал: «Пассажир», и мне тотчас бросили веревочный трап. Что касается моего багажа, то его не трудно было перенести; у меня, как у греческого философа, все было на себе. Я расплатился с гребцами, простился с Моисеем, который служил мне, правда, за деньги, но, по крайней мере, верно, что не всегда случается, и с ловкостью и проворством моряка вошел на палубу.

У борта ждал меня человек и тотчас проводил в мою каюту.

## XX.

Немудрено, что после приключений, случившихся со мною в этот день, я спал плохо: лег я в три часа, а на рассвете был уже на палубе. Все готовилось к отплытию; капитан отдавал нужные приказания, и потому я имел очень удобный случай познакомиться со всем экипажем.

Капитан был салернский уроженец, и при первых его приказаниях я вспомнил, что Салерно более славится своим университетом, чем морским училищем; что касается экипажа, то он состоял из калабрийцев и сицилийцев. Так как «Прекрасная Левантинка» назначена была собственно для торговли в Архипелаге, то она имела вид полукупеческий, полувоинственный, который придавал ее палубе кокетство, вместе грозное и забавное. Представителями воинственного характера корабля были два каменомста и длинная восьмифунтовая пушка на колесах; так что ее можно было перевозить с кормы на нос, с правого борта на левый. Впрочем, всходя на палубу, я взглянул случайно на арсенал и нашел его в довольно хорошем состоянии: в нем было около сорока ружей, штук двадцать мушкетеров, сабель и абордажных топоров: довольно, чтобы в случае нужды вооружить весь наш экипаж.

Часа за два до рассвета поднялся довольно свежий восточный ветер, очень благоприятный для нас.

По обыкновению все матросы собраны были для поднятия якоря; пассажиры также один за другим вышли на палубу, чтобы посмотреть на маневр. Эти пассажиры были большею частью мелкие греческие и мальтийские торговцы.

Матросы исполнили приказание капитана с усердием, которое меня порадовало: по одному маневру можно видеть, каков экипаж, по одной команде, каков капитан. Последствия покажут, что я с первого взгляда хорошо оценил того и другого. Ветер стал крепчать, марсели были распущены, и все приготовлено, чтобы поставить корабль носом к морю. Но когда судно подошло к самому якорю, сопротивление шпилья сделалось так сильно, что люди, вращавшие его, не только уже не могли подвигаться вперед, но и вынуждены были держаться изо всей силы,



чтобы не подаваться назад. Однако еще четверо матросов присоединились по доброй воле к работавшим, дружным усилием вырвали якорь из дна и подняли поверх воды. Я думал, что его тотчас поставят на место и закрепят, но, видно капитан торопился начать какую-нибудь другую работу, потому что он велел только зацепить якорь кат-гаком. Я хотел было сказать ему, чтобы он прежде всего велел кончить эту работу, но, вспомнив, что я тут ничего не значу, остановился и только пожал плечами.

В эту минуту кто-то начал говорить со мною по-гречески; я обернулся и увидел молодого человека лет двадцати или двадцати двух; он был прекрасен, как древняя статуя, но глаза его блистали лихорадкою, и он кутался в плащ, хотя солнце, которое уже взошло, сильно пекло нас.

— Извините, — отвечал я по-итальянски, — я не знаю греческого языка, — не говорите ли вы по-французски, по-английски или по-итальянски?

— А, виноват, — отвечал он, — я по платью принял вас за земляка.

— Я не имею чести быть греком, — отвечал я с полуулыбкою. — Я англичанин, путешествую для своего удовольствия и ношу греческое платье, потому что оно покойнее и красивее нашей западной одежды. Я не понял, что вы мне говорили, но догадываюсь, что вы о чем-то меня спрашивали: готов отвечать вам.

— Я точно вас спрашивал. Мы, дети Архипелага, спорадские альбатросы, привыкли с малолетства переезжать с одного острова на другой, поневоле знакомы с морем, и потому маневр, дурно сделанный, никогда не ускользнет от нас. Я заметил, что вы тоже недовольны капитаном, потому что вы пожали плечами; я и спрашивал вас, не моряк ли вы, хотел попросить вас объяснить мне, в чем именно состоит его ошибка.

— А вот в чем: так как корабль уже пошел, то якорь надобно бы поставить на место и закрепить, а капитан велел только зацепить его кат-гаком; или он должен бы велеть по крайней мере вынуть вымбовки. Если по несчастию кат-гак обломится, то якорь упадет в море, шпиль начнет вертеться в противоположную сторону и вымбовки полетят нам в ноги.

Молодой человек хотел было говорить, но закашлял, и я увидел, что он харкает кровью.

— Но не можете ли вы, — сказал он потом, — заметить этого капитану от имени всех пассажиров?

— Теперь уже поздно, берегитесь, — вскричал я, схватив молодого грека и притянув его за бизань-мачту.

Я услышал глухой шум, как будто что-то тяжелое упало в море; в ту же минуту шпиль начал вертеться с быстротою часов, у которых лопнула большая пружина; вымбовки полетели во все стороны и сшибли с ног несколько матросов и самого шкипера. На судне воцарилось боязливое молчание; между тем шпиль перестал вертеться. Якорь, увлекаемый своею тяжестью, оборвал бимсы, которыми привязан был к канату, и упал на дно моря; но так как судно было на ходу, то канат продолжал спускаться с ужасным шумом и, наконец, остановился, потому что был привязан в трюме к грот-мачте. Судно получило в ту же минуту столь сильный толчок, что все бывшие на палубе попадали; одни только мы, я с греком, остались на ногах, потому что, предвидев это, я охватил нового моего знакомого левою рукою, а правую уцепился за бизань-мачту. Но этого было еще мало; при таком ужасном сотрясении канат оборвался, как нитка, повернув корму корабля к ветру, так что мы, как говорят наши моряки, шли прямо к черту кормою вперед. Сверх того, капитан, обезумев, давал приказания совершенно противоположные, а экипаж с точностью исполнял их. Реи надобно было обрасопить, а их тянули и справа и слева, и они не трогались; корабль, как будто понимая, что его заставляют произвести маневр невозможный, печально стонал, обливаясь пеною моря, которое не расступалось перед ним. В эту минуту выбежал на палубу плотник и закричал, что порты разбиты волною и первая палуба залита. Корабль был близок к гибели; надобно было спасти его. Я бросился к корме, вырвал у шкипера рупор и закричал голосом, который заглушил весь шум, происходивший на палубе:

— Смирно!

Услышав это отрывистое, строгое, повелительное восклицание, экипаж в ту же минуту затих и остановился.

— Слушай! — продолжал я через минуту, когда увидел, что все готовы. — Плотники в каюту! Приделать подставные порты! Руль вправо, весь! Реи с носа обрасопить! Грот-стаксель прикрепить внизу на ветер!

Я продолжал командовать, и каждое приказание было исполняемо скоро и с точностью, так что корабль

мало-помалу стал поворачиваться, как будто морская богиня тянула его лентой, стал в настоящее положение и пошел носом вперед, оставив главный свой якорь в добычу тому, кто пожелает его вытащить. Впрочем, за исключением денежной потери, беда была не велика, потому что на судне находилось еще два якоря.

Однако я еще не отдавал рупора и продолжал командовать, пока все паруса были как следует обрасоплены, канаты натянуты, палубы вымстены. Потом я подошел к шкиперу, который все это время стоял, не трогаясь с места, и с удивлением смотрел на меня.

— Извините, капитан, что я вмешался не в свое дело, — сказал я, — но, судя по тому, как вы распоряжались, мы думали, что вы подрядились поставить нас на пищу рыбам. Теперь мы идем хорошо: вот ваш рупор.

Шкипер не мог еще прийти в себя и взял рупор, не сказав ни слова, а я пошел к моему молодому греку, который уселся на пушке, потому что не мог долго стоять на ногах.

Мы были с ним одних лет, оба печальны, потому что он болен, а я в изгнании; притом я оказал экипажу услугу, которая расположила ко мне всех бывших на корабле; все это нас сблизило, и мы скоро подружились.

Этот молодой грек был сын богатого смирнского купца, который года три назад умер. Мать, видя, что он слаб, и думая, что ему нужно рассеяние, отправила его в Константинополь управлять конторою, которую муж ее завел там в последние годы своей жизни. Но молодой человек пробыл там только два месяца и, чувствуя себя все хуже, решился возвратиться к родным. Что касается его болезни, которую он называл на франкском наречии *il sottile malo*, то я тотчас увидел, что это легочная чахотка, достигшая уже второго периода. Мы проговорили с ним с четверть часа, и я уже знал все подробности его жизни. Я со своей стороны рассказал ему то, что мне уже не нужно было скрывать, потому что я был вне опасности, то есть ссору мою с Борком, нашу дуэль, и смерть его, которая заставила меня покинуть службу. Грек тотчас с милою доверчивостью юности предложил мне прожить несколько времени у них в доме, уверяя, что после услуги, которую я оказал ему, меня примут там, как родного. Я принял его предложение с таким же простодушием, с каким оно было мне сделано, и тогда только мы, наконец, вздумали спросить друг друга, как кого зовут. Его имя было Эммануил Апостоли.

Во время этого разговора я заметил по разным признакам, что положение моего нового приятеля гораздо хуже, чем он сам полагает. Бесперывное давление в груди, сухой кашель, по временам харканье кровью и всего более инстинктивная печаль, изображавшаяся на лице его, и красные пятна на скулах обличали страшную болезнь. Эти признаки не могли скрыться от меня, потому что в Виллиас-Гаузе я почти всегда бывал с бедной моей матушкою при ее медицинских посещениях, и очень часто с доктором. Наблюдая за их действиями, я приобрел столько познаний в медицине и хирургии, что мог лечить некоторые известные болезни, умел пускать кровь, перевязывать и лечить раны. Врача на корабле не было, но был, по обыкновению, ящик с медикаментами, и я принялся лечить Апостоли. Конечно, я не думал возвратить ему здоровье, но на надеялся, по крайней мере, поддержать его и облегчить страдания несчастного. Это было немудрено, потому что в чаотке нужны не лекарства, а советы, как держать себя. Расспросив, что он чувствует и как его лечили, я советовал ему питаться только легкими разварами и овощами и надеть фланель, и прибавил, что пушу ему кровь, если давление в груди не пройдет. Бедняк Апостоли был твердо убежден, что я так же сведущ по врачебной, как и по морской части, печально улыбнулся и обещал во всем меня слушаться.

Не могу выразить, как мне приятно было, в тогдашнем моем расположении духа, встретить молодого человека, в чистую душу которого я мог изливать все, чем наполнена была моя душа. Апостоли говорил мне о сестре своей, по словам, хорошенькой, как ангел, о своей матери, которая любила его без памяти, потому что другого сына у нее не было; потом о своем отечестве, которое стонало тогда под игом турок. Я со своей стороны говорил ему о Виллиас-Гаузе и его обитателях, о батюшке, матушке, Томе, даже о старом докторе, уроками которого я теперь воспользовался через десять лет, в двух тысячах миль от дома; и мне легче было снести изгнание, которому я добровольно подвергался, и угрызения совести, которые всегда терзают убийцу, как бы его ни оправдывали обстоятельства.

Ветер весь день был очень слабый, и потому мы шли тихо, не теряя берегов из вида ни справа, ни слева. Вечером мы были на уровне острова Кало-Лимно, который, как часовой, стоит при входе в залив Моданиа.

Апостоли вышел на палубу, чтобы полюбоваться на солнце, которое садилось за Румелийскими горами; но так как начало смеркаться, я посоветовал ему идти в каюту. Он послушался меня с покорностью ребенка, я уселся у его койки, запретил ему говорить и для развлечения рассказывал ему историю своей жизни. Услышав, как я спас Василику, Апостоли со слезами бросился мне на шею. Тут мы уже непременно решили, что я остановлюсь в Смирне в доме Апостоли, потом мы вместе поедем в Хиос, через Теос, город Анакреона, гостеприимную Клазомену, где Симонид, благодаря стихам своим, был так хорошо принят после кораблекрушения, и, наконец, через Эритрию, родину сивиллы Эритреси, которая возвестила падение Трои, и прорицательницы Афенаиды, которая предсказала победы Александра.

Мы проговорили половину ночи. Не только Апостоли, но и я забыли, что мы строим дом на песке; я уже мечтал о том, как буду обозревать древнюю Грецию с ученым чичероне, которого послало мне провидение. Но вдруг я почувствовал, что рука Апостоли покрылась лихорадочным потом, и, пощупав пульс его, заметил, что артерия бьется неправильно, как идут часы, которые бегут, и в которых невидимое и неисправимое повреждение сокращает время. Это напомнило мне, что больному вредно не спать так долго. Я пошел в свою каюту, но долго не мог сомкнуть глаз, думая о бедном страдальце, а он, не зная своего положения, заснул в веселых мечтах.

Рано утром я вышел на палубу; вслед за мной вышел и Апостоли. Несмотря на небольшую лихорадку, он провел ночь довольно хорошо; а душою был он совершенно здоров и даже довольно весел.

Ночью и на следующий день мы прошли пролив, отделяющий остров Мармару от полуострова Артаки, и пространство между этим островом и мысом, на котором стоит новый Азиатский замок; при помощи течения мы вступили в Эгейское море, когда последние лучи заходящего солнца окрашивали розовым цветом вершины горы Иды. В это время дул довольно холодный северный ветер, и потому, несмотря на прелесть зрелища, я заставил Апостоли уйти в каюту и обещал явиться туда вслед за ним. У него целый день было сильное давление в груди, и я решился пустить ему кровь. Как только я пришел, он, в полной уверенности в моих познаниях, засучил рукав и протянул ко мне свою исхудалую руку. Видно, воспомин-

нения о древней славе отечества взволновали кровь Апостоли или, может быть, он раздражил грудь тем, что слишком много говорил, только красные пятна на лице его были багровее обыкновенного, глаза блистали лихорадкою, и потому я тотчас открыл ему кровь. Это произвело самое благотворное действие: выпустив три или четыре унции крови, я замстил, что он уже дышит свободнее и лихорадка его утихла. Он ослабел и скоро заснул. Я прислушивался несколько времени к его дыханию: оно было тихо и ровно. Надеясь, что он проведет ночь спокойно, я пошел на палубу подышать свежим вечерним воздухом.

У дверей каюты встретился мне вахтенный матрос, которого штурман прислал просить il signor Inglese выйти на минуту на палубу.

## XXI

Штурман наш был сицилиец, из деревни близ Мессины. Я уже имел случай заметить его мужество и хладнокровие, когда мы выходили из Халксдонского порта. Он со своей стороны, кажется, тоже уважал меня: когда я вывел корабль из опасности, штурман подошел ко мне и хвалил с искренностью старого моряка; с тех пор мы всегда с ним раскланивались и разговаривали, когда нам случалось встретиться.

Он сидел на корме, облокотившись на борт, и, когда я подошел, подал мне ночную зрительную трубу, в которую перед тем смотрел.

— Извините, — сказал он, — что я вас побеспокоил, но мне хотелось бы знать, что вы думаете об этом белом пятнышке, которое виднется на северо-северо-западе? Мне как-то сдается, что это — судно, которое, как солнце садилось, вышло из-за мыса Колгино и показалось мне очень подозрительным. Оно или идет по одному пути с нами, или за нами гонится, а в таком случае мне гораздо приятнее было бы повиноваться вам, чем нашему шкиперу.

— Разве у вас нет боцмана?

— Есть, да он захворал в Скутари, и мы принуждены были его там оставить. Жаль, шкипер наш ничего не смыслит, а тот был человек знающий; мы, я думаю, скоро будем в таких обстоятельствах, что его совет очень бы

пригодился. Впрочем, — продолжал штурман, — если вы приметесь за дело, так это будет ничуть не хуже, даже лучше.

— Много чести, — сказал я улыбаясь, — посмотрим.

Я направил зрительную трубу на то место, которое указал мне штурман. Луна ярко озаряла все море и, при свете ее я очень хорошо рассмотрел греческую фелуку, которая шла на всех парусах; она была милях в трех от нас и, по-видимому, шла скорее, чем мы; в это время ее можно уже было различить простым глазом, и вахтенный на грот-марсе закричал:

— Судно!

— Ну да, разумеется, судно!.. Что он думает, мы спим, что ли или ослепли? — пробормотал штурман. — Да, да, судно, и хорошо бы, если бы мы теперь были миль двадцать подальше на запад, к стороне Митилена.

— Однако же, не другое ли судно он видит?

— А что вы думаете, ведь немудрено!.. Эти негодяи пираты, как шакалы, подчас охотятся и не в одиночку.

Потом он закричал:

— Эй, вахтенный! В которой стороне судно?

— На северо-северо-запад, прямо у нас под ветром.

— Это хорошо, — сказал я штурману, — по крайней мере, если придется бежать или огрызаться, так мы будем иметь дело с одним неприятелем. Однако же, не худо бы, я думаю, разбудить шкипера.

— Конечно, придется разбудить, а жаль; пусть бы его себе спал, а вы бы стали командовать. Между тем, я думаю, не мешало прибавить несколько парусов.

— Да, не дурно бы; и шкипер, верно, то же велел бы. — Притом, — продолжал я, снова поглядев в трубу, — мешкать некогда, потому что фелука идет гораздо скорее нас. Пошлите разбудить вашего капитана, да велите, чтобы вахтенные были готовы к работе. Вы знаете, где мы теперь?

— Я эти места знаю, как наш город Мессину; то есть, я зажмурясь проведу корабль от Тенедоса до Чериго.

— Каково «Прекрасная Левантинка» носит паруса?

— Чудно. Словно испанка свою мантилью. Распускай хоть до последнего: ей, голубушке, все мало.

— По крайней мере это хорошо, — сказал я.

— Оно, конечно, хорошо, да этого мало.

— Что ж вы думаете? Вы, вероятно, опасаетесь, что разбойничья фелука догонит нас?

— Если простая фелука, так куда ей!.. Да только по бокам этого проклятого судна, я заметил пену, которая мне очень не нравится.

— Да, видно, у этой фелуки, кроме крыльев, есть еще и лапы, а тогда уж от нее не уйти.

— Ага, так немудрено, что она идет так скоро, — сказал я, поняв, что хотел сказать штурман, и разделяя его опасения.

Я снова приставил зрительную трубу к глазу: фелука была, по-видимому, уже не более как милях в двух от нас, и я мог явственно рассмотреть ее.

— Точно, вы угадали! — вскричал я. — Теперь и я уже вижу движение весел. Мешкать нечего. Эй, за работу!.. Готово?

— Спустить паруса грота и бизань-мачты и поднять парус крюсель!

— Кто здесь без меня распоряжается? — сказал шкипер, между тем как матросы исполняли команду.

— Тот, кто заботится о корабле, когда вы спите, — сказал я. Теперь извольте распоряжаться сами. Только нельзя ли получше, чем в тот раз?

Я отдал зрительную трубу штурману, ушел и сел у левого борта.

— Что такое случилось? — спросил с беспокойством шкипер.

— Да то, что за нами гонится греческий пират, больше ничего. А если вы этого не боитесь, так можете идти спать, капитан.

— Неужто в самом деле? — вскричал бедняк, вне себя от страха.

— Поглядите сами, — отвечал штурман, подавая ему зрительную трубу.

Шкипер посмотрел и спросил:

— И ты думаешь, что он пират?

— Да, если бы я так же верно знал, что попаду в рай, тогда бы легко было умирать.

— Что ж нам делать? — сказал шкипер.

— Послушаетесь ли вы меня, старика, капитан? — спросил рулевой.

— Говори.

— Вы хотите знать, что нам делать?

— Ну, да.

— Так спросите вот у этого англичанина, что сидит там, как будто ему и дела нет.



— Позвольте вас спросить, — сказал шкипер, подойдя ко мне, — что бы вы стали делать на моем месте?

— Я бы тотчас разбудил вахту, которая спит, и созвал бы пассажиров на совет.

— Все на палубу! — закричал шкипер с такою силою, что ее можно было бы принять за выражение решительности, а не трусости.

Так как боцмана не было, то вместо него один из старших матросов закричал, как обыкновенно кричат, чтобы вызвать людей, которых вахта кончилась, на помощь к товарищам. Я уже говорил, что экипаж этого судна состоял из добрых моряков; они разом соскочили с коек, и, полунагие, выбежали на палубу; шкипер опять обратился ко мне, как бы ожидая приказаний.

— Вы сами должны знать, сколько ваш корабль может нести парусов. Так и делайте, — сказал я, — простыми глазами видно, что фелука нагоняет нас.

— Поднять лисели, бизань-мачты, грот и фор-марсель! — закричал шкипер. — Больше, я думаю, нельзя, — сказал он обращаясь ко мне, пока матросы исполняли команду. — Вы видите, марс гнется, как тросточка.

— Разве у вас нет запасных мачт?

— Как не быть! Да ведь если мачта сломается, так это большой убыток для судовладельца.

— А вы, чтобы избавить их от этого убытка, хотите, чтобы судно попало в руки пиратам? Вы человек расчетливый, и, право, ваши хозяева очень счастливы, что у них такой бережливый шкипер.

— Притом, — отвечал шкипер, догадавшись, что сказал глупость, — я всегда замечал, что на нашем корабле делается течь, когда слишком много поднято парусов.

— У вас есть помпы?

— Есть.

— Ну, так велите поднять парус малого крьюселя, а после посмотрим, понадобится ли поднять и его лисели.

Шкипер был вне себя от изумления, слыша, как я хочу распорядиться с его судном. Между тем пассажиры стали один за другим выходить на палубу. Они только было разоспались; знали, что пассажиров даром тревожить не станут, и потому почти у всех на лице было такое забавное выражение страха, что в другое время я бы расхохотался. Апостоли, увидев меня, подошел прямо ко мне.

— Что это такое? — спросил он с обыкновенной своей печальной улыбкой. По вашей милости, я было заснул так,

как уже месяца два не спал, и меня без жалости разбудили.  
— Дело в том, любезный Апостоли, — сказал я, — что мы теперь убегаем от потомков ваших знаменитых предков, и что если у нас ноги не проворны, так нам понадобятся сильные руки.

— Разве пираты за нами гонятся?

— Да, посмотрите вот в эту сторону: вы сами увидите.

— Да, точно, — сказал Апостоли. — Но разве нам нельзя прибавить парусов?

— Можно, да все будет мало.

— Нужды нет, все надобно попытаться; а если они нас нагонят, так мы станем драться.

— Э, любезный друг! — сказал я. — Это ваша душа говорит, не спросившись тела; да притом, кто еще знает, согласится ли шкипер.

— Да мы его принудим; настоящий наш капитан вы, синьор Джон; вы уже раз спасли корабль, спасите и в другой раз.

Я покачал головой с сомнением.

— Постойте, — сказал Апостоли, и побежал к группе пассажиров, которым шкипер рассказывал, в каком мы положении.

— Господа! — вскричал Апостоли, как только мог громко, продравшись в середину группы. Господа, мы теперь в таком положении, что должны принять скорое и твердое решение. Наша жизнь, свобода, достояние, все теперь зависит от распоряжений начальника и усердия подчиненных. Капитан, поклянитесь честью, что вы в состоянии спасти нас и за все отвечаете.

Шкипер пробормотал несколько невнятных слов.

— Но, — сказал один из пассажиров, — вы знаете, что боцман захворал в Скутари, и что теперь здесь один шкипер в состоянии командовать.

— Плохая у вас память, Газтано! — вскричал Апостоли. — Неужели вы уже забыли, кто несколькими словами вывел нас из опасности не меньше этой? В решительные минуты единственный спаситель, настоящий капитан тот, у кого больше мужества и знания; в мужестве у нас у всех нет недостатка, а знает дело только вот он один, — сказал Апостоли, указывая на меня.

— Да, да, правда! — закричали пассажиры. — Пусть английский офицер будет нашим капитаном.

— Господа, — отвечал я, — так как теперь не до учтивостей, а речь идет о жизни или смерти, то я

принимаю командование, но прежде должен сказать вам, что я намерен делать.

— Говорите, говорите! — закричали все в один голос.

— Я буду уходить сколько можно и по легкости судна надеюсь, что приведу вас в Скиро или Митилену, пока фелука нас еще не нагнала.

— Прекрасно! — закричали пассажиры.

— Но если это не удастся, и пираты нас нагонят, то я стану драться до последней крайности, и лучше взорву корабль, чем сдамся.

— Да, что же, — сказал Апостоли, — уж если умирать, то, конечно, лучше умирать, сражаясь, чем когда бы нас повесили или побросали в море.

— Мы будем драться до последней капли крови! — закричали матросы. — Дайте нам только оружие!

— Молчать! — вскричал я. — Не вам решать это дело, а тем, у кого тут двойная выгода. Вы слышали, господа, что я сказал. Даю вам пять минут на размышление.

Я снова сел на прежнее место.

Пассажиры начали советоваться между собою; через несколько мгновений Апостоли привел их ко мне.

— Брат, — сказал он, — ты сдиногласно выбран в капитаны. — Теперь наши руки, наше достояние, наша жизнь, все твое. Располагай ими, как хочешь.

— А меня, — сказал шкипер, подходя ко мне, — примите в лейтенанты, и позвольте мне передавать ваши приказания, если только вы думаете, что я на это гожусь; а не то прикажите мне делать, что угодно, я готов работать наравне с последним матросом.

— Bravo! — закричали пассажиры и экипаж. — Ура, английский офицер! Ура, капитан!

— Хорошо, господа, я принимаю, — сказал я, подав руку шкиперу. — Теперь, смирно!

Все в минуту умолкли, ожидая моих приказаний.

— Подшкипер, — сказал я обращаясь к штурману, который отправлял обе эти должности на «Прекрасной Левантинке», — разглядите, как далеко от нас пират?

Подшкипер сделал свой расчет и сказал:

— В двух милях ровнехонько.

— Точно так. Теперь мы посмотрим, каково «Прекрасная Левантинка» ведет себя во время опасности. Слушай! Поднять парус грот-бром-стенги, малый крьюсель и лисели; по крайней мере у нас не останется ни лоскутика, который бы не был на ветру.

Экипаж повиновался с проворством и точностью, которые доказывали, что он понимает важность этой меры. Действительно, это было уже последнее усилие корабля: если он и при такой прибавке парусов не уйдет от фелуки, то нам оставалось только готовиться к битве. Даже судно как будто понимало опасность, которая ему угрожала. Почувствовав давление новых парусов, оно еще более погнулось по ветру, до того, что с другой стороны показалась уже медная обшивка, и глубоко рассекало носом волны, пена которых попадала даже на палубу. Между тем, полагаясь на штурмана, я снова взял зрительную трубу и навел ее на фелуку; она тоже выставила все свои паруса, и по волнению воды около бортов видно было, что и гребцы не без дела. Весь наш экипаж и все пассажиры были на палубе, никто не шевелился, повсюду царствовала такая тишина, что слышен был даже малейший треск мачт, которые как будто предуведомляли меня, что опасно накладывать на них такую тяжесть; но я заранее решил не обращать внимания на эти предостережения и рисковал всем, чтобы спастись. Это тревожное состояние продолжалось уже с час, и никакого несчастного случая еще не было. Потом я опять велел штурману сделать расчет: мне казалось, что фелука немножко подальше от нас.

— Слава Тебе, Господи! — вскричал с радостью штурман: ведь он отстает!

— На много ли? — спросил я тоже, переведя дыхание.

— Правду сказать, больно немного.

Он проверил свой расчет и прибавил:

— Около четверти мили.

— И это вам кажется мало! Четверть мили в час! Вы, право, ненасытны; я бы доволен был и половиной. Господа, теперь вы можете спокойно идти спать; завтра утром вы уже не увидите пирата... если только...

— Если только что? — повторил Апостоли.

— Если только, как иногда случается, ветер не стихнет часа через два после восхода солнца.

— А что ж тогда? — спросили пассажиры.

— Тогда дело другое; тогда уже нечего думать о бегстве, а надо будет готовиться к битве. Во всяком случае до четырех часов утра бояться нечего. До тех пор можете спать спокойно.

Пассажиры разошлись; Апостоли хотел было остаться

со мною, но я упросил его уйти в каюту; душевное волнение было для него очень вредно, и у него началась сильная лихорадка, хотя сам он того не замечал. Поспорив немножко, он повиновался, как ребенок; так всегда кончалось сопротивление этого кроткого молодого человека, душа которого несколько не лишилась своей юности, хотя он быстрыми шагами приближался к гробу.

— Теперь, — сказал я шкиперу, когда мы остались одни, — я думаю, можно послать половину экипажа спать; если ветер будет дуть все так же, то ребенок может управлять кораблем; а если ветер стихнет, то все люди понадобятся, а тогда не худо, чтобы они прежде хорошенько отдохнули.

— Все невахтенные под палубу! — закричал шкипер.

Минут через пять на палубе уже оставались только те, которые необходимы были для работ.

«Прекрасная Левантинка» продолжала разрезать волны, как морская ласточка, потому что в то время дул береговой ветер, такой, какого только мог бы пожелать капитан, чтобы маневрировать кораблем. Что касается фелуки, то в полчаса она отстала еще на четверть мили: поэтому можно было надеяться, что если в атмосфере не произойдет никакой перемены, на другой день мы будем уже в каком-нибудь порту Архипелага.

Таким образом я быстро повысился в морской иерархии: из мичманов попал прямо в капитаны, и такова суетность человеческая, что я радовался этому повышению, забывая, что удостоился его на бедном купеческом судне и что оно будет продолжаться только до тех пор, пока не пройдет опасность. Между тем новая моя обязанность сильно меня занимала, по крайней мере прогоняла мрачные мысли, которые меня тяготили. Мне пришло в голову, почему бы мне не завести свой корабль или просто яхту, чтобы путешествовать для своего удовольствия, или трехпалубное судно, чтобы торговать с Индией и Новым Светом: таким образом, я бы мог утолить жажду деятельности, которая, как лихорадка, мучит молодых людей, и забыть изгнание, на которое добровольно обрек себя; а так как мы тогда воевали с Францией, то, может быть, мне посчастливилось бы каким-нибудь блистательным подвигом заслужить прощение в моем преступлении, я вступил бы во флот в звании, приобретенном на поприще отца моего, сделался бы каким-нибудь Гоу или Нельсоном. Дивная вещь вообра-

жение! Оно строит мост через невозможное и наяву гуляет по садам таким очаровательным, каких и во сне никогда не привидится.

Я мечтал таким образом еще некоторое время потом, увидев, что уже два часа за полночь и что мы идем скорее фелуки, предоставил управление судном лоцману, поставил подшкипера на вахту и, закутавшись в плащ, улегся на камнемете.

Не знаю, сколько времени я спал крепким сном юности; потом я услышал, что кто-то меня называет по имени, но так как я, видно, не скоро просыпался, то меня стали толкать. Наконец, я открыл глаза; передо мной стоял подшкипер.

— Что нового? — спросил я, вспомнив, что велел себя разбудить, если случится что-нибудь неприятное.

— Да то, что вы угадали. Ветер стих, и мы стоим на месте.

Весть была очень нерадостная; но тем более нельзя мешкать, надобно помочь беде. Я бросил плащ на палубу, уцепился за бакштаги бизань-мачты и долез до рея малого крьюселя. На этой высоте ветер по временам был еще заметен, но такой слабый, что едва надувал верхние паруса и развевал наш вымпел. Потом я поглядел на фелуку: она уже виднелась только как белая точка на горизонте, однако ж еще виднелась; ясно было, что она надеялась на то, чего мы боялись, и не замедляла своего хода, так как мы оставили ее в трех милях за собою. Наконец, я посмотрел кругом по всему горизонту: перед нами на восток-юго-восток виднелись Митилен, горы которого ясно виднелись, и Скирос, колыбель Ахиллеса, могила Тезея; но первый из этих островов был в семи, второй в десяти милях от нашего корабля. Если б тот же береговой ветер подул еще часа три, мы были бы спасены; но он уже находился при последнем издыхании и скоро должен был совсем затихнуть.

Однако ж, чтобы после ни в чем не упрекать себя, я спустился на палубу, велел убрать все нижние паруса, поднять грот- и фор-марсели, паруса крьюсель и лисели. «Прекрасная Левантинка» как будто отдохнула оттого, что ее избавили от тяжести больших парусов; потом, как нимфа, которая плывет, накинув на голову шарф, она прошла еще с полмили, но тут остановилась, и паруса печально повисли по мачтам; ветер совершенно утих.

Я велел убрать паруса так, чтобы их тотчас можно было опять поднять. Подшкипер пришел ко мне за приказаниями.

— Найдите мне юнгу и барабан и велите бить тревогу.

## XXII

Как только раздались звуки этого инструмента, весь экипаж и пассажиры выбежали на палубу; от этого произошел некоторый беспорядок, и я увидел, что надо установить строгую дисциплину. Я велел экипажу перейти на носовую часть, а пассажиров повел на корму и сказал им, что ветер, как я предвидел, утром упал: я указал одной рукой на наши паруса, которые полоскались, а другою на фелуку, которая начинала расти, потому что шла не на парусах, а на веслах. Ясно было, что нам оставалось только готовиться к битве, и если фелука будет все идти так же скоро, то часа через четыре нам никак не миновать абордажа. Конечно, береговой вестер мог снова подняться и дать нам возможность уйти, но это было невероятно. Если бы честные купцы, с которыми я говорил, должны были опасаться только за жизнь свою, то они, верно, охотнее сдались бы, чем решились драться, но им надо было защищать свои товары, и потому они казались храбрыми, как львы. Решено было предоставить мне полную власть и сложить со скипера всю ответственность. Я тотчас воспользовался их добрым расположением: выбрал тех, которые казались мне мужественнее других, и назначил их сражаться, а остальным, под командою одного матроса, который был прежде канониром на сардинском корабле, велел делать фитили и патроны, чтобы во время сражения не было недостатка в боевых припасах. Но я напрасно уговаривал Апостоли идти с последними под палубу; он в первый раз упорно мне воспротивился и объявил, что ни за что на свете не расстанется со мною, пока опасность не пройдет. Делать было нечего, я оставил его при себе вместо адъютанта.

Разделив таким образом пассажиров и отправив их вниз, я взял рупор и, чтобы посмотреть, каково приказание мои будут исполняемы, поднял его ко рту и закричал: — Слушай! В ту же минуту шум утих, и всякий приготовился к работе. Я продолжал.

— Люди, на реи! Караулить ветер! Вещи и койки в сетки по бортам! Оружие на палубу!

В ту же минуту два человека бросились с быстротою и ловкостью обезьян по бакштагам грот-мачты на брам-стенги; прочие сбежали по трапам и снова явились с койками, положили их под сетки и прикрыли насмоленным холстом; подшкипер, которого я произвел в сержанты, поставил ружья в козлы, а топоры и сабли сложил в кучи. Конечно, все было сделано не так проворно, как на военных кораблях, но, по крайней мере, без суматохи. Это подало мне надежду на будущее, и я поглядел на Апостоли, который, сидя у подножия бизань-мачты, отвечал уже мне своей кроткой и печальной улыбкой, когда еще я не выговорил ни слова.

— Ну, что, храбрый сын Аргоса, — сказал я, — видно, приходится драться грекам против греков, братьям против братьев, Аттике против Мессении?

— Да, что делать! — отвечал он. — Так всегда будет, пока все дети одной матери, все поклонники одного Бога не соединятся против общего врага.

— И ты думаешь, что это когда-нибудь будет? — сказал я с сомнением, которого не мог скрыть.

— О, я в этом уверен! — вскричал Апостоли. — Невозможно, чтобы Пресвятая Панагия совсем покинула детей своих, и когда великий день настанет, эти самые пираты, теперь стыд и поношение Архипелага, сделаются его честью и славою, потому что их довела до этого не склонность, а нищета.

— Ты очень снисходителен к своим землякам, Апостоли.

Потом, видя, что экипаж ждет приказаний, я закричал:

— Сержанту выбрать и приставить людей к оружию и прикрепить к реям с обеих бортов крюки.

Отдав эти приказания, я снова повернулся к Апостоли.

— А ты слишком строг, Джон, и именно потому, что, как обыкновенно европейцы, судишь о всех народах, как будто они были на одной степени образования с европейцами; что мы уже четыреста лет терпим; ты знаешь, что уже четыреста лет мы ничего не можем сохранить надежно: ни достояния отцов, ни чести наших дочерей; ты не знаешь, что... Послушай, Джон, что я скажу тебе, — продолжал Апостоли, взяв меня за руку. — Если ты будешь долго в изгнании, сделайся сыном Греции; она милосердна, как всякий, кто страдал, великодушна,



как всякий, кто был беден. Со временем, и это время наступит скоро, ты услышишь, как крик независимости прокатится с горы на гору, с острова на остров; тогда ты будешь другом, братом, товарищем людей, с которыми теперь станем сражаться, будешь жить с ними под одной палаткою, есть один хлеб, пить из одной чаши.

— А скоро ли наступит этот день? — спросил я предсказателя, который с такою уверенностью возвещал мне его.

— Это один Бог знает! — отвечал Апостоли, подняв глаза к небу. — Но, конечно, скоро...

— Готово, капитан, — сказал мне подшкипер. — Не будет ли еще каких приказаний?

— Велите плотнику или главному конопатчику, если он у вас есть, обвязать весь корабль веревками с петлями, чтобы было за что зацепиться; приготовить деревянные затычки, пучки пакли и свинцовые дощечки, чтобы заделывать проломы, корзинки и мешки, чтобы было чем вытащить, если кто упадет в море.

Тут снова воцарилось молчание, пока исполняли это приказание. Между тем фелука росла с минуты на минуту, а мы все лежали в дрейфе. Видя, что все готово, я закричал:

— Эй, вахтенный! Есть ли ветер?

— Ни крошки! — отвечал он. — Если облачко, которое выходит из-за Скироса, не принесет нам ветра, так, видно, придется прогулять без него целый день.

Я оглянулся в ту сторону, куда указывал вахтенный и, точно, увидел на горизонте облачко; с того места, где я стоял, оно казалось подводным камнем на втором море, которое называется небом. Это пробуждало надежду. В нашем положении буря была для нас гораздо выгоднее, и я бы рад был купить ветер за какую угодно цену. Между тем все было еще тихо; море выровнялось, как скатерть, и на небе не мелькало ни пятнышка, кроме этой черной точки, которую только глаз моряка мог различить.

— Как вы думаете, — спросил я штурмана, — скоро ли они могут прийти в наши воды?

— Часа через три.

— Я так и думал. Приготовьте на палубе бочки с водою, чтобы освежать экипаж во время битвы; и чтобы никто не трогался с места, потому что у нас народу немного, велите двоим разносить воду чарками.

— Слушаю.

— Мне что-то кажется, брат, — сказал Апостоли, — что фелука переменит свое намерение. Может быть, она и не думает о нас.

Я схватил зрительную трубу и навел на фелуку. Действительно, по новому направлению, которое она приняла, надобно было полагать, что она пройдет позади нас в миле или в двух.

— Ведь и точно! — вскричал я. — Ну, брат Апостоли, я бы очень рад был повиниться перед твоими соотечественниками.

Увидев, что штурман, слыша это, покачивает головою, я сказал ему:

— А вы, что думаете?

— Я думаю, капитан, что они, так же как и мы, видят это черное облачко, чувствуют ветер, как морские свинки, и хотят отрезать нас от Митилена.

— Ваша правда!.. Я не понимаю, как это сейчас не пришло мне в голову; да, да, намерение их очевидно. И ветерка все нет?

— Ни малейшего! — сказал штурман.

Мы ждали, таким образом, четыре часа, потому что круг, который пираты сделали, отнял у них много времени. Они прошли почти в миле за нашею кормою, и, описав полукружье с правого борта, где мы их сначала видели, шли на нас с бакборта, но они еще были милях в трех, как вдруг вахтенный матрос закричал:

— Эй! Порыв ветра!

Я вскочил со своего места.

— С которой стороны?

Он подождал немножко, чтобы отвечать вернее, и, после второго порыва сказал:

— С запада-юго-запада.

— Ну, что? — спросил Апостоли.

— Хуже нельзя быть, любезный друг, видно, сам черт за них.

— Не говори таких вещей в опасные минуты, любезный друг.

— Вы слышали? — спросил я штурмана.

— Слышал, капитан.

— Я думаю, нам остается только одно: при первом ветре поворотить оверштаг и бежать по ветру, хоть бы даже туда, откуда пришли.

— Этого маневра не сделаем так скоро, капитан, чтобы

они не попотчевали нас двумя или тремя ядрами, а ведь при малейшем повреждении в снастях они со своими проклятыми веслами тотчас нас настигнут.

— А вы знаете какое-нибудь другое средство?

— Никакого, — отвечал штурман.

— Так нечего делать, надобно держаться этого. Эй, на брам-стенге! — закричал я вахтенному. — Верно ли ты знаешь, что ветер начинается?

— Да, да, вот он несется.

— Джон, — закричал Апостоли, — посмотри-ка, фелука опять переменяла свое направление!

Действительно, она при помощи весел и руля поворотила овер-штаг с легкостью шлюпки, и, как будто угадывая наше намерение, готовилась обгонять нас.

— Вы мастер своего дела, — сказал мне штурман, — да и капитан этой фелуки, видно, тоже не промах.

— Ничего мы, я надеюсь, обгоним его. Слушай!.. Готовы?

— Есть! — закричал весь экипаж в один голос.

— Бизань и грот-парус на гитовы! Крюсель и грот-марс держи круто! Вот «Прекрасная Лсвантинка» повертывается и сейчас пойдет чинно и плавно, как хорошенькая девушка перед маменькой. Идем ли?

— Идем! Идем! — закричали матросы в один голос.

И точно, корабль сначала катился, но теперь пошел вперед носом на Абидос назад, по тому же пути, по которому мы шли. Я поглядел на фелуку: во время нашего маневра она тоже сделала свой и подняла паруса. Оба судна шли к одной и той же точке, следственно, вопрос был только в том, кто обгонит, но во всяком случае, избежав abordжа, мы непременно должны были пройти под огнем фелуки.

Мы были тогда так близко к ней, что могли рассмотреть простыми глазами, что делается на неприятельском корабле. Это было настоящее хищное судно, длинное, как байдара, с двумя мачтами, изогнутыми градуса на три вперед; треугольные паруса его были привязаны широким краем к реям, длиннее мачт. На носу было два орудия и двадцать четыре камнемета в бортах. Гребцы, красные шапочки которых явственно виднелись, сидели не на лавках, а на поперечных перекладинах, упираясь ногами в другие перекладыны. Ветер был еще очень слаб, и потому весла давали им большое преимущество перед нами. Ясно было видно, что нам придется пройти на пистолетный

выстрел под их пушками. Я отдал последние приказания: велел перетащить на правый борт все наши орудия; раздать экипажу и пассажирам ружья, мушкеты, топоры и сабли; принести на палубу несколько зарядных ящиков и перевернуть песочные часы на три или на четыре часа. Сверх того, я велел двенадцати человекам влезть на марс, чтобы стрелять сверху вниз.

Во время этих приготовлений царствовало страшное и торжественное молчание; между тем тучка, вышедшая из-за Скироса, растянулась по всему горизонту и грозила нам бурей. Тяжелый, удушливый ветер дул прихотливыми порывами и по временам совершенно утихал, так что паруса наши висели вдоль мачт; огромные валы, как будто образуясь на дне моря, поднимались на поверхность и покрывались пеною; в другое время мы бы тщательно наблюдали эти признаки, но теперь не обращали на них ни малейшего внимания, потому что готовились к опасности страшнее этой. Оба корабля постепенно сближались, не опережая заметно друг друга; между нами было около мили. Мы очень ясно видели, что экипаж фелуки, по-видимому, вдвое многочисленнее нашего, тоже готовится к битве. Теперь ясно было, что это пираты, и что они намереваются напасть именно на нас; впрочем, если б и оставалось какое-нибудь сомнение, то оно рассеялось, потому что борт фелуки покрылся дымом, и когда звук, относимый ветром, еще не долетел до нас, град картечи посыпался в нескольких футах от корабля: пиратам так хотелось поскорее добраться до нас, что они не рассчитали расстояния и начали стрелять слишком далеко.

— Так как эти господа первые нас приветствовали, капитан, то не худо бы, я думаю, отвечать им учтивостью на учтивость, — сказал штурман. — Вот, — продолжал он, указывая на восьмифунтовую пушку, — благовоспитанная девица, которая только изредка вымолвит словечко, да поважнее всей этой болтовни.

— Ну, так позвольте же ей поговорить, мне тоже хотелось бы ее послушать. Я думаю, она ваша воспитанница, и уверен, что в теперешних обстоятельствах не заставит краснеть своего наставника.

— Только позвольте, капитан, она ждет приказаний.

— Цельтесь в борт, это всего лучше.

Штурман прицелился прямо в борт и закричал: — Пали!

Выстрел раздался, огонь вылетел из борта «Прекрасной Левантинки», вестник смерти понесся прямо на гребцов и, по беспорядку, который произошел между ними, ясно было видно, что удар попал в цель.

— Bravo! — закричал я. — Ваша воспитанница толкует славно, но она, я надеюсь, на этом не остановится.

— О, нет, капитан! — отвечал штурман, развеселившись. — Розалия... Я назвал ее Розалией в честь покровительницы Мессины... Розалия, как покойница жена моя, уже как разговорится, так не уймешь. Эй вы, что вы глазеете? Какая вам надобность, что там делается! Пороху в затравку!

Пока клали порох в затравку, с борта фелуки снова поднялся дым, и когда суда сблизилась, то по всему нашему кораблю застучала картечь. В ту же минуту один матрос свалился с грот-марса на бакштаги грот-мачты, а оттуда упал на палубу. Пираты, увидев это, испустили радостные крики.

Но смерть, которая посетила «Прекрасную Левантинку», возвратилась на фелуку с ядром Розалии, и за радостными кликами последовали проклятия. Это ядро пролетело сквозь стену и унесло двух канониров.

— Еще лучше! Славно, штурман! Да вот у вас два каменета! Неужто и они тоже не заговорят!

— Сейчас, сейчас, капитан, теперь еще рано: *razia*, терпение, как говорят у нас в Сицилии, и все придет в свой черед. Эй вы, за борт! Видите, что еще град посыплется.

Вслед за тем новый огненный ураган упал на палубу, убил одного матроса, двоих или троих ранил.

Снова раздалась на фелуке радостные восклицания, но они прерваны был выстрелами наших трех орудий. Три гребца упали и были заменены другими, а бег наш продолжался еще сильнее прежнего. Капитан пиратов, замечая, что не поспест вовремя к abordажу, стоял на корме и понуждал гребцов своих. Мы тоже были уверены, что уйдем от abordажу, и это придавало нам новое мужество. Тут и буря вступила в дело; загрохотал гром, вслед за ним налетел порыв ветра и сильно двинул нас вперед.

— Радуйтесь, ребята! — закричал я. — Вы видите, что небо нам помогает, и буря толкает нас как рукою. До сих пор они еще нам большого вреда не сделали: дерево нам дороже мяса.

— Всему будет свой черед, капитан, — сказал штур-

ман. — Настоящая пляска начнется тогда, когда они примутся играть на своих передовых пушках. Эй, ребята, пали!

Выстрелы обоих судов раздались вместе, но я, думая о том, что сказал штурман, не следил уже за их действиями. Я слышал только стон и, взглянув на палубу, увидел, что два человека корчатся в предсмертных судорогах. Подозвав двух матросов, я сказал им вполголоса:

— Поглядите, нет ли мертвых. Не надобно загромождать палубы, да притом и невесело смотреть на них; стащите трупы в кубрик и бросьте в море с бакборта, чтобы пираты не видали.

Матросы тотчас принялись за дело, а я опять повернулся к фелуке.

Мы уже почти достигли конца нашего бега и, по моему расчету, прежде фелуки, но тут мы были так близко от нее, что сильный человек мог бы бросить камень с одного судна на другое. Теперь пора было приняться за ружья, и я велел стрелять; тот же приказ отдан был в ту же минуту и на фелуке, и ружейная стрельба началась с обеих сторон.

Некоторое время гребцы фелуки работали так сильно, что опередили нас; но ветер стал крепчать, и мы снова их обогнали. Тут они дали по нас на каких-нибудь сорока шагах ужаснейший залп, на который мы отвечали, как могли, из орудий и ружей; потом они погнались за нами. Через минуту раздались выстрелы двух больших орудий, и ядро ударило у самой подводной части в нашу корму, а другое пролетело по парусам, не сделав нам, впрочем, большого вреда: оно продырявило только три малых паруса.

— Вот и шары стали покатываться, — сказал штурман. — Теперь наш брат только береги кегли.

— Да нельзя ли перевезти Розалию на корму и дать им сдачи? — сказал я.

— Сейчас, сейчас, капитан, везут. Ну, ну, лентяй, — сказал он матросу, которому раздавило палец. — Берись, что ли, за колесо, после утратишь понежиться со своим пальцем. Ну, вот так-то!

Но нашу пушку еще не успели зарядить, как раздался выстрел и за ним последовал ужасный треск. В ту же минуту со всех сторон закричали: — Берегись, капитан! Я взглянул кверху и увидел, что варенг, часть бизань-мачты, переломленная немножко повыше марса, зашаталась

и падает с парусами. В ту же минуту вся корма покрылась деревом, парусами и веревками, и корабль, лишившись двух парусов, важнейших для успешного хода с попутным ветром, тотчас пошел тише.

— Руби все! — закричал я. — Руби, и в море!

Матросы, понимая всю важность этого приказа, как тигры бросились на веревки и с помощью топоров, сабель и ножей в минуту перерубили и перерезали до малейшей все веревки, которыми брам-стенги были связаны с бизань-мачтою; потом все это побросали за борт.

Несмотря на быстроту этого маневра, корабль пошел медленнее, и я видел, что уже не остается никакого средства избежать abordaja. Я посмотрел вокруг себя, потери наши были еще не очень великие. Убито трое или четверо матросов, столько же тяжело ранено, несколько других человек получили легкие раны; считая с пассажирами, у нас оставалось еще двадцать пять или тридцать человек в состоянии защищаться. Я велел позвать тех, которые с утра делали патроны, и, нагнувшись к Апостоли, который не отходил от меня ни на минуту, сказал ему потихоньку:

— Послушай, брат, мы уже дрались. Сдаваться поздно. Что ты думаешь будет с нами, если нас возьмут?

— Нас зарежут или повесят, — отвечал спокойно Апостоли.

— Но ты грек. Земляки, может быть, пощадят тебя.

— Именно потому-то и не пощадят. Победенный никогда не получит помилования, если просит его на том же языке, на котором говорит победитель.

— И ты в этом уверен?

— Как нельзя более.

— Ну, так спроси у штурмана зажженный фитиль, и когда я закричу «Пора!», сбеги по кормовому трапу, брось фитиль в пороховую камеру, и все будет кончено.

— Хорошо, — отвечал Апостоли со всегдашнею своею печальною улыбкою, как будто бы я дал ему самое обыкновенное приказание.

Я подал ему руку; он бросился ко мне на шею. Потом я схватил одною рукой рупор, другою топор и закричал изо всей силы:

— Держи круче к ветру малыми парусами! Людей на нижние реи! Руль на ветер весь, и готовься к abordaju!

Маневр был в ту же минуту исполнен. «Прекрасная Левантинка», вместо того, чтобы идти с попутным ветром,

замедлила ход свой и повернулась к фелуке бортом. Пираты, идя на парусах и на веслах, зацепили своим бушпритом за бакштоги нашей бизань-мачты, и суда так сильно стукнулись, что часть нашего борта обломилась. В ту же самую минуту, как будто суда воспламенились от столкновения, поднялось облако дыму, раздался ужаснейший гром, и «Прекрасная Левантинка» дрогнула до самого киля: пираты выпалили из своих двенадцати орудий. К счастью, я успел закричать: «На землю!» Все те, которые бросились ничком, остались в живых, прочие были поражены картечью. Потом, вставая посередине дыма, мы увидели, что пираты, как демоны, спускаются со своих реев, с бушприта, перескакивают со своей палубы на нашу. Тут уже нечего было командовать; я бросился вперед и разнес череп топором первому, кто мне попался.

Невозможно изобразить подробностей этой страшной сцены; всякий дрался сам по себе и на смерть. Я отдал свои пистолеты Апостоли, потому что он был слишком слаб, не мог действовать ни топором, ни саблею, и два раза противники мои падали от ударов, которые не мною были нанесены. Я бросился вперед, как безумный, чтобы не пережить нашего поражения, которое легко было предвидеть; но, по какому-то чуду, дравшись с четверть часа, опрокинув все, что представлялось мне на пути, я не получил еще ни одной раны. В это время два пирата вдруг на меня бросились: один из них был юноша лет восемнадцати, другой человек лет в сорок. Махая топором, я задел молодого человека по ляжке: он вскрикнул и упал. Избавившись от этого, я бросился на другого, чтобы раскроить ему голову. Но он одною рукой схватил мой топор, другою нанес мне в бок удар кинжалом, который, к счастью, попал прямо в пояс мой, наполненный золотом. Боясь, чтобы он не повторил своего удара, я схватил его поперек тела; окинул быстрым взором корабль наш, и, видя, что пираты везде побеждают, закричал: «Пора!», Апостоли побежал к кормовому трапу.

Пират был ужасный силач, но я искусен в борьбе, как древний атлет. Никогда братья, встретясь после долгого отсутствия, не обнимались так крепко, как мы, чтобы задушить друг друга. Борясь, мы дошли до того места, где стена обломилась, когда суда столкнулись; ни один из нас этого не видал, и мы оба упали в море, так что никто не заметил.

Как только мы очутились в воде, я почувствовал, что



руки пирата разжимаются. Я тоже, увлекаемый врожденным чувством самосохранения, которого человек преодолеть не в состоянии, выпустил своего противника, нырнул и вынырнул уже в нескольких шагах за кормою «Прекрасной Левантинки». Я удивлялся, что она еще не взлетела на воздух. Зная Апостоли, я нисколько не сомневался в том, что он исполнит мое приказание. Подождав несколько секунд, и видя, что ничего нового нет, я подумал, что, верно, с бедным моим приятелем что-нибудь случилось. Пираты овладели всем судном. Тогда уже начинало смеркаться; я воспользовался этим, чтобы укрыться от них, уплыв подальше. Я плыл, не зная сам куда и повинувшись безотчетному инстинкту, по которому человек всегда старается отдалить минуту смерти, хотя и не надеется остаться в живых. Но потом я вспомнил, что в ту минуту, как у нас переломило мачту, мы находились почти прямо против островка Нео, который, как мне казалось, должен быть милях в двух к северу. Я обратился в ту сторону и, чтобы пираты меня не видали, плыл сколько можно под водою, выставляя по временам голову только для того, чтобы перевести дух. Однако ж, несмотря на все мои предосторожности, две или три пули, взбрызнув подле меня воду, доказали, что пираты обратили на меня свое внимание. К счастью, все эти пули пролетели мимо, а вскоре я был уже вне выстрелов.

Положение мое было очень незавидное. Я проплыл бы две мили, если б море было спокойно; но буря разыгрывалась; волны росли и росли, гром грохотал над моей головою, по временам молнии, извиваясь, как огромные змеи, озаряли гребни волн голубоватым светом, который придавал им страшный вид. Притом мне ужасно мешало платье: моя греческая юбка, широкая фустанелла, напитавшись водою, так и тянула меня ко дну. Через полчаса я почувствовал, что начинаю ослабевать и непременно погибну, если не освобожусь от этой тяжести: я повернулся на спину, и после ужаснейших усилий мне удалось кое-как разорвать шнурок, которым фустанелла была привязана; потом, спустив ее с ног, я и поплыл скорее.

Еще с полчаса я плыл довольно свободно; но море все более и более волновалось, и я очень чувствовал, что не в состоянии буду выдержать усталости. Тут нельзя было перерезывать волн, как в обыкновенное время; надо было предаваться им, и всякий раз, как я спускался вместе с волною, казалось, что меня тянет в бездну. Однажды, ког-

да я был на вершине водяной горы, молния блеснула, и я увидел справа скалу Нео, но на огромном расстоянии от меня. В темноте не по чем было направлять своего пути; я сбился: теперь остров был так же далеко от меня, как с самого начала. Это привело меня в уныние: я чувствовал, что мне не добраться до земли. Я попробовал было отдохнуть, плавая на спине, но меня поражало ужасом всякий раз, как я устремлялся вместе с волною головою вниз в страшные долины, которые делались глубже и глубже. Дыхание мое стеснялось, в ушах шумело, члены коченели, движения становились неправильными; мне хотелось закричать, хотя я хорошо знал, что посереде моря никто, кроме Бога, криков моих не услышит. Воспоминания носились передо мной, как в сновидении. Мне представлялись отец, мать, Том, Стенбау, Джемс, Боб, Борк; вспоминал я такие вещи, которые давно изгладились из моей памяти, и видел такие, которые как будто приносились с того света. Я уже не плавал, но без воли, без сопротивления перекачивался с волны на волну. Тут я делал отчаянное усилие, от которого искры тысячами сыпались у меня из глаз; я выбивался на поверхность воды, видел снова небо, и мне казалось, что оно совсем черное с красными звездами. Я выпускал крики, и мне чудилось, что будто кто-то на них отвечает. Я чувствовал, что силы мои истощаются, приподнялся до пояса над водою и с ужасом посмотрел вокруг себя. В эту минуту беснула молния: мне показалось на вершине одной волны что-то черное, как будто скала, которая катилась в ту же пропасть, где я был. Вдруг я услышал, что кто-то произносит мое имя и уже так явственно, что я не мог принять этого за призрак. Я хотел отвечать, но рот мой наполнился водою. Мне казалось, что меня ударило по лицу веревкою; я схватился за нее зубами, потом руками. Что-то тянуло меня к себе; я не противился: у меня уже не было ни силы ни воли; потом я уже ничего более не чувствовал: был в обмороке.

Очнувшись, я увидел, что лежу в каюте «Прекрасной Левантинки» и подле моей койки сидит Апостоли.

### XXIII

Увидев, что я пришел в себя, он объяснил мне, каким чудом я спасся от смерти; он не мог взорвать корабля, потому что шкипер, угадав мое намерение, затопил порох. Идя назад по трапу, он встретился с пиратами: овладев

всем судном, они несли в капитанскую каюту молодого человека, которого я ранил топором; бедняк истекал кровью и просил, чтобы позвали хирурга. Тогда Апостоли пришли в голову выдать меня за врача и таким образом спасти меня. Он закричал, что на «Прекрасной Левантинке» есть доктор, и чтобы прекратили резню, если еще не поздно. Два человека тотчас бросились на палубу и объявили от имени капитанского сына, что кто нанесет хоть еще один удар, тот будет казнен. Апостоли с беспокойством следовал за ними, везде искал меня и не находил; в это самое время пираты радостно вскрикнули: капитан их, который во время битвы исчез, взобрался по канату на палубу и закричал: «Победа!». Апостоли тотчас узнал, что это тот самый человек, с которым я боролся, и подбежал к нему, спрашивая, куда я девался. Пират отвечал, что я, вероятно, утонул. Апостоли сказал, что я врач, и что один я могу спасти капитанского сына. Тут огорченный отец начал спрашивать, не видал ли кто меня; двое пиратов отвечали, что они стреляли по человеку, который плыл к острову Нео. Капитан тотчас велел спустить баркас и не знал, что делать, спешить ли на помощь ко мне или идти к сыну. Апостоли сказал, что мы с ним друзья, и вызвался отыскать меня. Капитан пошел в каюту, а Апостоли бросился в шлюпку. Люди, которые отправились за мною, увидели при блеске молнии что-то белое, и достали мою фустанеллу. Это подало им надежду и, думая, что я, верно, поплыл к острову, они стали грести в ту сторону. С полчаса спустя они увидели при блеске молнии человека, который боролся со смертью, и вытащили меня в ту самую минуту, когда я уже готов был навсегда погрузиться в море.

Апостоли только кончил рассказ свой, как дверь открылась, и вошел капитан. Я с первого взгляда узнал человека, с которым мы дрались; между тем он совершенно изменился: тогда на лице его была свирепость, теперь уныние: он явился передо мной уже не врагом, а просителем. Увидев, что я уже пришел в себя, он бросился к моей койке и закричал на франкском наречии:

— Ради Бога, доктор, спасите моего сына, моего милого Фортуната, и требуйте от меня, чего хотите.

— Не знаю, удастся ли мне спасти твоего сына, — отвечал я, — но прежде всего я требую, чтобы ни один из твоих пленных не был умерщвлен; сын твой отвечает мне своей жизнью за жизнь последнего матроса.

— Спаси только Фортуната! — закричал опять пират. — И я своими руками задушу первого, кто осмелится тронуть ваших людей; но поклянись же и ты мне.

— В чем?

— Что ты не покинешь Фортуната, пока он не выздоровеет или не умрет.

— Клянусь!

— Так пойдем же со мною.

Я соскочил с койки и пошел с пиратом и с Апостоли в каюту больного.

Я тотчас узнал молодого человека, которого ранил топором. То был прекрасный юноша лет восемнадцати или двадцати, черноволосый, со смуглым лицом. Губы его были сини; он едва мог говорить, по временам только жаловался и просил пить, потому что у него была лихорадка. Я подошел к нему, поднял покрывало и увидел, что он плавает в крови. Рана была продольная в верхней наружной части правой ляжки; около пяти дюймов длиной и в полтора дюйма в самой большой глубине своей. Я увидел с первого взгляда, что она не могла повредить артерии, и это подало мне надежду вылечить его; притом я знал, что продольные раны не так опасны, как поперечные.

Я перевернул больного на спину, чтобы нога лежала в горизонтальном положении, и обмыл рану самою свежою водою, какую только могли найти. Очистив ее от крови, я положил корпию во всю длину и перевязал так, чтобы разрезанные края раны сошлись. Потом я велел поднять больного на полотенцах, чтобы переменить под ним тюфяк и простыни, залитые кровью; велел смачивать рану свежою водою и предписал самую строгую диету. Надеюсь, что больной проведет ночь хорошо, я просил позволения уйти, потому что после такого тягостного дня мне самому необходим был покой. Капитан согласился на это с тем, что если с больным что-нибудь случится, то меня тотчас разбудят.

Я ушел в каюту, и мы остались одни с Апостоли. Тут я вполне оценил его преданность и присутствие духа. Без него труп мой носился бы по волнам, был бы выброшен на какую-нибудь скалу и достался в добычу хищным птицам. Мы снова обнялись, как люди, которые расстались было навеки и каким-то чудом снова сошлись; потом я спросил о нашем экипаже. В живых осталось только тринадцать матросов и пятеро пассажиров; всех раненых с обеих сторон побросали в море, в числе их был и несчастный

штурман. Шкипер наш был помилован: он рассказал, что драться решено было без его согласия, и что в решительную минуту он спас всех, затопив порох. Апостоли подтвердил его показание. Успокоившись на счет всех наших, я лег и заснул крепким сном.

Часа в два я проснулся; вспомнил о раненом, и хотя меня не будили, следовательно, с ним ничего дурного не случилось, однако ж, я встал и пошел в каюту капитана. Он совсем не ложился, сидел подле своего сына и беспрестанно смачивал его рану. Лицо его, столь свирепое и страшное в минуту битвы, приняло выражение удивительной нежности и заботливости: это был уже не грозный атаман пиратов, а отец, трепещущий и покорный. Увидев меня, он подал мне руку и просил знаками, чтобы я как-нибудь не разбудил больного.

Молодой человек спал спокойно, без лихорадки, потому что его ослабила сильная потеря крови. Я прислушивался к его дыханию: оно было слабое, но ровное; никогда не видывал я ничего прекраснее этого бледного лица, окруженного черными волосами: то была одна из тех благородных голов, которые видим только на картинах Тициана и Ван-Дейка и всегда считаем созданием воображения художника. Все было хорошо: я успокоил отца, но, несмотря на мои советы, он никак не согласился отойти от постели больного.

Я опять ушел в свою каюту и спокойно проспал до восьми часов. Потом возвратился я к Фортунату. Он уже не спал, страдал лихорадкою: это всегда случается при значительных ранах и потому несколько меня не тревожило; я велел давать ему прохладительное питье, а сам пошел к Апостоли.

Увы, тот был совсем не в таком положении! Во время битвы его поддерживали восторженность, потом пламенное желание спасти меня, и он превозмогал свою слабость; но это усилие истощило его. Вскоре после того, как я вечером ушел от него, с ним сделался сильный кашель; потом рвота кровью; затем началась лихорадка, и утром он был так слаб, что уже и не пробовал встать.

Сведения мои в медицине так далеко не простирались, и я не смел уже более лечить его. Я советовал только разные невинные средства, которые обыкновенно предписывают безнадежным больным, чтобы показать им, будто есть еще некоторая надежда. Я остался с ним, потому что рассеяние было для него полезнее всего.

Тут только вполне выказалась мне эта ангельская душа, в которой не было еще ни одной дурной мысли. Как обыкновенно бывает в смертельной, неизлечимой чахотке, он нисколько не предчувствовал опасности своего положения и воображал, что у него лихорадка, которая очень часто случается в Греции, приходит Бог знает отчего и проходит без всякой видимой причины. Я не отходил от него целый день: все это время он говорил мне только о своей матушке, сестре и отчизне: никакая другая любовь еще не вытесняла из его юного сердца этих чистых чувств. Душа его была подобна прекрасной лилии, которая только что распускается, разливая вокруг себя благоухание.

Вечером я вышел на палубу. Оба судна, сколько можно исправленные, шли рядом милях в двух от берега, который я тотчас узнал, потому что уже видел его, когда мы заходили в Смирну за лордом Байроном: это был остров Хиос. Сколько странных происшествий случилось с тех пор, и мог ли я ожидать их тогда, когда, месяцев пять назад проходил по этим самым местам на «Трезубце»!

С первых шагов на палубе я заметил, что на меня смотрят с большим почтением: дело в том, что пираты, считая меня искусным врачом, питали ко мне глубокое уважение, как это всегда бывает на востоке. Я не видал ни одного из матросов или пассажиров «Прекрасной Левантинки» и догадался, что их перевели на фелуку.

Проходив с час на свежем воздухе, я вернулся к Апостоли. Он был немножко спокойнее и даже не спросил меня, где мы. Разумеется, я не сказал ему, что мы миновали Хиос и, следовательно, Смирну. Казалось, что душа его, собираясь на небеса, не заботилась о том, куда везут тело, в котором она еще заключена.

Ночью поднялся шквал, весьма обыкновенный в Эгейском море. Я беспрестанно переходил от койки Апостоли к койке Фортуната. Качка обоих очень беспокоила. Я сказал Константину — так звали пирата — что больных надобно бы перевести на землю. Он посоветовался на греческом языке с сыном; потом пошел на палубу, вероятно, посмотреть, где мы. Увидев, что мы огибаем южную оконечность Хиоса и находимся почти на уровне Андроса, пират объявил, что завтра мы пристанем к острову Никарии. Я принес эту весть Апостоли; бедный принял ее с обыкновенною печальною улыбкою и сказал, что ему на земле, верно, будет лучше.

На третий день после того, как Фортунат получил

рану, я хотел перевязать ее; но Константин удержал меня и просил, чтобы я дал ему выйти. Этот кровожадный разбойник, этот человек, вся жизнь которого протекла в битвах, не мог видеть, как перевязывают рану его сына: странное противоречие между чувствами и привычкою! Он ушел ждать на палубу, а я остался с Фортунатом и одним молодым негром, которого Константин прикомандировал ко мне для услуг.

Я снял повязки и увидел, что в ране есть небольшое воспаление; поэтому я положил на новую корпию мазь, обвязал рану с прежними предосторожностями и велел смачивать водою. Потом я пошел на палубу сказать Константину, что сын его начинает выздоравливать.

Он стоял на носу с Апостоли, который, чувствуя себя получше, захотел подышать свежим воздухом. Оба они смотрели на горизонт, где начинал выходить из воды, как скала, остров Никария, к которому мы шли теперь. Слева от него был Самос, который по густой зелени своих оливковых деревьев почти сливался с морем. Услышав от меня радостную весть, Константин тотчас побежал к сыну, и мы остались одни с Апостоли.

Я, в первый раз еще со времени сражения, увидел его днем, и хотя был приготовлен к этому, однако испугался, заметив, какую странную перемену произвели в нем трое суток. Правда, что в эти три дня он вытерпел столько сильных ощущений, сколько обыкновенно не бывает с человеком в целый год. Скулы его еще болсе обтянулись и побагровели; глаза как будто стали больше, и непрерывный пот струился каплями по лбу.

Мы долго стояли на палубе, не спускали глаз с Самоса, и разговаривали о древней Греции; наконец, суда наши вошли в небольшой порт, где было очень хорошее якорное место. Пираты тотчас перенесли на берег две палатки и поставили их в некотором отдалении одну от другой, первую на берегу ручья, вторую в тени небольшой рощи. Они убрали эти палатки коврами и подушками, и поставили так, чтобы больные могли видеть со своих постелей Самос, за Самосом голубую вершину горы Микале, а по сторонам Самоса Эфес и Милет или лучше сказать места, где были некогда эти города. Потом пираты расположили вокруг палаток свой лагерь.

Когда все было готово, Фортуната понесли в одну из палаток, а другую предоставили Апостоли; потом застави-

ли меня еще раз поклясться, что я не покину Фортуната, пока не вылечу его, и оставили на воле. Эта клятва была совершенно бесполезна, потому что я ни за что на свете не покинул бы Апостоли.

В этом бесподобном климате, в тех самых местах, где Афиней видел, как виноград два раза в год цвел и созревал, нечего было бояться ночного холода. Однако я хотел убедиться в этом на собственном опыте и лег спать в палатке Апостоли, а Константин ночевал в палатке Фортуната. Что касается пиратов, то половина из них расположилась вокруг нас, а прочие остались на судах.

Утром, на другой день, Константин отправил шлюпку на остров Самос за свежими съестными припасами и плодами. Я просил, чтобы мне привезли козу для Апостоли, и с тех пор не давал уже ему ничего, кроме молока.

Я во второй раз перевязал рану Фортунату, и ему было заметно лучше. Рана начинала уже сходить в середине, и по всему надобно было полагать, что она заживет скоро. О нем я несколько не беспокоился. Но состояние Апостоли было совсем не таково. Всякий вечер лихорадка у него была сильнее прежнего, и всякое утро он был слабее, чем накануне. В первые дни пребывания нашего на Никарии мы всходили на вершину одного небольшого холма, высшей части острова, смотреть на восход и закат солнца; но вскоре и эта небольшая прогулка сделалась слишком утомительною для него. Всякий день он делал несколькими шагами менее и садился отдыхать ближе прежнего к своей палатке. Наконец он уже не мог выйти из нее и тогда только стал понимать свое положение.

Апостоли был из тех людей, которые возбуждают в сердцах всех его окружающих чувства кроткие и нежные: все его любили и жалели. Я был уверен, что Константин охотно бы согласился отпустить его в Смирну, чтобы он мог умереть на руках родных. Я не ошибся: как только я сказал ему об этом, он не только не отказал, но даже предложил перевезти Апостоли в своей шлюпке на остров Теос, потому что оттуда ему уже легко будет добраться до Смирны. Я побежал к Апостоли, чтобы сообщить ему эту приятную весть, но он, к удивлению моему, принял ее довольно холодно.

— А ты? — сказал он.

— Что, я?

— Поедешь со мной?



— Я не просился.

Апостоли печально улыбнулись, и я поспешил прибавить:

— Уверяю тебя, я не просился оттого только, что он, без всякого сомнения, не пустит меня.

— Да попросись же сначала, а там посмотрим, что нам делать.

Я пошел к пирату: тот опять начал советоваться с сыном. Потом Константин сказал мне, что я дал ему слово не покидать Фортуната, пока он не выздоровеет, что он еще лежит в постели, и поэтому меня никак нельзя отпустить.

Я сообщил этот ответ Апостоли. Он подумал с минуту; потом взял меня за обе руки, посадил подле себя у дверей палатки и сказал:

— Послушай, любезный друг, если б я мог, прощаясь с матерью, оставить ей вместо себя сына, а сестре брата, я был бы уверен, что они скоро утешатся, потому что будут вполне вознаграждены за потерю. И тогда я бы поехал. Но так как это невозможно, то лучше избавить их от горести смотреть на умирающего. Я видел, Джон, как умирал отец мой, и знаю, каково сидеть у постели больного и ждать со дня на день, с часу на час выздоровления, которое все не начинается, или смерти, которая не приходит. Расставанье с жизнью ужаснее для того, кто на это смотрит, чем для самого умирающего. Горе матери и сестры и меня лишило бы бодрости. Там я умер бы под слезами матери, здесь умру под Божией улыбкою. Притом, — прибавил он, — это доставит ей несколько лишних покойных часов. Я даже думал было вот что: хотел скрыть от нее смерть свою; пусть бы она воображала, что я путешествую; я бы оставил тебе несколько писем, и ты пересылал бы их к ней по временам, как будто я еще жив. Матушка женщина старая и больная; быть может, это счастливое незнание продолжалось бы до самой ее смерти, и тогда только, на смертном одре, она узнала бы, что ей предстоит не разлука, а соединение со мною. Но я не посмел и бросил эту мысль: мне казалось, что мертвому странно было бы лгать.

Я обнял его.

— Но скажи мне, ради Бога, Апостоли, откуда ты берешь такие мрачные мысли? Ты молод, живешь в прекраснейшем климате, где воздух тепл и приятен, природа прекрасна. Твоя болезнь была бы смертельна у нас на Западе; а здесь она совсем не опасна. Мы должны

думать не о смерти твоей, а о выздоровлении. Когда ты поправишься, мы поедем к твоей матушке, и у ней вместо одного сына будет два.

— Спасибо тебе, любезный друг, — сказал Апостоли с обыкновенною кроткою улыбкой, — но ты напрасно стараться обмануть меня. Ты говоришь, что я молод, — он попробовал встать и, обессилев, упал, — ты видишь! Что в моей молодости, когда я слаб, как старик! Ты говоришь, что воздух здесь так приятен, природа так прекрасна: этот приятный воздух жжет мне грудь, и я всякий день хуже и хуже вижу эту прекрасную природу... Глаза у меня, любезный друг, как будто завешены каким-то покрывалом; он всякий день становится гуще и гуще, всякий день окружающие меня предметы теряют постепенно свои цвета и формы. Скоро уже самое яркое солнце будет освещать их для меня как бы сумраком, а от сумрака я незаметно перейду к вечной ночи. Так послушай же, любезный Джон, и обещаю тебе, что ты в точности исполнишь мою последнюю волю. (Я кивнул ему головою, потому что не мог говорить от слез). Когда я умру, остриги мне волосы и сними с руки это кольцо. Волосы матушке, кольцо сестре моей. Ты должен объявить им о моей смерти: ты сделаешь это осторожнее, нежнее всякого другого. Войди к ним в дом, как древние вестники, с веткою железняка в руке, и так как тогда они уже давно не будут иметь обо мне никаких известий, то поймут, что я умер.

— Я сделаю все, что ты хочешь, — отвечал я, — но, ради Бога, не мучь меня такими мрачными мыслями.

Я встал и хотел уйти: боялся, что зарыдаю.

— Не уходи же, — сказал Апостоли, — и не печалься так. Ты знаешь, что мы умираем для новой жизни. Мы, греки, всегда были и будем людьми верующими. И, право, брат, тот, кто умирает веруя, счастливее того, кто живет без веры!

— Это ко мне не относится, Апостоли, религии наши различны между собою в некоторых догматах, но я воспитан матерью, верующею и набожною, с которой я, к несчастью, разлучен, по всей вероятности, навеки. Я так же, как и ты, верую и надеюсь.

— Ну, так послушай же, — сказал Апостоли, — мне бы хотелось священника. Позови ко мне Константина; мне надо попросить его об этом и еще о многом другом.

— Чего ты хочешь просить у него? Не забывай, что мне

будет обидно, если ты станешь просить другого о чем-нибудь таком, что бы я мог сделать для тебя.

— Я хочу просить, чтобы он освободил пленных матросов и пассажиров в день моей смерти, чтобы они и все, кто их любит, благословляли тот день и молились за меня, как за своего избавителя.

— И ты воображаешь, что он на это согласится?

— Помоги мне только вернуться в палатку, Джон потому что мне холодно, и поди, приведи его.

Я уложил Апостоли в постель, потому что он был так слаб, что сам уже не мог ходить, и потом привел к нему Константина.

Они проговорили с полчаса на греческом языке, которого я не понимал, но, по выражению голоса Константина, я догадался, что пират соглашается на все, о чем Апостоли его просят. На одно только он, казалось, не решался; наконец, сказал несколько слов с умоляющим видом, и Апостоли, по-видимому, перестал настаивать.

— Ну, что? — спросил я, когда Константин ушел.

— Завтра приведут мне священника; в день моей смерти все пленные будут освобождены; одного только тебя, Джон, он, именем моей матери, просил оставить у него, пока Фортунат не поправится. Извини меня, он просил именем моей матери, и я не в силах был отказать. Я обещал за тебя, что ты поедешь с ним на остров Кеос.

— Я исполню твое обещание, Апостоли. Изгнаннику все равно где жить. Только скажи, ради Бога, какими же судьбами он согласился на такое пожертвование?

— Мы оба принадлежим к обществу гетеристов, основанному для возрождения Греции, — отвечал Апостоли, — и по нашим правилам каждый член общества обязан исполнять все, о чем другой просит на смертном одре... Я на смертном одре просил его освободить своих пленников: он согласился.

— И вот почему ты несравненно выше своих предков! — вскричал я. — Древний грек потребовал бы гека томбы, а ты всепрощения. Ты хочешь, чтобы о тебе не только плакали, но чтоб тебя благословляли.

Апостоли печально улыбнулся. Заметив по движению губ его, что он молится, я ушел, чтобы не мешать ему.

Через некоторое время я воротился. Апостоли спал довольно спокойно; но с полчаса спустя у него начался сильный кашель и потом страшная рвота кровью. Во время этого ужасного кризиса бедный молодой человек несколько-

ко раз лишался чувств и падал ко мне на руки; он каждый раз думал, что уже умирает, и потом возвращался к жизни с печальной, ангельскою улыбкою, какую видывал я только у тех, кому суждено умереть в юношеском возрасте. Наконец, часам к двум утра эта страшная борьба между жизнью и смертью кончилась. Жизнь была побеждена и, казалось, просила свою неприятельницу, чтобы ей только дали угаснуть по-христиански.

Рано утром привезли греческого священника, за которым посылали на остров Самос; это была минута чистой радости для Апостоли. Я хотел оставить их одних, но он сказал мне:

— Не уходи, Джон, нам уже недолго остается пробить вместе.

Потом он рассказал священнику всю жизнь свою, чистую и невинную, как жизнь младенца. Священник был глубоко тронут и, указывая мне одной рукой на умирающего Апостоли, другою на пиратов, которые по временам заглядывали в двери, сказал:

— Вот те, которые уходят, и вот те, которые остаются.

— Судьбы Божии неисповедимы, батюшка, — сказал Апостоли: — я слаб, и Он призывает меня к себе, чтобы молиться, а сильных оставляет здесь, чтобы сражаться. Вы станете за меня молиться, батюшка, когда я умру, а я буду молиться за наше отечество.

— Будь спокоен, сын мой, — сказал почтенный священник: я уверен, что скоро у подножия престола Божия ты будешь полезнее для отечества, чем здесь.

— Так я рад умереть, батюшка! — вскричал Апостоли с восторгом. — Я благословляю смерть, если она может принести пользу моему отечеству!

— О, дай Бог! — сказал Константин, входя в палатку и становясь на колени у постели больного.

Священник причастил его.

И я стал вскричать близкому возрождению Греции, видя, что молодой человек, старый священник и атаман морских разбойников, отдаленные друг от друга всем пространством от юности до старости и пропастью, разделяющею добродетель с пороком, соединяются между собою таинственными узами, общею любовью, общею надеждою, которую умирающий завещает живым во имя Бога и отечества.

Причастившись, Апостоли стал спокойнее и, как только священник ушел, он просил, чтобы мы снесли его

к дверям. Мы с Константином взяли тюфяк за четыре угла и положили больного у входа в палатку. Он тотчас вскричал, что теперь покров, который уже несколько дней закрывал от него природу, исчез, и что он видит и небо, и море Самосское, и даже берег, который нам самим казался легким облаком под первыми лучами восходящего солнца. В глазах его выражалась такая радость, лицо озарилось таким блаженством, что я даже перестал верить, что он умирает, и ожидал чуда. Душа его укрепилась светлою, благодатною надеждою. Я сел подле него, и он стал говорить мне о своей матери, о сестре, но не так уже, как прежде, а как путешественник, который долго был в отсутствии и возвращается домой в твердой уверенности, что все родные ждут его на пороге.

Так прошел целый день, но ясно было видно, что нравственная восторженность увеличивает его физическую слабость. Наступил вечер, один из тех прекрасных вечеров благословенного Востока, когда ветер приносит ароматы бесчисленных цветов, прекрасные розовые облака отражаются в море, и солнце, улыбаясь, покидает землю.

Некоторое время Апостоли уже не говорил и, казалось, был погружен в восторженное созерцание природы; целый день он следил за солнцем и вечером просил меня, чтобы я повернул его лицом к западу. В то время, когда огненный шар дошел уже до гор Андроса, Апостоли как будто ободрился, приподнялся, опираясь рукою, и держался все с большею силою, следуя за ним глазами; наконец, когда солнце совсем скрылось, он протянул к нему руки, проговорил «прощай», и голова его опустилась ко мне на плечо.

Апостоли умер; он умер без кризиса, без потрясений, без страданий; умер, как пламя, которое гаснет, как звук, который исчезает в воздухе, как благоухание, которое парит к небу.

Исполняя его желание, я остриг ему волосы и снял с руки кольцо.

Я присидел подле него всю ночь. Утром привезли с острова Самоса двух женщин: они обмыли труп его и натерли благовониями, надели ему на голову цветочный венок, а на грудь положили белую лилию. Потом я пошел с двумя пиратами на вершину холма вырыть ему могилу на том месте, которое сам он назначил, воткнув в землю ветку олеандра.

Весь день пираты перевозили на свою фелуку товары, бывшие на «Прекрасной Левантинке». Вечером старый священник опять приехал, стал подле постели на колени и начал молиться. Тогда пленных подвели к палатке: они увидели мертвого Апостоли и все заплакали, потому что все любили его, как брата.

По окончании отпеванья тело положили в гроб, и четыре пирата подняли его на плечи. Священник пошел вперед; за ним шли два мальчика со свечами; потом несли гроб; позади шли самосские женщины, неся на головах блюда с кутьею, посредине которой была белая миндальная фигурка в виде горлицы; края блюд были убраны виноградом, фигами и гранатами. У могилы блюдо поставили на труп, пока священник читал литию; потом гроб закрыли и начали заколачивать, а кутью подали всем нам, чтобы помянуть покойника. Потом я с растерзанным сердцем услышал, как стукнула о гроб первая горсть земли, брошенная в могилу; за нею последовали другие, отдаваясь глуше и глуше; наконец, когда могилу зарыли, Константин протянул руку и сказал с каким-то диким величием, обращаясь к пленным:

— Усопший брат наш просил меня возвратить вам свободу. Возьмите корабль свой; море для вас открыто, ветер поднимается: ступайте!.. Вы свободны.

Это было прекрасное надгробное слово доброму Апостоли.

Все начали готовиться к отплытию. Пассажиры, радуясь, что отделались одним товаром, и шкипер, получив обратно свое судно, не могли надивиться такому неслыханному великодушию в пирате. Признаюсь, я сам стал смотреть на этого человека совсем другими глазами. Фортунат не мог быть на похоронах, и потому велел посадить себя у дверей палатки, чтобы по крайней мере видеть их издали. Я подошел и со слезами на глазах подал ему руку.

— Да, да, — сказал он, — Апостоли был достойный сын Греции; зато вы видите, что мы в точности исполнили первое обещание, которое он взял с нас; а когда придет пора исполнить и второе, будьте уверены, что мы так же свято сдержим свое слово.

Таким образом, во всех этих сердцах тлело общее пламя, надежда, что Греция со временем будет освобождена.

Качка была уже не опасна для Фортуната, потому что

рана его начинала заживать. В тот же вечер его перевезли на фелуку; я последовал за ним, чтобы в точности исполнить обещание того, которого мы покидали одного на этом острове. При последних лучах заходящего солнца оба судна вышли из порта и, повернув в противоположные стороны, удалились от Никарии.

Ветер был свежий, притом мы шли также и на веслах, и потому остров Никария скоро скрылся у нас из виду.

## XXIV

Проснувшись на другой день, мы увидели, что идем по Эгейскому морю к группе Цикладских островов. Под вечер мы вышли в пролив, отделяющий Тено от Микони, и вскоре бросили якорь возле островка мили в три длиною и около мили шириной. Константин сказал мне, что мы простоим тут только ночь, и предложил ехать с некоторыми из его людей на берег, посмотреть, как ловят перспелок сетями, а после прийти к нему ужинать. Узнав, что этот остров, который называется нынче Ортигией, есть древний Делос, я отправился и в час обошел его весь: он необитаем и представляет одни развалины.

Когда я вернулся, Константин и Фортунат ждали меня ужинать. Мы в первый раз сидели за одним столом. Они придали этому ужину некоторую торжественность. Впрочем, с тех пор, как я принялся лечить Фортуната, обходились со мною очень хорошо. Вообще в этих двух людях заметны были образованность и деликатность, совершенно противоречащие их ремеслу, и я не раз этому удивлялся. В тот вечер они были еще ласковее со мною, чем обыкновенно. После ужина, когда слуги два раза обнесли нас в серебряном кубке самосским вином, подали зажженные трубки и ушли, я стал говорить об этом. Они переглянулись, улыбаясь.

— Мы ждали этого вопроса, — сказал Константин; — ты судишь о нас точно так, как судил бы всякий другой на твоём месте: так обижаться нам нечего.

И он рассказал мне свою историю, старую, но занимательную, историю людей с гордым, буйным характером, которые, сделавшись жертвою несправедливости, платят людям злом за зло. Константин был майнот; предки его принадлежали к числу тайгетских волков, которых турки не могли ни сделать ручными, ни выгнать

из гор, и, наконец, оставили в покое. Дмитрий, отец Константина, влюбился в одну молодую гречанку, родители которой переехали в Константинополь. Он последовал за ними, женился и поселился в Пере. Он жил там со своими детьми в богатстве и благополучии, как вдруг в соседнем доме одного турка вспыхнул пожар. Через неделю после того распространились обыкновенные в этих случаях слухи, стали говорить, будто дом подожгли греки, и турецкая чернь, радуясь предлогу, нахлынула ночью в этот квартал и разграбила дома греков. Фортунат и Константин защищались некоторое время, но видя, что Дмитрий пал, они с родственниками захватили сколько могли золота, покинули свой дом и товары и ушли через заднюю дверь. Им удалось добраться до Мраморного моря, потом до Архипелага, и они сделались пиратами. С тех пор они плавали по морям, так же грабили и жгли корабли, как их дома и товары были сожжены и разграблены, и в отомщение за смерть Дмитрия умерщвляли всех турок, которые попадались им под руку.

— Любопытство твое нам очень понятно, — сказал Фортунат, когда отец его окончил рассказ свой; — но и ты, конечно, понимаешь наше беспокойство. Ранив меня, ты сам, как Ахилл, вылечил мою рану. Ты нам теперь брат; а мы для тебя все еще пираты, разбойники. Нам нечего бояться своих земляков-греков: в душе они все желают нам добра; нечего бояться и турок: их корабли никогда не нагонят наших фелук, как филины — ласточек, а в нашей крепости они нас атаковать не посмеют. Но ты, Джон, принадлежишь к народу могущественному; у ваших кораблей такие же быстрые крылья, как у наших самых легких судов. Обида, нанесенная одному англичанину, считается у вас оскорблением для всего вашего народа, и король ваш никогда не оставит ее без наказания. Ты не будешь иметь причины жаловаться на нас: поклянись же нам, Джон, что ты никогда не откроешь убежища, в которое мы введем тебя. Мы не требуем твоей дружбы: ты не захочешь быть другом пиратов, но мы просим тебя не выдавать нас; этим ты обязан всякому, кто введет тебя в свой дом, в свое семейство. Если ты не дашь нам этого обещания, мы останемся здесь, пока я не оправлюсь, а потом мы исполним свое обещание, отпустим тебя. Мы дадим тебе золота и драгоценных камней, сколько ты потребуешь; у нас их здесь столько, — прибавил Фортунат, толкнув



ногою сундук, — что хватило бы заплатить самому Эскулапу. Потом ты можешь ехать, куда тебе угодно, можешь жаловаться своим консулам и, может быть, мы когда-нибудь снова сойдемся с оружием в руках. Или, если хочешь (он снял с шеи четки и положил их на стол), поклянись мне на этих четках, которые дал моему деду константинопольский патриарх, что ты не станешь жаловаться, не донесешь на нас, тогда мы сегодня же снимемся с якоря; завтра ты наш друг, наш гость, наш брат; наш дом будет твоим домом, и мы ничего не станем скрывать от тебя.

— Разве ты не знаешь, — отвечал я, — что я теперь такой же изгнанник, как ты, и, вместо того, чтобы искать покровительства своей нации, должен скрываться, чтобы избежать мести законов?.. Ты говоришь мне о награде?.. Посмотри, — сказал я, раскрывая пояс, наполненный золотом и векселями, которого я никогда не снимал, — ты видишь, что мне награда не нужна. Я происхожу из богатой и знатной фамилии: здесь столько денег, сколько дохода у богатейшего из ваших примасов, а мне стоит только написать к отцу, и он пришлет вдвое против этого. Но мне надобно исполнить один священный долг, ехать самому объявить матери и сестре Апостоли о его смерти, отдать одной его волосы, а другой кольцо. Обещай мне, что вы отпустите меня, когда я захочу исполнить этот священный долг: тогда я дам клятву, которой ты требуешь.

Фортунат посмотрел на отца своего, и тот кивнул ему головою в знак согласия. Тогда он взял четки, прочел про себя молитву, поцеловал их, встал и, протянув над четками руку, сказал:

— Клянусь за себя и за отца моего и призываю Пресвятую Богородицу в свидетельницы моей клятвы, что, как только ты захочешь уехать от нас, мы тебя отпустим и доставим тебе средства отправиться в Смирну или куда тебе угодно.

Потом я встал.

— А я клянусь тебе могиле Апостоли, брата, который нас сделал братьями, что я не скажу ни слова, которое бы могло повредить вам, не открою вашей тайны до тех пор, пока вам нечего уже будет бояться, или пока вы сами не снимете с меня этого обещания.

— Хорошо, — сказал Фортунат, протянув ко мне руку. — Ты слышал, батюшка, так вели же готовиться в путь; тебе, верно, как и мне, хочется поскорее обнять тех,

которые ждут нас, успокоить тех, которые не знают, что стало с нами, и за нас молятся.

Константин отдал приказ на греческом языке и, через несколько минут, по движению фелуки я заметил, что мы уже идем.

На другой день утром, когда я проснулся и вышел на палубу, мы шли на парусах и на веслах к большому острову, который протягивал к нам, как руки, два свои длинные мыса, образующие порт. За портом виднелась гора, которая показалась мне ярдов в шестьсот вышиною. Матросы работали с необычайным усердием и весело распевали, а между тем народ, завидев судно, начал собираться в порте и отвечал криками на песни наших гребцов. Ясно было видно, что наше возвращение — праздник для всего острова.

Фортунат был еще очень слаб и бледен, однако вышел на палубу, и оба они с отцом явились в самых богатых своих платьях. Наконец, мы вошли в порт и бросили якорь перед прекрасным домом, построенным на склоне горы, посреди туговой рощи. В эту минуту женская рука просунулась сквозь решетку одного окна и начала махать платком, вышитым золотом. Фортунат и Константин отвечали на это приветствие выстрелами из своих пистолетов: то был знак благополучного возвращения. Радостные крики усилились, и мы вышли на берег посреди всеобщих восклицаний.

## XXV

Дом Константина, как мы уже говорили, стоял одиноко посреди рощи маслин, терновых и лимонных деревьев, на северо-западном склоне горы Святого Ильи. С площади, на которой он был выстроен, видны не только порт и деревня, расположенная полукружием, но и море, от Эгины до Негропонта. Перед северным фасадом, в восьмидесяти верстах, цепь парнасская, за которую прячутся Афины, оканчивается у мыса Суннион. К дверям дома вела тропинка, которую очень легко было защищать, и которая круто шла за домом до самой вершины горы. Там, как орлиное гнездо, возвышалась небольшая крепость, совершенно неприступная, в которой можно было, в случае опасности, укрываться; в обыкновенное время там были только часовые, которые с этого возвышенного места могли видеть

верст на шестьдесят в море малейшую лодку, приближающуюся к берегу. В доме Константина, как во всех домах, принадлежащих людям зажиточным, был передний двор, окруженный высокими стенами, нижний этаж, а над ним балкон, который шел во всю длину второго этажа; потом другой, внутренний двор, куда можно пройти только по лестнице, от которой ключ всегда был у хозяина: там стоял павильон, окна которого были на турецкий манер заделаны решетками из камыша. Камыш, оставаясь долго на воздухе, принял розовый цвет, который прекрасно сочетался с блестящим белым цветом каменных стен. Наконец, за этим таинственным павильоном был большой сад, окруженный высокими стенами так, что снаружи никто не мог видеть гуляющих в саду.

Нижний этаж составлял собственно один огромный портик; там помещались люди Константина, которые одевались, как майнотские клефты. Они жили тут совершенно как в лагере: днем играли, ночью спали. Стены и столбы, поддерживающие свод, были увешаны ятаганами с серебряною насечкою, пистолетами с богатыми прикладами и длинными ружьями с перламутром и кораллами. Воинственная передняя придавала могуществу Константина дикое величие, напоминавшее феодальную пышность баронов пятнадцатого столетия. Эти люди встретили своего начальника не как лакеи господина, а как солдаты командира, в покорности их заметно было нечто добровольное и независимое: это было не рабство, а преданность.

Константин каждому из них сказал по несколько слов, всех их называл по именам и, сколько я мог понять, спрашивал об их женах, детях, родственниках. Поговорив таким образом с каждым особо, он сказал им, что я избавил Фортуната от смерти. Один из них тотчас подошел ко мне и почтительно поцеловал мою руку. Фортунат еще с трудом ходил: четыре человека схватили его на руки и понесли во второй этаж по наружной лестнице, которая вела на балкон.

Этот второй этаж составлял совершенную противоположность с первым. Он состоял из трех комнат, окруженных диванами, светлых, свежих и покойных. Одно только в убранстве этих комнат напоминало нижний этаж — великолепное оружие, трубки с янтарными мундштуками и коралловые четки, висевшие по стенам. Как только мы сошли в большую среднюю комнату, два

мальчика в бархатных куртках и сапожках, вышитых золотом, подали нам трубки и кофе. Мы выпили по нескольку чашек кофе и выкурили по нескольку трубок; потом Константин повел меня в комнату, составлявшую восточный угол дома, и указал мне лестницу, которая вела прямо в нижний этаж, так что я мог выходить во двор, никого не беспокоя. Наконец, он ушел в свои комнаты и запер за собою дверь.

Я остался один и тут только мог свободно пораздумать о своем странном положении. В несколько месяцев со мною было столько приключений, что по временам все это казалось мне сном. Я воспитывался под надзором моих добрых родителей, потом вступил в школу и оттуда прямо на корабль: следовательно провел большую часть молодости своей в некоторого рода рабстве, а теперь вдруг сделался совершенно свободным до того, что не знал даже, что делать со своей свободою, и остановился в первом месте, куда судьба занесла меня, как птица, которая, поднявшись на воздух, тотчас садится, не чувствуя в себе довольно силы, чтобы лететь далеко. И где же я теперь? В разбойничьем вертепе, довольно похожем на пещеру атамана в Жиль-Блазе. Но куда же мне отсюда ехать? Сам не знаю; все двери для меня отперты, но одна заперта — дверь в отечество.

Не знаю, сколько времени провел я в этих размышлениях и особенно сколько времени еще бы прореметал, если б луч солнца не пробрался сквозь решетку и не засветил мне прямо в глаза. Я встал, чтобы избавиться от этого докучного посетителя, подошел к окну и забыл, зачем пришел. По двору шли две женщины из дома к павильону, из окна которого нам махали платками, когда мы причаливались; этих женщин невозможно было различить под длинными и широкими покрывалами, но по легкой и твердой походке незнакомок нельзя было не угадать, что они молоды. Кто ж эти женщины, о которых ни Константин, ни Фортунат никогда мне не говорили? Незнакомки вошли в павильон, и дверь за ними затворилась.

Я стоял у окна и вместо того, чтобы закрыть отверстие, сквозь которое пробирались лучи солнца, пытался расширить его, чтобы видеть, а может быть, чтоб меня увидели; но тут мне пришло в голову, что если Константин хоть немножко придерживается восточных обычаев да узнает об этом, то он, пожалуй, переведет меня в другую часть дома. Рассудив таким образом, я решил смиренно

стоять за решеткой, все думая, не увижу ли хоть какой-нибудь из моих соседок. Через несколько минут две горлицы сели на окно павильона; решетка приподнялась, оттуда высунулась бело-розовая ручка и загнала обеих венеринных птиц в комнату.

О, Ева, общая наша прародительница, как могущественно любопытство, которое ты оставила в наследство потомству, когда оно через столько тысяч лет в минуту заставило одного из детей твоих забыть и родных, и отечество! Все это скрылось и пропало при появлении женской ручки, как в театре по свистку машиниста исчезают и мрачный лес, и страшная пещера, и вместо них является волшебный замок. Эта ручка сдернула покров, который скрывал от меня настоящий горизонт; Кеа была уже для меня не жалкая скала, заброшенная посреди моря; Константин не пират в борьбе с законами всех народов, и я сам не бедный мичман без будущности и без отечества. Кеа сделалась Кеосом, где Нептун построил храм; Константин превратился в Идоменея, основателя нового Салента, а я стал изгнанником, который, подобно сыну Анхизову, ищет какой-нибудь страстной Дидоны или целомудренной Лавинии.

Я вполне наслаждался этими золотыми мечтами, как вдруг дверь отворилась, и мне пришли сказать, что Константин ждет меня обедать. Я очень рад был, что ему не вздумалось самому прийти, потому что он застал бы меня перед окном, где я стоял неподвижно, как статуя, и Константин, верно, догадался бы, что я тут поджидаю. К счастью, пришел один из мальчиков его, и так как он говорил только по-гречески, то принужден был объяснить мне причину своего посольства жестами, но я легко его понял и тотчас пошел за ним в сладостной надежде, что увижу за столом и ту, которой принадлежит хорошенькая ручка, загонявшая горлиц.

Я ошибся. Константин и Фортунат одни ждали меня за столом, убранном по-европейски, хотя обед был совершенно азиатский. Когда мы сели, на столе стояло блюдо, на котором горка рису образовала уединенный островок посреди моря кислого молока; по сторонам красовались две тарелки яичницы и два блюда вареных в воде овощей. Затем поставили на стол вареную курицу с каким-то тестом, похожим на наш пломпудинг, жареную телятину, потроха семги и каракатицу с чесноком и корицею, любимое здешнее блюдо, которое сначала показалось мне

отвратительным, но к которому, однако же, я скоро привык. Потом принесли десерт, состоявший из апельсина, фиг, фисташек и гранат, прекраснейших и самых вкусных, какие только я едал. Наконец, нам подали кофе и трубки.

За обедом мы разговаривали о разных вещах, и ни Константин, ни Фортунат ни разу даже не намекнули на то, что меня так занимало. Когда мы выкурили по три или по четыре трубки, Константин спросил, не хочу ли я поохотиться за зайцами и перепелками, которых на острове очень много, или осмотреть развалины. Я избрал последнее, и он велел оседлать мне лошадь, приготовив конвой и проводника.

Приказание оседлать лошадь показалось мне довольно странным на острове, каких-нибудь в двадцать миль в окружности. Я удивился, что люди, по-видимому, столь здоровые и привычные к трудам, как Константин и Фортунат, не могут обходить своих владений. Несмотря на это, я принял предложение Константина и сошел с ним на первый двор: Фортунат был еще слишком слаб и с трудом мог выходить из комнаты. Через несколько минут привели лошадь. Это был один из тех красивых элидских коней, которых порода, прославленная Гомером, водится и поныне. Но конюх ошибся: не знал, кто поедет на этой лошади, он надел на нее седло женское, алое, бархатное, вышитое золотом. Тут я все понял: лошадей держали для моих таинственных соседок. Константин сказал конюху несколько слов по-гречески, и тот мигом надел на лошадь седло паликарское.

Тогда было уже два часа пополудни: объехать всего острова я не успел бы и потому мне оставалось только обозреть развалины четырех могущественных городов, которые некогда здесь возвышались, Картеи, Песса, Кореза и Вули; я отдал преимущество Картеи, родине поэта Симонида.

Кеа славится во всей Греции своим шелком; притом остров весьма хорошо возделан, и полуденные его склоны покрыты виноградниками и плодовыми деревьями. Впрочем, кеоты наследовали от своих предков отвращение к движению, отвращение, которое некогда до того размножило народонаселение, что в древности существовал закон, по которому все люди старше шестидесяти лет были умерщвляемы.

Вечер был прелестный, и последние лучи солнца

придавали атмосфере такую прозрачность, что я мог рассмотреть малейшие подробности скалы Гиарос и острова Андроса; а передо мной возвышалась гора Святого Ильи, которая своею зеленью и скалами резко отделялась на первом плане от великолепной дали, образованной с одной стороны Негропонтотом и его фиолетовыми горами, с другой Салоникским заливом. Наконец, я обогнул подошву горы и поспел вовремя, чтобы видеть, как солнце садится за хребтом Парнаса.

Константин и Фортунат ждали меня ужинать. Движение возбудило во мне страшный аппетит, а между тем ужин был так умерен, что я стал жалеть даже о потрохах семги и каракатице с чесноком, на которых за обедом и не глядел; мягкие каштаны Виргилиева пастуха составляли самое сытное блюдо, потому что кроме этого были только кислое молоко и плоды. К счастью, оба мои товарища, воздержанные как все жители Востока, ели очень мало, и потому я, по крайней мере, мог вознаградить себя за качество количеством. После этого мы выпили по чашке кофе, выкурили по несколько трубок; наконец, Константин встал, и я ушел в свою комнату.

Я давно этого ждал: мне очень хотелось посмотреть, нет ли какой перемены в положении решетки у моих соседок, а луна светила так ярко, что видно было как днем; но я напрасно глядел и ждал: решетки были опущены и не поднимались. Тут мне вздумалось обойти кругом стен, чтобы посмотреть, нет ли где другого входа, и я сошел на первый двор. Сначала я боялся, не такая ли же у нас дисциплина, как в военных городах, и не запирают ли в восемь часов дверей; но нет: везде было отперто, и я спокойно мог исполнить свое намерение.

Однако ж, как я ни торопился, я не мог не остановиться, чтобы полюбоваться прекраснейшей картиной, которая представилась глазам моим, и которой луна своим светом придавала еще более дивный характер. Прямо под моими ногами были город и порт; далее море, столь спокойное, что его можно было принять за огромное синее покрывало, натянутое так, чтобы на нем не было ни складочки; все звездочки небесные отражались и сверкали в нем трепетным огоньком, а за морем, на мрачном склоне берегов Аттики, которые казались облаком, вилось и растянулось огромное пламя: видно, горел лес.

Несколько минут стоял я неподвижно, любуясь этой картиной, которой луна придавала необыкновенную

таинственность; потом начал свою прогулку вокруг жилища Константина, я долго искал дверь, какое-нибудь отверстие, бойницу, через которую глаз или голос мог бы установить связь между домом и внешней жизнью, но не нашел ничего: все было окружено и совершенно закрыто стенами в пятнадцать футов вышиною. Я побежал на гору, думая, что, может быть, сад оттуда виден, но обманулся и в этой надежде и печально возвратился в свою комнату, горюя о том, что мне не удастся кого-нибудь увидеть, разве только подсматривая в окошко, как я уже и подкараулил хорошенькую ручку.

Я только хотел было броситься на диван и заснуть в надежде увидеть хотя во сне то, чего не удалось видеть наяву, как вдруг мне послышались звуки и, кажется, звуки гуслей, но сначала так тихо, что я не мог понять, где это играют. Я отворил дверь на лестницу, потом окна, которые выходят к порту, и те, которые во двор, но звуки несколько не делались явственнее; наконец, я подошел к дверям, ведущим в комнату Константина, и тут было несколько слышнее. Я остановился и стал прислушиваться: ясно было, что поют не в комнате Константина, подле моей, потому что звуки слишком слабы, но в следующей, то есть в комнате Фортуната. Но кто же это поет? Фортунат или одна из женщин, которых я видел? Этого я не мог угадать, потому что до меня долетали одни звуки гуслей. Я пытался было отворить дверь, но она была заперта из комнаты Константина.

Я, однако ж, продолжал прислушиваться, удерживая дыхание, и вскоре мое терпение или, лучше сказать, мое любопытство было вознаграждено: дверь из комнаты Фортуната в комнату Константина на минуту отворилась, звуки сделались громче, и я услышал голос такой нежный, что это не мог быть голос мужчины. Даже слова были так явственны, что я бы понял их, если б знал по-гречески. Я узнал, однако ж, одну из народных легенд, в которых новейшие греки утешаются воспоминаниями. Наши гребцы не раз певали эту балладу, и я узнал ее, как узнаем в Ватикане или палацо Питти головку Рафаэля или Гвидо-Рени, потому что видели прежде гадкую гравюру с нею на стенах какого-нибудь трактира.

Впрочем, я слушал недолго; дверь, сквозь которую долетала до меня жалобная и дикая гармония далматского инструмента, затворилась, и я различал уже только одни глухие звуки, которые сначала возбудили мое внимание,



да и те скоро замолкли. Из этого я заключил, что певица, которая, верно, пришла к Фортунату в то время, как я ходил вокруг стен, скоро вернется в свой павильон. Я подошел к окну, и точно, вскоре потом две женщины, закутанные в белые покрывала, прошли по двору и скрылись в павильоне.

## XXVI

На другой день дверь была отперта, и, когда позвали завтракать, я прошел через комнаты Константина и Фортуната. Прежде всего поразили меня гусли, звуки которых я накануне слышал; они висели на стене между ятаганами и пистолетами. Я спросил Фортуната с самым равнодушным видом, разве он играет на гусях; он отвечал, что этот инструмент для греков то же, что гитара для испанца, что всякий более или менее играет на них, по крайней мере умеет аккомпанировать себе. Я хорошо знаю музыку, а на гусях играют почти так же, как на виоле или мандолине; я снял инструмент со стены и сделал несколько аккордов. Страстные к музыке, как все народы первобытные или перешедшие от образованности к варварству, Константин и Фортунат слушали меня с восторгом; я сам находил странное, неизъяснимое удовольствие в игре на инструменте, который накануне утешал меня такими сладостными звуками; мне казалось, что в нем еще осталась частичка вчерашней мелодии и что ее то я и пробуждаю. Рука моя дотрагивалась до тех же самых струн, которые говорили под другой рукою, и после нескольких попыток я вспомнил песню, которую вчера слышал так, что мог бы спеть ее, разумеется, без слов, сначала до конца. Но это значило бы донести самому на себя; нечего было делать, я затаил эту песню в душе и вместо того запел *Pria che sprinti* Чимарозы.

Константин и Фортунат были в восторге, потому ли, что пение мое отличалось мелодиею, не известною этим неученым любителям музыки, или что восторженное состояние ума моего придало особенную выразительность голосу; и я заметил, что восхвращались мной не одни мои видимые слушатели, потому что решетка павильона шевелилась. После завтрака я просил позволения унести гусли в свою комнату, и Константин охотно на это согласился. Разумеется, что я не стал тотчас играть на них; это значи-

ло бы возбудить подозрение моих хозяев, и они, под каким-нибудь предлогом или даже совсем без предлога перевели бы меня в другую часть дома. Таким образом я лишился бы единственной возможности удовлетворить желание, которое можно было считать только любопытством, но уже занимало меня, как чувство более нежное. Я решился снова погулять по острову, а так как в этом отношении Константин предоставил мне совершенную свободу, то я сошел вниз и велел оседлать себе лошадь.

В этот раз мне привели другую лошадь, легче и красивее прежней. Я тотчас, не знаю почему, догадался, что это лошадь «хорошенькой ручки». Не зная имени девушки, которая загоняла горлиц, я называл ее «хорошенькою ручкою», потому что думал только о ней и даже не вспоминал о другой женщине, которую вместе с нею видел. Сначала я было стал обходиться с хорошенькой лошадкой очень снисходительно из уважения к хорошенькой хозяйке. Но лошадь, видно, приняла мою вежливость за неопытность, и я принужден был убедить ее хлыстиком и шпорами, что она глубоко ошибается. Впрочем, когда я раза два-три объехал вокруг двора, она образумилась и доказала мне это своею совершенною послушностью, которая могла проистекать только из полного убеждения в моем искусстве.

В этот раз я не взял ни конвоя, ни проводника. Выехав из ворот, я предоставил Претли (так назвал я эту лошадку) идти куда ей угодно, в надежде, что она привезет меня куда-нибудь, где часто бывает ее госпожа. Претли тотчас пошла в гору по тропинке, которая вывела нас в долину, где с шумом катился поток, осененный гранатовыми деревьями и олеандрами. Края долины были покрыты тутовыми и померанцевыми деревьями и диким виноградником, а по сторонам дороги росло прелестное полудерево, которое древние ботаники называют альхаги; я думал прежде, что его нигде нет, кроме как в Персии. Что касается скал, которые местами выставляли свои голые вершины из этой массы зелени, то они принадлежали к самым красивым геологическим породам: тут были блестящий слюдянистый сланец, белый и розовый полевой шпат, зеленый амфиболит и прекрасные образчики эвфотида. Все это пересекалось жилками железной руды, вероятно, такой же, какую древние добывали на Сиросе и в Гиаре. Эта дорога вела в грот, вырытый природою и испещренный мхами и травами. Дойдя до грота, Претли

остановилась, из чего я и заключил, что хозяйка ее часто тут бывает. Я соскочил с лошади и хотел привязать ее к дереву; но она начала рваться и я догадался, что избалованная Претли привыкла в таких случаях пастись на свободе. Я разнуздал ее и вошел в грот. Там лежала забытая книга «I Sepoleri» Уго-Фосколо.

Я не могу выразить, как обрадовала меня такая находка. Эта книга, которая только что вышла в Венеции, без сомнения, принадлежала моей соседке; значит, она знает по-итальянски и, следовательно, когда мы увидимся с нею, если только мы когда-нибудь увидимся, у нас будет общий язык, на котором мы можем разговаривать. Впрочем, «I Sepoleri» были и для грека книгою национальною, потому что автор родился в Корфу, и сетования его о памятниках могли относиться к унижению Греции точно так же, как и к падению Италии.

Я пробыл с час в этом гроте, то прочитывая несколько стихов вдохновенного поэта, то любуясь морем, которое подобно синему озеру было испещрено белыми парусами, то посматривая на пастуха, который, опершись на суковатую палку, рисовался, как идиллический пастушок, и наблюдал за своим стадом, бродившим по противоположному склону горы. Но что бы ни привлекло мои взоры, на чем бы ни останавливались мои мысли, а сердце мое все влеклось к хорошенькой ручке, которая высывалась из-под решетки и загоняла горлиц.

Наконец, я спрятал книгу за пазуху и свистнул, чтобы позвать Претли, как делал конюх. Как будто из благодарности за доверие, которое я оказал ей, она тотчас подбежала и протянула голову, чтобы я взнуздал ее. Часа через два она уже была в своем стойле, а я у окна, где провел целый день, за исключением только времени обеда, который показался мне ужасно длинным; но жестокая соседка ни малейшим знаком не выдала своего существования.

Вечером я услышал в комнате Фортуната те же звуки, что накануне. За несколько минут перед тем я с досады отошел от окна и сел читать; и видно, соседки мои в это время перешли через двор. Я снова возвратился на свое место с намерением непременно дожидаться их. И точно, они в то же самое время, как вчера, прошли в павильон, по-прежнему закутанные и таинственные; только мне показалось, что одна из них, поменьше ростом, два раза оглянулась в мою сторону.

На другой день я отправился в деревню, которую видел только однажды, когда мы прибыли на остров. Я вошел в лавку и, чтобы придать купцу словоохотливости, купил у него небольшой кусок шелковой материи. Он говорил по-франкски, то есть на испорченном итальянском наречии, и потому мы друг друга кое-как понимали. Я спросил его, кто живет у Константина в павильоне. Он сказал, что его дочери. Я спросил, как их зовут: старшую Стефаной, а младшую Фатиницей; старшая повыше, младшая поменьше. Следовательно, это Фатиница два раза на меня оглядывалась. Это меня обрадовало; в имени Фатиницы было что-то странное и милое, и мне весело было повторять его.

Купец прибавил, что одна из дочерей выходит замуж: я с беспокойством спросил, которая; но он больше ничего не мог сказать мне; знал только, что жених — сын богатого купца, торгующего шелковыми товарами, и что его зовут Христо Панайоти. Он не знал, на которой из сестер Панайоти женится, да и сам жених, вероятно, тоже. Я просил его объяснить мне это незнание, довольно странное в женихе, которого это близко касается, и купец рассказал мне, что греки, так же как турки, почти никогда не видят невест своих до самой свадьбы. Они обыкновенно полагаются в выборе невесты на старух, которые видели ее в доме родителей или в бане и ручаются за ее красоту и доброе поведение. Христо Панайоти поступил точно так же и, зная, что у Константина две хорошенькие дочери, просил руки одной из них, предоставив отцу выдать любую: ему это было все равно, потому что он ни той, ни другой не видал.

Это меня несколько не успокоило. Ведь могло случиться, что Константин вздумает выдать замуж младшую дочь прежде старшей, потому что права первородства на Востоке совсем не уважаются; а я чувствовал, — хотя это и странно, — что был бы в отчаянии, если бы Фатиница вышла замуж. Это, конечно, может показаться сумасбродством, потому что я тоже никогда не видывал ее в лицо, а она даже, может быть, не знала, что я существую на свете. Однако ж, это сушая правда: я чувствовал ревность, как будто точно был влюблен.

Больше мне не о чем было спрашивать; я расплатился и вышел. Хорошенькая девочка лет двенадцати или четырнадцати, которая долго любовалась на сокровища,

разложенные в магазине, пошла за мною; с алчным желанием, с простодушным удивлением она посматривала на шелковую материю, которую я нес в руках, и твердила на франкском наречии: *vella, bella, bellissima*. Мне вздумалось осчастливить бедняжку. Я не знал, что мне делать со своей покупкой, и спросил девочку, не хочет ли она взять ее. Она улыбнулась и с сомнительным видом покачала головою. Я положил материю к ней на руки и пошел к дому Константина. Отойдя уже довольно далеко, я остановился и увидел, что девочка все еще стоит на том же месте вне себя от удивления, не веря глазам своим.

В этот вечер я уже не слышал гуслей. Фортунат до того поправился, что мог сойти вниз; и потому уже не Стефана и Фатиница пришли к брату, а Константин и Фортунат пошли к ним. Я видел, как они прошли через дверь, и догадался, что с тех пор буду лишен и последнего счастья, не увижу даже и покрывала моих хороших соседей. Ясно было, что они выходили, против обыкновения греческих женщин, из своего жилища только потому, что Фортунат не мог быть у них; но так как он выздоровел, то им и не было никакой причины нарушать таким образом принятые обычаи, особенно когда у них в доме живет чужой.

На другой день не было ничего нового. Я с утра до ночи стоял у окна и не видел никого, кроме голубей, которые летали по двору. Я посыпал крошек на окно. Заметив мое доброе намерение, горлицы сели на подоконник; но когда я хотел взять их, они вспорхнули и уже назад не прилетали, как я их ни заманивал.

В следующие дни тоже не было никаких происшествий. Константин и Фортунат обходились со мною, один как с сыном, другой как с братом, но никогда не говорили о прочих членах своего семейства. Два или три раза был у них молодой человек, очень видный собою и в богатом, чрезвычайно живописном костюме. Я спросил, кто это, и мне сказали, что это Христо Панаиоти.

Я испробовал все возможные средства, чтобы увидеть хотя кончик покрывала Фатиницы, но ни одно из них не удалось; ходил в деревню, чтобы опять поговорить с купцом, но он не знал ничего нового. Встретил я свою маленькую приятельницу: она гордо прохаживалась по улицам Кеа в платье, которое я подарил ей; разменял гинею на венецианские цехины и дал ей два, чтобы довершить наряд ее. Она тотчас проткнула их и прицепила

на висках и косах, которые спускались по плечам ее. Потом я, по обыкновению, возвратился к своему окну, а окна Фатиницы все по-прежнему были закрыты несносными решетками.

Я уже приходил в отчаяние, как однажды вечером Константин вошел в мою комнату и без долгих приготовлений сказал мне, что одна из дочерей его больна, и что он на другой день поведет меня к ней. К счастью, в комнате было довольно темно, и он не мог заметить волнения, которое произвела во мне эта неожиданная весть. Сделав усилие, чтобы голос мой не дрожал, я отвечал, что всегда готов к его услугам, и сказал это тоном, в котором он, конечно, не разобрал ничего, кроме обыкновенного участия. Я спросил, не опасно ли больна дочь его, но он отвечал, что она только чувствует себя немножко нездоровою.

Я всю ночь глаз не смыкал; раз двадцать вставал с дивана и подходил к окну посмотреть, не рассветает ли, и двадцать раз снова укладывался на диване, напрасно стараясь утишить свое волнение и заснуть. Наконец, первые лучи солнца пробрались сквозь решетку: давно желанный день наступил.

Я начал одеваться. Гардероб мой был не богат: только две пары платья, которые я купил в Стамбуле. Я достал народное: ливанский костюм из лилового сукна с серебряными вышивками. Я не знал, что мне надеть на голову, тюрбан из белой кисеи, который обхватывает все лицо, проходя под подбородком, или красную шапочку с длинною шелковою кистью; но так как у меня были довольно красивые светло-русые волосы, которые сами собою вились, то я решил надеть шапочку. Надо, однако же, признаться, что я принял это важное решение после довольно продолжительного размышления, которое сделало бы честь любой кокетке. В восемь часов пришел за мною Константин. Я прождал его ровно три часа.

Я пошел за ним; лицо мое было спокойно, а сердце хотело выпрыгнуть из груди. Мы спустились с лестницы, ключ от которой был у хозяина, и я очутился на дворе, куда так часто с жадностью погружался взорами. Когда мы вошли в павильон, я чувствовал, что колени мои подгибались. В эту минуту Константин оглянулся на меня; боясь, чтобы он не заметил моего волнения, я собрался с силами и пошел за ним по лестнице, покрытой турецким ковром, в который ноги уходили, как будто в мох. Уже на

лестнице воздух был наполнен теплым благоуханием розы и бензоа.

Мы вошли в первую комнату, и Константин оставил меня тут на минуту одного. Она была убрана совершенно по-турецки: потолок резной, расписанный самыми яркими красками, в византийском вкусе. По белым стенам висели прихотливые арабески из цветов, рыб, беседок, птиц, бабочек, плодов; все это было с большим вкусом переплетено и перемешано. Вокруг всей комнаты шел диван, покрытый лиловою шелковою материею с серебряными цветочками; в углах диванов лежали одна на другой подушки из той же материи. Посередине комнаты был круглый бассейн, и сквозь прозрачный покров свежей воды виднелись индейские и китайские рыбки с голубою и золотистою чешуею; по краям сидели голуби, сизые с розовым отливом, такие хорошенькие, что даже у Венеры на острове Пафосе или Цитере лучше этих верно не бывало. В углу, на треножнике древней формы горели алоэ и жасминная эссенция; нежный пар их вылетал в открытое окно, и в комнате оставалось только легкое благоухание. Я подошел к окну; оно было прямо против моего, следовательно, из-под этой самой решетки выглядывала оборожительная ручка, которая меня с ума свела.

В это время Константин возвратился, извиняясь, что так долго заставил меня ждать, и сваливая вину на женские капризы. Фатиница, которая прохворала три дня, решила накануне прибегнуть ко мне, а теперь ни за что на свете не хотела принять меня; но, наконец, кое-как согласилась. Я поспешил воспользоваться позволением и, боясь, чтобы она опять не передумала, просил Константина вести меня: он пошел вперед, я за ним.

Не стану описывать второй комнаты; здесь только один предмет приковал к себе все мое внимание: сама больная, в которой я тотчас узнал Фатиницу. Она лежала на шелковых подушках, опустив голову на спинку дивана, как будто не в состоянии была ее поддерживать; я остановился у дверей, а отец подошел к ней и стал говорить по-гречески, так что я, между тем, мог на свободе рассмотреть ее.

На лице у ней, как всегда у женщин в Турции, была маленькая вуаль, уголком, как бывает у масок, унизанная внизу рубинами; на голове шапочка с цветами, вышитыми по золотому полю; сверху вместо обыкновенной шелковой кисти висела кисть жемчужная. Волосы на висках были

завиты по-английски и лежали на щеках, а сзади, заплетенные и покрытые маленькими золотыми монетами в виде чешуи, спускались до самых колен. На шее у ней было ожерелье из венецианских цехинов, соединенных между собою колечками; пониже ожерелья, которое не доходило до груди, а обвивалось вокруг одной шеи, был шелковый корсаж, который так плотно охватывал плечи и грудь, что нисколько не скрадывал обворожительных форм. Рукава этого корсажа, начиная с локтя, были разрезные и с одной стороны завязаны золотыми шнурками, а с другой застегнуты жемчужными запонками; сквозь отверстия рукавов виднелись округлые белые руки со множеством браслетов, а потом и восхитительные кисти с ноготками, выкрашенными вишневым цветом; одна из этих миленьких ручек небрежно держала янтарный мундштук наргилэ; богатый кашемировый кушак, сзади повыше, спереди пониже, придерживался застежкой из драгоценных камней; сквозь тонкую газовую сорочку просвечивало розовое тело. Под кушаком были шальвары из индийской кисеи, широкие, все в складках; они оканчивались у щиколотки, а из-под них выглядывали обнаженные ножки, у которых ногти были выкрашены так же, как на руках; но когда я вошел, эти беленькие ножки скрылись, как испуганные маленькие лебеди прячутся под крылья матери.

Я в минуту рассмотрел все это и догадался, что она с намерением оделась так, чтобы открыть все, что не принуждена была прятать. Тут Константин знаками подозвал меня к себе. Видя, что я приближаюсь, Фатиница, как лань, вздохнула и сжалась; глаза ее, единственная часть лица, которую я мог видеть сквозь покрывало, приняли выражение беспокойного любопытства, которому выкрашенные черные веки придавали что-то дикое. Я, однако ж, не остановился, но приближался медленно и почти в умоляющим видом.

— Что вы чувствуете? — сказал я по-итальянски. — Где у вас болит?

— Ничего не болит; я здорова, — отвечала она с живостью.

— Дурочка, — сказал Константин, — ты уже целую неделю жалуешься, ты стала совсем не та; все тебе надо-едает, горлицы, гусли и даже наряды. Полно капризничать, моя милая; ты говорила, что у тебя голова тяжела.

— О, да, очень тяжела, — отвечала Фатиница, как



будто вспомнив о своей болезни и опустив голову на спинку дивана.

— Дайте мне вашу ручку, — сказал я.

— Мою руку? Это зачем?

— Иначе я не могу угадать вашей болезни.

— Не дам, — отвечала Фатиница, спрятав руку.

Я обернулся к Константину, как бы призывая его на помощь.

— Не удивляйтесь, — сказал он, как будто боясь, чтобы я не обиделся затруднениями, которые делала больная, — наши девушки не принимают никогда других мужчин, кроме отца и братьев, со двора они ходят пешком или ездят верхом, но всегда под покрывалами и со множеством провожатых; и они привыкли к тому, что все встречные отворачиваются, пока они не проедут.

— Но я здесь не мужчина, а врач, — сказал я. — Когда вы будете здоровы, я, может быть, ни разу вас не увижу, а вам надобно выздороветь поскорее.

— Это отчего?

— Да ведь вы выходите замуж?

— О, нет, сестра моя, — отвечала Фатиница с живостью.

Я вздохнул, и сердце мое радостно забилося.

— Все равно, — сказал я, — вам надо выздороветь поскорее, чтобы быть на сестриной свадьбе.

— Да я бы и сама рада поскорее выздороветь, — сказала она, вздыхая. — Но на что вам моя рука?

— Чтобы пощупать пульс.

— Нельзя ли сквозь рукав?

— Никак нельзя; сквозь шелковую материю биение пульса будет казаться гораздо слабее.

— Нужды нет, — сказала Фатиница, — потому что он очень сильно бьется.

Я улыбнулся.

— Послушайте, — сказал Константин, — нельзя ли сделать так, чтоб помирить вас?

— Как же это? Я готов на все.

— Нельзя ли вам пощупать пульс сквозь газ?

— Очень можно.

— Ну так и прекрасно.

Константин подал мне газовое покрывало, которое лежало на диване вместе со многими другими вещами. Я подал его Фатинице; она обернула им свою руку, и, наконец, я кое-как взял ее.

Руки наши, коснувшись, сообщили одна другой странный трепет, так что трудно было бы сказать, у кого из нас больше лихорадка. Пульс Фатиницы бил сильно и неровно; но это могло происходить и не от болезни, а от душевного волнения. Я спросил, что она чувствует.

— Да батюшка говорил вам, у меня голова болит, и мучит бессонница.

Эта же самая болезнь была уже несколько дней и у меня; но теперь мне меньше чем когда-нибудь хотелось выздороветь. Я обернулся к Константину.

— Ну что ж у нее? — спросил он.

— В Лондоне или в Париже, — отвечал я, улыбаясь, — я бы сказал, что это мигрень, и посоветовал бы больной ездить почаще в театр или отправиться на воды; но здесь этого нельзя, и я только посоветую вашей больной сколько можно рассеяться и выходить почаще на воздух. Что бы вам не прогуляться верхом? — прибавил я, обращаясь к Фатинице. — Вокруг горы святого Ильи есть много прелестных долин и между прочими одна, в которой течет ручей и есть грот, где очень приятно читать или мечтать. Вы знаете эту долину?

— Да, я прежде всегда там гуляла.

— Отчего же нынче не гуляете?

— С тех пор, как я вернулся, — сказал Константин, — она совсем не выходит; все сидит взаперти.

— Так завтра я вам советую прогуляться.

Но предписать вместо лекарства прогулку, значило бы унижить в их глазах медицину, и потом я велел Фатинице поставить ноги в воду, как можно погорячее. Мне очень бы хотелось остаться подольше; но, чтобы не навлечь на себя подозрения слишком долгим посещением, я встал и раскланялся. Затворив дверь, я заметил, что занавес напротив зашевелился; это была Стефана; вероятно, она не смела быть при моем посещении и теперь бежала, чтобы узнать, что было на консультации. Но что мне до Стефаны? Я думал только о Фатинице.

Константин проводил меня до самой моей комнаты и все старался извинить Фатиницу; а я, право, и не думал на нее сердиться. Эта робость, стыдливость, чуждая нашим западным женщинам, казалась мне совсем не недостатком, а новою прелестью. Это придало нашему первому свиданию такую странность, что я, кажется, во всю жизнь свою не забуду ни малейшей из его подробностей. И точно, теперь уже прошло лет двадцать пять с тех пор, как я

первый раз вошел в ее комнату, но стоит мне только закрыть глаза, и я снова вижу, как она лежит на своих подушках, вижу ее золотую шапочку, ее длинные волосы, унизанные золотыми монетами, ожерелье, шелковый корсаж, кашемировый кушак, широкие вышитые шальвары, маленькие беленькие ножки и обворожительные ручки; мне кажется, что стоит только протянуть руки, чтобы обнять ее.

## XXVII

Я не в состоянии рассказать, что происходило во мне весь этот день. Как только я вернулся в свою комнату, горлицы вылезли из-под решетки и начали летать вокруг моего окна. В первой рождающейся любви все исполнено таинственной значительности: мне казалось, что горлицы посланы Фатиницей, и сердце мое трепетало от радости.

После обеда я взял книгу Уго-Фосколо, пошел в конюшню, сам оседлал Претли и пустил ее идти куда хочет, а она повезла меня прямо в грот, в который на другой день должна была приехать Фатиница.

Я провел там два часа в сладостных мечтах, целовал страницы, до которых дотрагивались ее пальчики, где бродили глаза ее; мне казалось, что, открыв снова эту книгу, она увидит на ней мои поцелуи. Уезжая, я оставил книгу на том самом месте, где нашел ее, и заложил цветами дрока страницу, которую читал.

Я возвратился домой уже под вечер, но мне не сиделось в комнате; все хотелось подышать свежим воздухом. Я снова обошел стены сада. Теперь они уже казались мне совсем не такими высокими, и мне пришло в голову, что если б была веревочная лестница, то не трудно бы перелезть через них. Я всю ночь не спал; впрочем, уже не в первый раз. Но есть сладостные грезы наяву, которые лучше крепкого сна восстанавливают силы человека.

На другой день в восемь часов Константин опять пришел за мною, чтобы идти вместе к Фатинице. Я, как и вчера, был совсем готов; я не ждал его, но надеялся, что он придет. Мы тотчас пошли в павильон.

Отворив дверь комнаты Фатиницы, я было остановился в недоумении. Они были тут обе со Стефаною, и обе совершенно одинаково одеты. Обе лежали, облокотившись

на подушки; в этом положении по росту распознать нельзя, а лица их были закрыты; и потому даже Константин, по-видимому, не мог тотчас различить их. Однако по блеску глаз сквозь отверстия маски я угадал, которая из них Фатиница, и прямо подошел к ней.

— Каково вы себя чувствуете? — спросил я.

— Лучше.

— Дайте мне вашу ручку.

Она протянула мне ее без всяких затруднений и не прикрывая ни шелковою материею, ни газом. Видно было, что Константин говорил с нею, и что увещания его подействовали. Я не нашел никакой перемены в состоянии ее здоровья: пульс бил так же сильно и неровно, как и накануне.

— Вы говорите, что вам лучше, а мне кажется, что вам хуже — сказал я. — Вам непременно надо прогуляться верхом; горный воздух и свежесть леса вам помогут.

— Я буду делать все, что вы велите; батюшка сказал мне, что он на время моей болезни передал вам все права свои надо мною.

— Поэтому-то вы и хотели сейчас меня обмануть, уверяя, что вам лучше.

— Я не обманывала вас, я говорила то, что чувствую. Мне, право, сегодня лучше; голова у меня не так уже болит, и я дышу свободнее.

То же самое чувствовал и я; видно, у нас была одна и та же болезнь.

— Если вам лучше, то надо продолжать то же лечение, пока вы совсем не поправитесь. Между тем, — продолжал я, обращаясь к Константину и говоря с печальным видом, составлявшим совершенную противоположность с доброю вестью, которую я сообщил ему, — могу вас уверить, что болезнь не опасна и скоро пройдет.

Фатиница вздохнула.

Я встал, чтобы уйти.

— Не уходите так скоро, — сказал Константин, — я говорил Фатинице, что вы мастер играть на гусях, и ей очень хочется послушать, как вы играете.

Разумеется, что я не заставил дам просить себя. Что мне было до предлога, лишь бы только подолею оставаться у Фатиницы. Я взял прекрасные гусли, висевшие на стене, обделанные золотом и перламутром, и сделал несколько аккордов, чтобы вспомнить что-нибудь. Мне пришла в голову сицилийская песня, которую певали матросы

«Прекрасной Левантинки» и которую я положил на ноты. Вот она, только, разумеется, в прозе она теряет всю свою прелесть:

«Пора, пора! Якорь поднимается, корабль уходит от берега, но серый парус висит вдоль мачты, ветер замирает, волны сглаживаются, и ни малейшее дуновенье не рябит зеркальной поверхности безбрежного озера. Мы едва движемся на веслах, капитан спит на своей койке, а экипаж поет песни; но я не могу петь вместе с ними. Та, которую люблю я больше души, лежит при смерти. Я сорвал на берегу полевой цветок; он бледен, как лицо моей милой. Сорванный цветок всегда хиреет и засыхает. Так умрет и та, которая день и ночь меня призывает. Бедняжка! Она только и жила моей любовью».

Я пел с таким чувством, что при последнем куплете Фатиница приподняла свое покрывало, и я увидел нижнюю часть лица ее, нежную и пушистую, как персик. Я встал, чтобы уйти, но Фатиница сказала:

— Дайте мне!

— Что такое?

— Песню.

— Хорошо, я спишу вам ноты.

— И слова.

— И слова тоже.

— Мне точно, кажется, лучше; я тотчас поеду верхом.

Я поклонился, и мы с Константином ушли.

— Она девочка очень избалованная, — сказал мне Константин; — она думает, будто все должны делать, что она хочет, и сердится, если не исполняют ее прихотей. Мать покойница ее избаловала, а потом и я тоже. Вы видите, что я довольно странный пират.

— Говорят, что в порабощенных народах законам не покоряются именно люди с самым могучим и благородным характером; но, признаюсь вам, я до сих пор этому не верил.

— О, не надо судить по мне и о всех моих собратиях, — сказал смеясь Константин; — я поклялся в вечной ненависти только к туркам. Случается, что я нападаю на какое-нибудь несчастное судно, которое встретится мне на пути, как, например, на «Прекрасную Левантинку», но только тогда, когда кампания была плоха, и я не хочу возвращаться домой с пустыми руками, чтобы экипаж не роптал. Зато, вы видите, я царь на этом острове; а когда день, назначенный пророчеством, настанет, все до одного

пойдут, куда бы я ни повел их; крепость с помощью Пресвятой Богородицы оборонят и женщины.

— И, верно, в таком случае, — сказал я, смеясь, — вы назначите генералами Стефану и Фатиницу.

— Не смейтесь — отвечал Константин, — моя Стефана — Минерва, которая в случае нужды очень может, как Паллада, надеть шлем и латы; а Фатиницу я скорее сделаю капитаном какой-нибудь маленькой бригантини.

— Вы счастливый отец.

— Да, в моем несчастье Бог благословил меня детьми. Зато когда я с моими дочерьми и с Фортунатом, я все забываю, и свое ремесло, и турок, и обещанное будущее, которое все еще не наступает.

— Но вы теперь расстанетесь с одной из них?

— Нет, потому что Христо Паниоти живет здесь на острове.

— А позвольте вас спросить, скоро ли свадьба?

— Через неделю или дней через десять. Греческая свадьба будет для вас очень любопытна.

— А разве я увижу ее?

— Да разве вы нам чужой?

— Я сделался вашим потому только, что ранил вашего сына.

— И сами его вылечили.

— Но как же женщины могут обедать с гостями, когда им запрещено снимать покрывало?

— О, в важных случаях они его снимают; впрочем, они и носят покрывала не потому, чтобы мы, мужчины, принуждали их к этому из ревности, но больше по привычке, а отчасти из кокетства. Дурные очень рады прятаться под покрывалом, а хорошенькие всегда найдут возможность показать свое лицо. Вы едете с нами гулять?

— Благодарю вас; вы знаете, что мне дано поручение. Ежели бы я не списал тотчас же песни, которую Фатинице хочется иметь, она, я думаю, никогда бы мне этого не простила; а мне бы не хотелось, чтобы меня у вас вспоминали лихом.

— О нет, я уверен, что мы друг о друге будем вспоминать с удовольствием, и надеюсь, что эти воспоминания приведут вас снова к нам, когда Греция возвратит, наконец, свою независимость. Греция, можно сказать, прабабушка всех других стран, и у кого в сердце есть родственные чувства, тот должен поспешить к ней на помощь. Между тем прощайте; я пришлю вам тотчас от

Фортуната все, что нужно для письма. Вы знаете, что без меня вы здесь полный хозяин.

Я поклонился Константину, и он ушел.

Я тотчас побежал к окну, зная, что Стефана и Фатиница должны скоро выйти из своего павильона. И, действительно, через несколько минут они обе прошли по двору; но ни одна не подняла головы. Так, видно, Фатиница, так же, как и я, боялась возбудить подозрения. Дивная вещь — рождающаяся любовь: она толкует в свою пользу поступки, которые привели бы в отчаяние любовь уже давнишнюю! Фатиница была совсем не больна: она выдумала это только для того, чтобы выдаться со мною; если б ее привлекало ко мне одно любопытство, она после первого свидания сказала бы, что уже здорова. Напротив, на другой день ей было только немного получше, и, следовательно, мне надо было прийти в другой раз. Таким образом я могу надеяться увидеть ее еще раз или два; а там настанет свадьба Стефаны, а там — все кончено. Но до свадьбы Стефаны оставалось еще десять дней, а любовь рассчитывает только на сутки.

Мне принесли бумаги, чернила и перьев, и я принялся списывать романс. Занимаясь этой работой, я увидел на своем окне тень горлицы, я приподнял решетку линейкою, привязав к ней шнурок, конец которого положил подле себя, а на окно посыпал хлеба; через минуту горлица прилетела, я дернул шнурок, и она очутилась в плену.

Это меня чрезвычайно обрадовало. Я видел ее на коленях, на руках Фатиницы; горлица принесла мне благоухание уст Фатиницы, которые так часто к ней прикасались; это уже была не книга, безмолвная и безжизненная, которая передает совсем не то, что ей вверили; а существо живое, трепещущее, эмблема любви и само полное любви, которое некоторым образом передавало мне поцелуи Фатиницы. Я долго продержал горлицу у себя и выпустил тогда уже, когда услышал, что мои хозяева возвратились с гулянья. Но горлица, уже привыкнув ко мне, сидела на окне; а потом, когда Фатиница проходила через дверь, она слетела прямо к ней на плечо, как будто для того, чтобы тотчас передать ей слова любви, которые слышала от меня.

Через час пришли спросить, готова ли песня.

Вечером, гуляя вокруг стен, я услышал в саду звуки гуслей. Фатиница учила песню, которую я ей дал; но, чтобы я не знал, что она разучивает мою песню, ушла

играть в такое место, где, как она думала, я не могу ее слышать.

На другой день Константин не приходил за мною в обыкновенное время. Я спросил о нем: он ушел с утра к отцу Христо Панаюти, чтобы условиться о свадьбе. Я думал уже, что весь день не увижу Фатиницы и был в отчаянии, как вдруг дверь открылась, и явился Фортунат.

Впрочем, в этот раз меня призывали только для того, чтобы поблагодарить. Фатиница выздоровела; вчерашняя прогулка оказала ей большую пользу. Она вполне меня послушалась: была в гроте, потому что поэма Уго-Фосколо лежала уже подле нее. Я искал глазами ветку дрока, но ее уже не было.

Фатиница благодарила меня за сицилийскую песню. Я спросил, выучила ли она ее, и Фортунат тотчас отвечал, что она вчера вечером пела ее ему и отцу. Я просил ее спеть эту песню, которая в ее устах должна быть еще милее. Она отказывалась сначала со всем кокетством лондонской или парижской красавицы; но я сказал, что требую этого в награду за мои посещения, и она начала петь.

Голос ее был очень обширный *mezzo-soprano*, с какими-то неожиданными, дикими трелями, которые, конечно, учитель запретил бы, но которые придавали ее пению, тихому и приятному в средней части голоса, раздирающее сердце выражение в верхних нотах. Начиная петь, она принуждена была приподнять нижнюю часть своего покрывала, и я видел ее хорошенькие губки, похожие на вишни, и зубки, маленькие и беленькие, как жемчужины.

Пока Фатиница пела, одна из горлиц уселась у ней на коленях, другая на плече. Последняя была ее любимица и та самая, которую я накануне заманил к себе. Избалованная горлица перешла с плеча на грудь, и когда Фатиница, кончив песню, протянула ручку, чтобы положить гусли, она засунула маленький свой клюв в отверстие корсажа и вытащила оттуда не масличную ветвь, которую другая горлица принесла в дом, а ветку дрока, которую я напрасно искал глазами в книге.

Я чуть не вскрикнул. Фатиница поспешно опустила вуаль, потому что хотя лицо ее было на три четверти закрыто, однако она до того покраснела, что даже на нижней части щек и на подбородке я видел как бы отблеск пожара. Стефана и Фортунат, не зная ничего этого, не заметили ни моей радости, ни смущения сестры.



Фатиница, как будто в наказание за то, что я открыл ее тайну, тотчас встала и опершись на руку Стефаны, сказала мне: прощайте. Но, видно, подумав, что это слово слишком жестоко, потому что не оставляет надежды, она прибавила:

— То есть, до свидания; батюшка мне сказал, что вы будете на сестриной свадьбе.

Она ушла в комнату Стефаны, а мы с Фортунатом вышли в противоположную дверь.

Свадьба назначена была через неделю; эти дни показались мне ужасно долгими, однако довольно приятными, потому что исполнены были надежды. Каждое утро прилетала ко мне горлица-обличительница, которую я любил еще больше с тех пор, как она провинилась перед своею госпожой. Мне удалось сделать сколько можно похожий портрет Фатиницы; я изобразил ту самую минуту, когда она играла на гуслях, глаза ее были видны сквозь отверстия покрывала и нижняя часть лица из-под него. Я хотел было нарисовать лицо полностью открытым, но это показалось мне неуважительным, и я бросил свою попытку.

Бесконечная неделя прошла, и настал день, назначенный для свадьбы.

## XXVIII

Рано утром весь дом был разбужен шумною музыкою, которая раздавалась на первом дворе; я проворно оделся и подбежал к окну. На дворе была толпа музыкантов, а за ними длинный ряд мужчин; двое первых несли на плечах козленка и барашка с вызолоченными рогами и копытами, остальные баранов и овец, которые должны были составлять стадо молодой. За ними двенадцать слуг несли на головах закрытые корзинки с разными тканями, нарядами, драгоценными вещами и деньгами. В заключение процессии шли мужчины и женщины, поступающие в службу к молодой. Константин и Фортунат отворили им ворота, и они перешли с первого двора на второй, а потом в павильон, где и поднесли Стефане подарки, присланные женихом. Вскоре потом пришел и он сам со своими родственниками. Женщин ввели к Стефане, мужчины остались вместе. Через час пришли звать нас к невесте; она ждала нас, сидя на софе в одной из нижних комнат,

в которых я еще не бывал; они были расположены так же, как в квартире Константина, только лучше убраны.

В это время невесту нарядили, и к чести будущих горничных Стефаны надо сказать, что они сделали все, что могли, чтобы скрыть красоту госпожи своей под множеством самых странных украшений. Прежде всего в этом удивительном наряде поразил меня головной убор: он был в три этажа и походил на то, что в воснных оркестрах называют китайскою шляпой; фундамент пирамиды составляли волосы, а убранством служили золотая бумага, цехины и цветы; на щеках был толстый слой белил и румян, а руки расписаны продольными красными и голубыми полосками, и на всех пальцах было по несколько колец и перстней.

Впрочем, я принялся рассматривать невесту тогда уже, когда оглядел всю комнату и тщетно искал Фатиницы в группах женщин, которые тут стояли; не найдя ее, я подумал, что она еще одевается. Через несколько минут явилась и она.

Маски на ней не было, румян и белил тоже и, против обыкновения, никакое постороннее украшение не скрывало, не портило ее восхитительного личика. О, как благодарил я ее в глубине сердца за то, что она показалась мне в первый раз такою, какою создала ее природа и не заставила отыскивать себя под странными уборами, которые обезображивали большую часть бывших тут женщин. Она окинула глазами всю комнату, и взгляд ее на минуту остановился на мне. Никакими словами невозможно высказать того, что выразил мне этот взгляд. В руках у нее было множество золотых ниток разной величины, но все парами. Нитки, которые были у ней в правой руке, она подавала мужчинам, а из левой женщинам. Каждый взял по нитке; молодой человек и девушка, у которых были нитки ровные, проводили все время свадьбы вместе, потом кавалер должен был отдать нитку своей даме. Если он ей понравился, она связывает обе нитки узелком и кладет под образ Богородицы, в надежде, что и на небесах будет связано то, что связано на земле, то есть, две жизни, эмблемою которых служат эти золотые нитки. Когда очередь дошла до меня, Фатиница не дала мне времени выбрать, и сама подсунула мне нитку. Потом мужчины пошли отыскивать свои пары и, разумеется, случай и любовь мне благоприятствовали: моею дамою была Фатиница.

После этого младшая из подруг Стефаны взяла серебряное блюдо и начала собирать деньги в пользу невесты, как у католиков собирают на церковь и на бедных. Само собою разумеется, что я положил на блюдо все, что у меня было. Обойдя всех гостей, девушка поставила блюдо к ногам Фатиницы. В бедных семействах этот сбор часто составляет все приданое невесты; в богатых употребляется на ризу или лампадку для образа Богородицы. Потом пришел священник с тремя маленькими певчими, из которых один нес образ, а другие двое свечи.

Священник был видный старик с почтенным и прекрасным лицом и с длинною седою бородой. Он обошел всех присутствующих, и все подходили к нему под благословение; наконец, он взял невесту за руку и подвел к отцу. Стефана стала на колени, Константин протянул руку над ее головою и сказал:

— Благословляю тебя, дочь моя; будь доброй женою и доброй матерью, как твоя мать, чтобы и у тебя были со временем дочери, которые походили бы на тебя.

Он поднял и поцеловал ее.

Потом началось обручение и венчанье по обряду греческой церкви. По окончании церемонии священник посадил Стефану на прежнее место.

Через несколько минут пришли сказать, что все готово, чтобы вести молодую в дом мужа; и все женщины, не исключая и Стефаны, надели свои покрывала.

У дверей стояла верховая лошадь. Стефана села на нее, а за нею поместился маленький мальчик; музыканты пошли вперед; за ними несколько бедных деревенских девочек, которые плясали; в числе их была и та, которой я подарил шелковое платье; потом шли разного рода фокусники, певшие с разными гримасами и кривляньями песни, от которых мужчины хохотали, а женщины, вероятно, краснели бы, если б лица их не были закрыты покрывалами. За фокусниками ехала верхом молодая в сопровождении своих подруг наконец, на некотором расстоянии шли мужчины и впереди всех Константин и Фортунат, рана которого совсем зажила.

Таким образом пришли мы в дом молодого, один из лучших на всем острове. Дверь была убрана гирляндами, а на пороге, усыпанном цветами, горели благовония, как при входе в дом древнего грека. Расположение комнат было такое же, как у Константина, только в нижнем

этаже, вместо вооруженных людей его, жили мирные приказчики Христо Панаиоти. Пройдя этот портик, мы очутились на втором дворе, наполненном нищими, которые должны были доедать остатки нашего обеда. Потом мы перешли во вторую нижнюю залу, над которою был гинекей, а оттуда в сад, где приготовлен был пир.

Мы обедали в длинной и довольно низкой беседке; стола не было, а обед был расставлен на ковре посреди палатки, обед пышный и обильный, потому что в числе блюд были две цельные овцы; в середине стояли мясные блюда, по сторонам разные пироги. Женщины первые сели, поджав под себя ноги по-турецки и держа в руках свои золотые нитки; молодые люди, привязавшие прежде свои нитки в петличку камзола, отвязали их, чтобы доказать право сидеть против своих дам, и сели в том же самом положении, которое было для меня довольно неудобно; но я все забыл, когда уселся против Фатиницы.

Обед был шумный; музыка гремела оглушительно, и по временам раздавались духовные и мирские песни, самым простодушным и забавным образом перемешанные. Застолье продолжался несколько часов, и во все это время я почти не мог говорить с Фатиницею, но зато упивался удовольствием смотреть на нее. К концу обеда кипрские и самосские вина всех развеселили; после десерта мы встали, и начались танцы.

Моя золотая нитка давала мне право быть кавалером Фатиницы; но, увы! я довольно порядочно танцевал джигу, а о фигурах греческих танцев не имел ни малейшего понятия. Поэтому я принужден был отказаться; но сказал Фатинице, что совершенно к ее услугам и готов танцевать и сделаться смешным, если ей это угодно. Но Фатиница не захотела пристыдить меня: это было самое сильное доказательство любви. Женщина, любящая, никогда не захочет, чтобы предмет любви ее сделался смешным.

Она пошла танцевать с Фортунатом; еще доказательство любви: она не хотела возбудить во мне ревности, танцуя с другим.

Танец был очень замечателен по своему древнему характеру: он был тот самый, который древние называли «Журавлем», и который выдуман был в честь Тезея, победителя Минотавра. Его танцуют в семь пар. Первая пара представляет Тезея и Ариадну; дама подает кавалеру

вышитый платок, который заменяет нить, данную Ариадной Тезею, а чрезвычайно сложные фигуры этого танца изображают извороты Дедалова лабиринта. Во всем этом я жалел только о платке, который Фатиница дала Фортунату, и который достался бы мне, если б я был не так невежествен в хореографии.

За этим танцем последовали многие другие, но Фатиница, под предлогом усталости, больше не танцевала и все время просидела подле сестры, пока, наконец, звуки музыки не возвестили, что гостям пора домой.

Женщины повели молодую в талам; точно так же, как у древних, брачная постель приготовлена была в лучшей комнате; по сторонам ее стояли две огромные свечи, которые должны были гореть во всю ночь. Молодая и все женщины остановились у дверей комнаты, пока всю ее не окропили святой водой; по окончании этой церемонии Стефана вошла в спальню с сестрою и одною из своих самых близких подруг. Через четверть часа после того об девушки вышли, а мужчины повели молодого к потаенной двери, которая была изнутри слегка приперта, так что он принужден был употреблять усилие, чтобы войти в нее. У этого народа, страстно любящего образы, во всем эмблемы.

Свадьба была кончена, и гости разошлись только уже не в прежнем порядке, а мужчины вели своих дам под руку. Моя золотая нитка давала мне право вести Фатиницу, и я с восторгом почувствовал, что она опирается на мою руку, хотя так легко, как птичка, которая задела ветку концом своего крыла.

Кто в состоянии пересказать, что мы друг другу говорили? Ни слова о любви, и между тем каждое наше слово было исполнено любви. Есть что-то девственное и таинственное в излиянии двух сердец, которые любят еще в первый раз. Мы говорили о небе, о звездах, о ночи, а подойдя к дверям дома Константина, мы оба знали: я, что я счастливейший из смертных, она, что я страстно любил ее.

На другой день все это рассеялось, как ночные грезы, потому что мы не имели никакой возможности видеться.

Прошли два или три дня, и я жил одними воспоминаниями; потом радость, которою наполнено было мое сердце, заменилась горестью. На следующий день я искал средства написать Фатинице, или, лучше сказать, доставить ей письмо мое; но не находил никакого. Я думал, что с ума сойду.

Утром горлица начала летать вокруг моего окна. Я вспрыгнул от радости: вот моя посланница. Я приподнял решетку, и горлица вошла, как будто знала, чего я от нее ожидаю.

Я написал на кусочке бумаги:

«Я люблю вас и умру, если с вами не увижусь: нынче вечером, с восьми до девяти часов, я обойду весь сад и буду сидеть у восточного угла; ради Бога отвечайте мне; хоть одним словом, одним знаком покажите мне, что вы обо мне жалеете».

Я привязал эту записочку к горлице под крыло; она тотчас полетела к своей госпоже и скрылась за решеткой. Сердце у меня билось, как у ребенка.

Во весь день я по временам вздрагивал: все боялся, не ошибся ли я, не принял ли самых простых вещей за доказательства любви. Я не посмел идти обедать с Константином и Фортунатом: внутренний голос говорил мне, что я сделал шаг ко злу и нарушаю священные права гостеприимства. Наступил вечер. Я вышел из комнаты за несколько минут до назначенного времени и отправился, сначала в противоположную сторону, а потом, сделав большой обход, уселся, наконец, у восточного угла сада.

Пробило девять часов. С последним ударом колокола к ногам моим упал букет. Фатиница угадала, что я должен быть тут. Я бросился на этот букет. Это был не ответ, но все же послание. Вдруг пришло мне в голову, что на Востоке цветы имеют свой язык, что букет иногда все равно что письмо и называется тогда «саламом», то есть приветствием. Букет Фатиницы состоял из первоцветов и белых гвоздик, но увь! Я не знал, что они выражают.

Я сто раз целовал милые цветки и положил их на сердце. Верно, Фатиница забыла, что я родился в стране, где у цветов есть только имена, благовония мало, языка нисколько. Она хотела отвечать мне, а я не понимаю, что она говорит и не смею ни у кого спросить.

Я вернулся в свою комнату; заперся там, как скупец, который собирает пересчитывать свои сокровища. Потом вынул букет из-за пазухи и развязал его, надеясь найти в нем записку. Но запиской были сами цветы: я не нашел ничего.

Вдруг вспомнил я о своей маленькой гречанке; хоть она девочка бедная и почти полоумная, однако же, верно, знает этот таинственный язык. Завтра я узнаю, что хотела сказать мне Фатиница. Я бросился на диван: букет был у

меня в руке, рука лежала на сердце, и я видел золотые сны. На рассвете я проснулся и пошел в город. Обыватели только еще вставали, и улицы были пусты. Я раз десять прошел вдоль и поперек по этим жалким улицам, наконец, нашел то, чего искал. Девочка, завидев меня издали, подбежала ко мне, прыгая от радости, потому что я давал ей что-нибудь всякий раз, как с нею встречался.

Я дал ей цехин и показал знаками, чтобы она шла за мною. Дойдя до одного уединенного места, где никто не мог нас видеть, я вынул из-за пазухи букет свой и спросил, что он значит.

— Первоцвет означает надежду, белая гвоздика — верность.

Я дал девочке еще цехин, велел ей никому не говорить об этом и ждать на другой день тут же, в то же самое время. Потом я пошел домой, вне себя от радости.

## XXIX

Верно, у Фатиницы не было ни чернил, ни бумаги, и она не смела спросить их, чтобы не возбудить подозрения: иначе она не отвечала бы мне цветами, зная, что я, может быть, и не пойму этого знака. Но теперь это было неважно: у меня есть переводчик.

Я тотчас принялся писать, не зная даже, прилетит ли моя посланница за запискою. Но мне хотелось излить чувства свои на бумаге: письмо было наполнено выражением радости и вместе с тем жалобами; мне хотелось самому сказать ей, что я люблю ее, хотя бы пришлось после умереть.

Я не стану приводить здесь этого письма: читатели могли бы подумать, что оно написано помешанным; для Фатиницы тут была вся душа моя, тут было обольщение, искуснее того, которое употреблял Ловелас: тут была любовь, которая должна была вызвать любовь.

Горлица все еще не прилетала; я развернул письмо и заполнил в нем все белое место; я написал бы десять страниц. То были уверения в любви, клятвы в вечной верности и особенно благодарность. Мы, мужчины, удивительно признательны, пока еще ничего не получили.

Вскоре потом я увидел на решетке тень крыльев голубя: он сделался настоящим курьером. Я приподнял решетку,

и горлица потихоньку пролезла под нее: точно она знала нашу тайну и боялась, чтобы как-нибудь не выдать нас. В этот раз ей пришлось нести уже не маленькую записочку, а целое письмо. Я боялся, что это будет слишком тяжело, но никак не решался сократить своего письма. Я не сказал еще и тысячной части того, что хотел сказать, и беспрестанно вспоминал разные важные вещи, которые забыл написать. Наконец, мне удалось свернуть письмо так, что оно поместилось под крылом, но ясно было видно, что бедняжке горлице очень неловко. Тут мне вздумалось написать еще другое письмо, чтобы оно служило первому перевесом. Мысль была прекрасная; я тотчас принялся писать, подвязал бумагу под другое крыло голубя, и он свободно полетел.

Я опять не посмел идти обедать с Константином и Фортунатом, как только сердце у меня переставало биться, как у безумного, так рассудок начинал делать мне горькие упреки. Я сошел во двор, велел оседлать Претли, по обыкновению, дал ей волю, и она, как всегда, привезла меня в мой любимый грот.

Я подозвал пастуха, стадо которого бродило по противоположному склону горы, и купил у него молока и хлеба. Целый день я промечтал в этом гроте: мне нужно было уединение; если бы я увидел людей, я бы бросился к ним на шею, называя их братьями и объявил бы им, что я счастливейший из смертных.

Я вернулся домой, уже когда смеркалось. На дороге встретился мне Фортунат. Я сказал ему, что объездил весь остров и видел чудеса.

За несколько минут до девяти часов я вышел из комнаты; ровно в девять часов букет, как и вчера, перелетел через стену и упал к ногам моим. В этот раз цветы были уже не те: ясно, что Фатиница отвечала на мои письма, и что накануне первоцветы и белые гвоздики не случайно были соединены в букет. Теперь были тут акация, дымянка и сирень: такие милые, такие благоухающие цветки не могли быть неблагоприятным ответом.

Я унес букет в свою комнату, и там, как и вчерашний, он пролежал всю ночь на груди моей. Потом, как только рассвело, я пошел в Кеа; маленькая гречанка была уже на месте. Я показал ей букет: Фатиница говорила мне, что она чувствует любовь, но исполненную страха и беспокойства. Невозможно было яснее отвечать на письмо мое. Я восхищался этим немым языком, и народ, который



изобрел его, казался мне самым просвещенным в мире.

Я вернулся домой и написал:

«Благодарю на коленях, тысячу раз благодарю тебя за чувство, которое у меня доходит до безумия, но чего ты боишься? О чем ты беспокоишься? Неужели ты думаешь, что я не так люблю тебя, как ты того стоишь? Неужели ты думаешь, что эта любовь может когда-нибудь измениться? Любовь моя — моя жизнь; она обращается во мне вместе с моей кровью, она примешивается ко всем моим мыслям и, мне кажется, что она будет жить еще и тогда, когда сердце мое перестанет биться, когда умственные мои способности погаснут, потому что любовь моя — моя душа, и я чувствую, что у меня есть душа только с тех пор, как я тебя впервые увидел.

Перестань же бояться, полно беспокоиться, мой ангел, моя Фатиница; дай мне посмотреть на тебя только час, только минуту, только секунду; дай мне сказать тебе устами, глазами, всем существом моим: Фатиница, я люблю тебя, люблю более жизни, более души; а если ты и тогда еще будешь бояться, о, тогда я отказываюсь от тебя, уезжаю с Кеоса, бегу в другую сторону, не для того, чтобы забыть, что я тебя видел, но чтобы умереть оттого, что тебя не увижу».

Часа через два после того письмо мое было уже у Фатиницы, а вечером я получил ответ. Тут был хорошенький желтенький цветок, которого в полях очень много, и который дети очень любят, потому что, связывая его ниткой, делают из него шарики; сверх того ранункул и еще один цветок, которого я тоже не умею назвать.

Фатиница отвечала мне, что она также мучится нетерпением, но предчувствует страшную любовную скорбь.

Я старался уничтожить ее странное предчувствие, и это было мне нетрудно: причины, которые я приводил ей, таились в глубине ее сердца: какое несчастье могло угрожать ей, не угрожая вместе с тем и мне? А в таком случае не лучше ли страдать оттого, что мы виделись, нежели оттого, что не видались? А увидеться нам было очень легко. Константин и Фортунат, ничего не подозревая, ни за ней, ни за мной не присматривали, поэтому мы могли сойтись ночью в саду, и нам нужна была только веревочная лестница, один конец которой она привязала бы к дереву, а я прицепил бы другой к углу какой-нибудь скалы; я написал ей, чтобы она в знак согласия бросила мне букет гелиотропа.

Горлица понесла этот мудрый план к Фатинице.

Уже несколько дней я показывал Константину и Фортунату, что на меня вдруг напала страсть к древностям и развалинам; поэтому они нисколько не удивились, что я тотчас после завтрака вышел из дому; Претли оседлали; я проехал через деревню, чтобы купить веревки, и потом уселся в своем гроте и принялся делать лестницу. Я был очень искусен в этом матросском ремесле, и потому лестница часа через два была уже готова; я обернул ее вокруг себя под фустанеллою и вернулся домой тогда уже, когда обед должен был кончиться.

Ни Константина, ни Фортуната не было дома; они уже месяца полтора жили в бездействии, и крылья у этих смелых морских птиц начинали снова вырастать. Они пошли посмотреть на свою фелуку. Что мне до них, лишь бы они мне не мешали.

Ночь наступила, я пошел ждать ответа, но в этот вечер букета не было; я ничего не слышал, хотя ночь была так тиха, что я мог бы слышать легкие шаги Фатиницы, ее дыхание, незаметное, как у Сильфиды. Я просидел на обыкновенном месте до второго часу утра; все ждал, и тщетно. Я был в отчаянии.

Я пошел домой, обвиняя Фатиницу в том, что она меня не любит, думал, что она такая же кокетка, как наши женщины, и забавлялась моею любовью, а теперь, когда страсть моя достигла высшей степени, она пугается и отталкивает, но поздно: огонь сделался уже целым пожаром и может потухнуть тогда только, когда все испепелит. Я провел всю ночь за письмами: грозился, извинялся, уверял в любви, одним словом, безумствовал. Горлица, по обыкновению, прилетела за депешами, на шее у ней был венок из белых маргариток — символ горести.

Я разорвал первое письмо и написал следующее:

«Да, я верю, ты тоже печальна, огорчена: сердце твое еще слишком молодо и чисто, чтобы ты могла наслаждаться страданиями других, но я, Фатиница, я не печален, не огорчен, — я в отчаянии.

Фатиница, я люблю тебя, — не говорю «так, как только человек может любить», потому что я не думаю, чтобы кто-нибудь мог любить так, как я люблю тебя, но я скажу тебе, что ты для моего сердца то же, что солнце для бедных цветков, которые ты мне прежде бросала, и которые в тени вянут и засыхают. Вели мне умереть, Фатиница; о Боже,

мой, это очень легко, но не осуждай меня на то, чтобы никогда более тебя не видеть.

Я и сегодня буду у угла стены, где вчера прождал до второго часа. Ради Бога, Фатиница, не заставляй меня страдать сегодня так, как я страдал вчера; сил моих на это не станет.

О, теперь я увижу, любишь ли ты меня».

Я снял с горлицы венок и подвязал ей под крыло свою записочку.

День тянулся ужасно, и я не хотел выходить со двора. Я сказался больным; Константин и Фортунат пришли навестить меня, и мне не трудно было уверить их, что я точно нездоров, потому что у меня был сильный жар, и голова моя горела.

Они пришли было за мною, чтобы ехать вместе на остров Андрос, где у них были дела; я тотчас догадался, что это дела политические. И точно: на Андросе должны были собраться человек двадцать членов общества гетеристов, к которому, как я уже говорил, принадлежали и Константин, и Фортунат. Как только они ушли, я приподнял решетку и посыпал на окно хлсба; через четверть часа горлицы прилетела, и я отправил следующее, второе письмо.

«Сегодня нечего бояться, моя Фатиница; напротив, я могу провести у ног твоих целую ночь; отец и брат твой едут на остров Андрос и вернутся завтра. О, моя Фатиница, положишься на мою честь, как я полагаюсь на любовь твою».

С час спустя после этого я услышал крики матросов, перекликавшихся на берегу; я подбежал к окну, которое было к стороне моря, и увидел, что Константин и Фортунат садятся в катер; с ними было человек двадцать столь богато вооруженных, что хозяев моих мне скорее можно было принять за государей, обзирающих свои владения, чем за пиратов, которые украдкою перебираются с одного острова на другой.

Я следовал за ними глазами, пока можно было видеть их парус. Ветер дул попутный, и потому он быстро уменьшался и скоро совсем исчез. Я запрыгал от радости: мы оставались одни с Фатиницей.

Наступила ночь. Я вышел, взяв с собою веревочную лестницу. Лицо мое было бледно, и я весь дрожал. Если бы кто-нибудь увидел меня в этом положении, верно бы, подумал, что я замыслил какое-нибудь злодейство. Но я

не встретил никого и дошел до угла стены, так что никто меня не видал.

Пробило девять часов; каждый удар как будто бил по моему сердцу. При последнем ударе к ногам моим упал букет.

Увы, букет был не из одних гелиотропов; тут были еще аконит и синяя ирга. Это значило, что Фатиница совершенно во мне уверена, полагается на мою честь, но что душа ее исполнена угрызений совести. Сначала я ничего не понял; но тут был гелиотроп, следовательно, она согласна. Я перебросил через стену конец лестницы и вскоре почувствовал, что она слегка шевелится; через минуту я потянул: лестница была привязана. Я прицепил другой конец довольно крепко для того, чтобы она могла выдержать мою тяжесть, и влез по ней с проворством и ловкостью моряка. Добравшись до верха стены, я не стал потихоньку спускаться и, не рассчитав высоты, не зная, куда упаду, бросился в сад и покотился к ногам Фатиницы посреди цветника — материала нашей любовной переписки.

Фатиница вскрикнула, но я уже был у ног ее, обнимал ее колена, прижимал ее руки к своему сердцу, голову мою к ее груди, наконец, зарыдал. Радость моя была так велика, что она выразалась, как скорбь. Фатиница смотрела на меня с божественною улыбкою ангела, который отворяет вам небо, или женщина, которая отдает вам свое сердце; в ней было более спокойствия, но не менее блаженства, чем во мне; только она парила, как лебедь, над всей этой бурей любви.

О, какая ночь, Боже мой! Цветы, благоуханье, пенье соловья, небо Греции, и посреди всего этого два юных сердца, чистых и любящих в первый раз. О, немногим из бедных смертных суждено испытать такие неизъяснимые минуты блаженства!

Звезды побледнели, день наступил, и я, как Ромео, не хотел узнать зари. Надобно было расстаться; я покрывал поцелуями руки Фатиницы. Мы снова пересказали друг другу в одну минуту то, что говорили всю ночь; потом расстались, уговорившись видеться и в следующую ночь.

Я вернулся в комнату, совершенно измученный своим счастьем, и бросился на диван, чтобы, если можно, перейти от действительности к мечтам. До тех пор я не знал Фатиницы: целомудрие и любовь, соединенные в одной женщине — это драгоценнейший алмаз, вышедший

из рук природы; это образ чистый и совершенный, какого в древности не существовало. У древних были Диана и Венера, целомудрие и сладострастие, но они не придумали божества, которое соединяло бы в себе девственность одной и страсть другой.

Я весь день провел за письмом, так как Фатиницы видеть было нельзя, то другого нечего было мне и делать. По временам я подходил к окну и посматривал в сторону Андроса; многие рыбацьи суда неслись, как птицы, от Пина к Гиаре, но не было ни одного похожего на катер Константина и Фортуната. Видно, дела удержали их еще на день; ничто не предвещало их возвращения, и мы могли надеяться провести ночь спокойно. Наконец, сумерки спустились, ночь стемнела, звезды заблестали, и я снова очутился у ног Фатиницы.

Накануне каждый из нас говорил о себе; в эту ночь уже о другом. Я рассказал ей, как я мучился любопытством, желанием, как проводил целые дни у окна. То же самое было и с ней, как скоро она услышала о нашем сражении, о том, как я ранил Фортуната и боролся с Константином, как бедный Апостоли спас меня, когда я погибал в волнах, и как, наконец, Фортунат, которого я вылечил, привез меня с собою уже не как врача, а как брата. Ей ужасно хотелось меня видеть, и через несколько дней она притворилась больной, чтобы меня привели к ней. Она догадалась, что я не без намерения советовал ей прогуливаться, и поняла это намерение, когда нашла в своем гроте книгу, заложенную цветком дрока, тем самым, который на другой день горлица-обличительница вытаскивала у нее из-за пазухи. Она хотела, чтобы я говорил ей о себе, но я требовал, чтобы она рассказывала о себе, обещая говорить на следующую ночь. Когда она еще меня не видала, она всякий вечер, ложась спать, клала в кошелек три цветка, один белый, другой красный, третий желтый, и прятала его под подушку. Проснувшись утром, она тотчас вынимала на удачу один цветок и по этому предсказанию была целый день весела или скучна; потому что если она вытаскивала беленький цветок, это значило, что муж у ней будет молоденький и хорошенький, и тогда она была весела, как птичка: если доставала цветок красный, это значило, что муж будет пожилой и степенный, и тогда она призадумывалась, а если, избави Бог, попадался цветок желтый, о, тогда бедняжка целый день не пела, не улыбалась: ей быть за стариком.

Важная также вещь толкование снов. Фатиница объяснила мне, что видеть во сне кладбище — добрый знак; видеть, что купаешься в чистой воде, еще лучше, а если увидишь, что зуб выпал или змея ужалила, тогда смерти не миновать.

Но часто ее мучили не мечты, а минувшая действительность. Она не могла без ужаса вспоминать о пожаре в Константинополе, как горел дом их, как турки умертвили ее деда и мать, как Константин и Фортунат, сражаясь, увели ее и Стефану с собой и избавили от огня и кинжалов. Это воспоминание пролетало иногда перед ее глазами, как облако, и она бледнела, и начатый смех сглаживался на устах ее и заменялся слезами. Что касается ее воспитания, то она была несравненно образованнее обыкновенных женщин в Греции, которые большей частью не умеют ни читать, ни писать; она, напротив, довольно хорошо знала музыку, чтобы отличаться даже в лондонской или парижской гостиной, и говорила по-итальянски так же свободно и хорошо, как на своем родном языке.

Эта ночь прошла так же, как предыдущая; она была восхитительна и показалась нам ужасно короткой; души наши так гармонировали между собой, что наше несхожее прошедшее совершенно исчезло. Казалось, мы знали и любили друг друга с тех пор, как впервые увидели свет.

Около полудни Константин и Фортунат вернулись с Андроса; я хотел было идти к ним навстречу до пристани, но у меня не достало духу.

Константин тотчас пришел ко мне в комнату сказать, что недели через две он снова отправляется на крейсерство; он прибавил, что остановится на некоторое время у острова Сциоса и спросил не хочу ли я воспользоваться этим случаем, чтобы пробраться в Смирну и исполнить поручение Апостоли.

Ясно было, что Константину не хочется, чтобы я без них оставался на Кеосе; и потому немногие слова его потрясли все с такими трудами взгроможденное здание моего благополучия. И я вспомнил о маленьком черном облаке в Бискайском заливе, которое превратилось в страшную бурю.

Покинуть Фатиницу! Мне даже и в голову не приходило, чтобы это когда-нибудь могло случиться; а между тем оставаться с нею было невозможно, не подав подозрения Константину и Фортунату. Выпутаться из

положения, в котором я тогда находился, можно было только двумя средствами: ехать с Константином или все рассказать ему, покинуть Кеос или остаться там, сделавшись женихом Фатиницы.

Таким образом я, завязав глаза, бросился по пути, куда вела меня любовь моя, а теперь строгая рука сорвала повязку с глаз, и я очутился лицом к лицу со страшной действительностью.

Я написал Фатинице, что отец и брат ее вернулись, и что потому я приду на свидание позже обыкновенного. Я не выходил из комнаты до тех пор, пока Константин не заперся у себя; тогда на цыпочках вышел, украдкой спустился с лестницы и, как тень, стал пробираться вдоль стен. Дойдя до обычного места, я бросил свою лестницу. Фатиница уже ждала меня и привязала ее; через минуту мы были вместе.

Я еще не соскочил со стены, как она уже заметила, что я печален.

— О, Боже мой! Что с тобой, мой милый? — спросила она с беспокойством.

Я печально улыбнулся и прижал ее к своему сердцу.

— Говори же, говори, ради Бога, ты меня мучишь... Что с тобой!

— Да то, моя милая, мой ангел Фатиница, что отец твой недели через две уезжает.

— Знаю, он мне сегодня говорил... О, Боже мой! Я тебя так люблю, что совсем и забыла об этом! Да это должно печалить не тебя, а меня... Что тебе до того, здесь ли он или нет... Он не твой отец...

— Нет, Фатиница. Но он берет меня с собой... Он уже намекал мне, что надобно готовиться к отъезду. Остаться здесь, значило бы возбудить подозрения. Но я не могу уехать, я не в силах тебя покинуть.

— Но что же ты не скажешь ему?.. Он и без того уже любит тебя, как сына... Мы обвенчаемся... и будем счастливы.

— Послушай, Фатиница, — сказал я после минутного молчания, в продолжение которого она смотрела на меня с неизъяснимым выражением беспокойства, — выслушай и не спеши осуждать того, что я скажу тебе.

— Говори.

— Если бы матушка твоя была еще жива, но ты была бы в разлуке с ней, и с отцом, решилась ли бы ты выйти замуж без их согласия?

— О, нет, никогда!

— А я, Фатиница, далеко от отца и от матери, которых люблю всей душой; я и без того уже причинил им слишком много печали, потому что теперь они знают, что я разрушил все надежды, которые они возлагали на меня, потому что теперь я, верно, уже приговорен военным судом к смертной казни и навсегда изгнан из отечества. Таковы наши законы, Фатиница. Воротись я в Англию, и смерть моя неизбежна.

— О, не возвращайся туда никогда! — вскричала Фатиница, обвив руками мою шею. — Что тебе в этой злой стране? Весь мир к твоим услугам и между прочим этот бедный островок. Он, конечно, не стоит твоей Англии, но здесь тебя любят так, что ты нигде во всем свете не найдешь такой любви.

— Бог свидетель, моя Фатиница, — сказал я, взяв ее голову обеими руками, — Бог свидетель, что я не об отечестве жалею. Отечество мое — тот уголок земли, где ты живешь, где ты говоришь мне, что меня любишь. Скала посреди океана и твоя любовь... мне бы ничего больше не надо... если бы отец и мать написали мне: Благословляем тебя и твою невесту.

— Ну так что же ты к ним не напишешь? Скажи отцу моему то, что ты говорил мне, и он, верно, согласится подождать благословения, о котором ты просишь.

— Этого-то я и не хочу ему сказать, Фатиница. Послушай (я обнял ее обеими руками и прижал к сердцу), у нас, в Англии не только, как мы сейчас говорили, законы странные, но и ужасные предрассудки. Я последняя ветвь благородной и древней фамилии...

Фатиница высвободилась из моих объятий и с гордостью посмотрела на меня.

— Верно, не древнее и не благороднее нашей, Джон. Разве ты не знаешь фамилии отца моего? Разве ты не заметил, что слуги говорят с ним, как с князем? Разве ничего не значит происходить от спартанцев и называться Софианосом? Ступай в монобазийский собор, и ты увидишь доказательство нашего знатного происхождения под капитуляцией о сдаче города. Там командовал один из наших предков, и Монобазия три года держалась против всех усилий ваших западных войск. Если только это тебя останавливает, то напиши матери, что ты нашел ей дочь из фамилии не хуже всех тех, предки которых прибыли в Англию с Вильгельмом Завоевателем.



— Да, я это знаю, Фатиница, — отвечал я с живейшим беспокойством, потому что она не могла понять наших мнений, а я хорошо понимал ее гордость. — Но обстоятельства, несчастья, деспотизм сделали отца твоего...

— Пиратом? Не правда ли? Как Маврокордато и Ботцариса клефтами? Придет время, Джон, когда свет устыдится, что называл их такими именами. Но теперь ты прав, дочь пирата или клефта должна быть смиренною и все выслушивать спокойно... Говори.

— О, моя милая! Если бы матушка могла видеть тебя только час, только минуту! О, тогда я был бы спокоен, тогда я бы не сомневался в ее согласии!.. Если бы я сам мог броситься к ногам ее, если бы я мог сказать ей, что жизнь моя зависит от тебя, что любовь твоя для меня все на свете, за что я не могу жить без тебя... О, да! И тогда бы я был совершенно уверен в ней. Но все это невозможно, я должен писать к ней, и холодная бумага холодно передаст ей мою просьбу. Она не будет знать, что каждое слово в этом письме написано кровью моего сердца, и, может быть, мне откажет.

— А если она откажет, что же ты будешь делать? — холодно спросила Фатиница.

— Я сам поеду просить позволения, без которого не могу жить; я охотно подвергну жизнь свою опасности, потому что жизнь для меня ничего не значит в сравнении с моей любовью. Слышишь ли, Фатиница, я сам поеду, и это так же верно, как то, что ты ангел добродетели.

— А если она откажет?

— Тогда я вернусь к тебе, Фатиница, и тогда будет твоя очередь принести большую жертву, тогда будет твоя очередь покинуть твое семейство, как я покинул своих родных. Потом мы уедем в какой-нибудь безвестный уголок и станем жить, ты для меня, я для тебя... и родными нашими будут одни эти звезды, которые померкнут прежде, чем я перестану любить тебя.

— И ты это сделаешь?

— Клянусь тебе честью, любовью, тобой! С этой минуты ты моя невеста.

— Жена твоя! — вскричала она, обвивая меня руками и прижимаясь устами к губам моим.

Это были не пустые слова. Фатиница сделалась моей женой. С этого дня и до моего отъезда мы каждую ночь проводили вместе, каждую ночь блаженствовали; в ее ангельской душе не осталось ни малейшего сомнения, и она смотрела уже на нашу разлуку, как на средство горестное, но необходимое для нашего соединения. И я достоин был такой доверенности; она не напрасно полагалась на меня.

Но, несмотря на нашу взаимную доверенность, сердца наши по временам трепетали неизъяснимым страхом. Воля наша была так сильна, как только может быть человеческая воля, но между двумя людьми, которые разлучаются, сейчас является страшное божество — случай. Я тоже не мог не поддаться этому беспокойству, и оно отнимало у слов моих уверенность, которая необходима была для того, чтобы успокоить Фатиницу.

Мы условились, что мне делать. Я должен был ехать сначала в Смирну, где мне нужно было побывать по двум причинам: чтобы исполнить поручение, которое возложил на меня умирающий Апостоли, и чтобы узнать, нет ли писем на мое имя из Англии. Из Смирны, центра сообщений между Западом и Востоком, я должен был написать к родителям и ждать ответа. Крейсерство Константина и Фортуната должно было продолжаться месяца два, три, а за это время я мог бы уже получить ответ из Англии. Они зашли бы в Смирну, и я вернулся бы с ними на остров Кеа. Я не хотел говорить им ничего заранее, чтобы они не противились нашим намерениям в случае отказа. Если же я вернулся бы без них, то должен был обратиться к Стефане, которой Фатиница все рассказала.

Все это было очень просто и легко исполнить; мы были уверены один в другом, как сами в себе, а между тем нас тревожили страшные предчувствия. Последнюю ночь мы всю проплакали; ни обещания, ни клятвы, ни ласки мои, ничто не могло ее успокоить. Когда мы расстались, она была почти без чувств, а я как помешанный.

Я написал к ней последнее письмо, в котором старался успокоить ее обещаниями и клятвами, и отправил с нашей милой горлицей; она уже на рассвете была на моем окне, как будто тоже знала, что я уезжаю, и хотела проститься со мной.

Часов в восемь Константин и Фортунат прошли через двор. Они шли проститься с Фатиницею. Они не пригласили меня с собою, а я не посмел просить, чтобы они взяли меня; впрочем, лучше было совсем не видеть Фатиницы, чем видеть ее и притворяться равнодушным. Они пробыли в павильон с час и потом пришли за мною. Пока они всходили по лестнице, я выпустил свою посланницу, и она полетела прямо на окно своей госпожи. Таким образом я после всех простился с Фатиницею, и между нашими воспоминаниями никого не будет.

Мне нужна была вся сила моего характера, чтобы не изменить себе; впрочем, они сами были так огорчены, что не обращали внимания на мою горечь. Они никогда не видывали Фатиницы такою печальною, в таком отчаянии и не могли не разделять ее горести, которую приписывали своему отъезду.

Наконец, надобно было оставить эту комнату, в которой два месяца я провел столько приятных минут. Но когда мы уже выходили из дому, я притворился, будто что-то забыл, и побежал назад, чтобы взглянуть на нее еще раз. Я, как ребенок, целовал в ней каждую вещицу и потом стал посреди комнаты на колени, прося Бога, чтобы Он опять привел меня сюда. Долго оставаться было невозможно, не возбудив подозрений, и я поспешил выйти. Константин и Фортунат ждали меня у первых ворот и с жаром разговаривали между собою по-гречески. Подходя к ним, я старался придать лицу своему обыкновенное его равнодушное выражение. Они, верно, думали: о чем ему жалеть здесь?

Стефана с мужем ждали нас на пристани. Как замужняя женщина, она была без покрывала. Большие, черные глаза ее смотрели прямо мне в глаза, как будто хотели читать в душе моей, а когда я уже ступил на доску, чтобы перейти в лодку, Стефана подошла ко мне и сказала вполголоса: — Не забудьте своей клятвы! — Я взглянул на дом, где была Фатиница, как бы хотел сказать, что прошедшее ручается за будущее, а из решетки окна Фатиницы высунулась рука с платком, которая приветствовала нас при нашем прибытии и теперь как бы прощалась с нами.

Фслука ждала нас у входа в порт, и во все время переезда я, даже не боясь, обратил на себя внимания Константина и Фортуната, не спускал глаз с этой руки, с этого платка. По временам слезы навертывались на глаза

мои и, как облако, закрывали от меня Фатиницу. Я отворачивался, чтобы скрыть их, а потом опять обращался к обожаемой ручке, к красноречивому платку, которые со мною прощались.

Ветер дул прямо против выхода из гавани, и я радовался этому, потому что медленнее удалялся от Фатиницы. Но благодаря усилиям гребцов фелука выбралась в открытое море; тут мы уже могли поднять паруса и вскоре обогнули мыс, за которым скрылись и город Кеа, и дом Константина.

Тогда я погрузился в глубокое уныние, в совершенную бесчувственность. Можно было подумать, что только этот прощальный знак привязывал меня к жизни, и что как только он исчез, для меня уже не осталось ничего на свете. Я сказал, что чувствую себя нездоровым, что по тогдашнему зною было немудрено, ушел в свою каюту, бросился на койку и по крайней мере мог свободно плакать.

На другой день был штиль. Кеос целый день еще был ясно виден, а весь следующий день гора Святого Илии казалась еще голубоватым облаком на горизонте. Наконец, мы вошли в канал между мысом древней Евбеи и островом Андросом и, поворотив вправо, совершенно уже потеряли Кеос из виду.

Целую неделю шли мы до высоты острова Скироса, поэтической колыбели Ахиллеса. Ветер так и не стал попутным, так что мы только через неделю достигли острова Хиоса. Наконец, вечером, в семнадцатый день по выходе из гавани, мы бросили якорь в виду Смирны. Хотя Константин совершенно полагался на расположение к себе своих соотечественников, однако же не решался входить в такой могущественный и многолюдный порт.

На прощанье Константин и Фортунат предлагали мне все услуги, какис они только были в силах оказать, но мне ни в чем не было нужды; у меня оставалось еще золотом и вексельями около семи или восьми тысяч. Я только взял с них слово зайти на обратном пути за мною в Смирну, если я еще тут буду.

Странно, когда я расстался с этими людьми, у меня как будто тяжесть спала с груди. С ними мне как то было неловко, совестно, а издали я видел одну только их поэтическую сторону; они представлялись мне древними изгнанниками из Трои, которые с оружием в руках искали себе отчины.

Мы подали обыкновенный сигнал, означающий, что на корабле есть человек, который желает съехать на берег. За мною пришла лодка. Во время пути я спрашивал, где мне отыскать мать Апостоли. Она недели за три перед тем пересекла в маленький домик поблизости Смирны. Один из гребцов вызвался проводить меня туда.

Все люди ее были в трауре. Пассажиры «Прекрасной Левантинки» рассказали в Смирне о смерти Апостоли, которой они обязаны были своею свободою. Тогда же мать и сестра его сдали свой торговый дом, который они держали только для того, чтобы увеличить состояние своего сына и брата, и на вырученные деньги купили себе загородный домик, чтобы там свободно предаваться своему горю.

Как только я сказал свое имя, все двери передо мной открылись. Мать Апостоли знала о дружбе моей со своим сыном и о моей заботе о нем. Она приняла меня стоя, в комнате, обитой черным; безмолвные слезы текли по щекам ее. Я поклонил колена перед этой великой горестью; она подняла меня, прижала к своему сердцу и вскричала: «Расскажите мне о сыне».

В эту минуту пришла сестра Апостоли. Мать велела ей сняты покрывало, потому что я у них не чужой: я увидел девушку лет шестнадцати или семнадцати, которая показалась бы мне красавицей, если бы образ, запечатленный у меня в сердце, не затмевал того, который был перед моими глазами.

Я отдал каждой из них то, что завещал Апостоли: матери волосы, сестре кольцо, обоим письмо; потом должен был рассказать им о его болезни и смерти. Я знал, что одни слезы облегчают глубокую скорбь; и потому не забыл ни малейшей подробности о переходе с земли на небо ангела, которого они лишились. Они плакали, но без судорожных движений, без отчаяния, как должны плакать христианки.

Я оставался у них целый день; для них я забыл о самом себе; вечером я возвратился в город и отправился прямо к консулу. Он знал мою историю от офицеров «Трезубца», который останавливался в Смирне, через неделю после бегства моего из Константинополя, потому что на другой же день, после дуэли моей с лейтенантом Борком, капитан Стенбау получил предписание возвратиться в Англию. Все обо мне жалели, как я и думал, и даже сам капитан намеревался по возвращении в Лондон представить это

дело лордам адмиралтейства в настоящем виде. Консул отдал мне письмо от моих родителей с векселем на пятьсот фунтов стерлингов на случай, если у меня не достанет денег. Это письмо было написано три месяца назад и, следовательно тогда, когда в Лондоне еще не могли знать о смерти мистера Борка.

Я прожил в Смирне целую неделю, ожидая случая написать матушке. По целым дням бывал я у матери Апостоли, которая полюбила меня, как сына, и с которою я говорил о моей матери. На девятый день я узнал, что в порте есть шлюп, который за двадцать три дня пришел из Лондона; часа через два после того консул прислал мне письмо.

Признаюсь, дрожь пробежала по всему моему телу, когда я получил это письмо: бедная мой матушка должна уже была знать, что со мною случилось, и я думал, что это письмо будет выражением ее отчаяния. Я внимательно рассматривал адрес, думая, не замечу ли в нем трепетания руки, но нет: это был обыкновенный матушкин почерк.

Наконец, собравшись с духом, я распечатал письмо, и первые слова его невыразимо меня обрадовали, потому что в нем была утешительная и совершенно неожиданная весть.

По прибытии в Гибралтар капитан Стенбау, приведенный в негодование поступками Борка с Давидом, написал к лордам адмиралтейства донесение, в котором просил перевести лейтенанта на другой корабль, потому что он возбудил против себя ненависть и офицеров, и экипажа. Характер капитана был так известен, что это придавало просьбе его большой вес. Лорды адмиралтейства тотчас назначили Борка первым лейтенантом на корабль «Нептун», который в то время оснашивался в Плимуте и назначен был для сопровождения купеческих судов в Индию. Таким образом повеление о переводе г. Борка было подписано в Лондоне за неделю до дуэли моей с ним в Константинополе. Следовательно, я убил не начальника, но просто офицера, а это большая разница. Несмотря, однако же, на это, морской суд приговорил меня к ссылке, но очевидно потому, что я не явился в суд. Батюшка был твердо уверен, что если бы я был тут, то меня оправдали бы, и потому он советовал мне возвратиться как можно скорее. Матушка писала, что она умрет от тоски, если я тотчас по получении этого письма не пушусь в путь, чтобы ее успокоить.

Все это было благоприятно для меня как нельзя более. Мне не нужно уже было писать, и я мог лично просить моих родителей за себя и за Фатиницу. Я тотчас побежал в порт, там было купеческое судно на отходе в Портсмут; я увидел, что оно должно быть легко на ходу, и тотчас взял для себя место. На военном корабле меня принуждены были бы арестовать, а я хотел свободно явиться к лордам адмиралтейства, повидавшись сначала с отцом и матерью.

Я поехал к матери Апостоли, чтобы сообщить ей эти добрые вести, и в первый раз увидел, что луч радости блеснул в ее глазах, и улыбка показалась на устах. С дочерью было совсем другое. Бедняжка! Не знаю, что писал ей Апостоли, какими мечтами он ее тешил, но, кажется, она думала, что я гораздо дольше пробуду в Смирне.

Я отправился оттуда через двенадцать дней по прибытии и уже почти через месяц после того, как расстался с Фатиницею. Прощанье наше было новою горестью для матери Апостоли; ей казалось, что прежде она лишилась только тела своего сына, а теперь, с моим отъездом, лишается и души его. Я уверил ее, что намерен возвратиться на восток, но не сказал зачем.

Я угадал: «Бетси» была, действительно, легка на ходу; на третий день по выходе из Смирны мы были уже в виду Никарии: я различал издали курган, насыпанный на могиле Апостоли! Почти с каждым из островов Архипелага связывалось для меня какое-нибудь воспоминание.

Через пять дней после того мы увидели Мальту и, не останавливаясь, прошли мимо этого воинственного острова. Шкиперу «Бетси», кажется, не меньше меня хотелось поскорее в Англию, а ветер был к нашим услугам. Через неделю мы прошли Гибралтарский пролив, а через двадцать восемь дней по выходе из Смирны бросили якорь на Портсмутском рейде.

Нетерпение мое было так сильно, что я не решился ехать в дилижансе, хоть они славятся своєю быстротою. От Портсмута до Виллиамс-Гауза девяносто лье; верхом я мог проехать их в двадцать или двадцать два часа, и я пустился верхом.

Почтальоны, верно, думали, что я побился об заклад. Я выехал из Портсмута часа в три пополудни, скакал всю ночь и утром был уже в Нортамптоне. Часов в девять я пересек границу графства Лейчестерского; в полдень

проскакал во весь галоп через Дерби, наконец, увидел Виллиамс-Гауз, тополевую аллею, ведущую к замку, отворенные ворота, цепную нашу собаку, Патрика, который чистил на дворе лошадей, и Тома, который шел с крыльца. Я подскакал к последней ступеньке в то самое время, как он дошел до нее, и соскочил с лошади, крича: «Матушка! Где матушка?»

Милая моя матушка услышала этот крик и прибежала из сада; она шаталась; я бросился к ней и поддержал ее в своих объятиях, когда она уже готова была упасть. Поддерживая и обнимая матушку, я протягивал руку к батюшке, который шел так скоро, как только можно было с деревянной ногой, а Том, бросив фуражку свою наземь и сложа руки на груди, весело на меня посматривал и божился немилосердно. Наконец, батюшка подоспел к нам, и несколько минут мы все вместе обнимались, плакали, хохотали, безумствовали.

Вскоре сбежались все домашние: мистрисс Денисон, уроки которой в ирландском наречии так помогли мне в моей экспедиции в таверну «Зеленый Эрин»; наш честный управитель Сандерс, потом, около обеда, добрый доктор, наставления которого, к несчастью, я так хорошо помнил и который мог себе представить, что обнимал собрата, наконец, вечером, почтенный пастор Робинсон, который по-прежнему любил поиграть в вист и пришел в замок на партию, не воображая себе, что найдет там нового игрока.

Матушка водила меня по всему дому; я видел свой птичник в такой же исправности, как прежде, и также населенный добровольными пленниками; грот капитана, навсегда оставшийся любимую целью его прогулок, наконец, озеро, мое прекрасное озеро, которое некогда казалось мне морем, а теперь прудом. Все это было на своем месте, в прежнем виде. Я сравнивал все, что со мною в один год случилось, с этою однообразною, безмятежною жизнью, и мне казалось, что все это был долгий бред, в котором мне представлялись и страшные видения, и милые образы.

Матушка моя была так же взволнована, так же растрогана, как я: ей все не верилось, что это перед ней милый сын ее, которого, как она думала, лишилась было навеки. Она обнимала меня, прижимала к своему сердцу и начинала ни с чего хохотать и без причины плакать, потом вдруг меня останавливала, смотрела мне прямо в



лицо и говорила, что я очень быстро вырос, сделался настоящим мужчиной. Мне было тогда восемнадцать лет, и, правда, в последний год я много пережил.

Наконец, мы пришли в гостиную, и тут я должен был рассказывать свои подвиги и приключения. Я остановился на смерти Борка и прибавил, что с тех пор жил на Архипелагских островах до того времени, как получил письмо, в котором матушка говорила мне, что я могу возвратиться в Англию.

Батюшка решил, что мы на третий день поедem в Лондон. Приговор, произнесенный надо мною, был не позорен, но все же приговор, и батюшке хотелось, чтобы я как можно скорее смыл с себя это пятно.

Матушка поехала с нами. Она так долго не видалась со мною, что ей больно было бы опять и так скоро отпустить меня от себя; притом здоровье ее было очень хорошо, и ей нечего было бояться путешествия, особенно в хорошей карете. Что касается того, чем кончится мое дело, в этом никто из нас не сомневался.

По приезде в Лондон мы прежде всего отправились в адмиралтейство; я объявил, что добровольно предаюсь в руки правосудия, и просил назначить тюрьму, в которую я должен идти, или обеспечение, которое надобно представить. Лорды согласились принять обеспечение, но так как «Трезубец» крейсировал в это время в Ламаншском проливе, то для пересмотра прежнего приговора надобно было, чтобы корабль возвратился, а он должен был еще пробыть в отсутствии с месяц или месяца полтора. Это замедление чрезвычайно огорчало меня, но оно было совершенно неизбежно.

Мы прожили все это время в Лондоне. Я совсем не знал этого нового Вавилона, но как он ни любопытен, я не мог изгнать из сердца моего непрерывное и глубокое беспокойство, которое меня мучило. Тогда было уже слишком четыре месяца с тех пор, как я уехал с Кеоса, а горечь разлуки падает всею своею тяжестью на того, кто остается на месте. Что делала, что думала Фатиница, единственное из всех моих восточных видений, которое глубоко запало мне в душу и беспрестанно было у меня перед глазами!

Наконец, получено было донесение, что «Трезубец» вошел в портсмутскую гавань; адмиральский корабль был там же, а потому решено было устроить суд в Портсмуте. Мы тотчас выехали из Лондона: время было для нас так дорого, что я не хотел терять ни минуты.

Несмотря на все мое нетерпение приготовления к производству суда длилось целый месяц, наконец, давно желанный день наступил. Батюшка не хотел отстать от меня и нарядился в свой контр-адмиральский мундир, а я надел снова мой мичманский, которого не носил уже со смерти Борка.

В семь часов утра с адмиральского корабля раздался пушечный выстрел и сигналами дано было знать, что военный суд соберется в девять часов. Мы отправились туда в назначенное время. На корабле меня тотчас посадили под караул, и капитаны, назначенные членами суда, стали один за другим прибывать. Их принимал отряд матросов, которые делали им на караул.

В половине десятого суд собрался и меня позвали. Я вошел в зал совета. В верхнем конце длинного стола сидел в президентских креслах адмирал, по правую руку его был капитан-обвинитель. Шестеро других капитанов поместились по старшинству по трое с каждой стороны стола. На другом конце, против адмирала, сидел судья-адвокат, а я, как обвиняемый, стоял возле него без шляпы.

Прежнее дело было отложено в сторону, и начато новое судопроизводство. Я был обвинен в том, что убил на галатском кладбище английского офицера без вызова с его стороны. Следовательно, мне надобно было только доказать, что я не зарезал Борка, напав на него врасплох, а убил на дуэли. О нарушении субординации не было и речи.

Я молча, почтительно выслушал обвинение. Потом потребовал дозволения говорить и рассказал просто и спокойно, как дело было, и просил только, чтобы для оправдания моего спросили кого-нибудь из офицеров экипажа «Трезубца», я не указывал ни на кого в особенности, предоставляя судьям призвать кого им угодно.

Судьи решили снять показание с капитана Стенбау, второго лейтенанта Троттера, мичмана Джемса Перри, боцмана Томсона и еще с четырех матросов. Свидетелей против меня не было ни одного.

Само собой разумеется, что показания всех этих свидетелей были единодушны. Не только они сложили всю вину на Борка, но каждый из офицеров оканчивал свое показание, объясняя, что если бы он был оскорблен так же, как я, то и отомстил бы за себя точно так же.

Четверо матросов, в числе которых был и Боб, сделали такое же показание. Один из них, который был на вестях у Борка, сообщил суду обстоятельство, которого я не знал, именно, что он сам, сквозь отверстие неплотно затворенной двери видел, как лейтенант поднял на меня палку.

По выслушании свидетелей судьи, чтобы приступить к совещанию, велели всем удалиться. Свидетели ушли в одну сторону, я в другую. Через четверть часа нас всех позвали опять в присутствие. Все члены суда стояли с шляпами на головах.

В каюте царило глубокое, торжественное молчание. Признаюсь, что в эту минуту, несмотря на всю мою уверенность в правоте моего дела, в благорасположении судей, я был встревожен. Президент положил руку на сердце и сказал громким голосом:

— По чести и совести перед Богом и людьми наш обвиняемый не виновен в убийстве.

В ту же минуту раздались общие радостные крики и, несмотря на уважение к месту и на присутствие судей, батюшка, который ни на минуту не отходил от меня, бросился мне на шею. Офицеры «Трезубца» и впереди всех капитан Стенбау кинулись ко мне, так что я снова очутился посреди своих товарищей, и они, не видав меня слишком год, с родными, пожимали мне руки, обнимали и поздравляли меня. Только что я успел поклониться судьям и поблагодарить их, меня схватили и почти вынесли на палубу. Баркас «Трезубца» стоял борт о борт с адмиральским кораблем: мы все сошли в него, и меня с торжеством повезли в Портсмут.

Выйдя на берег, я тотчас вспомнил о матушке; она не могла ехать с нами на корабль и в смертельном беспокойстве ожидала, чем кончится суд. Батюшка и капитан Стенбау начали толковать о приготовлениях к большому обеду, которым они хотели праздновать мое оправдание, а я побежал к дому, где мы остановились. В два прыжка очутился я у дверей матушкиной комнаты и почти вышиб их. Матушка стояла на коленях и молилась обо мне.

Я еще не успел выговорить ни слова, как она увидела меня, протянула ко мне руки и вскричала:

— Спасен! Спасен! О, я счастливейшая из матерей!

— А от вас зависит сделать меня счастливейшим из сыновей и мужей.

Можно представить себе, как удивилась матушка, услышав такой ответ, и с беспокойством начала меня расспрашивать. Минута была такая благоприятная, что я тотчас приступил к объяснению, которое нарочно откладывал до тех пор. Пользуясь отсутствием батюшки и моих товарищей, я подробно рассказал ей свои приключения с того времени, как бежал из Константинополя, и до того дня, когда получил в Смирне последнее ее письмо.

Разумеется, что этот рассказ возбудил самые сильные ощущения в сердце матушки. Я держал ее за руку, и когда рассказывал о нашем сражении с пиратами и о том, как я чуть не потонул, рука ее трепетала. Когда я говорил о смерти Апостоли, слезы лились из глаз ее. Она не знала Апостоли, но он был ей не чужой: он спас жизнь ее сыну.

Наконец, я дошел до прибытия нашего на остров Кеос; изображал свое любопытство, желания, рождающуюся любовь к Фатинице. Я описал ее матушке такую, каково была в самом деле, то есть ангелом любви и чистоты. Я говорил, как она твердо верит моему слову, как она предалась на мою волю, когда я объявил, что хочу самолично просить благословения моих родителей. Я представил матушке, как должна страдать теперь бедная Фатиница, когда она уже пять месяцев не имеет обо мне никаких известий, и ее поддерживает только одно убеждение, что я люблю ее столь же горячо, как она меня. Потом я стал на колени, схватил матушкины руки, целовал их и умолял не доводить меня до ослушания.

Матушка была так добра и так любила меня, что хотя вся эта история, по нашим нравам, должна была казаться ей чрезвычайно странною, однако я видел ясно, что дело на половину уже решено в мою пользу. Для женщин в слове «любовь» столько прелести, что они им всегда увлекаются, сначала на свой собственный счет, а после на чужой. Но оставалось еще уговорить отца моего; конечно, я не мог сомневаться в нежной любви его ко мне, но невероятно было, чтобы он легко сдался. Батюшка весьма уважал древность фамилий и всегда желал, чтобы я женился на какой-нибудь знатной девушке; правда, Константин Софианос, как и все майноты, вел свое происхождение прямо от Леонида, но батюшке, верно, показалось бы, что ремесло пирата не совсем соответствует знатному имени. Что касается матушки, то она тотчас

поняла, что когда Фатиница будет в Лондоне блистать своей красотой в светском обществе или в Виллиамсе-Гаузе услаждать наш домашний круг своим милым характером, никто не вздумает доискиваться, чем занимаются на Кеосе потомки спартанцев. Притом я говорил ей, что от этого брака зависит счастье всей моей жизни, а мать никогда не считает невозможным того, что может составить благополучие ее сына. Матушка обещала все, что я хотел, и взялась вести переговоры об этом важном деле с батюшкой.

В это самое время батюшка и Джемс пришли за мною, потому что капитан Стенбау, ссылаясь на то, что я служил под его начальством, настоял, чтобы обед по случаю моего оправдания дан был на «Трезубце», и батюшка принужден был согласиться, впрочем, я думаю, что он очень рад был хоть еще раз в жизни пообедать на корабле по-офицерски.

Батюшка просил, чтобы Тому позволили обедать с матросами; разумеется, капитан охотно на это согласился. Мы взяли Тома с собою, и я тотчас познакомил его с Бобом. Эти два морские волка с первого взгляда поняли друг друга, и через час они уже были такими друзьями, как будто двадцать пять лет на одном корабле служили.

Это был один из самых счастливых дней моей жизни. Свободный и оправданный, я снова очутился между своими добрыми товарищами, когда так долго думал, что мне уже не видать их. Капитан Стенбау был так рад, что с трудом поддерживал свое достоинство. Что касается Джемса, то, так как ему важничать было не для чего, он с ума сходил от радости. После обеда он рассказал мне, что тотчас догадался, зачем я поехал на берег в день дуэли моей с Борком. Боб сам утвердил его в этой догадке, рассказав, как я с ним прощался и что говорил ему при этом. Как только капитан возвратился, Джемс просил позволения ехать на берег с Бобом по весьма важному делу с тем, чтобы с него не взыскали, если он воротится поздно ночью. Стенбау сначала не пускал было его, но Джемс поклялся честью, что ему нужно быть на берегу, и тогда он согласился.

Джемс пристал к берегу в том самом месте, где я простился с Бобом, и они прямо пошли на галатское кладбище. Они вскоре наткнулись на труп Борка, и тут Джемс увидел, что догадка его была справедлива; да если бы он и мог еще сомневаться, то убедился бы, осмотрев

шпагу, которою лейтенант был проколот, и увидев, что это моя шпага.

Он поднял шпагу Борка, лежавшую подле него, и осмотрел ее, чтобы видеть, не ранен ли я. Не заметив на ней крови, он успокоился. Джемс, так же как и я, не слышал, что лейтенант переведен от нас, и потому догадался, что я, зная какая судьба ждет меня на корабле, никогда уже не возвращусь.

Джемс остался а кладбище, а Боба послал поискать кого-нибудь, кто бы взялся вывезти труп Борка. Он скоро возвратился и привел с собою грека и осла; тело взвалили на одно из этих животных, и все трое отправились к воротам Топчханэ, где стоял наш баркас.

Все на корабле тотчас догадались, что Борка убил я. Притом на другой день еврей привез мои письма и, к большой радости экипажа, объявил, что я уже теперь избежал наказания.

Капитан тотчас написал донесение об этом деле, стараясь, сколько можно, оправдать меня; но тут было обстоятельство, которого ничем смягчить было невозможно. Я убил своего начальника и, следовательно, по законам всех стран в мире заслужил смертную казнь. Это очень огорчало доброго капитана, и он был весьма печален до тех пор, пока не получил предписания возвратиться в Англию, потому что при этом предписании приложено было уведомление о том, что Борк переведен на другой корабль. Это, как я уже говорил, придало совсем другой оборот моему делу, и с тех пор все были уверены, что я буду оправдан.

Мы возвратились домой довольно поздно. Прощаясь с матушкой, я напомнил ей, что она обещала похлопотать за меня, и оставил ее одну с батюшкой.

Я провел очень беспокойную ночь: в это самое время решалась судьба моя, и в новом процессе дело шло уже не о теле, а о сердце моем. Правда, я очень надеялся на доброту и любовь ко мне моих родителей, но просьба моя была так неожиданна и странна, что отказ не удивил бы меня.

Утром я по обыкновению пришел в батюшкину комнату: он сидел в своем большом кресле, насвистывал свою старинную арию и бил в такт палкою по деревянной ноге своей; читатели уже знают, что это были у него несомненные признаки душевной тревоги.

— Ага, это ты! — сказал он, увидев меня, и по одному уже тону этих слов я догадался, что он все знает.

— Я, батюшка, — сказал я робко, потому что сердце билось у меня так сильно, как не бивалось в самых опасных случаях моей жизни.

— Поди-ка сюда, — продолжал он тем же тоном.

Я подошел. В это самое время вошла и матушка. Я вздохнул: это была подмога мне.

— Ты задумал жениться, в твои лета?..

— Батюшка, — отвечал я, улыбаясь, — крайности сходятся. Вы женились поздно, и ваш брак так счастлив, что я хочу жениться в молодости, чтобы с двадцати лет наслаждаться блаженством, с которым вы познакомились только в сорок.

— Но я был свободен! У меня не было родителей, которых брак мой мог бы огорчить. Притом, та, на которой я женился, вот она, — твоя мать.

— А у меня, благодаря Бога, — сказал я, — есть добрые родители, которых я люблю и уважаю. Они не захотят отказом лишить меня счастья всей жизни. Мне очень хотелось бы, если бы можно, взять ту, которую я люблю, за руку и подвести ее к вам, как вы подвели бы матушку к своим родителям, если бы они у вас были; я уверен, что вы тогда сказали бы мне то же, что они сказали бы вам: — Будь счастлив.

— А если бы мы не согласились, что бы ты тогда сказал?

— Я сказал бы, что сердце мое отдано, и что сверх того я дал свое слово, а вы же, батюшка, всегда учили меня, что честный человек раб своего слова.

— И что же тогда?

— Выслушайте меня, батюшка, и вы, матушка, — сказал я, став на колени и взяв их обоих за руки. — Богу известно, да и вы сами знаете, что я всегда был почтительным и покорным сыном. Расставаясь с Фатиницею, я обещал ей вернуться через три месяца, потому что хотел дожидаться в Смирне благословения, о котором теперь прошу вас. Я только что собирался писать к вам, как получил ваше письмо. Матушка приказывала мне ехать тотчас и говорила, что умрет с тоски, если я не скоро приеду. Я решился в ту же минуту; выехал из Смирны, не повидавшись с Фатиницею, не простившись, не написав даже ей; я был уверен, что она совершенно полагается на мое слово. Я поехал, — и вот я у ваших ног. Согласитесь, что до сих пор я вполне жертвовал любовью привязанности моей к вам. Будьте же, батюшка, и вы добры столько же, как я покорен вам, и не ставьте моего сердца между

страстную любовью к Фатинице и глубоким уважением к вам.

Батюшка встал, покашлял, плюнул, повторил свою арию, прохаживаясь вокруг комнаты и поглядывая на гравюры; наконец, остановился против меня и сказал:

— И ты говоришь, что эта девушка может сравниться с твоею матерью?

— Никто не может сравниться с матушкой, — сказал я, улыбаясь, — но клянусь вам, после нее Фатиница больше всех других женщин приближается к совершенству.

— И она согласится покинуть отечество, родных и приехать сюда?

— Она все для меня покинет, а вы и матушка замените ей все, чего она лишится.

Батюшка еще три раза, посвистывая, обошел вокруг всей комнаты, потом опять остановился и сказал:

— Ну, ну, хорошо, посмотрим.

Я бросился к нему.

— О, нет, нет, батюшка, ради Бога, теперь же. О, если бы вы знали: я считал минуты с таким же нетерпением, как приговоренный к смертной казни, который ждет помилования. Вы согласны, вы согласны, батюшка?

— Э, братец, — вскричал отец мой с неизъяснимым выражением нежности, — да разве я тебе когда в чем-нибудь отказывал?

Я вскрикнул и кинулся в его объятия.

— Ну, ну, потише же, ты меня задушил, — сказал он... — Дай мне по крайней мере полюбоваться на моих внучков.

Я выпустил из рук батюшку и побегал к матери.

— Матушка, благодарю вас, и этим я вам обязан; вы разгадали своим сердцем сердце моей Фатиницы. Вам я обязан был счастьем в детском возрасте, вам же обязан буду им и в зрелых летах.

— Если так, — сказала она, — так сделай же что-нибудь и ты для меня.

— О, только прикажите, матушка.

— Я тебя почти совсем не видала. Проживи с нами еще месяц.

Это было очень просто, но между тем сердце мое сжалось, и дрожь пробежала по всему телу.

— Неужели ты мне откажешь? — сказала она, сложив руки почти с умоляющим видом.



— О, нет, матушка! — вскричал я. — Но дай Бог, чтобы то, что я теперь почувствовал, было не предчувствием.

И я прожил в Виллиамс-Гаузе еще месяц.

### XXXII

В это время, как нарочно, ни один корабль не отходил в Архипелаг, да и вообще на восток шел один только фрегат «Изида», который вез командира королевского корсиканского полка полковника сэра Гудсона Лоу в Бутринто, откуда он должен был отправиться в Янину. Я выпросил позволение плыть на этом корабле. «Изида» везла меня не прямо туда, куда я так торопился, но, попав в Албанию, я мог благодаря письму лорда Байрона к Али-Паше получить конвой, проехать Ливадию, добраться до Афин, а там сесть в лодку и пуститься, наконец, на Кеос. Мы решились дожидаться в Портсмут отправления «Изиды». Наконец, фрегат вышел в море, через двадцать семь дней после обещания, данного мною матушке, и через восемь месяцев с тех пор, как я покинул остров Кеос. Что говорить: я был уверен в Фатинице, как она во мне, и теперь ехал, чтобы уже никогда с нею не расставаться.

В этот раз погода тоже чрезвычайно мне благоприятствовала. Через десять дней по выходе из Портсмута мы были уже в Гибралтаре и останавливались там только для того, чтобы запастись водою и отдать депеши. Потом мы тотчас снова пустились в путь, оставили Балеарские острова слева, прошли между Сицилиею и Мальтою и, наконец, увидели Албанию — «страну скал, кормилицу людей бесстрашных и безжалостных, откуда крест изгнан, где возвышаются минареты, где бледное полулунье блестит в долине, посреди кипарисной рощи, окружающей каждый город», — как говорит Байрон.

Мы вышли на берег в Бутрино, и пока спутники мои делали приготовления, чтобы достойным образом явиться к Али-паше, я взял только проводника и тотчас отправился в Янину.

Передо мною были в том самом виде, как описал их поэт, дикие холмы Албании, мрачные скалы сулийские и вершина Пинда, полузакрытая туманами, орошаемая снеговыми ручьями и увенчанная багровыми полосами, которые перемежаются с полосами темного цвета. Редко

были видны следы человеческие, и трудно было представить себе, что приближаешься к главному городу столь могущественного паши; по временам виднелись только уединенные хижины, прилепленные на краю пропасти, или пастух, который, закутавшись в свой белый плащ, сидел на скале, свесив ноги в пропасть, и беззаботно посматривал на свое стадо, которое своей тщедушностью защищалось от воровства. Наконец, мы перебрались через ряд холмов, за которыми скрывается Янина; увидели озеро, на берегах которого сидела некогда Додона и в котором отражались вершины пророчесственных дубов; мы следовали глазами за течением Арты, древнего Ахерона, который прячется в крутых холмах своих.

Странный человек, к которому я ехал, жил на берегах этой реки, посвященной мертвым. Али-Тебелени-Вели-Заде было в то время семьдесят два года. Отец его Вели-Бей сжег двух своих братьев, Салика и Мехмета, и через это сделался первым агою города Тебелени; мать Хамко была дочерью одного конийского бея. Он провел первые годы своей жизни в тюрьме и в нищете, потому что по смерти его отца племена, окружающие Тебелени, боясь предприимчивого духа Хамко более, нежели боялись жестокости Вели, завлекли ее в засаду, и там старшина Кормово нанес ей в присутствии детей ее гнусное оскорбление и потом заключил с Али и Хаиницею в тюрьму Кардики, оттуда они вышли тогда уже, когда один грек из Аргиро-Кастропа по имени Маликоро заплатил за них 22800 пиастров выкупа, не воображая себе, что освободил тигрицу с детенышами.

Много лет прошло с тех пор и до того времени, когда Хамко умерла, но в сердце ее сохранилась ненависть столь живая, как будто она только накануне родилась в ней. Намереваясь сделать сыну некоторые поручения, она посылала к нему курьера за курьером, чтобы он приехал выслушать ее последнюю волю; но смерть, которая скачет на крылатом коне, неслась скорее их всех; и Хамко, убедившись, что надобно отказаться от счастья видеть любимого сына, сообщила последний завет свой Хаинице, которая на коленях поклялась исполнить его. Тогда Хамко, собрав последние силы, приподнялась на постели, призывая в свидетели небеса, что выйдет из могилы проклинать детей своих, если они не исполнят ее предсмертной воли; но, истощенная этим последним усилием, она тут же умерла.

Через час после этого приехал Али; сестра его еще стояла на коленях подле трупа. Он бросился к постели, думая, что Хамко еще жива, но, видя, что ее уже нет на свете, спросил, не поручила ли она ему чего-нибудь.

— Да, — отвечала Хаиница, — она приказала истребить до последнего жителя Кормово и Кардики, у которых мы были в неволе, и обещала нам свое проклятие, если мы не исполним ее воли.

— Покойся в мире, матушка, — сказал Али, протягивая руку над трупом матери, — все будет сделано, как ты приказала.

Одно из этих поручений было вскоре исполнено: Али атаковал Кормово ночью, врасплох, и перебил мужчин, женщин, стариков, детей, всех жителей, за исключением только немногих, которым удалось убежать в горы. Примаса, который оскорбил Хамко, посадили на копье, рвали раскаленными щипцами и сожгли медленным огнем между двумя кострами.

Прошло тридцать лет, и Али все возвышался могуществом, почестями, богатством. Тридцать лет он, казалось, не вспоминал своей клятвы, и разрушенный Гоморр ждал развалин Содомы. В эти тридцать лет Хаиница не раз напоминала брату о его клятве; но он всегда, нахмутив брови, отвечал: — Подожди, все будет в свое время. — И обращаясь в другую сторону, производил другие убийства, другие пожары.

Посреди этого мнимого забвения материнской мести Янина вдруг пробудилась от криков женщины. Аден-Бей, последний сын Хаиницы, умер, и мать, как безумная, в разодранных платьях, с растрепанными волосами, с пеною у рта бегала по улицам и требовала, чтобы ей выдали врачей, которые не спасли ее сына. В минуту все лавки были заперты и повсюду распространились страх и уныние. Хаиница хотела броситься в колодезь гарема, но ее удержали; она вырвалась и бежит к озеру, но и тут ее останавливают. Видя, что ей не дадут умертвить себя, она возвращается во дворец, разбивает молотком свои бриллианты и другие драгоценные камни, бросает в огонь свои шали и меха, клянется целый год не призывать имени пророка, запрещает своим служанкам поститься в рамазан, бьет и выгоняет из своего дворца дервишей, остригает гривы у коней своего сына, приказывает вынести диваны и подушки и ложится на рогоже, разостланной на

полу. Потом она вдруг вскакивает: ей пришла в голову страшная мысль: причиною смерти ее сына — проклятие неотмщенной матери; Аден-Бея нет уже на свете потому, что Кардики еще существуют.

Она бежит к Али-паше, проникает в гарем и находит его там: он подписывает капитуляцию, заключенную с кардикиотами. Окруженные со всех сторон в своих орлиных гнездах, они не сдались без условий. В этой капитуляции было постановлено, что семьдесят два бея, начальника знаменитейших скипетарских Фаресов и все магометанского исповедания, приедут добровольно в Янину, где им окажут почести, приличные их званию; что семейства их будут наслаждаться безопасностью, и все без исключения жители Кардики будут почитаемы вернейшими друзьями визиря; что все прошедшее предается забвению, и Али-паша признается повелителем города, который он принимает под свое особенное покровительство. Али только что поклялся на коране свято исполнять все эти условия и приложил к ним печать свою, как Хаиница вбежала в комнату, крича:

— Будь ты проклят, Али! Ты причина смерти моего сына, потому что ты не исполнил клятвы, которую мы дали покойной матери; я не стану называть тебя ни визирем, ни братом, пока Кардики не будет разрушен, и жители его не истреблены Женщин отдай мне и позволь мне делать, что я хочу: я буду спать на матрасе из их волос! Но нет, ты, как женщина, забыл свою клятву, а я ее помню.

Али не мешал ей говорить, а потом, когда она замолчала, он показал ей капитуляцию, которую только что подписал. Хаиница заревела от радости: она знала, как брат ее исполняет договоры с неприятелями, она поняла, что город живой достанется ей на растерзание, и с улыбкою на устах возвратилась во дворец свой.

Через неделю после этого Али-паша объявил, что он сам отправляется в Кардики, чтобы восстановить там порядок, учредить суд и полицию для защиты лиц и собственности жителей.

Я приехал накануне его отъезда; тотчас отправил к нему письмо лорда Байрона и в тот же вечер получил уведомление, что он примет меня на другой день.

С самого утра войска начали выступать, везя с собою страшную артиллерию англичан; она состояла из горных

единорогов, гаубиц и конгревовых ракет: это были задатки от англичан за будущие услуги.

В назначенное время я отправился в жилище Али-Тебелени — дворец внутри, крепость снаружи. Я уже издали слышал жужжание этого каменного улья, вокруг которого носились на конях посланные, развозившие приказания; большой двор походил на огромный караван-сарай, куда съехались путешественники из всех восточных стран. Всего более было албанцев, которые в своих богатых костюмах, в фустанеллах белых, как снега Пинда, куртках и камзолах бархатных, алых, узорчато обшитых галунами, в своих шитых кушаках, из-за которых выставлялся целый арсенал кинжалов и пистолетов, казались князьями; тут были и дели в своих высоких, остроконечных шапках, и турки в широких шубах и чалмах, и македонцы с алыми перевязями, и черные, как смоль, нубийцы; все эти люди беспечно играли или курили и только по временам, слыша топот коней под сводами, поднимали голову и глядели на посланных, которые отправлялись с какими-нибудь кровавыми повелениями.

Второй внутренний двор имел вид, если можно так сказать, более домашний: пажи, евнухи и невольники занимались каждый своим делом, не обращая внимания на десяток свежих голов, воткнутых на пики, по которым текла еще кровь, и на другие головы, штук пятьдесят, уже не столь свежие, которые лежали по углам кучами, как ядра в арсенале. Я пробрался между этими кровавыми трофеями и вошел во дворец. Два пажа встретили меня у дверей и взяли из рук носильщиков подарки, которые я привез паше: пару пистолетов и прскрасный штуцер, весь в золоте, от лучшего в Лондоне оружейника; потом они ввели меня в большую великолепно убранную комнату и оставили тут одного, а сами, как видно, пошли представить Али-Тебелени мои подарки, с которыми; вероятно, будет сообразоваться и прием его.

Через несколько минут двери снова отворились, и секретарь паши пришел спросить меня о здоровье. Подарки расположили Али-Тебелени в мою пользу.

Секретарь пошел вперед и провёл меня по целому ряду комнат, убранных с неслыханным великолепием. Диваны были покрыты прекраснейшими индийскими и персидскими тканями, стены увешаны богатым оружием, а на деревянных полках, расположенных как в каком-нибудь бонд-стритском магазине, стояли китайские и японские

вазы и севрский фарфор. Наконец, в конце коридора, обитого кашемиром, поднялся занавес из золотой парчи, и я увидел Али-Тebelени. Он сидел, задумавшись; на нем был алый плащ, красные бархатные сапоги; пальцы его унизаны камнями и перстнями, и он опирался одною рукою на вороненую секиру. Секретарь, который привел меня, подошел к нему, сложил руки на грудь, поклонился почти до земли и сказал, что я тот англичанин, которого прислал к нему благородный сын его, лорд Байрон, и который привез ему подарки. Лицо Али, которому длинная седая борода придавала удивительную важность, приняло неизъяснимое выражение кротости; он сделал знак драгоману и секретарю, чтобы они удалились, и сказал на франкском наречии, что было уже большою милостью, потому что обыкновенно Али-Тebelени говорил только по-турецки или по-гречески:

— Очень рад тебе, сын мой; я всей душою люблю твоего брата, лорда Байрона; люблю и вашу землю; Англия моя верная союзница, она присылает мне оружие и доброго пороха, а Франция только совсты да представления.

Я поклонился.

— Ласковый присм твой, — сказал я, — придаст мне смелость попросить тебя об одной милости.

— Какой это? — спросил Али, и чело его подернулось легким облаком беспокойства.

— Мне нужно быть как можно скорее в Архипелаге, а для этого надобно просесть всю Грецию; царь в Греции не султан Махмуд, а ты; так сделай милость, дай мне пропуск и конвой.

Лицо Али прояснилось.

— Сын мой получит все, чего ни пожелает; но он ехал ко мне так далеко, рекомендован мне таким знатным господином и привез мне такие прекрасные подарки, что нельзя же ему уехать, не погостив у меня хоть немножко; сын мой поедет со мною в Кардики.

— Я уже говорил тебе, паша, — сказал я, — что мне крайне нужно как можно скорее быть в Архипелаге, и ты можешь поступить со мною великодушнее, чем царь, который отдал бы мне все свои сокровища: не держи меня; дай мне конвой и пропуск.

— Нет, — сказал Али, — сын мой поедет со мною в Кардики и потом, через неделю, может ехать куда ему угодно; я дам ему казначейский пропуск и капитанский

конвой; но пусть сын мой посмотрит, как Али через шестьдесят шесть лет исполняет обещание, которое дал матери на смертном одре ее. Га! Попались они мне, гнусные твари! — вскричал он вдруг, схватившись за свой топор с силою и живостью молодого человека. — Теперь они в моих руках, и я истреблю, истерзаю их всех до последнего!

— Но, — отвечал я, — ты, говорят, недавно уверял французского консула, что раскаиваешься в прежних своих жестокостях и вперед намерен быть милостивым.

— Тогда гром гремел, — отвечал Али.

### XXXIII.

Желание паши было приказанием; и так как ему пора уже было ехать, то мы сошли на первый двор. Как только мы появились, один цыган бросился с крыши, закричав:

— На мою голову несчастие моего господина!

Я вскрикнул и с ужасом оглянулся, думая, что этот несчастный упал ненарочно; но Али вывел меня из заблуждения: это был невольник, который решился пожертвовать собою ради своего господина!

Али послал пажей спросить, до смерти ли убится цыган; он только переломил себе обе ноги, но был еще жив. Али назначил ему по смерти по два пара в день и продолжал путь свой, ни разу уже не вспомнив об изувеченном.

На втором дворе стояла коляска паши; Али не сел, а лег в ней. У ног его сидел маленький негр и поддерживал чубук наргилэ. Мне подвели прекрасного коня в богатой сбруе из золота и бархата. Паша назначил его мне взамен моих подарков.

Татары верхами составляли авангард; албанцы шли по обеим сторонам коляски; дели и турки замыкали шествие, и мы проехали таким образом через всю Янину. На половине пути от дворца до ворот была глубокая колея; один грек, который шел подле коляски, бросился в это углубление и завалил его своим телом, чтоб пашу не трянуло. Я думал, что он поскользнулся и бросился было к нему на помощь, но два албанца удержали меня, и колесо прокатилось по его груди. Я был уверен, что его раздавило; но он вскочил, крича: — Слава и долголетие нашему повелителю, великому Али! — И великий Али

велел выдавать ему, как и его товарищу цыгану, по оку хлеба в день.

У ворот красовалась новая выставка голов. Одна из них была, как видно, недавно отрублена, и кровь медленно капала на плечо женщины, которая сидела у подножия столба. Эта несчастная была почти нагая и прикрывалась только своими длинными волосами; она сидела, положив лицо на колени, а руки на голову. У ног ее валялись два ребенка, по-видимому, близнецы. Несмотря на шум нашего поезда, она даже не взглянула на нас, так глубоко было ее горе, так чужд был ей весь мир. Али посмотрел на нее с совершенным равнодушием, как будто на суку с щенятами.

Мы поехали сначала в Либаово: там жила Хаиница, с нетерпением ожидая дня мести. Мы остановились во дворце. Траура уже и следов не было; комнаты, которые были, по смерти ее сына, обтянуты черным, снова блистали великолепием, и Хаиница жила пышно, как в те дни, когда еще была счастливою матерью.

По случаю нашего прибытия был богатый пир; за обедом Хаиница с братом поделились: Али взял на свою долю мужчин, Хаинице достались женщины; потом мы отправились в Хендрию.

Хендрия расположена на вершине скалы, как орлиное гнездо; она выстроена на правом берегу Келидна, господствует над всею Дринополийскою долиною, и с высоких зубчатых стен ее виднелся весь Кардики, и его беленькие домики посреди темно-зеленых маслин казались стаею лебедей, которая, утомившись воздушным путешествием, спустилась на скалу. Далее простираются дефилеи антигонийские, Мурсина и вся земля Аргиренская.

Али остановился там, ожидая добычи, как хищная птица на маковке дерева; туда призвал он на свой кровавый суд злополучное племя, которое уже две тысячи пятьсот лет жило посреди скал Акрокераунских. В самый день нашего прибытия герольды прошли через долину Дринополийскую и взобрались в Кардики; им поручено было объявить от имени паши всепрощение и приказать всем жителям мужского пола, с десяти до восьмидесяти лет, явиться в Хендрию, где его светлость правитель Албании сам заверит их в безопасности лиц и имущества кардикиотов.

Между тем, несмотря на клятву, в которой Али клялся всем, что есть святого, сердца несчастных жителей



Кардики исполнились трепетным беспокойством. По щедрости обещаний они догадывались, что Али не хотел сдержать своего слова. Сам Али-Тебелени сомневался, чтобы они ему поверили. Он велел раскинуть на самой высокой башне намет, снести туда подушек и, сидя там, как орел на вершине скалы, устремил взоры на город, ждал с нетерпением и перебирал в руках свои жемчужные четки. Наконец, он вскрикнул от радости, увидев голову колонны, которая выступала из ворот. Хотя он звал одних мужчин, однако ж с ними были и женщины; им не хотелось расстаться с родными, потому что все, и мужчины и женщины, предчувствовали какое-нибудь ужасное бедствие. Шагах в тысяче от города эти люди, которые две тысячи пятьсот лет никем побеждены не были, положили наземь свое оружие и вместе с тем отпустили своих жен и детей, как будто чувствуя, что уже не в состоянии защищать их. Хотя Али был далеко от них, однако видел или, лучше, угадывал их отчаяние; он не боялся уже, что они ускользнут из его рук, и с этой минуты лицо его приняло выражение спокойствия и ясности, которое придавало ему красоту, необыкновенную даже на Востоке. Наконец, мужья, отцы расстались с женами и детьми; потом мужчины, продолжая путь свой, перебрались через Келидн, разлившийся от дождей, оглянулись еще раз на Кардики, где умерли отцы их, где родились дети, и углубились в извилистый проход, ведущий в Хендрику. Солдаты погнали женщин и детей, как стадо овец, назад в осиротевший город и заперли за собою ворота, как двери тюрьмы.

Али жадно следил взглядом за этой длинной колонною, которая приближалась к нему, извиваясь по изгибам рытвины, и своими вышитыми золотом платьями блестела на солнце, как змея чешуями. Чем ближе подходила колонна, тем более лицо Али принимало выражение удивительной кротости. Старался ли он обмануть их, или радость при виде наступающей мести придавала лицу его такое обаятельное выражение? Этого не мог решить человек, который видел его в первый раз; но так оно было; и, не привыкнув еще к глубокому восточному притворству, я думал, что паша оставил убийственные намерения, с которыми отправился в путь. Наконец, видя, что голова колонны кардикиотов уже приближается к крепости, он пошел к ним навстречу до самых ворот; за ним следовали Омер, ревностный безответный исполнитель всех его

велений, и четыре тысячи солдат в блестящем вооружении. Старшие из кардикиотов выступили вперед и, кланяясь до земли, просили помилования себе, женам, детям, городу; называли Али-Тебелени своим повелителем, отцом и просили пощады именем его детей, жен, матери. Али как будто хотел дать мне полный урок в ужасной восточной фальши, по поводу которой Макиавелли говорил, что политике можно научиться только в Константинополе; слезы навернулись у него на глазах; он милостиво поднял просителей, называл их братьями, детьми, возлюбленными своей памяти; взоры его погружались в толпу, и он узнавал там прежних своих товарищей и в битвах, и в забавах, подзывал их к себе, ласкал, пожимал им руки, расспрашивал, какие старики с тех пор умерли, у кого родились дети. Одним он обещал места, другим содержание, третьим пенсии, четвертым чины; нескольких молодых людей из знатных фамилий назначил в янинскую школу; потом отпустил их как бы нехотя, но снова подозвал, как будто не мог расстаться с ними и, наконец, в заключение этой странной, жестокой комедии сказал, чтобы они шли в ближний караван-сарай, прибавив, что он сам вслед за ними туда будет и начнет исполнять свои обещания.

Кардикиоты, успокоенные неожиданными ласками паши и его милостивыми уверениями, пошли в караван-сарай, выстроенный на равнине недалеко от стен крепости. Али смотрел им вслед; по мере их удаления лицо его принимало выражение смертельной свирепости; потом, когда они, робкие, безоружные, вошли в караван-сарай, Али вскрикнул от радости, захопал в ладоши, велел подать паланкин, сел, и верные валахи понесли его с горы на равнину, а он в своем нетерпении понуждал их, как лошадей. Внизу приготовлен был род подвижного трона: высокий экипаж, в котором лежал матрас, покрытый бархатом и золотой парчою; он сел, и стражи, не зная, куда он ведет их, понеслись за ним в галоп. Подъехав к караван-сарая, Али остановился, поднялся на своих подушках, окинул взором всю внутренность караван-сарая, где кардикиоты были заперты, как стадо, ожидающее мясника; потом, ударив по лошадям, он два раза обскакал вокруг всей стены, страшнее, неумолимее Ахиллеса перед Троей, и, уверившись, что ни один из них вырваться не может, вскочил на ноги, взвел курок своего карабина,

закричал: «Бей!» и выстрелил наудачу в толпу, подавая сигнал к убийству.

Выстрел раздался; один из толпы упал, и дым легким облачком взвился к небу. Но стражи стояли неподвижно, в первый раз ослушиваясь повелений своего господина; а несчастные кардикиоты, поняв, наконец, какой жребий паша судил им, взволновались в стенах.

Али подумал, что верные чоадары не слышали или не поняли его приказания, и повторил громовым голосом: Врас! Врас (Бсей, бей); но откликом на это был один только трепетный стон заключенных, а стражи, побросав оружие, объявили через своего начальника, что магометане не могут обогреть рук кровью магометан. Али поглядел на Омера с таким удивлением, что тот испугался и, как безумный, побежал по рядам стражей, повторяя приказание паши; но никто не повиновался, и, напротив, многие голоса произнесли слово помилование!

Али с ужасным взглядом махнул рукою, чтобы они ушли; чоадары повиновались, оставив оружие свое на месте. Паша подозвал к себе черных христиан, которые были у него на службе и которых называли таким образом оттого, что они носили короткие темного цвета мантии. Они медленно подошли и заняли места стражей. Али вскричал: «Вам, храбрые латинцы, предоставляю честь истребить врагов вашей религии; разите во имя креста! Бей!, бей!»

Долгое молчание последовало за этими словами; потом послышался глухой ропот, подобный гулу волн морских; наконец, раздался один голос, но громкий, твердый, без малейшего признака страха. Командир вспомогательного корпуса латинцев Андрей Гоццолури сказал:

— Мы не палачи, а солдаты; разве мы когда-нибудь бежали от неприятеля, разве мы чем-нибудь опозорили себя, что ты хочешь сделать нас низкими убийцами? Спроси скодрийских гокков, визирь Али, спроси начальника красного знамени, боялись ли мы смерти? Возврати кардикиотам их оружие, вели им выйти в поле или обороняться в городе и тогда командуй: ты увидишь, что мы готовы тебе повиноваться. Но на безоружных мы рук не поднимем: безоружный — брат нам, будь он хоть и неверный.

Али взревел, как лев. Одному ему невозможно было перестрелять из своих рук всех кардикиотов, иначе он не уступил бы этого никому; он посматривал вокруг себя,

ища кому бы поручить убийство. Тут подошел к нему один грек, простерся у подножия его трона, поцеловал землю и, подняв голову, как змея, сказал ему снизу: — Позволь мне сослужить тебе службу, великий визирь: прикажи — и враги твои погибнут!

Али вскрикнул от радости, назвал его своим спасителем, братом, бросил ему кошелек, отдал свой карабин, как знак начальства, и велел ему поторопиться, чтобы восполнить потерянное время.

Афанасий Ваиа созвал прислужников, которые следовали за армией, набрал таким образом человек полтора ста и окружил караван-сарай. Али подал сигнал, взмахнув секирой, и в ту же минуту сто человек, которые взошли на стены, выстрелили, отбросили ружья, взяли другие, поданные теми, которые стояли внизу, и сделали еще залп, за которым вскоре последовал третий. Те из семисот кардикиотов, которые были еще на ногах, пытались избавиться от смерти. Одни бросились к воротам, чтобы их выломать, но ворота были завалены; другие, как ягуары, скакали на стены; но оружия у них не было, а убийцы, сидя на стенах, начали работать кинжалами, ятаганами и топорами. Отбитые со всех сторон, пленники опять столпились на середине. Али взмахнул топором, и выстрелы загревели снова. Это была уже как бы охота в цирке; несчастные старались избавиться бегством от смертоносных пуль, которые их преследовали. Убийство продолжалось четыре часа. Наконец, из всех тех, которые, полагаясь на обещания и клятвы, вышли поутру из города, не уцелел ни один, и третье поколение кардикиотов, все без исключения, погибло за преступление, совершенное шестьдесят лет назад их предками.

По окончании убийства на склоне горы появились жены, матери, дочери несчастных жертв: они, как привидения, тянулись длинною вереницею. По уговору Али с сестрою их вели в Либаово; они заламывали руки, рвали волосы: несчастные слышали пальбу и догадались, что это такое. Вскоре они вступили в мрачную, извилистую долину, которая ведет из Хендрии в Либаово, и исчезли одна за другою, как тени, которые уходят в ад.

Я вынужден был присутствовать при этом ужасном убийстве и не в состоянии был ничего сделать в пользу осужденных; я даже и не пытался просить за них: ясно было, что они давно уже приговорены к смерти волею непреклонною, неумолимою. Но когда все было кончено,

когда Али, видя, что все враги его погибли, вздохнул свободно, я подошел к нему, бледный, как те, которые лежали перед нами, и просил, чтобы он дал мне обещанные пропуск и конвой; но он отвечал, что печать его осталась в Янине, и что он оттуда только может отпустить меня. Отвечать было нечего: ключ от двери, которая вела к Фатинице, был в руках этого человека, а я решился во что бы то ни стало соединиться с нею, хоть бы для этого пришлось, как Данту, пройти через ад.

Убийцы слезли в караван-сарай, попытали тела кинжалами и добили всех, кто еще дышал. Али велел отобрать трупы начальников, связать их, как плоты, которые у нас сплавляют по рекам, и бросить в Келидн, чтобы, пройдя оттуда в реку Лаой, они пронесли от Тебелина до Аполлонии весть о новой, страшной его мести; прочие велел оставить в караван-сараяе и отпереть ворота, чтобы тела сделались добычею волков и шакалов, которые, почуяв запах крови, уже завывали в горах.

Под вечер мы пустились в путь: шествие наше было безмолвно, как похороны; чоадары и черные христиане в знак траура несли ружья свои дулом вниз; сам Али, как лев, упившийся кровью, отдыхал, лежа в паланкине, который несли на плечах его валахи. Ночь была темная; вдруг при повороте за гору мы увидели сильный свет и услышали страшные крики: это после пира льва потешалась львица; Али окончил свое дело, Хаиница начала свою работу.

Мы продолжали свой путь. Огромный костер, разложенный перед воротами Либаово, служил нам маяком, и мы видели, как тени, которые волновались в светлом кругу, расходились от него. Али не велел ни поторопиться, ни идти тише: после утреннего зрелища, это ему уже не казалось заманчивым; наконец, мы стали различать, что там происходило.

Женщин подводили по четыре к Хаинице; она срывала с них покрывала, приказывала остричь им волосы, обрезать платье выше колен и предавала их солдатам, которые увлекали несчастных, как добычу.

Али остановился перед этим зрелищем, сестра увидела его и привествовала не словами, а бешеными криками; она казалась Эвменидою. Я не в состоянии был выдержать этого зрелища и заставил лошадь свою попятиться на несколько шагов. В эту минуту в толпе женщин раздался громкий крик, и одна молоденькая девушка, растолкав подруг своих, бросилась ко мне и обняла мои колена:

— Это я, — вскричала она, — я! Разве ты не узнаешь меня? Ты уже однажды спас меня в Константинополе. Погляди на меня, вспомни. О, я не знаю твоего имени, но меня зовут Василики.

— Василики! — вскричал я. — Василики? Гречанка, которая бросила мне перстень! Да, да, я помню, ты говорила, что будешь жить в Албании.

— О, он вспомнил, вспомнил! Да, это я, я сама. Спаси нас, меня от бесчестия, мать мою от смерти!

— Пойдем со мною; я попытаюсь, — сказал я.

Я подвел ее к Али.

— Паша, — сказал я, — помилуй эту девушку.

— Помилуй, помилуй нас, визирь! — вскричала Василики. — Государь, мы не из этого несчастного города; мы из Стамбула и ничем не заслужили твоего гнева. Государь, я несчастная девушка; прими меня к себе в невольницы, я отдаюсь тебе, спаси только мать мою...

Визирь обернулся к ней; гречанка стояла на коленях; волосы ее были распущены, покрывало развевалось по ветру; она была прекрасна в эту минуту. Али поглядел на нее очень милостиво и протянул к ней руку.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Василики, — отвечала девушка.

— Прекрасное имя: оно значит царица. С этих пор, Василики, ты будешь царицею моего гарема. Приказывай, я сделаю все, что тебе угодно.

— Ты не шутишь, не смеешься надо мною, визирь? — спросила Василики, дрожа всем телом и посматривая то на него, то на меня.

— Нет, нет! — вскричал я. — У Али сердце льва, а не тигра; он мстит тем, которые его оскорбили, но щадит невинных. Визирь, эта девушка не из Кардики; года два назад я освободил ее в Константинополе; не отказывайся от своих слов.

— Что сказано, то сказано; успокойся, Василики, — отвечал паша. — Покажи мне свою мать, и вы будете жить у меня во дворце.

Василики вскочила с радостным криком; побежала опять к толпе женщин и привела свою мать; обе они упали на колени. Али поднял их и сказал мне:

— Сын мой, я поручаю их тебе; ты мне за них отвечаешь; возьми конвой, и чтобы никто не смел их тронуть.

Я все забыл, и страшное зрелище, которое видел утром,

и то, которое было теперь перед моими глазами; схватил руку Али и поцеловал ее; потом взял десять человек стражи и отправился в Либаово, везя с собою Василики и ее мать.

На другой день утром мы поехали в Янину. Когда мы проезжали через площадь, герольд кричал:

— Горе тем, которые дадут убежище, платье или хлеба женщинам, девушкам и детям из Кардики. Хаиница обрекла их скитаться по лесам и горам и достаться в добычу диким зверям. Так Хаиница мстит за мать свою Хамко.

Весть об этой ужасной экспедиции уже разнеслась по всему пути, и каждый, трепеща за самого себя, приветствовал пашу с исполнением праведного суда его. Перед воротами Янины ожидали Али-Тебелени все его невольники, льстецы и придворные; завидев его издали, они огласили воздух восклицаниями, называя его великим, мудрым, правосудным. Али остановился, чтобы отвечать им; но когда он хотел говорить, один дервиш протолкался сквозь толпу и стал прямо против него. Паша затрепетал при виде его бледного, изнуренного лица и протянутой к нему руки.

— Что тебе надобно? — сказал Али.

— Узнаешь ли ты меня? — спросил дервиш.

— Да, ты тот, которого зовут святым из святых; ты шейк Юсуф.

— А ты, — отвечал дервиш, — ты тигр этерский, волк тебелинский, шакал янинский. Ковры, по которым ты ступаешь, обогрены кровью твоих братьев, детей, жены; на каждом шагу ты попираешь могилы существ, созданных по подобию Божию и обвиняющих тебя в своей смерти; и между тем, визирь Али, ты еще не сделал ничего подобного тому, что сделал теперь, даже и тогда, когда ты утопил в озере семнадцать матерей и двадцать шесть детей. Горе тебе, визирь Али: ты поднял руку на мусульман, которые теперь обвиняют тебя у престола Божия! Льстецы славят твое могущество, и ты им веришь; твои невольники говорят тебе, что ты бессмертен, и ты им тоже веришь; горе тебе, визирь Али! Потому что могущество твое разлетится, как прах; горе тебе, потому что дни твои сочтены, и ангел смерти ждет только мановения Божия, чтобы поразить тебя! Вот что я хотел сказать. Горе, горе тебе, визирь Али!

Несколько минут продолжалось страшное молчание, и

все ждали с беспокойством, думая, что наказание будет соразмерно оскорблению. Но Али снял с плеч горностаевую свою шубу и бросил ее на плечи дервишу, сказав:

— Возьми эту шубу и молись за меня Аллаху; ты прав, старик, я точно великий, презренный грешник.

Дервиш стряс шубу с плеч своих, как будто боясь оскверниться прикосновением к ней, обтер об нее ноги и удалился сквозь толпу, которая безмолвно, с трепетом расступилась, чтобы пропустить его...

В тот же вечер Али дал мне обещанный пропуск и конвой, и мы пустились в путь через всю Ливадию.

#### XXXIV

Два албанца из моей свиты, состоявшей всего из пятидесяти человек, провожали лорда Байрона в этом же самом путешествии и очень хорошо помнили дорогу. Мы пустились по тому же самому пути, по которому он ехал, потому что это был ближайший путь; обыкновенно это путешествие оканчивают в двенадцать дней; но албанцы, которые не знают усталости, обещали доставить меня на место в восемь дней. На другой день по выезде мы ночевали уже в Вонеце, то есть прошли в два дня около ста двадцати пяти верст.

Хотя я устал от дороги и думал только об одном, однако взял лодку, чтобы переправиться через залив и побывать в Никополесе. Ветер был благоприятный, и лодочники говорили мне, что мы поспеем туда часа за два; но что назад надобно идти на веслах и, следовательно, подольше. Но я об этом нисколько не беспокоился: в лодке под моим плащом мне все было лучше, чем в жалкой комнате, в которой я оставался.

Побродив по развалинам Никополиса, я лег в лодку и закрылся плащом. Гребцы налегли на весла; лодка полетела по волнам, как запоздавшая морская птица, и мы вскоре прибыли обратно в Вонецу, древний Аквиум.

Тогда было два часа ночи; но, несмотря на усталость, мне не хотелось спать, потому что меня тревожило какое-то странное беспокойство. Я разбудил своих албанцев и спросил, готовы ли они пуститься в путь; вместо ответа они вскочили и собрали свое оружие; мы тотчас пустились в путь, надеясь поспеть в тот же день в Врахури, древний Фермас. Часов через пять после того мы



остановились позавтракать на берегах Ахелоя. Отдохнув часа два, мы переправились через реку в том самом месте, где, по преданию, Геркулес одолел быка, и вступили в Этолию.

Часа в четыре мы снова принуждены были сделать привал: люди мои чрезвычайно утомились; отдохнув часа два, они снова в состоянии были пуститься в путь, и часов в десять мы добрались до деревни Врахори; к несчастью, войти туда было уже нельзя, потому что ворота были заперты, и нам пришлось ночевать в чистом поле. Беда была не велика. Ночь была прекрасная и светлая, хотя уже сентябрь начался; но с нами не было съестных припасов, а после утомительного пути сытный ужин был для нас необходим. Двое из моих албанцев, как серны, бросились к пастушьим хижинам, висевшим на краю пропасти, и через несколько минут воротились: один из них нес горящую сосновую головню, а другой тащил на плече козу. За ними шли пять или шесть человек горцев, они вели еще овцу и несли хлеба и вина. Все тотчас принялись за работу; одни зарезали козу и овцу, другие разложили два огромных костра; третьи нарвали лавровых ветвей, чтобы употребить их вместо вертелов, и через несколько минут овца и коза уже жарились. Горцы помогли нам, и я, заметив, что они с жадностью поглядывают на обильный ужин, который сами нам доставили, пригласил их поесть вместе с нами, и они без церемонии согласились. Я велел раздать им и своим людям несколько мехов с вином. Это произвело свое действие. Горцы в знак благодарности и для препровождения времени принялись плясать. Албанцы мои, несмотря на усталость, не вытерпели, присоединились к ним, и круг, состоявший прежде только из восьми горцев, сделался огромным хороводом, который быстро вертелся вокруг костра. Один из плясунов пел военную песнь, прочие хором повторяли припев. По временам они падали на колени, потом вскакивали и снова начинали кружиться.

Пение и пляска продолжались до тех пор, пока овца и коза спсели. Потом начался ужин, который нам, голодным, показался чрезвычайно вкусным; затем мы все улеглись спать.

На другой день мы продолжали путь свой вдоль цепи Парнаса. Албанцы укаали мне место, где лорд Байрон, как и сам мне рассказывал, спугнул двенадцать орлов, что принял за предзнаменование своей поэтической славы.

Дорожа врзменем, я не решился посетить знаменитый источник, который сообщал дар прорицания, и вечером мы прибыли в Кастри.

Там я простился со своими албанцами, потому что власть Али-Паши далее не простиралась, да притом остальной путь не представлял ни малейшей опасности. Расставаясь с ними, я хотел было дать им щедрую награду; но они не взяли, и начальник конвоя от имени всех своих товарищей сказал мне: «Мы хотим, чтобы ты любил нас, а не платил нам». Я от души обнял его, а всем прочим пожал руки.

В Кастри я взял шестерых провожатых верхами и толмача. Мы пустились опять вдоль цепи Парнаса и в этот день проехали почти сто десять верст. Мы ехали очень скоро, а между тем по мере приближения к цели путешествия сердце мое не радовалось, а напротив, какая-то непостижимая тоска все более и более давила мне грудь. На третий день по выезде из Кастри мы ночевали в Лесине, древнем Элевзине; нам оставался только один день пути до берегов Эгейского моря.

Мы выехали на рассвете и около полудня прибыли в Афины. Думая только о том, что скоро опять увижу Фатиницу, я даже не выходил из своей комнаты. По мере приближения к моей милой любви так сильно разгоралась в моем сердце, что уже ничто не возбуждало во мне любопытства, не привлекало моего внимания. Я думаю, что из всех путешественников я один проехал через Афины, не осмотрев города.

Часов в пять мы достигли цепи гор, которая проходит через всю Аттику с севера на юг, начинается в Марафоне и, постепенно понижаясь, окончивается на краю мыса Сунион. Перед вступлением в ущелье, через которое нам надобно было проезжать, люди мои остановились и, посоветовавшись между собою, объявили, что надо ожидать страшной грозы и теперь опасно углубляться в горы. Они предлагали остановиться в дерсушке, которая была у нас в виду, и там переждать бурю. Само собою разумеется, что это предложение было мне не по душе. Я просил, умолял, наконец, видя, что все мои убеждения тщетны, показал золото, выплатил условленную цену и предложил им вдвое, если они согласятся, не останавливаясь, продолжать путь наш. Я уже имел дело не с гордыми албанцами; люди мои взяли деньги, и мы начали углубляться в мрачное ущелье, которое сделалось еще

темнее оттого, что над нами скопились густые тучи. Но нетерпение мое было так велико, цель путешествия так близка, что огненная стена меня не остановила бы; я знал, что за этой долиной море, а в каких-нибудь двадцати пяти верстах оттуда остров Кеос, с которого я так часто смотрел на берега Аттики, озаренные золотыми лучами заходящего солнца.

Проводники мои не ошиблись. Мы едва только въехали в долину, как молнии начали пробегать по океану туч, который несся над нашими головами, и гром загрохотал по скалам. При каждом ударе люди мои пересматривались между собою, как будто думая, не вернуться ли; но, видя, что я непоколебим в своем намерении, они, видно, постыдились покинуть меня и ехали вперед. Вскоре массы белых паров стали как бы отделяться от облаков и спускаться к земле, зацепляясь огромными обрывками за оконечности скал; потом все эти отдельные волны соединились между собою и образовали море, которое понеслось к нам и вскоре совершенно облекло нас. С этого времени мы уже не знали, где гремит гром, над нашими головами или под ногами у нас, потому что молнии сверкала со всех сторон. Лошади наши ржали и пыхтели, и тут только я начал понимать, что проводники мои не без причины хотели остановиться. Я еще никогда не видел бури в горах; как будто природа, решив показать мне с первого раза все свое величие, выслала одного из своих самых страшных разрушителей.

К несчастью, дорога шла по склону крутой горы и не представляла нам никакого убежища против дождя и грома, который раздавался над нашими головами. Тут проводники вспомнили, что около пяти верст впереди должна быть пещера и пустились в галоп, чтобы успеть туда прежде, нежели гроза вполне разыграется; лошади, пугаясь еще более хозяев своих, понеслись так, как будто хотели обогнать ветер. Я с величайшим трудом удерживал своего коня, который был горячее и лучшей породы, чем другие. Вдруг молния блеснула так близко, что ослепила нас; конь мой взвился на дыбы, и я почувствовал, что если стану его удерживать, он опрокинется со мною в пропасть. Я опустил поводья, кольнул шпорами, и конь мой со страшною быстротою понесся по дороге, которая извивалась перед нами. Я слышал крик провожатых, которые звали меня, хотел удержать лошадь, но было уже поздно; страшный удар грома раздался в эту самую минуту, и она

еще более перепугалась. Я, наверно, исчез с их глаз как будто вихрь унес меня; я летел с такой быстротою, что дух занимался. Словно гений бури дал мне одного из коней своих.

Безумный бег мой продолжался с полчаса. В это время молния несколько раз сверкала, и при голубоватом ее блеске я видел бездонные пропасти, страшным образом освещенные, как иногда видим во сне. Наконец, мне показалось, что лошадь моя бежит уже не по дороге, а скачет по скалам. На всякий случай я вынул ноги из стремян, чтобы можно было соскочить. Только что я принял эту предосторожность, как мне показалось, что конь мой погружается, будто земли под ним не стало. В ту же минуту меня хлестнуло веткою по лицу. Я машинально протянул руку и уцепился за сук. Тут я почувствовал, что лошадь моя одна уже погружается, и повис над пропастью. Через секунду я услышал, как несчастный конь мой стукнулся о скалы.

Дерево, за которое я так кстати ухватился, было фиговое; оно выросло в расщелине скалы. Дороги к нему не было; но, пользуясь неровностями камня, я, двадцать раз подвергаясь опасности полететь в бездну, добрался кое-как до площадки, на которой был почти в безопасности. Избавившись от большей опасности, на другие, не столь важные, уже не обращают и внимания! Я совершенно успокоился, когда увидел, что мне угрожает уже одна только буря.

Я остался на этой площадке, не смея в темноте пробираться далее, потому что при каждом отблеске молнии видел со всех сторон пропасти. Дождь так и лил, гром грохотал беспрерывно, и горное эхо не успевало еще повторить одного удара, как другой уже раздавался над моей головою с грохотом, достойным Юпитера Олимпийского. Уснуть было невозможно, и я старался только как-нибудь укрепиться на своем месте, чтобы не упасть от головокружения. Я прислонился к скале и решил ждать тут, пока буря пройдет.

Ночь тянулась ужасно медленно. Между ударами грома мне слышались ружейные выстрелы, но я мог отвечать на них только криками, потому что pistols мои остались в седле, а крики мои терялись в оглушающем шуме бури.

К утру гроза стихла. Я был совершенно измучен усталостью; немудрено: я почти без отдыха и без сна проехал в неделю с лишком шестьсот верст. Я искал

глазами какого-нибудь уголка, где бы мне можно было поспокойнее поместиться, увидел плоский камень, опустился на него и в ту же минуту, несмотря на то, что промок до костей, заснул, как убитый.

Когда я открыл глаза, мне показалось, что вижу прекрасные сон. Надо мной было ясное небо, передо мною синее море, а вдали, верстах в двадцати пяти от меня, знакомый мне остров Кеос, где ожидали меня Фатиница и блаженство.

Полный сил и мужества я встал, чтобы как-нибудь добраться до берега. Подойдя к краю площадки, я увидел, что лошадь моя, разбившись о скалы, лежит в двухстах футах ниже меня, и потоки уже влекут ее в море. Вздвигнув невольно, я оглянулся в другую сторону и увидел, что дорога, с которой конь мой сбился, идет в тридцати или сорока футах над моей головою, но что с помощью кустиков, которые растут на скале, можно кое-как туда вскарабкаться. Я тотчас принялся за работу, раз двадцать чуть не убился, но, наконец, добрался до дороги. Теперь я был уже спокоен: эта дорога вела к морю.

Я побежал к рыбацким хижинам, стоявшим на берегу. Там нашел я моих людей; они уже думали, что я погиб, но, зная, что пробираюсь к морю, решились подождать меня тут на всякий случай. Их оставалось только четверо: толмач сбился с дороги, и не знали, куда он девался; один из проводников хотел перейти вброд через поток, но вода увлекла его, и он, по всей вероятности, утонул.

Я дал им еще денег и просил рыбаков, чтобы они приготовили лодку с самыми лучшими гребцами. Хозяин непременно хотел, чтобы я позавтракал с ними; но я требовал, чтобы они тотчас дали мне лодку, и минут через пять пришли сказать, что она готова.

Я дал гребцам золотую монету сверх условленной платы, и мы полетели по волнам. Кеоса с этого места было не видно: его совершенно заслонял от меня остров святой Елены, который с площадки, где я провел ночь, казался небольшою скалой; но как только мы обогнули южную его оконечность, Кеос снова явился передо мною. Вскоре я стал различать подробности, которые издали были не видны: деревню, которая полоскою тянулась вокруг порта; потом дом Константина, который казался черною точкою и который так часто представлялся мне в сновидениях; по мере нашего приближения он начинал обрисовываться посреди оливковой рощи; я видел на белых стенах его решет-

ки из сероватого камыша. Наконец, я разглядел и окно, из которого Фатиница приветствовала нас при нашем прибытии и отъезде. Я стал на нос лодки и, вынув платок, начал махать им, как некогда Фатиница махала мне платком; но, видно, она была далеко от окна, потому что решетка не шевелилась и ответа не было. Я, однако же, все стоял на носу лодки, хотя мертвенность, заметная во всем доме, начинала меня беспокоить; на дороге, которая вела к нему, не было никого; никого также не было видно и около стен: вообще весь дом казался огромною могилою.

Сердце мое сжалось; но я не мог сойти с места; я стоял по-прежнему и машинально помахивал платком. Наконец, мы вошли в порт, и я соскочил на берег. Но тут я остановился; голова у меня кружилась; я не знал, спросить ли мне о Фатинице или прямо бежать в дом. В это самое время я увидел мою знакомку, маленькую гречанку, по-прежнему в моем шелковом платье; но оно было уже в лохмотьях. Я бросился к ней, схватил ее за руку и вскричал:

— Фатиница? Она ждет меня, не правда ли?

— Да, да, она ждет тебя, — отвечала девочка. — Только ты очень запоздал.

— Где же она?

— Я сведу тебя к ней, — сказала девочка и пошла вперед.

Я было пошел за нею, но, видя, что она ведет меня не к дому Константина, остановил ее.

— Куда же ты ведешь меня?

— Туда, где она теперь.

— Да дорога в дом Константина не здесь.

— В доме никого уже нет, — сказала девочка, покачав головою. — Дом пуст, дом пуст: могила полна.

Я затрепетал всем телом, но вспомнил, что эта девочка полоумная.

— А Стефана? — спросил я.

— Вот ее дом, — отвечала девочка, указывая на него рукою.

Я оставил девочку на улице и, не смея идти в дом Константина, побежал к Стефане.

В первой комнате были служанки; я пошел далее, не обращая внимания на их крики; найдя лестницу во второй этаж, где обыкновенно живут женщины, я побежал туда, отворил первую попавшуюся мне дверь и увидел Стефану: она была вся в черном, сидела на полу на «цыновке»; руки ее висели вдоль тела, голова была опущена на колени.

Услышав шум, она подняла голову: слезы ручьями текли из глаз ее. Увидев меня, она вскрикнула и с выражением жесточайшего отчаяния схватилась за волосы.

— Фатиница! Ради Бога, где Фатиница?

Стефана, не говоря ни слова, встала, вынула из-под подушки сверток, запечатанный черным сургучем, и подала его мне.

— Это что? — вскричал я.

— Завещание сестры моей.

Я побледнел, как мертвец; ноги подо мной подкосились; я оперся о стену и повалился на диван; мне казалось, что меня поразило громом.

Когда я опомнился, Стефаны уже не было в комнате; роковой свиток лежал подле меня.

Я развернул его, ожидая ужасов.

Я не ошибся; вот что было в этом свертке. Фатиница писала:

\* \* \*

«Ты покинул меня, милый; я долго следила глазами за кораблем, который увез тебя, и, надеюсь, привезет назад; следила до тех пор, пока он не исчез вдаль. Я видела: ты все время не спускал с меня глаз. Благодарю тебя.

Да, ты меня любишь; да, я вполне могу положиться на тебя. О, слово твое неизменно, да и чему бы на земле верить, если б обман мог, подобно Юпитеру, принимать вид белого лебедя с сладостным пением.

Я осталась одна; не боясь уже подозрений, я спросила бумаги, перьев, чернил и теперь пишу тебе: без воспоминания и надежды разлука была бы хуже тюрьмы.

Я буду писать тебе все, что придет мне в голову: по крайней мере, когда ты вернешься, ты увидишь, что не проходило ни дня, ни минуты, чтобы я о тебе не думала.

Больно мне было расстаться с тобою; но я думаю, что потом горе мое еще усилится: ты так недавно покинул меня, что мне еще все не верится, что ты уехал; все еще здесь полно тобою: а солнце еще не закатилось, пока отблеск лучей его заметен на земле.

Мое солнце — ты; жизнь моя не цвела, пока ты не появился на моем горизонте; при твоём свете распустились мои три прекраснейшие цветка: вера, любовь и надежда.

Знаешь ли, кто меня немножко развлекает без тебя? Наша милая посланница. Она садится ко мне на стол,

хватается клювом за мое перо, приподнимает крылышко, как будто под ним у ней письмо; она прилетела из твоей комнаты и не видела тебя. Бедняжка не может понять, что это значит!

Мне душно, мой милый; я еще не довольно плакала: слезы давят мне сердце».

\* \* \*

«Стефана пришла навестить твою бедную Фатиницу, и мы проговорили целый день о тебе. Она счастлива, но по мне мое горе лучше ее блаженства; она, как у нас водится, до свадьбы не видела своего мужа ни разу, а потом привязалась к нему потому, что он молод и добр и теперь любит его, как брата.

Можно ли этак любить? Она любит как брата человека, которому отдалась на всю жизнь! Я не знаю, что было бы со мною, если б я хоть один день любила тебя так, как люблю Фортуната; мне кажется, в этот день сердце мое не билось бы. О! Я не так люблю тебя; а люблю тебя душою, сердцем, телом, люблю, как пчела любит цветы, то есть живу тобою и без тебя не могла бы жить.

Ты не знаешь, что мне Стефана сказала. Что франкам нельзя верить, что они несколько не дорожат своим словом, и что ты, верно, и не думаешь воротиться к нам. Бедная Стефана! Не сердись на нее, мой милый: она не знает тебя так, как я знаю; она не знает, что я скорее стану сомневаться в том, что днем светло, чем в тебе.

Стефана уходит: муж за нею прислал.

Когда ты будешь моим мужем, я не стану уходить от тебя ни на минуту, ни на секунду; тебе не придется посылать за мною, потому что я всегда буду с тобой».

\* \* \*

«Я ходила в обычное время в сад; три дня назад я была уверена, что ты уже там. Отчего же я нынче тебя не видела? Ах!.. Ты уехал.

Все цветы мои по-прежнему улыбались мне и наполняли сад своим благоуханием; я сделала из них букет, который значит: Люблю и жду тебя. И, как обыкновенно, бросила его за угол стены. Но тебя уже не было; ты не мог поднять его и сказать мне в ответ поцелуями: Я здесь и люблю тебя.



Целый вечер до полуночи просидела я в нашей жасминной беседке. Три дня назад это был храм любви и блаженства; теперь в нем нет другого божества, кроме воспоминания.

Прощай; пойду спать, чтобы увидеть тебя во сне».

\* \* \*

«Я видела страшные сны, мой милый, а ты мне не являлся. Боже мой! Неужели же мне тебя не видеть ни наяву, ни во сне. Мне снился Константинополь, пожар в нашем доме, умирающая мать, все страшные сны. Неужели же с меня не довольно одной действительной горести?

С утра велела я оседлать Претли, закуталась в покрывала, гуще облаков, которыми сегодня заволокло солнце, и поехала в грот. Эта часть нашего острова тоже говорит мне о тебе: и ручей, который журчит в глубине долины, и милые, красные цветки, которые растут по дороге, и которые ты называл мне по именам, и листья деревьев, которые жалуются ветру на то, что нынче такой пасмурный, облачный день. Приехав к гроту, я пустила Претли гулять, а сама уселась читать поэму «Гробницы», которую уже столько раз читала. Не странно ли, что я в этой книге нашла первый залог твоей любви, ветку дрока, милую эмблему рождающейся, робкой надежды? Эта ветка завяла в книге, а теперь сохнет у меня на сердце.

Если я умру, когда ты ко мне вернешься, я бы хотела, чтобы меня похоронили перед этим гротом; ты не даром любил это место; оно, точно, прекрасно; особенно есть здесь один прелестный вид на море: право, как будто вид рая.

Что за странная мысль пришла мне в голову. Умереть! Зачем же мне умирать?

Когда ты вернешься, мы вместе посмеемся над этими и над многими другими мрачными мыслями.

Знаешь ли, что я сделала? Я раскрыла свою книгу на том самом месте, где она была раскрыта, когда ты нашел ее; положила туда ветку дрока, точно такую же, как ты; потом сделала большой круг и пришла в грот по той же самой дороге, по которой шла, когда увидела ее тут.

Досадно мне только, что эта книга называется «Гробницы».

\* \* \*

«Я, право, поссорюсь с Стефаною. Она сейчас была у меня и, увидев, что я плачу, сказала, что это очень глупо, что ты теперь, верно, на фелуке поешь с матросами какую-нибудь веселую песню. О! Это неправда, я уверена. Если ты теперь не плачешь, потому что ты мужчина (однако ж, я видела, как ты плакал, и эти слезы для меня драгоценнее жемчуга), то по крайней мере ты печален, не правда ли? И не поешь никакой песни, кроме разве своей меланхолической сицилийской песни, одной, которую я позволяю тебе петь?»

В то время, как я писала эти строки, на моих гусях лопнула струна. Говорят, что это недобрый знак; но, я помню, ты говорил мне, что не должно верить ни снам, ни предвещаниям.

Я ничему этому не верю, а верю только тебе, мой повелитель, творец моего нового бытия...»

\* \* \*

«О, я не смею сказать тебе, что боюсь и надеюсь, мой милый, потому что это было бы вместе и большой радостью и большим несчастьем для меня.

Я люблю только две вещи на свете, разумеется, кроме тебя: цветы мои и моих горлиц. Стефану я ненавижу.

Горлицы мои любятя, это я знала; но я и не воображала себе, что цветы мои тоже любятя; иные из них и растут, и цветут лучше, когда они подле некоторых других; а если приблизить их к другим цветам, которые им не нравятся, они начинают вянуть и сохнуть. Так, видно, у цветков, как и у людей, любовь — жизнь, а равнодушье — смерть.

О, если б ты был со мною, ты увидел бы, как пониклая голова моя снова приподнялась, и как бледные щеки мои покрылись бы ярким румянцем.

Но я думаю, что кроме разлуки с тобою, есть еще и другая причина, по которой я хуюе и бледнею: я скажу тебе ее, когда узнаю навсрное».

\* \* \*

«У нас, майнотов, есть страшный обычай.

Один путешественник спрашивал моего прадедушку,

Никиту Софианоса, чем потомки спартанцев наказывают обольстителя?

Его принуждают, — отвечал прадедушка, — дать семейству обольщенной быка, такого большого, чтобы он мог пить в Евротасе, стоя задними ногами за Мессенией.

Да таких быков не бывает, сказал путешественник.

Зато у нас не бывает ни обольстителей, ни обольщенных, отвечал прадедушка.

Вот что говорил мой прадедушка; но с тех пор времена переменялись, и народ придумал страшное наказание за это преступление, которого предки наши не знали.

Если виновный тут, братья несчастной идут к нему, и он должен или загладить вину свою, или драться с ними. Начинает старший; если убьют, дерется второй, потом третий, до последнего, а после братьев отец.

Потом мщение завещается дядям, двоюродным братьям, и все они дерутся, пока виновный не будет убит.

Если виновник удалился, тогда мщение падает на его сообщницу: отец или старший брат, одним словом, старший в семействе, спрашивает ее, сколько времени ей нужно, чтобы возлюбленный ее возвратился; и она сама назначает полгода, девять месяцев, но не больше года.

После этого все идет прежним порядком; никто не напоминает несчастной об ее проступке и спокойно ждут, чтобы назначенное время наступило.

В этот день старший в семействе спрашивает у несчастной, где ее муж, и если мужа нет, он ее застреливает.

Возвратись же, мой милый, потому что, если не вернешься, ты убьешь не только мсня, но и нашего ребенка».

\* \* \*

«Стсфана говорит, что я день ото дня худею. Нынче утром она советовала мне беречься; она боится, нет ли у меня болезни Апостоли. Она не знает, что теперь я не могу умереть, потому что должна жить за двоих».

\* \* \*

«Где ты теперь, мой милый? Верно, в Смирне. Незнание — одна из причин, по которым разлука так тяжела. Я угадала: чем больше проходит времени, тем я более печалюсь. Мне страшно подумать, что воспомина-

ние, столь живое тотчас после разлуки, изглаживается и затягивается, как рана; правда, после раны остается шрам; но разве нет шрамов, которые со временем совсем проходят?

Разумеется, что это не может касаться меня: здесь все говорит моему сердцу. Куда бы я ни пошла, ты везде бывал; везде еще свежо воспоминание о тебе. Я бы не могла забыть тебя, если б даже хотела, потому что окружена такими воспоминаниями, и если бы моя рана могла затянуться, то любовь осталась бы в ней, и навсегда.

С тобой не то. Кроме нашего острова, я нигде не бывала; никто меня не видал, ничто не напомнит тебе обо мне. А я, прости меня, я так мало знаю, что если бы услышала, где ты живешь, я бы не угадала, в которую сторону мне посылать по ветру свои вздохи и поцелуи.

А это невежество еще усиливает любовь мою. Если бы я была учена, как ты, воображению моему было бы где разгуляться; я бы спрашивала сама себя; какая сила удерживает звезды над моей головою, отчего времена года в определенные сроки возвращаются, чья невидимая рука управляет судьбою царств; и тогда, погрузившись в размышления, стараясь измерить и могущество Божие, и знание людское, я бы, может быть, на минуту и забыла о тебе. К несчастью, у меня нет этого развлечения. Едва сделаю несколько шагов и уже дошла до пределов моего ума, стесненного невежеством, и снова принуждена возвратиться к своему сердцу, исполненному любовью».

\* \* \*

«Боже мой! Боже мой! Ни слуха о тебе, и нет надежды получить какую-нибудь весть. Прошедшее мое светло, настоящее мрачно, будущее черно. И я ничем не могу изменить обстоятельств, от которых зависят жизнь и смерть моя... Ждать! О, как это тяжело!

Я не сомневаюсь в твоей любви, верю твоему слову; знаю, что ты сделаешь все, что человечески возможно, чтобы только возвратиться ко мне. Но судьба сильнее человеческой воли. Мне хотелось бы лететь к тебе, а я принуждена жить здесь. Бывают минуты, когда мне хотелось бы умереть, чтобы душа моя освободилась от оболочки тела».

\* \* \*

«О, теперь я точно больна, мой милый; меня мучит лихорадка, и я беспрестанно перехожу от ужасного волнения к смертельному унынию. Я думала, что могу писать к тебе всякий день и поверять тебе каждую мысль моего сердца; но они скоро истощились. Что нового могу я сказать тебе? Я все уже высказала. Люблю тебя, люблю, люблю!..

Чтобы выразить все мысли, которые занимали меня целый день, мне стоит только вечером написать одно это слово».

\* \* \*

«Нет более сомнения! Живое существо трепещет у меня под сердцем; я сейчас это почувствовала и возвращаюсь к письму моему, чтобы сказать тебе: мы оба тебя любим.

О, не забудь этого: теперь я не одна, теперь ты не для меня одной должен вернуться. Между нами есть нечто священнее нашей любви: наш ребенок.

Я плачу, мой милый. От радости или от страха? Нужды нет; по крайней мере я могу снова плакать, а слезы облегчают меня».

\* \* \*

«Сегодня три месяца, как ты меня покинул; три месяца день в день, и во все это время не прошло ни минуты, когда бы я о тебе не думала.

Поспешి вернуться, мой милый, ты не узнаешь своей Фатиницы: так она стала слаба и бледна».

\* \* \*

«Богу известно, что я была доброй дочерью, доброй сестрою, и что во время опасных поездок моего отца и брата не проходило дня, чтобы я за них не молилась. Послушай же, и не вини меня в этом: с тех пор, как вы вместе уехали, мне кажется, я трех раз об них не подумала, а между тем ведь они подвергаются опасностям: для них море готовит бури, битвы готовят раны, правосудие людское — казни.

Боже мой! Прости, что я не думаю больше об отце и

брате; прости, что я думаю только об одном моем возлюбленном.

О, как бы мне хотелось погрузиться в летаргический сон и пробудиться только для того, чтобы быть счастливой или умереть. Время течет, часы проходят, и я замечаю это только потому, что дни сменяются ночами, а за ночью следует день. Если это продолжается таким образом пять месяцев, отчего же оно не может продолжаться и всегда? Время считается только горестями или радостями: пять месяцев разлуки — целая вечность.

Боже мой! Что это я там вижу?.. Неужели наша фелука?

О, благодарю тебя, Боже мой! Это она, она!

Так я тебя снова увижу!

Господи! Дай мне силы перенести это благополучие.

О, я умру с радости... если не с горя».

\* \* \*

«Без тебя! Без тебя!.. Господи, помилуй меня грешную!»

\* \* \*

«Они все знают!..

Завидев фелуку, я побежала к окну и по мере ее приближения старалась разглядеть, тут ли ты. Прости меня, Боже мой! Но, кажется, мне легче было бы узнать, что недостает отца моего, или брата, чсм тебя.

Тебя не было. Я убедилась в этом прежде, чем фелука вошла в порт. Все побежали к ним навстречу; одна я не могла оторваться от окна; у меня не доставало даже силы показать им знаками, что я их вижу.

Они взошли на гору; я видела их издали: они были печальны и беспокойны. Потом я услышала радостные крики, которыми приветствовали их слуги; потом услышала, что они идут по лестнице, отворяют дверь. Я хотела идти им навстречу, но посредине комнаты упала на колени, произнося твое имя.

Не знаю, что они мне отвечали; я поняла только, что они высадили тебя в Смирне, где ты хотел подождать их; что ты уехал, не дождавись, и что они не знают даже, куда ты поехал, и когда вернешься.

Я упала в обморок.

Когда я пришла в себя, со мной была одна Стефана.

Она плакала. Я скрывала от нее, что я беременна, и она, не зная этого, невольно обличила мое положение, когда старалась привести меня в чувство».

\* \* \*

«О, какая долгая, отчаянная ночь! Какая бурная ночь и на земле, и в моем сердце!.. О, если бы весь мир разрушился, лишь бы на развалинах его хоть раз еще тебя увидеть!»

\* \* \*

«Я осуждена, мой милый. Если через четыре месяца ты не воротишься, я умру за тебя и через тебя.

Благословляю тебя!

Сегодня они пришли ко мне в комнату одни со спокойными, но строгими лицами. Я догадалась, зачем пришли они, и упала на колени.

Они стали меня допрашивать, как судьи преступницу. Я все сказала.

Они спросили, воротишься ли ты. Я отвечала: — Непременно, если только он не умер.

Они спросили, сколько времени мне надобно. Я отвечала: — Дайте мне только обнять моего ребенка.

Они позволили мне прожить три дня после того, как он родится.

Если уже ты не воротишься, то мне всего лучше умереть».

\* \* \*

«Теперь я уже не живу. Я жду.

Все для меня в этом одном слове. Я встаю, иду к окну, смотрю пристально на море. Завидев судно, я трепещу и надеюсь. Оно приходит, и все кончено.

Стефана бранит меня, зачем я не открыла ей своей тайны; она говорит, что вместе мы могли бы обмануть и батюшку, и брата. Что мне за надобность их обманывать. Я совсем не намерена жить, если ты не воротишься».

\* \* \*

«Здесь все по-прежнему. Право, в иные дни мне приходит в голову: не сон ли все это? Батюшка и брат как будто все забыли; приходят ко мне всякий день и по-прежнему со мной добры и ласковы... Но по временам внезапное, болезненное содрогание говорит мне, что они помнят и, так же, как я, ждут».

\* \* \*

«О, Боже мой, неужели же срок уже наступил?.. О, как я страдаю!

Боже милосердный! Неужели я должна умереть, не видев тебя... О, мой милый!..

Мне останется жить три дня...»

\* \* \*

«Еще весь день мой!.. Они станут ждать с тех пор, как солнце взойдет из-за острова Тенедоса, до того, как оно закатится за горами Аттики.

День такой светлый, прекрасный...

Я боюсь смерти: я знаю, что ты жив, я тебя видела во сне. А ты видел ли меня? Знаешь ли, чувствуешь ли ты, в какой я опасности? Знаешь ли ты, что я тебя призываю, что ты один на свете можешь спасти меня?

Зачем я не убежала! Я бы могла убежать, покуда они не воротились.

Я ждала тебя».

\* \* \*

«Стефана хотела идти в сад. Слуга поднял ее покрывало, чтобы посмотреть, не я ли это.

Вся деревня знает, что нынче последний мой день. Все молятся. В церкви перезванивают, чтобы все молились за упокой грешницы, которая скоро будет... усопшей.

А усопшей — буду я... я... твоя Фатиница... Голова у меня кружится.

Я не почувствую удара... Я до тех пор с ума сойду».



\* \* \*

«Море пусто... Я далеко вижу.. Ничего, ничего нет!..  
Все молятся.  
О, Боже мой! Как солнце скоро идет к закату!»

\* \* \*

«Стефана лежит на моей постели, плачет и рвет на себе волосы.

Я с ребенком на руках, как безумная, хожу вокруг комнаты и по временам останавливаюсь, чтобы написать тебе еще несколько слов.

О, Боже мой! Хоть бы они пощадили невинного младенца!

Не плачь, добрая Стефана, не плачь, ты меня мучаешь...

Ты никогда не забудешь меня, мой милый?

Узнаешь ли ты когда-нибудь, как я страдала! О, ты очень несчастен или ужасно виноват!

Солнце не идет, а летит; оно уже у самых гор... Еще несколько минут, и оно закатится... Мне кажется, оно облито кровью.

Мне пить хочется. Жажда меня мучит.

Теперь я считаю время уже не днями, не часами, а минутами, секундами. Все кончено: теперь, хоть бы ты был уже в гавани, то не успел бы выйти на берег; ты был бы на дворе и не успел бы взойти сюда.

Я слышу шум... О, не они ли?

Они! Они!.. Они сдержали свое слово... Солнце село...

Они на лестнице... подходят к дверям... отворяют...

Прости!.. Господи, помилуй меня грешную!..»

Здесь кончилась рукопись Фатиницы. Я побежал в комнату Стефаны.

— Что же? Что было потом? — вскричал я.

— Потом, — отвечала Стефана, — отец дал ей время помолиться Богу, а когда она кончила, он вынул из-за пояса пистолет и разможил ей голову.

— А ребенок, наш ребенок? — вскричал я, ломая себе руки.

— Фортунат взял его за ноги и разбил ему голову об угол.

Я упал без чувств.





Приключения  
Андерика



Род графов Фландрских берет свое начало, если верить хронике, с 640 года. Как происхождение всех великих мира сего, так и происхождение этого рода окружено таинственными семейными преданиями, имеющимися у всех народов, начиная с Семирамиды, дочери голубей, и кончая Рэмом и Ромулом — питомцами волчицы. История графов Фландрских такова.

В конце 628 года, когда Вонифатий V был римским папой, а Францией управлял Хлотар де Сальвар, принц Дижонский, возвращаясь с женой Эрменгардой с крестин своего сына-первенца, Лидерика, проезжал лесом Сан-Мерси\*, называвшимся так из-за происходивших там разбоев, коими руководил принц Финар. Не взирая на дурную славу, какой пользовалась эта местность, Сальвар, надеявшийся на свою силу и мужество, взял с собою лишь четырех слуг. День склонялся к вечеру, когда он, попав в самую густую и темную чащу леса, вдруг был окружен толпою разбойников, числом около двадцати, под предводительством гигантского роста и сложения начальника, в котором он тотчас же узнал принца Финара.

Силы неприятеля превышали его силы, но храбрый и благородный граф Сальвар решил сражаться до последней капли крови, не заботясь о своей жизни, с единственной целью дать жеке с сыном возможность спастись. Лишь только ночь спустилась на землю, Эрменгарда незаметно соскользнула с коня и скрылась в чаще леса. Надеясь на Провидение и милость Божию и желая оставаться верной долгу матери и жены, она спрятала ребенка в середину густого куста, росшего вблизи источника и поныне называемого «Ивняком» по причине непосредственного

\* Sans merci — без милосердия.

соседства его с вековыми ивами. Поручив в горячей молитве ребенка попечению Божьему, она поспешила к тому месту, где покинула мужа, надеясь, найдя его живым или мертвым, свободным или пленным, разделить с ним ниспосланную ему Господом участь. На поле битвы она нашла восемь распростертых на земле трупов, из коих в четырех, при свете выглянувшей из-за туч луны, она узнала своих верных слуг, а остальные четыре трупа, очевидно, принадлежали разбойникам. Не найдя среди убитых мужа и не допуская мысли, чтоб он обратился в бегство, она поняла, что он взят в плен. Подняв голову, она увидела в просвете лесной чащи толпу вооруженных людей, направлявшихся к замку, бывшему некогда крепостью. Во главе шествия она увидела предводителя разбойников, а далее на носилках несли смертельно раненого графа. При виде несчастной полувдовы разбойники молча расступились, пропустив ее к умирающему. Принц Финар несказанно обрадовался случаю, давшему ему вместо одного двух пленных. Через час они прибыли в замок, а в ту же ночь граф с молитвою на устах умер, графиня же осталась в плену. Спустя несколько дней принц предложил томившейся в заточении графине купить свободу ценою отказа от своих прав на родовые поместья или хотя бы части их, но графиня отвергла это предложение, решив наследие предков передать сыну в таком же виде, каким его получила сама. «Муж мой и я — мы владетельные графы; владения наши даны нам Богом, и ему одному принадлежит право располагать ими». — Получив такой ответ, принц приказал усилить бдительность надзора за графиней, надеясь, что она, истомленная заточением, уступит там, где не уступила хитрости и насилию, сам же снова принялся за разбои, в то время как графиня продолжала молиться на могиле графа.

Нespoдалеку от места, где пал в неравной борьбе граф, жил старый отшельник, творивший в свое время чудеса, но мало-помалу оставивший свои благочестивые подвиги и удалившийся на покой, решив, что род человеческий, в конц испортившись, не умеет ценить его драгоценный дар. Большую часть времени он проводил в глубине уединенной пещеры, питаясь молоком лани, три раза в день являвшейся к нему и подставлявшей ему вымя. Часть молока он выпивал тотчас же, остальное же сберегал, имея, таким образом, возможность не посещать ненавистных ему городов и селений. Все шло хорошо без

каких-либо уклонений, как вдруг старец обратил внимание на то, что лань его стала приносить молока наполовину меньше, нежели раньше, предоставляя ему, таким образом, возможность лишь насытиться, отнюдь не делая запасов. Он приписал это явление каким-либо непредвиденным, но все же естественным причинам, которым суждено так же неожиданно исчезнуть, как они и явились. На следующий день он нашел обычную свою порцию еще более сокращенной — едва хватило ее, чтобы насытиться. Старец же все ждал, надеясь, что все войдет в обычную колею, тем более что лань была по-прежнему здорова и весела. Спустя несколько дней положение вещей приняло совсем уж неожиданный оборот: лань явилась к нему с почти совершенно пустым выменем. Старцу пришлось отправиться в лес, чтобы добыть хотя бы воды и корней, которыми можно было насытиться. Дни шли за днями без каких-либо существенных перемен, но когда лань однажды явилась совсем без молока, отшельник решил, что на пути кроткого животного встречается вор, отнимающий у него — бедного отшельника — крохи, необходимые для поддержания жизни. Но все же ранее, нежели утвердиться в этом дурном мнении, он задумал расследовать действия своего таинственного недоброжелателя, для чего, когда лань явилась на пятый день, быстро закрыл двери, не давая ей возможности уйти. Весь день лань, видимо, сильно волнуясь, металась в хижине, то и дело подбегая то к дверям, то к нему, жалобно при этом крича, но все-таки вымя ее так обильно наполнилось молоком, что отшельнику пришлось трижды выдоить ее, что являлось несомненным доказательством ее удойливости. Когда же вечером он по обыкновению слегка приоткрыл дверь хижины, чтоб погреться в лучах заходящего солнца, плсница-лань, заметив отверстие, с такой стремительностью бросилась к выходу, что, сбив его с ног, вырвалась на свободу. Старик поднялся, удивленно покачивая головой и не умея объяснить себе действий всегда столь кроткого и покорного животного, часто во время болезни старца не отходившего от его ложа и выбегавшего лишь на несколько мгновений в лес, чтоб, пощипав травки, тотчас же вернуться назад.

Дни протекали, а лань, в течение пяти лет исправно являвшаяся к нему, на этот раз не возвращалась. Мало-помалу им начало овладевать беспокойство при мысли, что с его благодетельницей-ланью случилось

какое-либо несчастье. Спустя несколько дней, выйдя вечером, перед закатом, к дверям своей хижины, он заметил пасшуюся в нескольких шагах от хижины лань; она веселыми прыжками выражала свою радость, но, однако, не приблизилась к нему. Старец окликнул ее, но, всегда покорная, она на этот раз не повиновалась, лишь мотнула головой да повела ушами. Теряясь в догадках, отшельник шагнул, было, вперед, но лань, по мере его приближения, все более и более удалялась в глубь леса, время от времени останавливаясь, как бы давая преследовавшему ее старцу возможность не терять ее из виду. Таким образом они добрались до прекрасной долины, сплошь заросшей ивами, склонившими свои печальные ветви к небольшому ручейку, в котором отшельник узнал источник, столь часто утолявший его жажду. За несколько шагов до этого источника лань, сделав два-три прыжка, скрылась из виду, а из росшего неподалеку густого куста раздалось сладкое, убаюкивающее пение соловья. Тихо, осторожно раздвинув ветви, он увидел лежавшую на траве лань, кормившую своим молоком малютку 3 — 4 месяцев, сжимавшего своими крошечными руками вымя кормилицы-лани. Завеса была сорвана — вор был найден.

Умиленный старец упал на колени и прославил Бога, потом, не желая подвергать слабое, нежное существо опасности быть растерзанным дикими зверями, он взял его и, завернув в край своей одежды, понес в свою хижину, лань же следовала за ним, не спуская глаз с ребенка и не переставая лизать руки несшего его старца. Последний назвал крошку Лидериком в память певшего в кустах соловья. *Lieder* означает песни (по-немецки).

Само собою разумеется, что с того момента великодушный отшельник стал питаться лишь водой да корнями некоторых растений, молоко же лани всецело предоставил своему питомцу, отчего мальчуган стал расти не по дням, а по часам. Восьми месяцев он стал ходить, а десяти — заговорил.

Отшельник научил его читать Библию, но из всех рассказов священного писания ребенку более всего нравились рассказы о Немвроде, о Самсоне да о Иуде Маккавее.

Лишь только он научился ходить, он сделал себе лук и стрелы и вскоре достиг такой ловкости, что попадал в самую отдаленную и едва заметную цель. Силы же его прибывали вместе со все более и более развивавшейся

ловкостью. Восьми лет он обладал силой взрослого человека, а десяти, когда он однажды прогуливался со своей верной, старенькой кормилицей-ланью, и на нее напал волк, он набросился на последнего и задушил его, сделав себе потом из его шкуры одежду, подобную тем, какие видел на библейских гравюрах у старого отшельника.

Употребляя лук и стрелы, он ими пользовался только по отношению хищных птиц и диких зверей, тогда как слабые, безобидные животные любили его и, пользуясь его защитой, следовали за ним, словно он был пастухом одного огромного стада. Птицы парили над ним, даря его лучшими из своих песен, среди же этих его пернатых друзей главенствовал соловей, ежегодно свивавший себе гнездо в том самом кусте, где некогда был найден малютка. Язык их, недоступный другим, был понятен ему. Наблюдавший за ним отшельник плакал от умиления, видя в этом благодать Божью. Первая печаль, постигшая мальчика, была вызвала смертью его доброй кормилицы-лани. Юное существо, не имевшее никакого представления о сущности смерти, первые объяснения по поводу нее получило от отшельника; но объяснения эти не утешили его, а лишь еще более опечалили. Вырыв яму и похоронив лань, он покрыл могильный холм дерном, и, опустившись на землю, горько заплакал. Вдруг над головой его запел соловей...

«Все приходит от Господа Бога, и к Нему же возвращается. Эфемерные существа живут лишь мгновение, насекомые — час, жизнь розы длится тоже только час один, жизнь бабочки — шесть месяцев, соловья — пять лет, лани — пятнадцать, а человека — около ста лет. И все же, разве при сравнении с вечностью, жизнь человека не так же ничтожна, как и жизнь эфемерного существа! Смерть сглаживает все; в небытии равны все, будь это — эфемерное существо, насекомое, животное или человек. Часы вечности бьют точно, ровно и соразмерно, причем в их бое слышатся лишь два слова: «никогда» и «всегда». Бог — бессмертен, восхвалим же Господа Бога!»

Так пел соловей, и песнь его была преисполнена такой вдохновенной веры, что мальчик невольно устремил взор свой к небесам, а благодетельное, для всех одинаково милостивое солнце осушило дрожавшие на ресницах его слезы. Ребенок утешился...

Утешение, однако, все же далеко не забвение: утешение — дочь веры, забвение — дитя эгоизма...



Лидерик ежедневно посещал могилу лани, на которой росли цветы, и над которой звучали звонкие, нежные трели соловья. Мало-помалу трава, росшая на могиле лани, соединилась с соседней, а в конце года могильный холмик настолько сравнялся с землею, что трудно было и отличить его. Настала зима, одевшая землю снежной пеленой, ей на смену пришла волшебница весна, развернувшая свой богато усеянный пестрыми цветами ярко-зеленый ковер; природа оделась в лучшие свои одежды, заметя ими самый след к могиле бедной лани. Лидерик не смог найти даже и приблизительно места, где она была погребена.

Наклонившись к земле, искал Лидерик дорогую ему могилку, когда над ним снова раздалась песнь соловья.

«Ищи Лидерик, ищи, — пел он, — но ищешь ты напрасно! Свет зиждется на обломках, на развалинах человеческих жизней. Каждый атом, каждая пылинка некогда принадлежала живому существу; если бы могильные холмы не сглаживались, то их на поверхности земли оказалось бы более, нежели волн в океане, и человек не нашел бы себе могилы из-за могил своих предков».

Пятнадцати лет Лидерик стал под руководством отшельника изучать историю. Результатом их занятий было, что Лидерик к своим любимым библейским героям приобщил еще Александра, Аннибала и Цезаря. Отшельник в ярких красках развернул пред ним картину преобразования Римской империи; он поведал ему, как азиаты, движимые гласом Божьим, вдруг очутились в Европе, чтобы своей варварской кровью освежить разлагавшееся тело старой европейской цивилизации, и как и поныне продолжается это преобразование вестготами в Испании, лонгобардами в Италии и франками в Галлии. Рассказы эти, пестревшие битвами и сражениями, для юноши были преисполнены такой невыразимой прелести, что старому учителю его не было надобности повторять что-либо; страстно увлеченный занятиями, ученик схватывал все налету и сразу же запоминал.

Не покидая ни на шаг родного леса, он в восемнадцать лет по справедливости мог считаться сильнейшим и образованнейшим человеком и не только во Франции, но и во всем мире. Казалось, только этого и ждал почтенный старец, чтобы закончить свой долгий, славный и праведный жизненный путь, захворавший на сотом году своей жизни.

Чувствуя приближение конца, он рассказал Лидерику все, что знал о его происхождении, вручив ему при этом четки с прикрепленным к ним образком Богоматери. Четки эти, обвинявшие шею найденного отшельником младенца, могли впоследствии помочь ему найти своих родителей. Завещав своему питомцу всегда следовать велению Господню, будь то в миру или в их тихой лесной обители, праведный старец предстал пред лицом Всевышнего, чтобы дать отчет в том, что сделал он за сто лет жизни, посвященной служению Ему. Смерть старца была вторым большим горем Лидерика, но все же он не плакал, будучи уверенным, что душа его приемного отца вознеслась в селение праведных. В течение всего дня и ночи он молился у его изголовья, в молитве этой прося у него заступничества с высот небесных, а когда снова забрезжило утро, он уложил почившего в заранее приготовленную им самим могилу, а на могиле посадил каштановое деревце, дабы могилу эту не постигла участь могилы кормилицы-лани.

Исполнив последний долг, осиротевший Лидерик уселся в тени только что посаженного деревца, размышляя о том, остаться ли ему, подобно отшельнику, в том никому неведомом уголке, или же, подобно другим, броситься в погоню за двумя легкокрылыми видениями, именуемыми славою и счастьем. Роившиеся у него в голове мысли были вдруг прерваны песнью соловья:

«В жизни каждого человека имеется своя святая святых, и наисвященнейшая из них — могила отца и старость матери. Величайшая же из обязанностей, возложенных на него, заключается в том, чтоб закрыть те глаза, которые впервые заглянули в его глаза в первый момент его появления на свет Божий».

Вняв совету соловья, Лидерик срезал сук и, сделав себе посох, пустился в путь, уверенный, что везде найдет корни растений и источник, чтобы утолить голод и жажду. Три дня шел Лидерик по дремучему, казавшемуся ему бесконечным, лесу, когда, наконец, на утро четвертых суток до слуха его долетел стук молота о наковальню и над деревьями показались струйки дыма.

Ускорив шаги, он очутился у кузницы, в которой, словно в аду, копошилось около дюжины кузнецов, коими руководил старший мастер. Над дверьми была прилажена вывеска, гласившая: «Оружейная мастерская Мимэ».

Под натиском новых впечатлений, вызванных первым

соприкосновением с внешним миром, в нем, словно в молодом олене, впервые увидевшем охотника, шевельнулось недоверие и подозрительность; но тут же внимание его всецело сосредоточилось на появившемся у дверей кузницы прекрасном всаднике, в полном вооружении, но лишь без меча. Соскочив с коня и бросив повод сопровождавшему его конюху, рыцарь вошел в кузницу, где хозяин-кузнец, вынув из одного из шкафов великолепнейший меч, предложил ему его. Рыцарь вручил ему за меч золотую монету, вскочил на коня и ускакал. При виде прекрасного меча в Лидерике вспыхнуло неудержимое желание иметь такое же чудесное оружие. Не имея золота, чтобы заплатить за желанный меч, он решил выковать его сам. С этим намерением он направился к кузнице.

— Хозяин, — сказал он, — я очень желал бы иметь меч, подобный тому, который ты только что продал прискакавшему на коне важному господину; но ввиду того, что у меня на покупку нет ни золота, ни серебра, то позволь мне предложить тебе следующие условия: я буду работать для себя по два часа в день в твоей кузнице, твоим молотом, а остальное время — я в твоём распоряжении. В награду за это ты дашь мне полосу железа, остальное же мое дело.

Выслушав выраженную полуребенком странную просьбу, кузнецы расхохотались, а небрежно взглянувший на него хозяин презрительно уронил:

— Предложение твое я не прочь принять, но хотел бы сначала убедиться, что ты в состоянии поднять молот.

Вместо ответа Лидерик с улыбкой одной рукой поднял самый увесистый молот и взмахнул им над головой с такой легкостью, словно у него в руках был не железный молот, а простая деревянная игрушка, а там, желая рассеять в нем всякое сомнение, он с такою силою ударил молотом по наковальне, что она ушла в землю на целых полфута.

— Что же, — сказал Лидерик, возвращая молот, — верите ли вы, хозяин, что я могу быть вашим кузнецом?

Вне себя от изумления Мимэ не верил своим глазам. Подойдя к наковальне, он пытался сдвинуть ее с места, но, не имея возможности хотя бы даже немного ее приподнять, он приказал своим кузнецам помочь; все усилия их были тщетны, а потому пришлось прибегнуть к помощи кольев и канатов, но ничто не давало возможности сдвинуть хотя бы на один дюйм тяжелую наковальню.

Сжалившись над напрасными усилиями бедных кузнецов, Лидерик движением руки остановил их и, приблизившись к наковальне, приподнял и переставил ее с такой легкостью, с какою ребенок играет мячом.

Хозяин не видел причины отказаться от такого необычайного помощника, ибо с первого же удара понял, кого он приобретает в лице этого, так неожиданно появившегося у него юноши, а потому поспешил выразить согласие из опасения, чтобы он не раздумал и не потребовал бы большего. Свято хранивший раз данное слово, Лидерик и не думал увеличивать своих требований, а тотчас же водворился у оружейника Мимэ под кличку «тринадцатого кузнеца». Все шло, как по маслу: Лидерик, выбрав себе подходящую полосу железа и пользуясь ежедневно лишь условленными двумя часами, изготовил себе без чьих-либо указаний и советов в шестинедельный срок великолепнейший из мечей, когда-либо изготовленных в мастерской кузнеца Мимэ. Он был шести футов длиною, рукоятка и клинок его были выкованы из одного куска. Это была работа гения, а не обыкновенного смертного.

При виде великолепного меча в душе Мимэ шевельнулись зависть и опасение. Опасность грозила ему со всех сторон: невыгодно было ему, если бы молодой богатырь вздумал бы поселиться в той местности, невыгодно и в том случае, если бы ему вздумалось остаться в кузнице еще на три месяца, чтоб выковать себе и остальные доспехи: заказчики, облюбовав его работу, не захотят довольствоваться работой хозяина, а потому, желая из двух зол выбрать меньшее, Мимэ решил, продолжив с ним срок работ, изыскать тем временем средства избавиться от него. Размышления его прервал старший помощник Гаген, боявшийся, что новичок займет его место.

— Хозяин, — сказал он, — а ведь я знаю, о чем вы думаете! Пошлите-ка Лидерика в Черный Лес за углем. Там вне всякого сомнения его уничтожит дракон!

В самом деле, в названном лесу водился чудовищный дракон, уничтоживший уже множество людей.

Мимэ понравился совет, и он сказал Лидерику:

— Лидерик, уголь у нас на исходе; не мешало бы тебе сходить в Черный Лес, чтобы пополнить наши запасы.

— Хорошо, хозяин, — ответил юноша, — я завтра же отправлюсь туда.

Вечером к нему подошел Гаген и посоветовал

отправиться за углем в местность, называемую Плакучим Утесом, ибо там, якобы, прекраснейшие дубы и крепчайшие липы; в сущности же, только потому, что там водился чудовищный змей. Ничего не подозревавший Лидерик, внимательно выслушав его указания, решил на следующий же день отправиться за углем.

Когда он на утро собрался в лес, к нему в комнату вошел младший из мастеров, юноша, почти ребенок, с веселым добродушным лицом, длинными русыми кудрями и прекрасными голубыми глазами, по имени Петерс, отличавшийся от своих товарищей необычайной добротой.

Как младшему, ему, вплоть до появления в кузнице Лидерика, приходилось претерпеть от товарищей много обид. С момента появления молодого богатыря, сразу ставшего его защитником, никто не решался не только сделать, но даже сказать ему что-либо дурное. Петерс пришел к своему покровителю, чтобы предупредить его о грозящей ему опасности. Лидерик не смутился. Рассмеявшись, он поблагодарил юношу за добрый совет, но решения своего отправиться в лес не изменил, а лишь захватил с собою меч, чего бы, непредупрежденный, он, конечно, не сделал.

Увидев Лидерика вооруженным, Мимэ осведомился, зачем понадобился ему меч, на что юный богатырь ответил, что берет его, чтобы рубить им дрова, необходимые для добычи угля.

Выслушав вторично подробное описание пути к Плакучему Утесу, он весело пустился в путь. Добравшись до опушки Черного Леса, Лидерик, боясь ошибиться, спросил у встретившегося ему крестьянина путь к Плакучему Утесу; последний же, вообразив, что юноша не знает о существовании в этой местности опасности, поспешил предупредить его об этом, на что со стороны Лидерика последовал ответ, окончательно сбивший с толку простодушного поселянина.

— Около Плакучего Утеса мне нужно запастись углем. — сказал Лидерик, — что же касается змея, то, лишь только он высунет из логовища голову, как она тотчас же будет отрублена этим моим мечом.

Сочтя его сумасшедшим, прохожий указал ему путь и тотчас же бросился бежать, не переставая осенять себя крестным знаменем. Целый час шел Лидерик по указанному ему пути, пока, наконец, по обилию вековых дубов и лип не догадался, что находится близ логовища

чудовищного змея. Пройдя еще несколько десятков шагов, он увидел, что земля так была усеяна человеческими костями, что буквально некуда было ступить. Тут же высился огромный утес, сплошь обрызганный струями протекавшего во всю длину утеса ручья. Лидерик понял, что дошел до рокового Плакучего Утеса. Решив, что первым делом следует исполнить приказание Мимэ, он энергично принялся за работу. Выбрав удобное место, он стал рубить деревья для костра и с таким шумом рубил своим гигантским мечом, что разбудил спавшее чудовище, высунувшее свою страшную голову с огромными, горящими, как два факела, глазами. Увидев своего гигантского противника, Лидерик, однако, ничуть не смутился и ни на минуту не прервал своей работы, пока спокойное дотоле чудовище при виде ярко нылающего костра, вдруг зашипело с ошеломляющим шумом. Желая вызвать на бой уж и без того разъяренного змея, он стал швырять в него горящие головни, чем окончательно вывел из себя чудовище, которое ринулось на него из своего логовища, хлопая огромными крылами. После краткой, но горячей молитвы Лидерик спокойно и самоуверенно пошел навстречу крылатому чудовищу... Борьба завязалась ожесточенная, причем змей издавал столь ужасное рычание и рев, что звери, находившиеся на расстоянии двух верст, выходили из своих нор и в страхе обращались в бегство. Один лишь соловей не покидал Лидерика; качаясь на ветке, он пением своим поощрял его к новым нападениям. Многократно пронзенный мечом храброго противника, змей стал отступать и в конце концов устремился в свое логовище, оставив на месте борьбы лужу крови. Но Лидерик не думал отступать; схватив горящую головню, он устремился в пещеру раненого дракона, откуда, десять минут спустя, вышел, словно рыцарь Персей, держа в руках голову чудовища.

«Слава Лидерику! — запел ему хвалебный гимн соловей. — Слава набожному юноше, возложившему все упования не на собственные силы, а на милость Божию! Да сбросит он свои одежды и искупается в крови чудовища, чтобы стать неуязвимым!» Лидерик не замедлил последовать совету соловья: сбросив скучные свои одежды, он приблизился к луже крови, но на его спину, влажную от пота, вызванного горячим боем, упал липовый листик. Лишь только Лидерик окунулся, как тело его в тот же миг сплошь покрылось чешуей, за исключением лишь того

места, к которому прилип липовый лист. В тот же вечер Лидерик, запасшись углем, взвалил мешок на спину, взял в руки голову змея и отправился обратно в кузницу Мимэ, куда прибыл на утро следующего дня. Удивлению кузнецов не было границ, ибо никто не допускал и мысли, чтобы он вернулся; но все же каждый из них старался под приветливой улыбкой скрыть настоящие свои чувства. Больше всех боялся Гаген, чтобы тем или иным путем не выяснились его козни, и в то же время придумывая новый способ погубить великодушного юношу.

Лидерик, не дав им времени опомниться, заявил Мимэ, что находит условия, при которых он трудится, крайне для себя невыгодными, и, распроставшись, расстался с ним. Взяв с собою один лишь меч, он отправился странствовать по свету, искать приключений, как делали это рыцари, ежедневно приезжавшие в кузницу Мимэ покупать оружие.

В последний пред разлукою момент хозяин старался его убедить в необходимости заpastись, кроме меча, еще и латами, но Лидерик отверг это предложение, так как, благодаря крови змея, он стал неуязвим.

В ста шагах от кузницы он увидел своего юного друга, которого он тщетно искал, желая с ним проститься. Мальчик стоял, притаившись за широким стволом дерева.

— Братец, — заговорил он, по простоте души считая его равным себе, — братец, мои товарищи-кузнецы ненавидят меня за то, что я люблю тебя. Вернуться к ним я не решаюсь; ты — силен, а я слаб. Позволишь ли ты мне последовать за тобою? Ты будешь моим защитником, а же буду твоим слугою.

— Пойдем, — сказал ему Лидерик. Юноша и мальчик весело пустились в путь и в течение двух недель питались кореньями, утоляя жажду водою, отдыхая в дуплах деревьев и всецело отдавшись промыслу Божьему. В конце второй недели они очутились в великолепнейшем густом лесу, где до слуха их долетели звуки охотничьих рогов. Лидерик, страстно любивший все, что ему хотя отчасти напоминало войну, поспешил по направлению, откуда долетали эти звуки. На перекрестке двух тропинок он увидел огромного, загнанного собаками в теснину кабана, и в то же мгновение из чащи выскочил богато разодетый, блестящий рыцарь, схавший на великолепнейшем коне. Не ожидая прибытия остальных охотников, всадник небольшим копьём нанес несколько ран разъяренному

животному, которое, не помня себя, отшвырнув нападавшую на него свору, бросилось навстречу своему врагу с такой стремительностью, что распорол живот несчастного коня, у которого вывалились все внутренности. Корчась в предсмертных судорогах, он придавил тяжестью своего тела всадника. Кабан же, подняв щетину и потрясая клыками, бросился на ранившего его охотника. В это мгновение Лидерик одним прыжком встал между разъяренным животным и упавшим рыцарем и взмахом своего чудесного меча уложил кабана на месте, чтобы тотчас же помочь спасенному от верной гибели рыцарю высвободиться из-под павшего коня. Тем временем Петерс, отрубив кабанью голову, поднес ее Лидерику, сложившему этот охотничий трофей к ногам рыцаря. В то же мгновение прискакали и остальные участники охоты, окружившие рыцаря и озабоченно осведомлявшиеся, не ранен ли он. Вместо ответа последний указал окружающим на стоявшего тут же Лидерика.

— Тем, что вы видите меня живым и здоровым, вы, господа, обязаны исключительно и всецело этому юноше, — сказал он. — Ему я обязан спасением от неминуемой гибели.

Услышав это, охотники окружили Лидерика, поздравляя его и восхваляя его мужество и отвагу, он же, принимая поздравления, удивленно взирал на этих людей, придававших такое огромное значение поступку, по его мнению, и простому, и естественному; а когда поздравления эти стали слишком продолжительными, то у Лидерика шевельнулась мысль, не находится ли он среди сумасшедших, вследствие чего он осведомился, в чьих владениях он находится, и как имя человека, которому он спас жизнь. Тогда царедворцы пояснили ему, что спасенный им рыцарь некто иной, как король Дагоберт, во владениях коего он и находится.

Лидерик, наслушавшись о мудрости и храбрости этого короля, имя которого по-тевтонски значит «блестящий меч», скромно и почтительно приблизился к нему и, преклонив одно колено, выразил свою преданность и почтение в столь изысканной форме, что королю Дагоберту стало ясно, что, не взирая на скудную одежду, молодой человек принадлежит к избранному классу, а потому, в свою очередь, спросил его, кто он и откуда родом.

— Увы, государь, — печально сказал Лидерик, — я



могу ответить вам лишь на первый из ваших вопросов: я пришел из леса Сан-Мерси, находящегося в окрестности замка принца Финара, и останавливался лишь на шесть недель в кузнице Мимэ, чтоб выковать себе этот меч. Что же касается моего происхождения, то, к сожалению, должен сознаться, что о нем мне ничего неизвестно. Знаю лишь, что в лесу, близ родника, называемого «Ивняком», в кустах меня нашел почтенный старик-отшельник, воспитавший меня, и которого я не покинул бы живым, и могилу которого не оставил бы никогда, если бы соловей в песне своей не поведал мне, что первой обязанностью ребенка является желание видеть свою мать. Я отправился в путь, предоставив Господу направлять мои стопы. Теперь же вижу, что путь, избранный им, был вернейшим и лучшим, ибо я вовремя подросел, чтобы спасти жизнь величайшему из христианских королей.

— Ты прав, дитя мое, приписывая это милости Божьей, ибо, мне кажется, я открою тебе то, чего ты и сам не знал. Элуа, — обратился он к почтенному епископу, сопровождавшему его в пути и бывшему одновременно и духовником его, и казначею и, министром, — Элуа, что сделали вы с письмом, полученным нами нынче от нашей подданной, благородной принцессы Дижонской Эрменгарды де Сальвар, владения коей мы сдали под опеку, считая ее умершей, тогда как на самом деле она в плену у принца Финара?

— Вот оно, государь, — сказал Элуа, подавая письмо, которое принцессе удалось после долгих усилий переслать королю при помощи одного из воинов Финара, подкупленного ею при помощи кольца, стоившего шесть тысяч франков. В нем от слова до слова был приведен рассказ о том, как на мужа и на нее в лесу Сан-Мерси напал принц Финар с шайкой разбойников. Далее она подробно описывает, как сошла с лошади, как, спрятав ребенка в кустах, росших близ родника, она поспешила к раненому мужу, умершему в следующую же ночь. Говорила, что с той поры она — пленница Финара, потому что всегда отвергала его требования о выкупе, охраняя Дижонские владения неприкосновенными, как неотъемлемую собственность сына. В конце письма она молила короля отыскать сына и передать ему Дижонские владения, как принадлежащие ему по праву; о свободе она не просила, так как не желала оспаривать своих прав при помощи войны с таким сильным врагом, каким являлся принц

Финар. Как на отличительный признак при поисках ее сына принцесса указывала на надетые на него четки с прикрепленным к ним образком Богоматери. Во все время чтения Лидерик стоял со скрещенными руками, на ресницах же его дрожали слезы; когда же упомянули о четках и образке, он, громко вскрикнув, быстро расстегнул ворот и показал обвивавшие его шею четки с прикрепленным к ним образком.

Король Дагоберт прежде всего желал заняться убийцей графа де Сальвара и освобождением Эрменгарды, но Лидерик, бросившись перед королем на колени, объявил, что ему одному надлежит отомстить за отца и за мать, а так как слова его дышали неподдельным вдохновением и убедительностью, то король согласился на его просьбу, уполномочив Лидерика послать вызов Финару и обещав ему в виде особой милости, в случае принятия Финаром этого вызова, быть его секундантом. Кроме этого, он приказал герольдам готовиться к тому, чтобы доставить принцу Финару вызов на поединок, но и на этот раз снова был остановлен Лидериком, заявившим, что так как этот вызов является делом частным, то и вручить ему, принцу Финару, этот вызов должен герольд частный, а отнюдь не королевский. Согласившись с этим доводом, король оставил за собой право снабдить его достойной принца свитой. Гонцом своим Лидерик выбрал себе Петерса, который, не взирая на свои четырнадцать лет, стоил многих старых и опытных, и в любви и преданности которого Лидерик был более нежели уверен.

Петерс пустился в путь, сопровождаемый шестью рыцарями с оруженосцами да двадцатью воинами. Миновав Пикардию, он достиг Фландрии и замка Финара, высившегося на том самом месте, где в настоящее время в городе Лилле мост. Самый город в те далекие времена, само собою разумеется, не существовал. У ворот замка он расположился со своим отрядом, сам же протрубил в рог. На звук этот появился караульный и спросил его, что ему нужно. На это Петерс ответил, что у него дело не до слуг, а до господина, которого он велел позвать.

Слова эти были произнесены повелительным, надменным тоном, но воин все же поспешил исполнить приказание. Когда перед принцем Финаром предстал воин, он только что собирался завтракать, а потому очень рассердился на явившегося с докладом воина, ибо он не любил, когда его беспокоили в то время, как он садился

за стол. Провинившегося воина он приказал строго наказать розгами: били несчастного до тех пор, пока бедняга не сознался, что ослушался лишь потому, что приказавший о себе доложить витязь был окружен блестящей толпой оруженосцев, одетых в ливрею короля Франции, о чем он догадался по вытканым на них лилиям. Услышав это, принц быстро поднялся и поспешил к воротам замка, дабы проверить слова посланного, ибо король Франции — мудрый и храбрый — был его повелителем и монархом. Достаточно было одного взгляда, чтобы увериться в правдивости предположений воина, а потому он приказал спустить подъемные мосты и оказать посланным почести, достойные их повелителя. Услышав эти приказания, Петерс поднял руку в знак того, что призывал к молчанию, желая обратиться с речью.

— Принц Бюкский, — сказал Петерс, — напрасно велел ты спустить подъемные мосты, напрасно предлагаешь свое гостеприимство; в замок твой я не намерен войти, ибо он — жилище предателя и убийцы; выслушай же меня, выслушай, что я тебе поведаю громогласно в присутствии благородных свидетелей! Я явился по повелению твоего монарха, величайшего, великодушнейшего и благороднейшего короля Дагоберта, чтоб сказать тебе, что тебе дан месячный срок, на исходе коего тебе придется ответить на собрании всех знатнейших вельмож королевства на обвинение, взводимое на тебя моим господином, великим и могущественным Лидериком, принцем Дижонским, сыном благороднейшего принца Сальвара и добродетельнейшей Эрменгарды. Обвиняешься ты в двух преступлениях. Во-первых, в предательском убийстве отца его в лесу Сан-Мерси, а во-вторых, в том, что в течение восемнадцати лет заставлял страдать его мать. Если же ты не хочешь быть судимым людским судом, то прими же вызов, который шлет тебе мой повелитель с согласия короля: единоборство не на жизнь, а на смерть, конным или пешим, копьями, мечами или кинжалами. Как внешний знак вызова мой повелитель приказал мне прикрепить к воротам замка вот эту перчатку.

С этими словами он пришпорил коня и небольшим висевшим у пояса кинжалом пригвоздил перчатку к воротам замка.

Принц Финар в случае надобности умел быть кротким и терпеливым, а потому выслушал презрительный вызов

с видом кроткого аскета-схимника и спокойно, не торопясь, заговорил, когда Петерс умолк.

— Хорошо, — сказал он, — передайте королю, моему милостивому повелителю и государю, что я не совершил ничего бесчестного или предательского. Принц Сальвар пал в единоборстве, а не из засады. Вызов я принимаю, а исход борьбы, надеюсь, покажет, на чьей стороне правда. Что же касается принцессы Эрменгарды, то передайте принцу Дижонскому, что я предлагаю ему бороться здесь, дабы ему не пришлось слишком далеко идти в поисках пленной матери. Теперь же повторяю снова, что если вы согласитесь воспользоваться моим гостеприимством, то, верьте, я сумею принять вас с подобающими посланцам короля почестями!

Вместо ответа Петерс склонил голову и, протрубив прощальный сигнал, ускакал. Ничто не могло обрадовать принца Лидерика более полученного ответа, и не потому, что он был самоуверен, а лишь рассчитывал на Божью помощь да на свои силы. Он тотчас же обратился к королю с просьбою ускорить приготовления к походу, так как не мог дожидаться момента освобождения матери.

В это время Финар, не знавший дотоле о существовании наследника имени и владений принца Сальвара, приказал принцессе Эрменгарде прийти из терема, в котором она жила, и осведомился — действительно ли этот Лидерик ее сын, этот юноша, пользующийся особым покровительством короля французского и вызвавший его ныне с разрешения короля на поединок. Услышав это, Эрменгарда упала на колени и так горячо возблагодарила Господа Бога, что Финар и без слов понял, что герольд сказал правду.

Не довольствуясь безмолвным подтверждением принцессы, он спросил ее, почему она ни разу дотоле не говорила ему о сыне?

— Я молчала, потому что боялась, что вы прикажете его похитить и умертвить, — сказала она и тут же присовокупила. — Теперь же, когда он пользуется покровительством самого короля, когда я за участь его спокойна, я все расскажу.

И она правдиво и последовательно поведала все по порядку. Когда же на вопрос о возрасте ее сына она ответила, что ему восемнадцать лет, Финар громко расхохотался. Ему показалось странным и невероятным, что юноша, полуробенек, дерзает вызвать на единоборство

его, самого принца Финара, находящегося в полном расцвете сил и ловкости, которого боялись все. Итак, он стал спокойно ждать появления своего юного противника, уверенный, что легко отделается. Спокойная самоуверенность не покидала его до тех пор, пока караульный воин не пришел доложить, что заметил приближающийся к замку огромный и блестящий отряд рыцарей. Взобравшись на башню, Финар с высот ее узнал в приближавшемся кортеже свиту короля французского с самим монархом во главе. Приказав открыть ворота и опустить подъемные мосты, он с обнаженной головой, без оружия, окруженный всем своим войском вышел навстречу своему повелителю. По правую руку короля на великолепнейшем, богато разукрашенном бархатной с золотой бахромой попоною ехал Лидерик, по левую — почтенный епископ Ноионский, без которого Дагоберт не мог обойтись ни минуты.

Бросив на Лидерика быстрый, но пытливый взгляд и убедившись в его юности, принц Финар пригласил весь отряд всадников к себе в замок, но тотчас же получил решительный и бесповоротный отказ короля, громогласно заявившего, что тяготеющее над ним обвинение в убийстве и предательстве не дает ему права приглашать к себе короля до тех пор, пока обвинение это не будет смыто. Тогда Финар снова повторил все тот же вымысел, что смерть Сальвара произошла в честном поединке, а не из засады. Принцесса же Эрменгарда осталась в заточении как заложница вследствие возникших между ними споров из-за владельческих прав на принадлежащие ему одному владения.

Не будучи в состоянии выносить лжи, взводимой на его мать, Лидерик быстро прервал его речь.

— Государь, — обратился он к королю, — человек этот лжет; к тому же, с разрешения вашего величества, я явился сюда не для того, чтобы выслушать его ни на чем не основанные доводы, а чтобы померяться силами с мечом в руке. Будьте же милостивы, ваше величество, прикажите немедленно начать приготовления к предстоящему единоборству, ибо томившаяся в течение восемнадцати лет в заточении мать моя теперь ждет свидания с сыном.

— Слышите ли вы, что говорит принц Лидерик? — обратился к Финару король.

— Слышу, государь, — ответил Финар, — и не менее моего противника желаю померяться силами и почти

уверен, что исход поединка будет для меня более благоприятным, нежели начало его!

— Тотчас же приготовить арену! — приказал король и тут же присовокупил. — И да не забудут состязающиеся помириться со своей совестью, ибо суд Божий над одним из них будет иметь место завтра утром, и горе тому, которого Господь призовет к ответу, и который предстанет пред ним неприготовленным!

Поклонившись, принц Финар вернулся в замок, а король приказал раскинуть шатры на пространстве между крепостью-замком принца Финара и королевскими лугами, где приготовить и арену для предстоявшего на утро единоборства.

Весь день Лидерик посвятил молитве, а потом, и исповедавшись перед епископом Ноионским, получил от него отпущение грехов.

Принц Бюкский распорядился своим временем иначе, так как совершенно был уверен в смерти своего юного противника. Вместо того чтобы провести ночь в покаянии и молитве, он к вечеру приказал приготовить великолепнейший ужин, на который пригласил, кроме всех своих офицеров, еще и принцессу Эрменгарду, для которой предназначил место против себя. Отклонив приглашение, принцесса заявила, что накануне дня, когда решается судьба ее сына, она должна молиться и не покидать места своего заточения.

И действительно, принеся ей ответ принцу нашел ее коленапреклоненной в часовне. Финар весело уселся за стол, обильно уставленный кушаньями и напитками, за которым все места были заняты, за исключением одного лишь места принцессы Эрменгарды, и вина полились рекой.

Ужин протянулся до полуночи, среди веселых, разнузданных песен, кощунствований и взрывов хохота. В самую полночь вдруг, с первым ударом часов, свет померк, а со стороны часовни по направлению к оружейной палате послышались чьи-то тяжелые, гулко отдававшиеся в полночной тишине шаги, заставившие всех молча повернуть голову в сторону, откуда доносились эти шаги...

С двенадцатым ударом дверь бесшумно распахнулась, и на пороге показался мраморный рыцарь, при виде которого все присутствующие содрогнулись, узнав в нем отца принца Финара, в течение тридцати лет покоивше-

гося вечным сном в родовом склепе принцев Бюкских. Бледнее и смущеннее всех присутствующих был принц Финар, знавший, что, по преданию, предки только тогда покидали свои тихие могилы, когда хотели предупредить кого-либо из потомков о близкой их смерти. Статуя, приблизившись к столу медленным тяжелым шагом, бесшумно и безжизненно опустилась на пустовавшее место против Финара, устремив неподвижный взгляд холодных, мраморных глаз на последнего. Желая скрыть охватившее его волнение, принц приказал своему придворному виночерпию наполнить вином бокал своего мраморного гостя, а одному из лиц свиты положить перед ним на тарелку лучшее из изысканных блюд, подававшихся на стол; ввиду же того, что никто не решился приблизиться к мраморному посетителю, Финар, быстро поднявшись с места, наполнил кубок отца лучшим вином, а на тарелке на мелкие кусочки разрезал жаркое.

Внимательно следивший за действиями сына, мертвый гость, однако, не дотронулся ни до кушанья, ни до напитка, продолжая сидеть со скрещенными на груди руками. Только на мраморных ресницах его задрожали две тяжелых слезы и тихо покатались по безжизненным щекам; казалось, мраморное изваяние плакало над близкой, бесславной кончиной последнего в роде принцев Бюкских. Скатившись, слезы упали с седого уса старого князя на стол, сам же мраморный гость, поднявшись, сделал головою знак своему сыну следовать за ним. Сняв со стены один из прилаженных к ней факелов, принц последовал за отцом, оставив своих гостей в состоянии остолебенения.

Тем временем старый князь и следовавший за ним сын, пройдя оружейный зал, направились к двери, противоположной дверям, ведущим к часовне, и, пройдя бывший крепостной двор, очутились на одном из многочисленных дворов замка, куда выбрасывали всякий ненужный хлам и отбросы, и остановились у свежeverытой могилы. Проходивший недавно по этому двору Финар нашел его в обычном виде; из этого следовало, что могила была вырыта чьей-то невидимой рукой во время ужина. Оглянувшись, Финар никого не увидел, кроме удалявшегося все тем же тяжелым, медленным шагом отца. На этот раз последний, сопровождаемый сыном, направлялся к подземной часовне, где находилась в общей княжеской усыпальнице и его собственная могила. Финар не отставал от отца, словно

влекомый какой-то сверхъестественной силой. Пред мраморным князем двери распахнулись сами собою, и он, сопровождаемый сыном, очутился пред собственным саркофагом. Мраморный лев — символ благородной смерти на поле битвы, поднялся, пропустив своего безмолвного обитателя, и последний улегся на то же место, где покоился в течение тридцати лет. Все погрузилось в молчание и немую тишину смерти.

Железное сердце Финара не дрогнуло при виде всего этого; он даже хотел было приписать чудесное видение расстроенному воображению и обернулся к могиле матери, отличавшейся лишь тем, что вместо льва — символа благородства, силы и храбрости, на ее могиле была изображена собака — символ верности и преданности. Увидев коленапреклоненную тень матери, Финар вдруг прозрел; во всем он увидел промысел Божий: мраморный гость явился вестником его смерти, могила, ему указанная, была позорной могилой, в которой ему надлежало покоиться до страшного суда, молящаяся мать просила Господа спасти если не тело, то душу сына. Финару сразу все стало ясным. В глубоком раздумье вернулся он в опустевший зал пиршеств. На троекратный его зов откликнулся лишь старый, верный слуга, по опыту знавший, сколь опасно заставлять своего повелителя ждать. Дрожа всем телом, он явился.

— Дорогой Николай, — заговорил принц необыкновенно мягким и кротким голосом, — приведи ко мне священника.

При виде крайнего изумления старого слуги он снова повторил свою просьбу.

— Вам известно, принц, что со дня смерти старого духовника прошло почти пятнадцать лет, и что даже и не подумали заменить его другим.

— Это правда, — вздохнул Финар, это я упустил из виду. Отправься же в стан короля французского и упроси епископа Ноионского принять исповедь бедного грешника!

Старый слуга беспрекословно повиновался и через несколько минут вернулся в сопровождении почтенного духовника.

На утро, когда все было готово к борьбе, король вошел на приготовленную для него трибуну, предварительно послав Лидерику великолепнейшее вооружение, специально для него выкованное и освященное самим епископом Ноионским. Ознакомившись с доспехами, Лидерик с



благодарностью вернул их королю, велел передать, что не нуждается в лишнем вооружении, ибо неуязвим. Пробыло шесть часов — час, назначенный для поединка, а принц Финар все не являлся. Тогда, полагая, что он в полном вооружении скрывается за крепкими стенами своего замка, король приказал протрубить сигнал к началу поединка.

Едва умолкнули звуки труб, как ворота замка распахнулись, и появился Финар, но не верхом на коне, не в боевом вооружении, а пешком, одетый в холщевую рубашку, с посыпанной пеплом главою и веревкою на шее. За ним следовали на прекрасно разубранных конях принцесса Дижонская, одетая в мантию, с короною на голове, и почтенный епископ в полном облачении. Шествие замыкал гарнизон принца Финара, шествовавший за ним без шлемов и мечей.

Достигнув арены, страшный кортеж остановился, а принц Финар, поднявшись на возвышение, на котором сидел король, стал перед ним на колени.

— Государь, — сказал Финар, — ты видишь пред собою великого, но раскаявшегося грешника, заслужившего строгое наказание, но молящего ваше величество даровать ему жизнь для того, чтобы он мог, оплакивая свои грехи, заслужить прощение Всевышнего! Все, что говорил принц Лидерик, — правда, а потому я и его прошу простить меня, как простила его благородная мать. Прошу его также в возмещение убытков, причиненных мною ему, принять принадлежащие мне княжество Бюкское и графство Арлебекское. Прошу верить, я убежден, что более достойного и более благородного преемника я не мог бы найти.

— Принц, — ответил король, — если вас простили те, которых вы притесняли и держали в заточении, то я не имею нравственного права быть более строгим, нежели они. Итак, я вам всемилостивейше дарую жизнь. Что же касается вашей души, над которою я не властен, то этот вопрос разрешит сам Господь. Принц Дижонский, — присвокупил он, обратясь к Лидерику, — слышали ли вы, что сказал Финар, и прощаете ли его, как я его простил?

Ответ на этот вопрос последовал не тотчас, так как Лидерик бросился в объятия матери, плакавшей от счастья при виде сына.

— Да, государь, — сказала Эрменгарда, — мы от глубины души не только прощаем его, но молим ваше

величество оставить ему его титул и владения, хотя бы только пожизненно. Наше княжество Дижонское достаточно обширно и могущественно, чтобы в случае надобности дать любезнейшему нашему сыну возможность стать в ряды защитников вашего величества.

Не взирая на все это, Финар сложил к ногам короля ключи своего замка и владений, и, повторив свою просьбу по отношению Лидерика, выговорил себе лишь шесть футов земли в том месте, где была вырыта яма, к которой привела его тень отца. После этих слов, произнесенных твердым, ровным голосом, не позволявшим усомниться в непоколебимости принятого решения, он низко поклонился королю и удалился в лес, где вскоре скрылся из виду.

В тот же день в присутствии короля и придворных Лидерик пригнул королю от имени княжеств Дижонского и Бюкского а, также графства Арлебекского, причем король в ознаменование важного события и в знак особой милости к прочим титулам прибавил ему титул наместника Фландрского. Отпировав в замке Бюкском, король отправился обратно в столицу, Лидерик же с матерью пустился в путь по всем своим многочисленным и обширным владениям для утверждения в них наместников, которые в его отсутствие должны были отправлять правосудие.

Все три месяца их путешествия можно было уподобить сплошному празднику, ибо Эрменгарда была искренне любима своими подданными; за все время ее отсутствия не проходило ни одного праздничного богослужения без того, чтоб прихожане не молились бы о возвращении к ним их горячо любимой принцессы. Радости их не было границ, когда они увидели, что многолетние молитвы их услышаны, когда они меньше всего на это надеялись.

По возвращении в Бюкский замок Эрменгарда осведомилась у своего сына, не встретил ли он во время совместного их путешествия молодую девушку, достойную его любви?

Лидерик ответил, что ни при дворе короля Дагоберта, ни в собственных владениях, ни в пути, нигде не встретил девушки, которую он пожелал бы назвать своею женою.

Отвст этот очень огорчил добрую старушку принцессу, которая лелеяла мечту перед смертью обнять своих внуков. Однажды сойдя вечером в сад, Лидерик дольше обыкновенного засиделся в тени развесистого дуба, как вдруг над головой его прозвучала песнь соловья:

«В далекой стране живет девушка, которая белес снега, свежее утренней зари, душа которой чище и прозрачнее озера ее родины. Прекрасная эта девушка — красавица Кримгильда, сестра короля Гюнтера».

На следующее же утро Лидерик объявил матери, что решил жениться только на Кримгильде, сестре короля Гюнтера, и вечером того же самого дня, поручив управление своими владениями матери, опоясавшись любимым мечом и, сев на подаренного ему королем Дагобертом коня, уехал сопровождаемый любимым и верным своим оруженосцем Петерсом.

Лидерик проехал несколько сот верст, уверенный, что не заблудится, ибо перед ним все время летел, указывая ему путь-дорогу, соловей, садившийся на деревья, под которыми они отдыхали, да на мачты кораблей, когда Лидерику случалось переправляться через реки и заливы на кораблях.

Однажды, попав в страну, показавшуюся ему необыкновенно прекрасной, он, утомленный продолжительным путешествием, прилег отдохнуть под деревом. Проснулся он утром от страшного шума, и, желая узнать о причине его, попытался приподняться, но все попытки оказались тщетными: и он и Петерс были прикреплены к земле не только туловищем, но и руками, ногами и даже головою. В то же мгновение над ним прозвучал громкий взрыв хохота, и чей-то очень тоненький голосок шепнул ему на ухо:

— Кто ты? Откуда явился? Что желаешь?

Сделав отчаянное движение головой, Лидерик почувствовал, как лопнули путы, обматывавшие его голову, и он, повернув ее в сторону говорившего, увидел пред собою крошечного человечка ростом около двух футов, с длиннейшею белою, как лунь, бородою и такими же волосами, на которых красовалась золотая корона. В руке он держал золотой кнут с четырьмя стальными цепями, и на конце каждой из них блестел продолговатый, остро отточенный бриллиант. Одним ударом этой блестящей плети он сразу наносил четыре раны. Не сомневаясь, что вопрос, заданный крошечным венценосцем, относился к нему, Лидерик громко, отчетливо ответил:

— Я Лидерик, первый владетельный граф Фландрский, явился сюда за сокровищами Нибелунгов, за шапкою-невидимкою, да ишу и прекрасную принцессу Кримгильду, сестру короля Гюнтера.

— Ты, значит, достиг конечного пункта своего путешествия, — сказал с злорадной усмешкой карлик, — ты в стране Нибелунгов; но вместо того, чтобы завладеть сокровищами и шапкой-невидимкой, тебе придется до конца дней твоих пробыть в моих рудниках; твой оруженосец будет моим свинопасом, кони твои будут ворочать жернова моей мельницы, соловей твой будет петь у меня в клетке над окном, а Кримгильда, истомившись, тебя ожидаючи, либо выйдет за другого, либо навеки останется девицей, подобно дочери Иеффая. Для того же, чтобы ты не сомневался в моих словах, знай: я — всесильный Альберик, король Нибелунгов!

Слова эти, произнесенные угрожающим тоном, задели самолюбие Лидерика, и он порывистым движением руки разорвал путы, связывавшие его правую руку, и в тот же миг схватил крошечного короля за бороду, но тотчас же должен был выпустить его из рук, так как Альберик взмахнул своею золотою плетью и с такою силою ударил ею графа Фландрского, что один из алмазов буквально впился в то место на спине, которое не было неуязвимо. Не довольствуясь этим, король Нибелунгов тотчас же созвал все свое войско, и на него посыпались удары и уколы разного рода оружием, среди которых преобладали учащенные удары золотой плетью. Видя, что времени не следует терять, молодой граф напряг силы и, высвободив левую руку и верхнюю половину туловища, сел.

Тут он разглядел, что вся равнина на расстоянии четырех верст в окружности была занята войском короля Альберика, командовавшего им. Вся эта десятитысячная армия, частью конная, частью пешая, была вооружена топорами, саблями, копьями, алебардами и мечами; вдали виднелся король, тщетно силившийся взобраться на подведенного к нему боевого коня, а тут же толпа человек в сто вела пленника Петерса и двух коней, а какой-то совершенно черный карлик нес, кривляясь и приплясывая, соловья. При виде этого зрелища Лидериком овладели гнев и печаль, заглушившие в нем заботы о собственной безопасности. Быстрым, могучим движением освободившись от связывавших его оков и пут, он вскочил и, выхватив свой чудодейственный меч, ударил им по тем, которые вели Петерса, коней и соловья. Головы, руки и ноги полетели словно щепки, оставшиеся же в живых бросились бежать в разные стороны. Не выпускал из рук своей добычи один лишь несший соловья негр; недолго

думая, Лидерик сделал по направлению к нему три шага и, схватив поперек туловища, вынул из рук его клетку с соловьем, а так как карлик извивался между пальцами, кричал и кусался, а не просил пощады, Лидерик бросил его на землю и раздавил ногою, словно зловредное насекомое.

Освободив Петерса, коней и соловья, он решил, что ему надлежит совершить главное — вступить в бой с королем Альбериком, собравшим уцелевшее войско для общей атаки. Армию свою он разбил на три части — две пехотные и артиллерию, которым приказано было наступать с фаса и флангов, тогда как один полк, защищенный горой, должен был идти с тылу. На одну минуту Лидерик призадумался, не сесть ли ему на одного из коней, но, вспомнив, что кони не неуязвимы, решил сражаться пешком и сразу же стал делать мельницу своим чудодейственным мечом, давая таким образом отпор сразу всем наступающим на него. Карлики летели, как снопы под ударами серпа, и вскоре левое крыло было поголовно уничтожено, а когда он обернулся к правому, то увидел, что весь правый фланг обратился в бегство. Таким образом оставались только король да кавалерия, так как единственный полк, остававшийся в тылу, не решался даже шевельнуться. Справиться с королем было гораздо труднее, нежели казалось с первого взгляда; в маленьком, тщедушном теле его жила душа гиганта, гибкость же и ловкость его были прямо-таки изумительны, но они ему не помогли, когда Лидерик ударом меча отрубил передние ноги королевскому коню, тут же упавшему и прикрывшему собою всадника. Признав себя побежденным, последний стал просить графа Фландрского даровать ему жизнь ценою сокровищ и шапки-неведимки. После минутного раздумья Лидерик согласился принять предложенный ему за жизнь короля выкуп, а потому, спрятав в ножны меч, он связал пленному королю руки собственной его длинной седой бородой, не забыв при этом отнять у него золотой бич и приказав ему идти вперед, указывая путь к сокровищам Нибелунгов. Видя, что ему неоткуда ждать помощи, так как остаток войска его разбежался, король Альберик, покорившись обстоятельствам, побрел вперед; за ним следовали Лидерик да ведший коней Петерс, а обрадованный дарованной ему свободой соловей, порхая и взлетая, не отставал от своего избавителя. После часа пути они очутились в местности, столь заслоненной утесами,

что, казалось, далее некуда было и идти. Когда же Лидерик, согласно указанию короля, коснулся золотым бичом одного из выступов утеса, последний раздался, образовав отверстие достаточно широкое, чтоб пропустить короля, графа, Петерса и коней, соловей же, наученный горьким опытом, остался снаружи, опасаясь западни.

Граф Фландрский очутился в великолепнейшей колоннаде, выточенной из яшмы, порфира и лапис-лазури и ведущей в огромный квадратный малахитовый зал, из которого четыре двери вели в сокровищницы короля. Тут были двери бриллиантовые, рубиновые, жемчужные и изумрудные. Распахнув пред Лидериком все четыре двери, король предложил ему взять сколько и чего вздумается.

Так как для того, чтобы увезти все драгоценности, не хватило бы пятисот повозок, Лидерик решил наполнить ими четыре корзины, предложенные ему королем; нагрузив корзинами коней, он заявил королю, что взял с собою, сколько смог, если же не хватит запасов, то он вернется. Покончив с первой частью цели своего путешествия, граф Фландрский осведомился о местонахождении шапки-невидимки.

— Чтобы исполнить это твое желание, я должен сначала просить тебя развязать мне руки и вернуть хоть ненадолго мой бич, — сказал король Альберик. — Можешь быть уверен, что я тебя с такою же точностью доведу до логовища великана, у которого находится шапка-невидимка. При виде меня со связанными руками великан Тафнер откажется повиноваться мне. В довершение же всех доводов, он сказал, что сам Тафнер, надев шапку-невидимку и став невидимым, может наделать много бед, против которых не устоять и Лидерику, невзирая на исполинскую силу.

Убежденный доводами Альберика, граф Фландрский развязал ему руки, а видимо тронутый таким проявлением доверия миниатюрный король повел его и Петерса на противоположный край своих владений, где уж издали виднелась темная, казавшаяся железной скала.

Направлявшегося к ней Лидерика сопровождал перелезавший с дерева на дерево соловей и певший песнь, преисполненную тревоги и опасения.

«Берегись, Лидерик, берегись! Предатель обладает глазами газели, и лишь упав в яму, чувствуешь когти тигра и жало змеи. Берегись, Лидерик, берегись!»

Приписав это предостережение излишней подозритель-

ности соловья, Лидерик все же незаметно кивнул ему головой в знак того, что он слышал и принял к сведению сделанное предостережение.

Шествие открывал король Альберик, постукивавший своим золотым бичом и шутя превозмогавший все трудности пути. Поравнявшись со скалой, он вдруг сделал прыжок в сторону и, стукнув каблуком о землю, исчез под землю, как привидение, сошедшее в свою могилу. Граф стал искать его, чтобы преследовать и в недрах земли, как вдруг до слуха его долстели звуки чьих-то тяжелых шагов, приближавшихся к нему. Не видя никого, он понял, что имеет дело с великаном Тафнером, явившимся на бой в шапке-неведимке. Силы были неравные, так как Лидерику приходилось сражаться с невидимым врагом. Когда великан ударил его по голове палицей, Лидерику показалось, что на голову ему обрушилась целая гора, и он даже упал на одно колено, но, быстро оправившись и вскочив, он взмахнул мечом и, очевидно, ранил великана, ибо до него донесся крик ярости гиганта, вслед за которым он ощутил новый удар палицей, бывший в то же время и последним, ибо, сраженный посыпавшимися ударами могучего меча-Балмэнга, Тафнер упал, уронив шапку-невидимку. Этого только и нужно было Лидерику. Одним взмахом меча он отрубил голову великана по самые плечи. Осмотрев безжизненного своего противника и убедившись, что он действительно мертв, Лидерик решил найти скрывшегося Альберика, чтобы отомстить ему за предательство. Помог ему в этом один из его коней, случайно стукнувший ногой о землю как раз в том месте, где была лестница, ведущая в подземное царство короля Альберика. Все еще не оправившийся от страха за участь своего покровителя, Петерс насилу упросил Лидерика надеть шапку-невидимку.

Лидерик удалился, приказав озабоченному оруженосцу отправиться на поиски его, если он по истечении часа не вернется назад. С первых шагов Лидерик понял, что, действительно, попал в волшебное царство крошечного короля: стены были усеяны великолепнейшими драгоценными камнями, а полы усыпаны золотым песком. Пройдя несколько совершенно пустых покоев, освещенных алебастровыми светильниками с благовонным маслом, он очутился в саду, наполненном прекрасными цветами, сделанными из драгоценных камней. Стебли были у них коралловые, с изумрудными листьями, а гвоздики, туберозы

и фиалки были рубиновые, топазовые и сапфировые. Посреди этого волшебного сада высилась роскошнейшая беседка, к которой тихо, неслышно ступая, направился Лидерик. Остановившись на пороге, он увидел, что не ошибся: на гамаке, между двух своих жен, покоился король Альберик. Одна из жен тихо качала гамак, тогда как другая обмахивала его веером из павлиньих перьев; тут же на софе лежал и заветный его золотой бич. Прерывая речь свою взрывами насмешливого хохота, Альберик рассказывал своим женам о том, как обманул чужестранца, проникшего к ним, в страну Нибелунгов, обещав ему шапку-невидимку. При этом он высказал уверенность, что великан Тафнер давно его уничтожил.

Не имея сил далее выслушивать глумления, Лидерик, схватив его за бороду, стащил с гамака.

— Несчастный карлик, сейчас ты мне заплатишь за свое предательство! — сказал он и, связав ему руки на спине, снял спускавшийся с потолка светильник и на место его повесил карлика. — Оставайся здесь, — сказал он, — до тех пор, пока борода твоя не отрастет настолько, что ты достанешь ногами до земли.

Крошечный король извивался, как пойманная рыба, уверяя, что на этот раз он не обманет, а признает графа Фландрского своим повелителем, но Лидерик, наученный опытом, не обращал на него внимания, а взял обеих жен Альберика и разместил их у себя в карманах, чтобы невредимыми доставить их в подарок принцессе Кримгильде; захватил с собою и золотой бич, открывавший путь к сокровищам Нибелунгов. Проходя по саду, Лидерик сорвал великолепнейшую из рубиновых роз и, поднявшись по лестнице, встретил отправившегося было на поиски верного своего оруженосца Петерса, несказанно обрадовавшегося, видя целым и невредимым своего покровителя. Сопровождаемый Петерсом, отправился он обратно, а соловей, летевший впереди, пел прекраснейшие из своих песен, тогда как весело болтавшие с молодым героем жены злого короля благодарили и своего избавителя, и Господа Бога.

Небо с солнцем и звездами и поля с душистыми цветами были им милее, нежели хрустальные своды дворца злодея-короля и искусственные цветы его фантастического сада.

Пробыв в пути около недели, они добрались до берега моря, где, сев на ожидавший их корабль, они поплыли к



берегам королевства короля Гюнтера, куда и прибыли на третий день рано утром. День этот как раз совпадал с днем рождения короля и праздновался с особою торжественностью и пышностью. Устроили турнир рыцарей, стрельбу из лука и бега взапуски молодых девушек. Торжества завершались состязанием диких зверей, присланных императором Константинопольским в подарок королю Гюнтеру взамен полученных от последнего четырех норвежских соколов.

Прекрасная Кримгильда должна была не только присутствовать на турнире и стрельбище, но и принять активное участие в бегах. С незапамятных времен в стране короля Гюнтера водилось, что молодые девушки по достижении ими восемнадцатилетнего возраста, все без исключения, принимали участие в бегах на приз «розы». Приз этот назывался так потому, что простое розовое деревце служило и целью бега, и призом. Помимо этого приза прибежавшей первой предоставлялось право выйти в том же году замуж за храбрейшего и доблестнейшего рыцаря. Не имея терпения, чтобы дождаться начала празднества, Лидерик отправился во дворец; в первых трех покоях были слуги, придворные чины и министры, и он прямо прошел в тронный зал, где на алом бархатном, расшитом золотом престоле, с короною на голове восседал король Гюнтер, но и в этом зале он не остановился, а прошел в небольшую комнатку-беседку, сплошь покрытую зеленью и цветами, посреди которой тихо и нежно журчал фонтан в мраморном бассейне, а на краю бассейна на изумрудно-зеленой траве полулежала молодая девушка, рассеянно ошпыливавшая маргаритку, ни о чем не спрашивая ее, так как никого еще не любила и не подозревала, что уже любима. Молодая девушка эта, принцесса Кримгильда, была на самом деле прекраснее, нежели он ее себе представлял в самых восторженных мечтах. При виде ее Лидерик решил во что бы то ни стало завоевать ее себе в жены, если бы даже для этого ему пришлось, подобно Иакову, в течение десяти лет пасти стада. Пользуясь шапкою-невидимкою, он незаметно для нее простоял в самом восторженном созерцании до тех пор, пока ни пришли слуги звать молодую девушку к ее августейшему брату. Когда она удалилась, он, в свою очередь, поспешил к себе, чтобы приготовиться к предстоявшему турниру, на котором победитель получал награду из рук прекраснейшей из девушек, принцессы

Кримгильды. Войдя в свое жилище, он застал двух крошечных жен Альберика за работою: они готовили подарок своему освободителю — ткали белую, как снег, и тонкую, как паутина, ткань, предназначавшуюся для одежды, которая должна была быть на нем во время турнира. Прикрытый шапкой-невидимкой, он так же незаметно скрылся, а маленькие трудолюбивые пчелки-женщины, не отрываясь, продолжали свое дело, чтобы поднести ему удивительное чудо искусства: на одежде его причудливыми узорами выступали роскошнейшие цветы, вышитые рубинами, сапфирами, жемчугом и бриллиантами.

Едва показался он на арене, как взоры всех, а между прочим и прескрасной Кримгильды, обратились на одетого в великолепные белые одежды красавца-юноши, и каждый в душе желал ему успеха в предстоящих состязаниях. Пожелания сбылись. Граф Фландрский, одолев всех своих противников, был провозглашен победителем турнира, увенчан лавровым венком и тут же приглашен на придворный обед и бал. На следующий день он с первого же выстрела убил птицу, так как считался лучшим в мире стрелком, упражняясь в стрельбе, живя в лесу, в хижине отшельника. Убитой птице он вставил в клюв и на месте глаз три огромных бриллианта, самую же птицу, назвав ее Петерсом, он отослал королю в знак благодарности за гостеприимство, ему оказанное. На следующий день должен был состояться бег взапуски на приз розы. Все молодые девушки страны собрались на арене, разделенной на две части шелковой завесой. В пятистах шагах от них рос куст с единственной на нем розой. Среди состязавшихся была и принцесса Кримгильда, блиставшая красотой и изяществом. Прекрасное лицо ее дышало таким одушевлением и желанием получить приз и сделаться женой храбрейшего на земле рыцаря, что Лидерик решил во что бы то ни стало посодействовать ей в этом, для чего, вернувшись в свое жилище, надел шапку-невидимку и, наполнив карманы драгоценностями, вернулся на арену и стал близ прекрасной принцессы, пленившей его сердце. Король дал знак к началу бега, и молодые девушки помчались с быстротою ланей. Как ни была легка и ловка Кримгильда, но пять или шесть из ее подруг следовали так близко за нею, что трудно было предугадать, которая из них будет победительницей. Безжавший за нею в шапке-невидимке Лидерик быстро оценил положение вещей, а потому, захватив в

каждую руку по горсти драгоценных камней, стал их рассыпать по дороге. Увидев под ногами сверкающие всеми цветами радуги жемчуга, рубины, сапфиры и бриллианты, молодые девушки не могли не остановиться перед искушением подобрать их. Кримгильда же, желая не только овладеть розою, но, главным образом, стать женою отважнейшего рыцаря, не обратила внимания на рассыпанные драгоценности и, убежав далеко вперед, победила остальных участниц состязания.

Следующий день был посвящен состязанию диких зверей, содержащихся в огромной клетке, вокруг которой были построены места для зрителей. На особом возвышении, богато разукрашенном, помещался король Гюнтер с сестрою своею Кримгильдою, которая, гордая своею победою, держала в руках драгоценную, завоеванную ею накануне розу.

Несколько пар животных уже окончило состязание, когда, наконец, на арену выпустили великолепнейшего атласского льва и лагорского тигра. Тут было на что посмотреть; это было состязание двух редкостнейших и в то же время ужаснейших зверей, когда-либо встречавшихся лицом к лицу.

В самый решительный момент борьбы увлеченная захватывающим зрелищем Кримгильда громко вскрикнула; за первым возгласом последовал и второй, так как она уронила на арену розу. За этими двумя возгласами ужаса последовал третий, вырвавшийся из груди всех присутствовавших, когда Лидерик соскочил на арену, чтобы поднять розу. Пораженные неожиданностью, звери прекратили борьбу и, обернувшись к незваному пришельцу, припали на передние лапы, собираясь на него броситься. Лидерик же, вынув из-за пояса золотой бич, с такою силою ударил их, что они отступили, жалобно визжа, словно избитые собаки. Тогда Лидерик смело и свободно подошел к цветку и поднял его, но подал принцессе не тот же цветок, а сорванную им в саду короля Альберика искусственную розу.

— Ах, братец, — воскликнула не заметившая перемены принцесса, — мне сдается, что Лидерик храбрейший на земле рыцарь!

На следующий день Лидерик послал королю Гюнтеру четыре корзины, доверху наполненные жемчугом, рубинами, сапфирами и бриллиантами, прося его в обмен на эти драгоценности отдать ему руку сестры.

— Рука сестры мой будет отдана тому, — ответил король Гюнтер, — кто поможет мне проникнуть в Сегардский замок, окруженный со всех сторон снопами пламени, а в замке том красавица Брунгильда Исландская спит зачарованным сном в течение пятидесяти лет.

Лидерик изъявил согласие исполнить волю короля, но последний наотрез отказался отпустить его одного, повторив свое обещание в случае удачи отдать ему руку принцессы Кримгильды.

Через три недели были снаряжены корабли, которые отвезли короля Гюнтера и графа Фландрского, а вместе с ними и сто знатнейших и доблестнейших рыцарей в Исландию. Покидая невесту, Лидерик подарил ей жен короля Альберика, которых она сейчас же пожаловала званием придворных дам и беспрестанно говорила с ними о том, кто не побоялся, ради обладания ею, рискнуть собственной жизнью.

К вечеру третьего дня их плавания они заместили на горизонте огромное зарево. Осведомившись у своего рулевого, они узнали, что это и есть цель их путешествия — замок Сегар.

Действительно, по мере приближения высокие, зубчатые стены выступали все резче и яснее и горели все ярче, не сгорая, так как были построены из нескораемого камня, а ворота, числом десять, охранялись десятью же огнедышащими драконами. Пристав к великолепнейшему мраморному порту, Гюнтер хотел тут же высадиться на берег, но Лидерик не пустил его, заявив, что он сам обладает всеми средствами для благополучного завершения предприятия, а потому и высадится он один и даст впоследствии отчет во всех своих поступках. Опясавшись мечом-Балмэнгом, не забыв ни золотого бича, ни шапки-невидимки, он направился к главному входу, охранявшемуся шестиглавой гидрой, три головы коей бодрствовали, в то время как три остальные отдыхали. Не взирая на шапку-невидимку, гидра все же угадала приближение Лидерика по шуму шагов, а потому, разбудив три спящих головы, гидра из всех шести голов стала извергать пламя. Ударами плети граф Фландрский загнал ее в ее логовище и там окончательно добил, так что она перестала извергать пламя, истекая кровью. Воспользовавшись этим, Лидерик быстро выхватил меч, которым отрубил все головы гидры, а затем двинулся дальше. Заблудиться не представлялось ни малейшей

опасности ввиду того, что все улицы прямой линией тянулись к дворцу, составлявшему центр. Приближаясь к нему, Лидерик изумился странной, мертвенной тишине, царившей в городе. На всем пути спали почтальоны, протянув руки к звонкам у ворот, спали, усевшись на козлах с бичами в руках кучера; продавцы и продавщицы спали, усевшись на порогах своих лавочек, спала направлявшаяся в храм торжественная процессия. Нарушал невозмутимую тишину лишь столь громко храпевший укротитель змей, что храп его можно было принять за свист флейты, при помощи которой он укрощал своих безногих танцоров.

Продолжая путь, граф Фландрский дошел до дворца, где царствовала та же невозмутимая тишина. Замковый привратник спал, держа в руках трубу, в которую обыкновенно трубил привет гостям королевы, спали мухи на стенах, птицы на деревьях. Переступив порог замка, Лидерик тотчас же догадался, что сон одолел присутствовавших во время праздника. Передняя была полна слуг с частью наполненными, частью пустыми подносами. В бальном зале он увидел приглашенных в самых разнообразных позах, а музыканты уснули, прижимая к губам свои флейты и кларнеты, и со смычками на струнах скрипок. На особом возвышении, похожем на трон, лежал стройный рыцарь, одетый в богатейшие доспехи, на голове которого красовался золотой шлем с опущенным забралом. Предполагая, что спящий рыцарь не кто иной, как владелец заколдованного замка, Лидерик подошел к нему и приподнял золотой шлем. Удивлению его не было границ — из-под шлема покатились и рассыпались волна роскошных золотистых волос, обрамлявших прекрасное женское личико.

Приблизив лицо к лицу спящей красавицы, стал он прислушиваться к ее еле заметному, но ровному, правильному дыханию, и, очутившись столь близко к коралловым губкам ее, не устоял пред искушением и слегка коснулся их устами...

Словно по мановению волшебного жезла все вдруг ожило и проснулось. Вздрыгнув, проснулась прекрасная амазонка, проснувшись, весело заиграли музыканты прерванный было ритуфель кадрили, танцующие пары весело заплясали, выделявая замысловатые па и фигуры, а лакеи снова стали разносить фрукты и прохладительные напитки.

— Добро пожаловать, прекрасный рыцарь, — сказала Брунгильда. — Прорицатели предсказали мне, что я буду пробуждена тем, чьей женой стану впоследствии, то есть кто получит от меня перстень и пояс!

— Увы, принцесса, — улыбнулся Лидерик, — такое счастье не для меня! Я только посланец, явившийся просить вашей руки для короля Гюнтера, сестра коего — моя невеста!

— Ах, — воскликнула Брунгильда, и лицо ее на мгновение омрачилось, — слышите ли, господа! Приславший сюда этого рыцаря, чтоб просить моей руки, боялся подвергнуться опасностям, а потому предпочел прислать посланца более храброго и мужественного, нежели он сам!

— Простите, обожаемая принцесса, — возразил Лидерик, — но, вы заблуждаетесь, считая меня более храбрым, нежели король Гюнтер. Я согласился сопровождать его при непременно условии, чтоб он предоставил мне право разделяться со всеми опасностями и приключениями, которые могли бы встретиться мне на пути в далекие, чуждые страны. Прибыв в порт, я напомнил ему о данном им слове, которое он не мог не сдержать, ибо какой же рыцарь не хранит данное им слово!

— Хорошо, хорошо, — прервала, почти не слушая, Брунгильда. — Итак, знает ли пославший вас, какие подвиги надлежит совершить тому, кто хочет назваться моим супругом?

— Да, благородная принцесса, знает, но так как последние испытания являются в то же время и наиопаснейшими, то он их и оставил за собою.

— Вернитесь к нему, — сказала Брунгильда, — и скажите, что если ему не удастся выйти победителем из всех испытаний, погибнете вы оба — и он, и вы!

С этими словами Брунгильда, презрительно отвернувшись, исчезла в соседних покоях, Лидерик же поспешил к нетерпеливо его ожидавшему Гюнтеру. Поведав ему о результатах своей миссии, он присовокупил, что ему необходимо во что бы то ни стало выйти победителем в ожидающих его на следующий день испытаниях, не забыв упомянуть о жестокости Брунгильды, обрекающей их обоих, в случае неудачи, на неминуемую смерть.

В порыве великодушия Гюнтер выразил желание одному подвергнуться предстоявшим ему опасностям, не подвергая им Лидерика, дабы последний в случае гибели короля Гюнтера смог стать мужем его сестры.

Когда Лидерик предложение это отверг, Гюнтер долее не настаивал, так как ему самому было приятнее не разлучаться со столь верным, надежным и испытанным другом, а потому молодые люди с нетерпением стали ждать грядущих событий. Отъезд был назначен на шесть часов следующего утра. Готовый и снаряженный к отъезду Гюнтер стал беспокоиться, когда над самым его ухом раздался чуть слышный шепот: — Я здесь, близ тебя, Гюнтер, не бойся; я не покину тебя. Невидимым я буду тебе полезнее, нежели если бы сопровождал тебя на глазах у всех. Узнав голос Лидерика, король Гюнтер тотчас же успокоился и смело и отважно отправился во главе ста рыцарей навстречу Брунгильде. Увидев войско ее, превышавшее численностью его отряд раз в пять, он снова смутился.

— Здесь ли ты, Лидерик? — осведомился он и тотчас же успокоился, когда последний ответил утвердительно. Представ пред прекрасной амазонкой, король назвал себя претендентом на ее руку и сердце.

— По воле неба и земли счастливым браком можно назвать лишь такой союз, когда жена повинуется своему мужу, — презрительно усмехнувшись, проговорила она; — для того же, чтобы повинование и послушание могли иметь место, необходимо ей быть женой человека высших качеств и достоинств, нежели она сама. А потому я решила выйти за того, кто по легкости, ловкости и силе превзошел бы меня! Только такому соглашусь я повиноваться, король Гюнтер, а теперь ответь мне, готов ли ты подвергнуться трем испытаниям, которые я найду нужным тебе предложить?

— Готов! — ответил Гюнтер.

— Итак, мы начнем с боя на копьях. Принесите копьё! — приказала она.

Тотчас же восемь оруженосцев бросились исполнять приказание и вернулись с двумя копьями величиною с добрую мачту и столь тяжелыми, что каждое из них приходилось нести четырем оруженосцам. При виде их Гюнтер усомнился, может ли он хотя бы только поднять такое тяжелое копьё, а Лидерик, заметив нерешительность его, поспешил ободрить его:

— Не волнуйся, а лучше посторонись немного, чтобы мне освободилось местечко на твоём седле. Помни, что тебе следует только двигать рукой, я же буду наносить удары и отбивать их.

Вскочив на поданного ей коня и приняв копьё, Брунгильда помчалась к месту, откуда она должна была двинуться навстречу своему противнику. Гюнтер последовал ее примеру, а поданное ему копьё принял с такою легкостью, словно это было не железо, а соломинка, что в толпе вызвало шепот удивления и одобрения. Судьи дали знак к началу состязания, и противники бросились друг другу навстречу. К величайшему изумлению присутствовавших копьё Гюнтера, ударившись о золотой щит Брунгильды, разлетелось на несколько частей, но зато удар, им нанесенный, был так могуч, что прекрасная амазонка была опрокинута почти к самому крупу коня, а упавший с головы шлем открыл ее вспыхнувшее от стыда и гнева лицо. Гюнтер же оставался спокойным и невозмутимым, так как решительный удар был нанесен не им, а скрывавшимся под шапкой-невидимкою Лидериком.

— Я побеждена, — сказала Брунгильда, бросив копьё и соскочив с коня. — Приступим же ко второму испытанию.

— Ты ведь не уйдешь? — снова тревожно осведомился Гюнтер и успокоился, получив утвердительный ответ.

— Видишь ли ты этот камень? — обратилась к Гюнтеру красавица Брунгильда, когда двенадцать человек с огромными усилиями притащили необыкновенной величины камень. — Я намереваюсь добросить его как раз до небольшой горки, находящейся почти в пятидесяти шагах отсюда. Если тебе удастся бросить его дальше, то я, как и в первый раз, признаю себя побежденной.

— Пятьдесят шагов! Черт возьми! — пробормотал смущенный Гюнтер.

— Не бойся, — тихо ободрил его Лидерик, — я за тебя и подниму, и метну камень.

Подняв с изумительной легкостью тяжелый камень, она бросила его, словно горошину, а каменная громада упала, покатилась и собственной тяжестью докатилась до назначенной границы, вызвав восторженные рукоплескания в стане окружавших Брунгильду рыцарей. Войско же Гюнтера замерло в напряженном ожидании.

Снова двенадцать силачей отправились за тем же камнем и снова с усилиями и едва передвигая ноги притащили его и передали спокойно ожидавшему своей очереди Гюнтеру. Последний просто и спокойно принял его, приподнял и одним взмахом отбросил так далеко, что камень, подпрыгнув, попал на самую вершину горы, а оттуда уже скатился в море..



На этот раз раздались не рукоплескания, а громкие крики восторга и удивления. Брунгильда же побледнела и задрожала от гнева.

— Не все еще кончено, — обратилась она к окружающим, — осталось еще одно, последнее испытание.. Король Гюнтер, — небрежно проговорила она, даже не взглянув на него, — видишь ли ты этот ров?

— Да, — сказал король.

— Ширина его двадцать пять футов, — продолжала она, — что же касается глубины, то она достоверно неизвестна. Если бросить на дно этого рва камень, хотя бы такой же, как мы только что метали, то он достигнет дна лишь по истечении нескольких минут. Однажды на охоте, преследуя ланя я очутилась пред этой вот бездной. Животное, перескочив ее, считало себя спасенным, я же последовала за ним и убила его по ту сторону рва. Готов ли ты последовать за мною, как последовала я за ланью?

— Гм! — замялся было Гюнтер, но, поощряемый Лидериком, тотчас же согласился.

— Потрудись сложить свои доспехи, — сказала ему Брунгильда, и Гюнтер совсем уже собрался исполнить ее приказание, как вдруг услышал торопливый шепот своего друга и защитника.

— Не отдавай своих доспехов, они сослужат тебе службу!

Прекрасная амазонка легче птицы домчалась до края обрыва, взвилась над ним, и едва коснувшись носками противоположного края, когда очутилась по ту сторону зловещего рва, крикнула своему противнику вызывающе-насмешливым голосом:

— Твоя очередь, король Гюнтер!

— Я возьму тебя за кисть руки и перескачу с тобою вместе, — сказал Лидерик Гюнтеру, заметив, что последний остановился в нерешительности, и, не обращая внимания на надменные слова Брунгильды, он разбежался с головокружительной быстротой и перепрыгнул через ров на десять футов дальше принцессы Брунгильды.

— Король Гюнтер, ты победил меня. Я согласна стать твоей женой.

Не находя слов для изъявления своей признательности, король Гюнтер горячо пожал руку своего благородного друга, шепнув ему: — Ты будешь мужем моей сестры. Брунгильда тут же громогласно назвала короля Гюнтера своим мужем. Весть эта вызвала радость как среди

рыцарей Исландии, так и среди населения Шотландии.

Имея таких короля и королеву, они могли не бояться внешних врагов. Тем временем Лидерик снял шапку-невидимку и смешался с толпой поздравлявших молодую чету царедворцев. Брунгильда едва удостоила его взглядом, а Гюнтеру, не взирая на горячее желание обнять своего друга, пришлось довольствоваться рукопожатием.

Тут же было решено отпраздновать обе свадьбы одновременно, тотчас же по прибытии в столицу короля Гюнтера. Две недели, выговоренные Брунгильдою на устройство дел своего королевства, пролетели незаметно. Пользуясь попутным ветром, они поплыли в королевство Гюнтера, куда благополучно прибыли через несколько дней.

Принцесса Кримгильда несказанно обрадовалась свиданию с Лидериком, оказавшим брату столь важные услуги; королеву Брунгильду она приняла с родственною теплотою и нежностью, на которую последняя ответила с холодною сдержанностью и гордою замкнутостью, презирая женщин, занимающихся нарядами и рукоделием. Две миниатюрных придворных дамы были вне себя от счастья приветствовать своего великодушного избавителя, невеста коего своей добротой покорила их маленькие сердца.

Обе свадьбы были отпразднованы с подобающей торжественностью и пышностью; пиры сменялись придворной охотой и турнирами. В самый день свадьбы Лидерик получил письмо от матери, призывавшее его вернуться в свои владения. Добрая принцесса-мать писала, что жаждет увидеться с сыном и его молодой женой, присовокупляя, что если он замешкается хотя бы только на одну неделю, то найдет ее умершею от тоски и печали. О письме матери Лидерик тотчас же сообщил жене, а так как у молодой принцессы не было иных желаний, как только лишь угодить мужу, то между ними тут же было решено на следующий же день пуститься в путь. Перед отъездом она испросила у него разрешение подарить своей золовке, королеве Брунгильде, половину своих драгоценностей, на что Лидерик охотно согласился, видя в этом новое доказательство доброты своей избранницы. Не так оценила этот поступок надменная королева: вернув все присланные ей жемчуга, рубины, сапфиры и бриллианты, она велела передать Кримгильде, что не нуждается в украшениях, считая лучшими драгоценностями свои доспехи.

Поступок этот послужил для Лидерика лишним побуждением ускорить свой отъезд, так как нетрудно было догадаться, что обострившиеся между обеими женщинами отношения могли повлечь за собою и более серьезные и нежелательные осложнения.

Лидерик и Кримгильда уехали в замок Бюк, куда и прибыли на третий день. Престарелая принцесса Эрменгарда приняла сына и невестку с распростертыми объятиями, став для молодой женщины второй матерью. Все пошло на лад во владениях молодого графа Фландрского. Подданные его были счастливы как никогда и молили небо сохранить им доброго их принца на многие лета. Когда же через девять месяцев принцесса Кримгильда одарила мужа и государство сыном-наследником, нареченным Андракусом, ликованию населения не было границ. Поздравляя сестру с рождением первенца, Гюнтер пригласил ее с мужем, уведомляя, что желает посоветоваться с ним по крайне важному и безотлагательному делу.

Имея со своей стороны сильное желание увидеться с братом, Кримгильда, не злопамятная по природе, с радостью ухватилась за мысль провести хоть несколько недель при дворе брата-короля. Воспротивившаяся было новой разлуке принцесса Эрменгарда склонилась после долгих уговоров на их упрашивания лишь при условии, что ей оставят внука, на что и последовало согласие как Кримгильды, так и Лидерика. Последний тем охотнее изъявил свое согласие, что не желал видом сына-наследника огорчать лишенного отцовских радостей Гюнтера.

Встречены были граф и графиня Фландрские не только с подобающей торжественностью, но и с искренней сердечностью королем Гюнтером, гордая же королева Брунгильда ярко вспыхнула при виде Лидерика, ибо не могла забыть поцелуя, которым разбудил ее прекрасный рыцарь от заколдованного сна, но о котором умолчала перед мужем. Лидерик, не придавая особого значения этому поцелую, со своей стороны приписал яркую краску на лице королевы радости свидания со старыми друзьями.

Лишь только друзья остались наедине, Лидерик тотчас же осведомился, по какому именно делу вызвал его к себе Гюнтер. В ответ на это последний рассказал ему весьма странную историю.

В первую же после свадьбы ночь королева Брунгильда, сняв подвязки, связала ими, одной — руки, а другой — ноги мужа и, подняв его к крюку, на котором висели щит

и оружие, повесила на него мужа, а, покончив с этим делом, она преспокойно улеглась. Когда же Гюнтер вздумал было закричать и позвать на помощь, Брунгильда встала и так жестоко его избила, что бедняга тут же торжественно поклялся не шевельнуться и не проронить ни единого слова. На утро она, как ни в чем ни бывало, развязала ему руки и отцепила его с крючка, к которому он был прикреплен. С той поры принцесса Брунгильда ежедневно проделывает с ним то же, с тою лишь разницею, что истязания королевою мужа стали сильнее, и он только тем и спасается, что забирается в соседнюю со спальней комнату, двери которой не только запирает, но заставляет ее всевозможными предметами, в ограждение себя от жестокостей своей венценосной супруги.

Такую-то историю сообщил Гюнтер своему другу Лидерику. Не напрасно надеялся он на него; призадумавшись на минуту над тем, что ему только что пришлось услышать, Лидерик сказал, положив ему руку на плечо:

— Не беспокойся, Гюнтер; я и на этот раз надеюсь сослужить тебе службу. Вечером, когда слуги и пажы удалятся, ты вместо того, чтобы по обыкновению уйти из спальни, останься в ней, замкнись, да потуши огня, остальное же предоставь мне.

— Будешь ли и ты в той же комнате? — осведомился король. — Как же я узнаю о твоём присутствии?

— Я шепну тебе об этом на ухо, как сделал это в замке Сегар.

Получив обещание Лидерика, растроганный король горячо обнял своего испытанного друга, торжественно поклявшись ему никогда не забыть этой последней, но важнейшей услуги.

День прошел в непрерывных празднествах. Королевская семья внешне казалась в наилучших отношениях. Никто, разумеется, не мог догадаться или предположить, что Брунгильда, кроткая днем, была так жестокосердна ночью. Когда настало время разойтись по своим покоям, Лидерик проводил молодую жену свою лишь до дверей спальни, заявив, что должен переговорить с Гюнтером о делах государственной важности. Добрая и кроткая Кримгильда ни словом, ни взглядом не выразила неудовольствия, помня, что вопрос касается важной услуги, которую благородный супруг ее намеревался снова оказать ее царственному брату.

Надев шапку-невидимку, Лидерик незаметно пробрал-

ся в покои короля и, видя его сильно волнующимся, тихо-тихо шепнул ему:

— Я здесь.

Услышав столь утешительные слова, король воспрянул духом.

В обычный час, когда пажи и слуги по обыкновению с факелами в руках проводили королеву до опочивальни и удалились, оставив лишь одну лампу, она преобразившись и перевоплотившись из кроткой в свирепую, решительно пошла навстречу мужу. Последний, однако, уверенный в поддержке своего защитника, не бежал, как делал это все время, а смело замкнул двери и спрятал ключ в карман своей одежды. Брунгильда же, взбешенная такою смелостью мужа, толкнула его с такою силою, что он опрокинул лампу, которая тут же потухла.

Этим моментом воспользовался Лидерик, усадивший Гюнтера в самый отдаленный угол комнаты, тогда как Брунгильда стала искать своего мужа, чтобы по обыкновению повесить его на стену, связав по рукам и ногам; однако на этот раз ей это не удалось. Наоборот — связанная Лидериком, она была повешена на том же крючке на щите, куда каждую ночь вешала своего мужа.

Переступая порог, чтобы покинуть комнату, он ощутил под ногой какой-то предмет. Подняв и рассмотрев неожиданную находку, Лидерик узнал в ней шелковый пояс и перстень, с которыми никогда не расставалась Брунгильда. Желая успокоить, он поведал ей все от начала до конца, показав ей при этом и находку, при виде которой Кримгильда стала просить подарить ей и пояс, и перстень. Сначала Лидерик наотрез ей в том отказал, но, сообразив, что отказ только усилит в ней желание получить просимое, он отдал ей и то и другое, при непременном, однако, условии, чтобы она никогда ни единым словом не обмолвилась о том, каким образом получила эти вещи. Кримгильда обещала и в тот момент имела, несомненно, твердое намерение сдержать данное ею слово.

На следующее утро Гюнтер сияющий и торжествующий пожал руку своему другу Лидерику, тогда как Брунгильда казалась смущенной и печальной, словно оплакивала победу, одержанную над нею ее мужем; но непримиримая ненависть к Кримгильде дошла до того, что

она не могла видеть ее, не сказав по ее адресу какой-либо колкости.

В это время на севере Исландии вспыхнули смуты и беспорядки, и Гюнтеру пришлось покинуть столицу, чтобы водворить мир и тишину в провинции.

Распростившись с Лидериком и Кримгильдой, он поручил Брунгильде свято блюсти правила гостеприимства. Оставшись одна, Брунгильда усугубила свое презрительное высокомерие, и тогда как Лидерик, догадывавшийся о причине такого поведения, не обращал на ее поступки ни малейшего внимания, Кримгильда они возмущали до глубины души. Когда же дерзкая заносчивость и злоба королевы достигли своего апогея, Кримгильда, обиженная не столько за себя, сколько за мужа, решила отомстить ей за все полученные от нее совершенно незаслуженные оскорбления. Отправившись в ближайшее воскресенье к обедне, она поверх праздничных одежд обвила стан свой поясом Брунгильды, а на палец надела перстень, найденный мужем ее, и умышленно вошла в храм ранее королевы.

— С каких это пор стали вассалы входить в храм ранее королев? — остановила ее последняя.

— С тех пор как они стали носить этот пояс и кольцо, — ответила Кримгильда и смело и решительно вошла в храм, где заняла почетное место, тогда как Брунгильда тут же упала в обморок на руки сопровождавших ее фрейлин.

Взвесив только что произошедшую сцену, графиня Кримгильда вспомнила, что нарушила данное мужу обещание, и с ужасом стала думать о возможных последствиях своего непослушания; едва дождавшись окончания богослужения, она поспешила домой и стала упрашивать мужа поскорее уехать, дабы долее не подвергаться оскорблениям со стороны сварливой королевы Брунгильды.

Просьба эта соответствовала желанию Лидерика скорее положить конец раздорам, а потому он, назначил отъезд свой на утро следующего дня. Желая проститься с королевой, он послал к ней, прося ее принять его в прощальной аудиенции, Брунгильда же наотрез отказалась принять его, в силу чего Лидерик, усмотрев в отказе новое оскорбление, уехал в тот же самый вечер, не написав ни строки Гюнтеру и не объяснив ему причину своего столь внезапного отъезда. Через несколько дней вернулся

Гюнтер, благополучно уладивший распри на севере своих владений; удивившись отсутствию сестры и зятя, он все же первым делом поспешил к королеве, которая встретила его не веселой и жизнерадостной, а глубоко опечаленной и в слезах и вместо того, чтобы броситься в распростертые объятия мужа, она опустилась перед ним на колени, умоляя отомстить за нее Лидерику.

— Что же он сделал? — осведомился удивленный король.

— Государь, он тяжко оскорбил меня, — ответила Брунгильда, — но этого мало; ужаснее нежели меня он оскорбил вас. Овладев непонятным для меня образом поясом и перстнем, снятыми вами с меня ночью, он и то и другое отдал Кримгильде, пояснив при этом, что получил вещи эти лично от меня, тогда как вам более чем кому либо известно, что целый год вы тщетно добивались возможности получить их от меня.

Выслушав жену, Гюнтер страшно побледнел, решив, что Лидерик предательски его обманул.

— Хорошо, — сказал он, подняв королеву, — но раньше скажите мне, не обмолвились ли вы кому-либо об этом?

— Никому, государь; никому ни слова.

— Отлично. Продолжайте хранить это в тайне, я же клянусь вам, что вы будете отомщены.

Надменная королева поднялась, наполовину утешенная мыслью о близкой мести Лидерику.

Первою мыслью благородного Гюнтера было, обвинив Лидерика во лжи, вызвать его на поединок, но зная его силу и ловкость, он решил принять все меры предосторожности, самой животрепещущей из коих было обеспечение себя соответствующим оружием. Не зная с кем бы ему посоветоваться в выборе копья, меча и иных доспехов, он на следующее же утро отправился к кузнецу Мимэ.

Пробыв за отдаленностью почти целых шесть дней в пути, Гюнтер, наконец, на седьмой день прибыл в кузницу, где застал и самого Мимэ, а также Гагена и мастеров за изготовлением прекраснейшего и прочнейшего оружия. Гюнтер объяснил им цель своего приезда и предложил им такую высокую плату, что кузнецы во главе с хозяином рассыпались в изъявлениях готовности изготовить ему лучшие в мире доспехи, осведомившись при этом, с кем у него будет поединок, чтобы изготовить соответствующее оружие, хотя бы ввиду того, что знают

достоинства доспехов всех своих заказчиков, европейских рыцарей.

На это Гюнтер ответил им, что противник его Лидерик, первый граф Фландрский. При этом имени Мимэ печально поник головой.

— Господин рыцарь, — заговорил он после долгого, озабоченного раздумья, — трудную и замысловатую придумали вы себе задачу; должен вам сказать, что нет в целом мире такого оружия, которое могло бы сравниться с мечом Балмэнгом, выкованным на этой вот наковальне, да еще и самим Лидериком. К тому же нет ни одного меча, способного ранить его, ибо он убил змея и окунулся в его кровь, сделавшись таким образом неуязвимым, за исключением лишь одного места, на которое упал липовый лист. Кожу его можно сравнить с лучшей сталью, столь она непроницаема.

— На какое же место упал этот липовый листик? — осведомился Гюнтер.

— К сожалению, я этого не знаю, — ответил кузнец.

Тогда вперед выступил Гаген, тот самый, который некогда посоветовал отправить Лидерика в Черный Лес.

— Господин рыцарь, — сказал он, подойдя к Гюнтеру, — с предателями поступают предательски. Если вы дадите мне половину суммы, ассигнованной на оружие, а остальную половину вы дадите хозяину Мимэ, я возьмусь избавить вас от Лидерика. Когда он умрет, вы завоюете его владения.

— Каким же путем думаете вы это сделать?

— Это уж мое дело, государь; положитесь на меня.

— Ладно. Пусть так, — сказал Гюнтер, — делайте, как знаете. Возьмите, здесь половина суммы, ассигнованной на приобретение оружия, вторую половину вы получите, когда избавите меня от Лидерика.

Таким образом состоялось соглашение между Гюнтером, королем Исландским, кузнецом Мимэ и первым его помощником, после чего Гюнтер тотчас же вернулся к себе в столицу. Гаген же, взяв в руки палку наподобие посоха и взвалив на спину котомку, зашагал по направлению к замку графа Лидерика Фландрского. Придя туда на третий день, он попросил разрешения видеть графа Лидерика, который, услышав, что его желает видеть путешественник, тотчас же приказал впустить его. При первом же взгляде он узнал в Гагене одного из кузнецов мастерской Мимэ, но, будучи совершенно незлопамятным, он



радушно и ласково с ним обошелся и осведомился, что привело его к его двору. Гаген сказал, что он поссорившись с мастером Мимэ, решил поступить на службу к какому-нибудь важному господину, причем первым делом он якобы вспомнил о своем старом товарище по кузнице и тут же решил предложить ему свои силы, умение и преданность.

Зная, что Гаген после Мимэ был первым мастером-оружейником, Лидерик решил воспользоваться случаем и, оставив его у себя, доверил ему все свои кузницы и оружейные склады. Все, кроме Петерса, одобрили назначение Гагена на место, специально для него созданное. Зная злую душу Гагена, Петерс неоднократно предупреждал и предостерегал своего покровителя-графа, но последний только смеялся над всеми страхами и опасениями доброго, преданного юноши.

Спустя несколько дней Лидерик получил от Гюнтера письмо, в котором последний извещал его, что смуты в его королевстве приняли такие угрожающие размеры, что он умоляет его прийти с лучшими из своих рыцарей к нему на помощь. Забыв неприязненные отношения, царившие между обеими королевами, добродушный Лидерик приказал возможно скорее готовиться к походу и, собрав сто лучших воинов-рыцарей, объявил им о своем решении пойти на выручку соседа и зятя, короля Исландского. Перспектива войны радовала Лидерика, и он готовился к ней, словно к празднеству. Лишь принцессы Эрменгарда и Кримгильда, томясь предчувствием, с мучительной тоской следили за приготовлениями к предстоящему походу. Сердце матери, принцессы Эрменгарды, предчувствовало грядущие беды, а Кримгильде были известны отрицательные качества ее брата, короля Гюнтера.

Услышав как-то раз стенания и плач Кримгильды, Гаген почтительно приблизился к ней.

— Благородная принцесса, — вкрадчиво заговорил он, — мне известна и понятна причина вашего горя и беспокойств. Супруг ваш неуязвим весь, за исключением лишь того места, куда некогда упал липовый листок, а посему вы опасаетесь, что его ранят именно в то место; но эту опасность возможно совсем предотвратить: сделайте небольшой значок на его одежде на том месте и, верьте, я буду следовать за ним и отклонять все удары в эту часть тела.

Увидев в этом предложении промысел Божий, Крим-

гильда горячо поблагодарила Гагена и обещала вышить на том месте крошечный крестик, чтобы он, Гаген, мог оберегать и отклонять удары именно по этому месту. Этого-то только и нужно было предателю.

В назначенный для выступления день Лидерик и сто сопровождавших его рыцарей были готовы к походу. Вооружен был Лидерик только одним своим любимым мечом Балмэнгом, а надет на нем был сшитый собственноручно Кримгильдою походный камзол, под левым плечом которого красовался крошечный, еле заметный крестик. Как ни умолял Петерс Лидерика не брать с собою Гагена, все было тщетно. С беззаботным смехом он уверял его в незаменимости Гагена именно при этом случае, так как лучше него, придворного оружейника, никто не сумеет починить или исправить оружие в походе и на войне. Лидерик простился с матерью и женою, веря в свою счастливую звезду и зная цену своему мечу Балмэнгу, золотой плети короля Нибелунгов да шапке-невидимке. Трех этих предметов было более нежели достаточно, чтобы быть вполне уверенным в несомненной победе.

Три дня понадобились графу Фландрскому и его соратникам, чтобы добраться до заранее приготовленных кораблей, на которых они совершили переход по морю, а на восьмой день они прибыли в столицу Исландии. Лидерик был немало изумлен тем, что не заметил в его королевстве ни малейших признаков предстоящих военных действий; наоборот, все имело праздничный, торжественный вид. Встретивший его на берегу король Гюнтер, поблагодарив Лидерика за готовность прийти к нему на помощь, объяснил ему, что смуты и беспорядки удалось подавить, и что он в честь дорогого гостя назначил на следующее утро большую придворную охоту. Таким образом, проведя всего лишь одну ночь в столице Исландии, Лидерик на следующее утро совместно с Гюнтером отправился в огромный дремучий лес, где был назначен сбор участников королевской охоты. Сто рыцарей, сопровождавших его в Исландию, Лидерик по совету Гюнтера оставил в столице, причем последний приказал своим царедворцам оказать им почесть, уважение и гостеприимство, подобные тому, какие оказывает их повелителю король.

Лидерика сопровождали лишь Гаген и Петерс.

Ввиду того, что лес находился вблизи столицы, они прибыли к сборному пункту к семи часам утра, и охота

тут же началась, тем более что загонщики только что «подняли» из берлоги огромного медведя.

После двухчасовой непрерывной травли усталый медведь был окружен собаками, и охотники звуками труб созвали всех участников охоты на поляну. Среди остальных явился и Гюнтер с мечом в руках, чтобы убить медведя, когда Лидерик предложил взять его живьем, чтобы принести в дар королеве Брунгильде.

Никто не решался на такой смелый до безумия поступок. Тогда Лидерик, сойдя с коня, приказал подать веревку и пошел прямо навстречу медведю, поднявшемуся на задние лапы; этого только и желал Лидерик: обхватив косматое чудовище поперек туловища, он связал ему передние и задние лапы, и так как кони взвизгивали на дыбы при попытке взвалить медведя на седло, он понес его на собственных плечах к тому месту, где был приготовлен завтрак.

Завтрак поспел как раз во время и был роскошен и обилен, как оно и полагается для проголодавшихся охотников, но по странной и ничем необъяснимой рассеянности и забывчивости — вино совершенно отсутствовало.

Гюнтер строго выговаривал слугам, которые сваливали вино друг на друга, но так как этим нельзя было помочь горю, Гюнтер вдруг вспомнил, что по дороге на поляну он заметил такой чистый и прозрачный ручей, что каждый с удовольствием из него напился бы, и тотчас же приказал слугам принести этой воды к столу.

Изнемогавший от жажды после жаркого боя с медведем Лидерик не пожелал дожидаться того, чтобы принесли живительную влагу, а сам поспешил к ручью...

Этого случая, казалось, Гаген только и ждал. Он последовал за ним, как бы желая услужить ему.

Дойдя до ручья, Лидерик снял шлем, меч и копье и, припав к ручью, жадно стал пить прохладную воду; злодей же Гаген, схватив копье графа, загнал его под левое плечо, как раз в том месте, где виднелся крестик, вышитый принцессой Кримгильдой.

Издав громкий нечеловеческий крик, смертельно раненый Лидерик вскочил и, схватив свой заповедный меч, бросился к Гагену, словно раненый лев. Одним ударом своего верного Балмэнга он раскрыл ему череп до самых плеч.

Оглянувшись, он заметил Петерса, спешившего к нему в предчувствии предательства со стороны Гагена, но

явившегося слишком поздно... Видно было, что он тщетно силился что-то сказать; по движению, сделанному рукою, Петерс понял, что умирающий его покровитель приказывает ему спастись и бежать, так как Гюнтер в своих злодейских замыслах не остановится на этом акте высшей неблагодарности и предательства, а потому, бросив прощальный взгляд на умершего графа, он бросился бежать по направлению к морю. Оглянувшись и заметив устремившуюся за ним погоню, молодой человек, не долго думая, бросился в воду и, добравшись вплавь до случайно проходившей в этой местности фламандской галеры, был вытаскен из воды и взят под свое покровительство капитаном судна, которому он поведал о злодейском поступке короля Гюнтера. Выслушав его повествование, капитан приказал держать курс на ближайший к графству Фландрскому Блакенбергский порт.

Горе двух осиротевших царственных женщин не поддается описанию. Упав на колени перед престарелой принцессой Эрменгардой, Кримгильда, рыдая и прося прощения, называла себя убийцей Лидерика, погубившей его дважды своими высокомерием и доверчивостью. Добрая и набожная Эрменгарда старалась утешить молодую вдову своего сына, хотя у нее самой сердце обливалось кровью при мысли о незаменяемой потере. Приказав тотчас же оповестить всю страну о кончине графа Лидерика и предательстве Гюнтера, она тут же призывала всех фламандцев к защите их молодого графа Андракуса, не забыв при этом отправить гонца к королю Дагоберту, прося его покровительства и защиты.

Действительно, не прошло и недели, как вдруг в Эклюзском порту высадился король Гюнтер со значительными вооруженными силами. Как ни ужасны и мрачны были опасения старушки Эрменгарды, однако действительное положение было куда мрачнее и серьезнее.

Сто лучших и храбрейших рыцарей Дижонских и Фландрских, взятых принцем Лидериком в поход, были захвачены в плен в то время, когда менее всего этого ожидали и не имели даже возможности защищаться; гонец же, посланный во Францию, явился с известием, что король Дагоберт только что скончался, а сын его Зигебер, наследовавший восточную Францию воюет со своим братом Кловисом, получившим западную Францию, а потому, не взирая на живейшее желание быть полезным, лишен возможности разрознить свою армию.

Таким образом две слабых, беззащитных женщины были обречены защищаться без посторонней поддержки, лишь при помощи плохо дисциплинированного войска.

Тем временем Гюнтер во главе своей армии надвигался словно грозовая туча. Свое появление он объяснял необходимостью объявить себя правителем графства впредь до совершеннолетия юного графа Андракуса. Никто, однако, не хотел верить искренней дружбе к юному графу со стороны убийцы его отца.

Эрменгарда и Кримгильда собрали вокруг себя и для защиты замка не только всех, кто мог защищаться с оружием в руках, но и всех слуг, сами же, надеясь лишь на помощь Господню, молились Ему, не отходя от колыбели молодого графа, когда к ним пришли с докладом, что какой-то бедно одетый, но, видимо, хорошо осведомленный в военном деле рыцарь просит принять его. Сознывая, что в подобные минуты не следует пренебрегать ничьей помощью, Эрменгарда и Кримгильда приказали просить рыцаря.

Вошедший рыцарь вежливо поклонился обеим женщинам и сразу заговорил о причине, приведшей его к ним в замок. Узнав об угрожавшей им опасности и беспомощности, он пришел предложить им помощь, присовокупив, что он готов поклясться на святом Евангелии, что решил посвятить всю свою жизнь защите прав молодого графа, и просил их не отвергать его предложения.

В голосе незнакомца, которого они не могли рассмотреть из-за опущенного забрала, слышалась такая неподдельная искренность и правдивость, что они тотчас же с благодарностью согласились принять предложенные им услуги и помощь. Из отверстия забрала на грудь рыцаря спускалась длинная белая борода, свидетельствующая о том, что, если атлетически сложенный незнакомец и потерял юношескую силу и мощь, то за счет их приобрел опыт и выдержку. Поклонившись с тою же утонченной вежливостью, с какою вошел, и не желая попусту терять времени, он тотчас же поспешил во двор замка, чтобы сделать необходимые распоряжения. Собрав все имевшееся в его распоряжении войско, состоявшее из двухсот человек, не считая слуг и пажей, и оценив их преданность и подъем духа, он, оставив на защиту замка сотню воинов, решил пойти навстречу надвигавшемуся врагу.

В момент выступления один из старых слуг предложил

ему свои услуги в качестве проводника, но получил отказ со стороны таинственного незнакомца, заявившего, что, проведя всю свою молодость близ этого леса, он достаточно знаком со всею тою местностью. С первых же шагов войско, угадав в нем знатока военного дела и знакомого с каждой лесной тропинкой, почувствовало непреодолимое желание отличиться в глазах своего таинственного полководца, проявив под его руководством чудеса мужества и храбрости. А полководец этот привел свое войско как раз на то самое место, где двадцать три года тому назад были убит принц Сальвар, и взята в плен принцесса Эрменгарда. Место это, казалось, было создано для борьбы двухсот человек против двухтысячного войска.

Лишь только войско неизвестного рыцаря расположилось по своим местам, как вдали показалась армия Гюнтера, которая, полагаясь на численное превосходство да надеясь на отсутствие отпора со стороны противника, надвигалось без каких бы то ни было мер предосторожности, если не считать небольшого авангарда, высланного вперед на разведку.

Будучи опытным полководцем, таинственный незнамец пропустил авангард, не выдав своего присутствия; зато, лишь только войско под предводительством короля Гюнтера вступило в лесное ущелье, как бы стиснутое с обеих сторон огромными скалами, как он тотчас же повел свое немногочисленное, но безумно отважное войско в атаку, причем звуки труб, гулким эхом разносившиеся по лесу, заставляли предполагать количество солдат, втрое более существовавшего на самом деле. Гюнтер сражался с мужеством и отвагою, которые, однако, не могли, хотя бы только отчасти, нанести какой-либо урон противнику, так как на их стороне было два огромных преимущества: знание местности и выгодное расположение войска.

После двухчасового непрерывного боя разбитая по частям исландская армия позорно бежала. Король Гюнтер во главе ста человек поспешил к своим кораблям, доставлявшим его опозоренным и униженным в столицу королевства, победители же с кликами радости и ликования вернулись в замок, издали возвещая славную победу над врагом. Услышав звуки труб и победные клики своего победоносного войска, принцессы Эрменгарда и Кримгильда поспешили к воротам замка, чтобы приветствовать и благодарить своего великодушного освободителя. Глазам их представилась печальная и величественная

картина: на наскоро сколоченных носилках лежал смертельно раненый таинственный незнакомец, окруженный войском со знаменами. При виде приближавшихся принцесс, он поднял забрало, и Эрменгарда тотчас же узнала в умиравшем рыцаре принца Финара Бюкского, отдавшего свои владения Лидерику и удалившегося в лес, чтобы совершать подвиг отшельничества. В глуши своего добровольного изгнания он услышал об угрожающей принцессам и юному графу опасности; тогда он решил в последний раз возложить на себя мирские доспехи и оружие и прийти к ним на помощь.

Господ услышал его молитвы и благословил его подвиг, дав ему возможность загладить свою вину и искупить свой грех на том самом месте, где некогда совершил преступление.

На следующий день Финар умер, прося похоронить его в той именно могиле, которая была приготовлена ему таинственной рукой на отдаленнейшем дворе замка в ту знаменательную ночь, когда на него снизошло раскаяние. Воля его была исполнена; он был похоронен согласно выраженному желанию. Мир праху его!

Молодой граф Андракус, долго и счастливо царствовавший, оставил после себя сына, нареченного Балдуином Первом, прозванным Железным.

Все вышеизложенное — правдивое сказание о Лидерике, первом графе Фландрском.



*Морские  
новости*





## «КЕНТ»

1 марта 1825 года в десять часов утра «Кент», великолепный трехмачтовый корабль, лежа в дрейфе, боролся с одним из самых страшных ураганов, какие когда бы то ни было бушевали в Бискайском заливе. Гигантские водяные валы вздымались вокруг и обрушивались на судно с такой силой, что вахтенным матросам пришлось на всякий случай привязаться к протянутому вдоль палубы канату. Чтобы противостоять шторму, матросы задраили кормовые иллюминаторы, подтянули на гитовы нижние паруса и спустили брам-реи, оставив поднятым только грот-марсель, да и у того были взяты три рифа.

«Кент» принадлежал британской Ост-Индской компании и под командой капитана Генри Кобба шел в Бенгалию, а оттуда в Китай. На борту его находились двадцать офицеров и триста сорок четыре солдата 31-го пехотного полка, сорок три женщины и шестьдесят шесть детей — члены их семей, а также двадцать штатских пассажиров и команда в количестве ста сорока восьми человек, включая офицеров. Все они отплыли от берегов Великобритании 19 февраля 1825 года в самом радужном настроении: корабль был новым, капитан опытным, каюты удобными, так что путешествие обещало быть приятным и недолгим.

Идя попутным ветром, красавец корабль миновал Ла-Манш и 23 февраля вошел в воды Атлантического океана; вскоре английский берег скрылся из виду. Пока дул норд-вест, «Кент» благополучно следовал заданным курсом, однако в ночь с воскресенья 28 на понедельник 29 февраля ветер переменился. Зюйд-вест дул с нарастающей

силой весь день 29 февраля, а в десять часов утра 1 марта, то есть в тот момент, с которого мы начали наше повествование, судно остановилось и легло в дрейф.

Команда «Кента» приняла все возможные меры предосторожности, и все же корабль сильно качало: он то взлетал на вершину огромных водяных валов, то стремительно падал в бездну. Качку увеличивал груз, хранившийся в трюмах, — по большей части он состоял из бочек с пушечными ядрами и снарядами.

К середине дня качка усилилась, и корабль стал крениться из стороны в сторону так резко, что ванты погружались в воду на три, а то и на четыре фута. Из-за этой страшной тряски все предметы, находившиеся на борту корабля, включая те, что были, казалось, самым надежным образом закреплены, с грохотом швыряло из стороны в сторону, и потому никто не чувствовал себя в безопасности даже в каютах и в кают-компани.

Именно в это время одному из офицеров, встревоженному тем, что творилось на палубе и в твиндеке, пришлось в голову проверить, все ли благополучно в трюме. Он спустился туда в сопровождении двух матросов, одному из которых приказал захватить с собой лампу. Заметив, что лампа коптит, он, опасаясь пожара, послал несшего ее матроса на трюмную платформу, чтобы тот подкрутил фитиль, а сам остался в крошечной тьме.

Минут через пять матрос вернулся, и офицер увидел, что одна из бочек с ромом сдвинулась с места. Он взял себе лампу, а обоих матросов отправил за клиньями, чтобы закрепить бочку. Когда они ушли, офицеру пришлось одной рукой держать лампу, а другой — придерживать бочку. Внезапно корабль так качнуло, что лампа выскользнула у него из рук. Офицер торопливо нагнулся, чтобы поднять ее, и при этом отпустил бочку — та упала, и сильный удар о пол вышиб из нее дно. Ром, тут же растекшийся по всему трюму, вспыхнул, и языки пламени начали лизать стены. Офицер чуть не вскрикнул от ужаса, но вовремя овладел собой и, когда матросы вернулись в трюм, сразу послал одного из них предупредить о случившемся капитана, а с помощью второго попытался сам погасить огонь.

Узнав о несчастье, капитан Кобб тотчас отдал необходимые распоряжения: матросы начали качать воду помпами, таскать ее ведрами, преграждать путь пламени мокрыми косячными чехлами.

Офицер, оставивший подробнейшее описание гибели «Кента», отважный и самоотверженный майор Мак-Грегор, находился в это время в кают-компании. Он изучал показания барометров, когда вахтенный офицер, господин Спенс, подошел к нему и тихо сказал: «Майор, в винном трюме пожар», — после чего, по возможности сохраняя спокойствие, продолжал прохаживаться взад-вперед по палубе и следить за порядком.

Майор Мак-Грегор не поверил своим ушам. Он бросился к люку, из которого уже начали вырываться клубы дыма. Капитан Кобб и его офицеры, находившиеся уже в очаге пожара, не теряя присутствия духа, отдавали приказания, а матросы и солдаты с таким же самообладанием исполняли их.

Капитан заметил Мак-Грегора.

— А, это вы, майор! — произнес он.

— Да, господин капитан. Могу я быть чем-нибудь полезен?

— Предупредите ваших офицеров о случившемся и следите, чтобы солдат не охватила паника.

— Неужели это и вправду так серьезно? — спросил майор.

— Еще бы! Смотрите сами! — и капитан Кобб указал ему на выбивающийся из люка дым.

Да, дело было плохо, и майор отправился на поиски подполковника Фирона. Ему сказали, что тот находится в своей каюте, успокаивает офицерских жен, которые сбежались к нему в страхе перед ужасной бурей, не подозревая, что им грозит куда большая опасность. Мак-Грегор постучал в дверь, намереваясь отозвать подполковника в сторону и поговорить с ним наедине, но как он ни старался держаться спокойно, на лице его, видно, был написан такой ужас, что все женщины дружно вскочили и стали наперебой спрашивать о шторме. Майор, взяв себя в руки, с улыбкой дал честное слово, что ураган не так уж опасен, и женщины несколько успокоились.

Подполковник Фирон пошел к своим солдатам, чтобы подбодрить их, а майор вернулся туда, где шла борьба с огнем. За время его отсутствия положение заметно ухудшилось: если раньше горел голубоватым пламенем только ром, то теперь густой дым валил из всех четырех люков. Он постепенно обволакивал корабль, и при этом на палубе резко запахло смолой. Майор спросил капитана Кобба, что произошло.

— Огонь перекинулся из винного трюма в трюм для снастей.

— Значит, мы погибли?

— Да, — просто ответил капитан и тут же тревожно приказал:

— Затопите нижнюю палубу, раскройте люки и нижние порты, — пусть вода хлынет со всех сторон.

Офицеры немедленно приступили к исполнению приказа.

Между тем на борту уже появились первые жертвы: два или три солдата, одна женщина и несколько детей погибли, безуспешно пытаясь добраться до верхней палубы. Спускаясь к портам, чтобы открыть их, подполковник Фирон, капитан Брей и еще двое офицеров 31-го пехотного полка встретили боцмана, который едва держался на ногах: казалось, он вот-вот потеряет сознание. Боцман только что наткнулся на трупы нескольких людей, задохнувшихся дымом, и сам чудом избежал этой участи.

Действительно, дым, шедший из трюма, стал таким едким и густым, что в твиндеке было буквально нечем дышать. Чтобы выполнить приказ капитана Кобба, офицерам пришлось призвать на помощь всю выдержку и мужество, и море яростно ворвалось в открытые ему ворота, ломая перегородки и расшвыривая, словно игрушечные кубики, массивные, крепко привинченные к палубе ящики.

Это было страшное зрелище. Стоя по колени в воде, офицеры подбадривали друг друга вымученными призывами не терять надежды, выдававшими их глубокое отчаяние. Вначале они надеялись, что это крайняя мера принесет им спасение, и действительно, водяная лавина, хлынувшая в трюм, хоть и не погасила пожар, но помешала ему разгореться сильнее.

По мере того как опасность взлететь на воздух уменьшалась, риск пойти ко дну возрастал: корабль заметно осел, и вода поднялась на несколько футов выше ватерлинии. Обреченным оставалось лишь выбрать вид смерти, и они предпочли тот, что сулил отсрочку. Бросившись к портам, офицеры с большим трудом закрыли их, затем задраили люки, чтобы в трюм не проникал воздух, и стали ждать, — у них оставался еще час или два времени. Они поднялись на палубу, и взорам

их открылась во всех подробностях картина, равно ужасная и возвышенная.

На верхнюю палубу высыпали почти все, кто был на корабле: команда, солдаты, пассажиры — мужчины, женщины, дети — всего около семисот человек. Даже те женщины, что страдали морской болезнью, узнав о страшной участи, которая им грозит, поднялись со своих коек и в тусклом мраке ночи, озаряемом лишь блеском молний, в тишине, нарушаемой лишь раскатами грома, словно привидения, бродили по палубе в поиске отцов, братьев, мужей. В минуту опасности семь сотен людей не сбились в общую кучу, а стихийно разделились на группы: слабые льнули к слабым, сильные тянулись к сильным. Между группами сновали офицеры и матросы.

Самые решительные из моряков и солдат расположились прямо над пороховым складом, чтобы первыми взлететь на воздух и разом покончить со всеми страданиями. Из собравшихся на палубе одни ожидали развязки с молчаливой покорностью судьбе или тупым безразличием; другие, ломая руки, выкрикивая бессвязные слова, бились в истерике; третьи, преклонив колени, в слезах молили бога о милосердии. Жены и дети солдат в поисках спасения укрылись в кают-компанин вместе с офицерскими женами и остальными пассажирами. Некоторые женщины поражали своим величественным спокойствием, и несчастные дети, затерявшиеся среди всего этого хаоса, устремив на матерей испуганные взгляды, задавали им вопросы, показывающие, что в невинности своей они даже не подозревают о грозящей им опасности.

Иначе чувствовали себя взрослые. К майору Мак-Грегору подошел молодой человек.

— Майор, — спросил он, — как, по-вашему, обстоят дела?

— Друг мой, — ответил майор, — будьте готовы предстать перед вечным судьей.

Юноша с печальным видом поклонился и пожал майору руку.

— Майор, — сказал он, — я никому не делал зла, и все-таки я боюсь этого последнего мгновения, хотя прекрасно сознаю всю нелепость своего страха.

В эту минуту море, словно разгневавшись на то, что другая стихия хочет отнять судно, которое оно считало своей добычей и уже готовилось проглотить, обрушило на «Кент» один из тех гигантских валов, что поднимаются до

вершины мачт. Вода залила палубу, вырвала из пазов нактоуз, разбила на мелкие кусочки компас и унесла его осколки с собой.

Удар, потрясший корабль, был страшен: на палубе воцарилось полное безмолвие; пассажиры со сжавшимся сердцем искали глазами своих близких, желая удостовериться, что жуткий морской вал не унес их в пучину. Внезапно тревожную тишину прорезал крик юного боцмана:

— Капитан! У «Кента» больше нет компаса!

Все содрогнулись: что ждет судно, сбившееся с курса и обреченное скитаться по воле волн среди океанских просторов, понимал каждый. Один из молодых офицеров, до этого, казалось, не терявший надежды, с мрачным видом вынул из своего несессера прядь белокурых волос и спрятал на груди. Другой взял листок бумаги и, набросав короткое письмо, сунул его в бутылку, надеясь, что чья-нибудь добрая душа подберет ее и перешлет содержимое адресату, чтобы дома узнали о смерти сына или мужа и не ждали его понапрасну, томясь долгие годы в неизвестности и тревоге. Молодой офицер уже собирался бросить свою бутылку в море, когда второму помощнику капитана господину Томсону пришла в голову мысль приказать юнге взобраться на фор-стенгю и посмотреть, не видно ли на горизонте какого-нибудь корабля. То была последняя, очень слабая надежда, и все, кто находился на борту гибнущего судна, ухватились за нее. Мужчины, женщины, дети застыли в тревожном ожидании. Юнга впился глазами в безбрежную морскую даль. Внезапно он с криком «Парус!» замахал рукой.

В ответ на палубе прозвучало троекратное «ура». На флагштоке взвился сигнальный флаг, канонир бросился к пушке, которая с этой минуты палила не переставая, и «Кент» на всех парусах устремился к неизвестному кораблю.

## «КАМБРИЯ»

В течение десяти — пятнадцати минут все неотрывно смотрели на показавшийся вдали корабль; как выяснилось позже, это была «Камбрия» — небольшой бриг водоизмещением в двести тонн, направляющийся в Веракрус под командой капитана Кука. На борту его находилось около

тридцати корнуэльских шахтеров, а также несколько служащих англо-мексиканской компании.

Все это время на «Кенте» царило страшное волнение: жизнь или смерть сотен людей зависели от того, заметят ли на «Камбрии» их судно. Десять минут показались веком. На то, что пушечные залпы перекроют грохот волн и вой бури, не было ни малейшей надежды, но зато хоть один человек из команды неизвестного судна мог заметить густое облако дыма, которое, кружа над морем, словно смерчь, обволакивало «Кент». Прошло несколько мучительных минут, и наконец бриг, подняв английский флаг, быстро пошел на помощь «Кенту».

Какое счастье! Блеснувшая в мраке бури надежда воспламенила сердца, а между тем, если учесть расстояние, разделявшее два корабля, скромные размеры «Камбрии» и непрекращающийся шторм, можно было ставить восемьдесят против двадцати, что либо «Кент» взорвется прежде, чем получит помощь, либо на бриг успеет переправиться не больше десятой части его людей. Если же все и обойдется благополучно, то шторм не даст возможности переправить всех людей с одного корабля на другой.

В то время, когда капитан Кобб, подполковник Фирон и майор Мак-Грегор совещались о том, как быстрее спустить шлюпки на воду, один из лейтенантов 31-го пехотного полка спросил майора, в каком порядке офицеры должны покидать судно.

— В том же, какой соблюдают на похоронах, — спокойно ответил МакГрегор.

Тогда офицер, которому, очевидно, не понравилось объяснение майора, вопросительно посмотрел на старшего по званию подполковника Фирона.

— В чем дело? — произнес тот. — Разве вы не слышали? Сначала младшие по званию, но в первую очередь — женщины и дети. Всякого, кто нарушит этот приказ, ждет смерть.

Офицер кивнул в знак того, что приказ будет исполнен неукоснительно, и удалился.

Тем временем не только солдат, но и матросов охватила паника. Офицеры, видя, что ситуация осложняется, обнажили шпаги и встали возле шлюпок, по двое рядом с каждой. Увидев их спокойные суровые лица, те солдаты и матросы, что вначале помышляли лишь о бегстве с корабля, устыдились собственного малодушия и стали

подавать другим пример самообладания и дисциплинированности.

К половине третьего первая шлюпка была готова к спуску на воду. Капитан Кобб приказал немедленно посадить в нее как можно больше жен офицеров, солдат и штатских пассажиров. И вот скорбная цепь женщин, наспех накинувших на себя то, что подвернулось под руку, потянулась по палубе «Кента» от юта к порту, под которым находилась шлюпка; одной рукой они прижимали к себе детей, другую протягивали к отцам, братьям, мужьям, которые оставались на борту судна на верную гибель. Не было слышно ни криков, ни жалоб; даже маленькие дети, словно чувствуя трагизм момента, перестали плакать. Две или три женщины бросились к офицерам, умоляя оставить их на судне и позволить им умереть рядом со своими мужьями, но подполковник властно приказал идти вперед, и несчастные молча повиновались.

Услышав, что каждая минута промедления с их стороны грозит гибелью тем, кто остается на борту «Кента», женщины окончательно смирились со своей участью. Ни о чем больше не спрашивая, не мечтая о том, что многим из них казалось сейчас счастьем — возможность умереть вместе со своими близкими, они с той душевной силой, что присуща лишь этому «слабому полу», простились с мужьями и поспешили в шлюпку. Даже те из них, что надеялись обычно на милосердие судьбы и верили в счастливый исход, сомневались, что в такой сильный шторм шлюпка сможет продержаться на воде дольше пяти минут. Более того, с вантов уже дважды кричали, что шлюпка протекает, однако майор Мак-Греггор, только что посадивший в нее жену и сына, воскликнул, взмахнув рукой:

— Тот, кто не дал утонуть святому Петру, не оставит наших жен и детей! Отдать швартовы!

Однако не так-то просто было выполнить этот приказ. Капитан Кобб принял все возможные меры предосторожности и поставил на носу и на корме шлюпки матросов, которым было приказано обрубить тали, если не удастся быстро отвязать их.

Только моряк может до конца понять, что значит в шторм спускать на воду переполненную шлюпку. Дважды матросы безуспешно пытались мягко опустить ее; наконец, при третьей попытке, прозвучала команда снять тали. С кормовыми таями разделаться оказалось



несложно, на носу же трос запутался, и матрос, поставленный там, не смог его отвязать. Обрубить тали тоже не удалось: трос провис, и топор не брал его. Между тем шлюпка, одним концом по-прежнему привязанная к кораблю, неотступно следовала за ним и, когда «Кент» поднялся на гребне огромной волны, встала почти вертикально, чуть не выбросив в море всех своих пассажиров. Люди уцелели лишь каким-то чудом: набежала новая волна, словно посланная самим провидением, и приподняла корму шлюпки. Тем временем матросам удалось освободить носовые тали, и утлое суденышко смогло отплыть.

Шлюпка устремилась в открытое море, а те, кто остались на борту «Кента», в тревоге за своих близких забыв об опасности, грозящей им самим, бросились к борту и впились в нее глазами. Она мужественно боролась со стихией, то взлетая на вершину огромных водяных валов, то проваливаясь в бездну, чтобы через несколько мгновений показаться вновь. Зрелище это было тем более страшным, что «Кембрию» отделяла от «Кента» целая миля. Шлюпка не рискнула подойти ближе, поскольку в случае взрыва корабля горящие обломки могли поджечь ее. Лежа в дрейфе, «Камбрия» готовилась принять на борт пассажиров шлюпки.

От удачного или неудачного исхода первой попытки зависела судьба всех, кто оставался на борту «Кента», поэтому нетрудно представить, с каким волнением отцы, братья и мужья, а также все те, кто в этот страшный час думали о своем собственном спасении, следили за лодкой, ставшей в этот миг средоточием всех их надежд.

Чтобы шлюпка устойчивее держалась на воде, а матросам легче было грести, женщинам и детям пришлось устроиться на дне ее, под банками. Мера эта была совершенно необходимой, однако волны беспрестанно захлестывали лодку и вскоре наполовину затопили ее. Женщинам пришлось взять детей на руки. Наконец, после двадцатиминутной борьбы с волнами, во время которой несчастные каждый миг были на волоске от смерти, шлюпка подошла к «Камбрии». С горящего судна это было видно, однако различить детали пересадки людей на борт «Камбрии» оказалось невозможно.

Спасенные потом рассказывали, что первым на борт корабля попал сын майора Мак-Грегора, младенец трех недель от роду: лейтенант Томсон, командовавший

шлюпкой, поднял его высоко над головой и передал морякам из команды брига. Так была вознаграждена вера майора в свою счастливую судьбу. Вслед за ним на «Камбрию» были переправлены все остальные дети и их матери. Затем настал черед женщин без детей, они тоже благополучно перебрались на борт брига. Все пассажиры до единого были спасены. Затем шлюпка устремилась назад: матросы изо всех сил навалились на весла, спеша на помощь своим товарищам.

Когда все те, кто сгрудились на палубе «Кента»: матросы, солдаты, пассажиры — увидели пустую шлюпку и поняли, что их жены и дети вне опасности, радость за близких заставила их на какое-то время забыть о собственных бедствиях и об угрозах двух разбушевавшихся стихий.

Между тем возвратившаяся шлюпка не смогла подойти к «Кенту» вплотную. Волны с такой яростью бились о борт корабля, что матросам пришлось подвести ее под корму, после чего женщин и детей стали парами спускать вниз на веревках. При этом килевая качка была настолько сильной, что нередко в тот самый миг, когда драгоценный груз уже почти достигал места своего назначения, шлюпку швыряло в сторону и несчастные погружались в воду. Тем не менее ни одна из женщин не погибла, иное дело дети — хрупкие создания, не способные противостоят буйству стихии; не раз после страшного купания на дно шлюпки падали живая мать и мертвый ребенок.

Настали трагические минуты. Несколько солдат, стремясь помочь женам и поскорее спасти детей, прыгнули в море, привязав малышей к себе, и утонули. Одна молодая женщина отказывалась покинуть отца, старого солдата, стоявшего на посту; пришлось силой, как она ни сопротивлялась, заставить ее спуститься в шлюпку. Пять раз волны захлестывали несчастную, наконец она без чувств упала на дно шлюпки. Думая, что женщина уже мертва, ее совсем было собирались выбросить в море, но тут она подала признаки жизни — преданная дочь была спасена. Одному из пассажиров пришлось выбирать между женой и детьми, он без колебаний предпочел спасти жену. Женщина осталась жива, а четверых малюток поглотило море. Одинокий солдат, высокий, сильный, плавающий как рыба, привязал к себе троих чужих детей и бросился в море с этим бесценным грузом. Но его попытки доплыть до шлюпки оказались тщетными; свидетели его бесплод-

ных усилий бросили ему веревку и втащили обратно на борт корабля.

Какой-то матрос провалился в трюм, где огонь пылал, словно в кратере вулкана, и пламя мгновенно испепелило его. Другому перебило позвоночник, и тело его оказалось словно разрубленным пополам. Еще один матрос погиб в тот момент, когда шлюпка подплыла к «Камбрии»; его голова попала между бортом брига и планширом шлюпки.

Посадка женщин и детей производилась с максимальной осторожностью и отняла много драгоценного времени. Видя это, капитан Кобб разрешил солдатам 31-го пехотного полка, присоединиться к своим женам при условии, что они будут добираться до шлюпки сами, кто как может. Для многих это разрешение оказалось роковым. Не меньше дюжины солдат бросились в бушующее море, и пять или шесть из них тут же утонули. Один из них... Бывают странные судьбы, расскажем об этом человеке поподробнее.

У него была горячо любимая жена. Ей не удалось добиться официального разрешения сопровождать полк, и она решила нарушить запрет. Молодая женщина последовала за полком в Грейвсенд. Там с помощью мужа и его товарищей ей удалось обмануть бдительность часовых и проскользнуть на корабль. Несколько дней она пряталась в твиндеке, и никто не заметил ее присутствия на борту. Обнаружили таинственную пассажирку только в Диле и немедленно высадили на берег, но с упорством, на которое способны только женщины, она вновь пробралась на корабль и, затерявшись среди других солдатских жен, оставалась на судне до самой катастрофы. В общей суматохе никто не обратил на нее внимания, и в свой черед ее, как и других, спустили на веревке в шлюпку. Стоило солдату увидеть, что жена его в безопасности, как он, воспользовавшись разрешением капитана, бросился в воду; плавал этот атлет превосходно и вскоре оказался рядом со шлюпкой. Жена уже протягивала к мужу руки, но в ту секунду, когда солдат схватился за планшир, шлюпку резко качнуло и он ударился головой о шлюпбалку. Удар оглушил несчастного. Его бесчувственное тело мгновенно скрылось под водой — навсегда.

Мы уже сказали, что, когда на судне раздался крик «Пожар!», самые решительные из матросов и солдат обосновались на палубе над пороховым складом, чтобы

взлететь на воздух первыми и таким образом избежать мучений медленной смерти. Прождав взрыва более пяти часов, один из них потерял терпение:

— Ну что же! — воскликнул он. — Раз огонь меня не берет, посмотрим, что скажет вода.

С этими словами матрос бросился в море, доплыл до шлюпки и спасся.

В самом деле, корабль горел уже около семи часов, но каким-то чудом пламя еще не добралось до порохового склада.

## МАЙОР МАК-ГРЕГОР

Пока происходили трагические события и чудесные спасения, о которых мы только что рассказали, пока шлюпка совершала свой второй рейс к бригу, на борту которого одна из спасенных солдатских жен родила девочку, получившую имя Камбрия (весьма вероятно, что она жива и поныне), — день начал клониться к закату. Подполковник Фирон, капитан Кобб и майор Мак-Грегор продолжали ревностно исполнять свой долг, прилагая все силы для спасения людей, за жизнь которых они чувствовали себя ответственными.

В поисках более простого пути с корабля в шлюпку капитан Кобб отдал приказ привязать к концу бизань-гика — своего рода лежачей мачты, довольно далеко выдающейся за край кормы, — канат, по которому люди, а к этому времени на борту «Канта» оставались одни мужчины, могли бы быстрее спускаться в шлюпку. Это было неплохо придумано, но таило в себе две опасности: во-первых, из-за килевой качки бизань-гик то и дело поднимался над водой на высоту до тридцати футов, и у тех, кто полз по нему, начинала кружиться голова; во-вторых, даже тому, кто благополучно добирался до каната, грозил удар о планшир, а в случае, если шлюпку в последний момент отнесет в сторону — падение в воду. Поэтому многие из тех, кто не имел опыта в лазанье по снастям и реям, предпочитали прыгать в воду через кормовые иллюминаторы и добираться до шлюпки вплавь.

На борту «Канта» все еще оставалось больше половины людей, и, поскольку корабль мог взлететь на воздух в любую минуту, матросы и солдаты начали сбивать плоты из всего, что попадалось под руку, причем каждому было

приказано запастись веревкой, чтобы в случае необходимости привязаться к плоту.

Между тем пассажиров «Кента», и без того измученных тревогой за близких и страхом смерти, стала одолевать нестерпимая жажда. Именно в это время один солдат случайно наткнулся на ящик с апельсинами и рассказал о своей находке товарищам. С самоотречением, которого трудно было ожидать в подобной ситуации, все они дружно решили позаботиться в первую очередь о своих командирах. Апельсины были отданы офицерам, и ни один солдат не дотронулся до них, пока те не взяли себе по штуке.

Поскольку каждый рейс шлюпки к бригу и обратно занимал около часа, у офицеров было время осознать происходящее. Пользуясь случаем дать читателю возможность узнать о событиях «из первых рук», мы предоставим слово майору Мак-Грегору и приведем здесь его правдивый рассказ о событиях, очевидцем и участником которых он был.

«Не буду сейчас рассказывать ни о тех мыслях, что ронились в моей голове в этот страшный день, ни о том, что, по моим наблюдениям, чувствовали мои товарищи по несчастью; упомяну лишь об одном обстоятельстве, врезавшемся мне в память. На борту «Кента» было очень много народу, и мне казалось, что здесь представлена вся гамма человеческих чувств — от героизма до крайней беспомощности и растерянности. Однако очень скоро мое заблуждение рассеялось: люди, окружавшие меня быстро разделились в соответствии со своими характерами на два противоположных лагеря, на две совершенно различные группы, хотя граница между ними, как я имел случай убедиться, не была непроходимой. По одну сторону были сильные духом, те, кому несчастье лишь прибавило силы, по другую — впавшие в уныние трусы, чья мысль и воля оказались парализованными. Справедливо будет заметить — последних было меньшинство.

Все десять или одиннадцать часов, что продолжалась переправа на борт «Камбрии», я с живым участием следил за борьбой силы и слабости в душах моих товарищей по несчастью. Среди них были такие, которые еще утром из-за своего малодушия и суетливости сделались предметом всеобщей жалости и даже презрения, но спустя пять-шесть часов они сумели пересилить себя и подняться до высочайшего героизма, между тем как другие, поначалу нашедшие в себе силы справиться с приступами страха и

вызывающие восхищение своим спокойствием и отвагой, внезапно без всякой видимой причины потеряли самообладание и все больше и больше слабели телом и духом перед лицом опасности. Не стану искать объяснения этим перепадам настроения, расскажу лишь о том, что видел. Впрочем, начну я с одного эпизода, который в тот вечер потряс мое воображение.

Я стоял на палубе, и вдруг за моей спиной один из солдат произнес: «Смотри-ка! Солнце заходит». От этих слов, на которые при любых других обстоятельствах никто не обратил бы особого внимания, я содрогнулся: мне пришла в голову мысль, что этот закат — последний в моей жизни. Я посмотрел на запад; никогда не забуду впечатления, которое произвело на меня заходящее светило. Проникнутый чувством, что океан, в который сейчас оно медленно погружается, станет этой ночью моей могилой, я постепенно все глубже задумывался о смерти и все ярче представлял себе ужасные подробности последних страданий. Мысль о том, что я в последний раз вижу огромное солнце, источник жизни и света, понемногу завладела моей душой, и меня объял ни с чем не сравнимый ужас.

На пороге смерти всегда кажется, что ничего еще не сделано или сделано очень мало, но то, что чувствовал я, вовсе не было сожалением о прожитой жизни, нет, это было что-то вроде смутного предчувствия вечности. То не были мысли о вечных муках или вечном блаженстве — моему внутреннему взору предстала пустота без конца и края, мир, где нет ни горизонта, ни солнца, ни тьмы, ни горя, ни радости, ни покоя, ни сна — что-то тусклое, цвета морской воды, похожее на свет, который видит тонущий человек сквозь захлестнувшую его волну. Это видение было в сто раз более мучительным, чем вид адского огня, ибо моя вечность была тупым оцепенением, не похожим ни на жизнь, ни на смерть. Трудно сказать, до чего довело бы меня наваждение, если бы я резким усилием воли не стряхнул его с себя...

Когда солнце окончательно ушло за горизонт, я совершенно спокойно, будто мне не предстояло вот-вот перейти грань, отделяющую жизнь от вечности, пошел в кают-компанию взять что-нибудь теплое, потому что к вечеру сильно похолодало. Кают-компания, где еще утром велись дружеские беседы и слышались шутки, являла собой печальнейшее зрелище в мире. В этот час она была

почти пуста, лишь несколько несчастных из тех, что при любых потрясениях ищут забвения в водке или вине, валялись на полу, пьяные до бесчувствия, да несколько безумцев рылись в секретерах и шкафах в поисках золота и драгоценностей, хотя вряд ли сами верили в то, что доведется воспользоваться добычей. Диваны, комоды и прочая роскошная мебель, делающая английские корабли образцом комфорта и уюта, были разнесены в щепки. Среди развороченной мебели и разбросанных подушек бегали куры и гуси, а свинья, которой удалось выбраться из своего загона на баке, завладела великолепным турецким ковром, украшавшим кают-компанию. Тяжелое впечатление от этого зрелища усугублял дым, начавший уже пробиваться сквозь паркет.

У меня сжалось сердце, я торопливо схватил плед и поднялся на палубу, где в числе немногих офицеров, все еще оставшихся на борту судна, увидел капитана Кобба, подполковника Фирона и лейтенантов Рекстона, Руфа и Эванса. Не думая о себе, они отдавали все силы спасению своих товарищей, и благодаря их стараниям количество людей на «Кенте» быстро уменьшалось.

Впрочем, истинно мужественные люди не стремились поскорее сбежать с корабля. Старые солдаты слишком уважали своих офицеров и слишком заботились о собственной репутации, чтобы стараться как можно быстрее попасть в шлюпку, хотя, с другой стороны, они были достаточно дисциплинированы и подчинялись приказу покинуть гибнущее судно. Однако на борту нашлось несколько несчастных, которые, боясь доверить свою жизнь бушующему морю, с отвращением отвергли предлагаемые им ненадежные спасательные средства. Капитану Коббу пришлось повторить сначала спокойно, затем с угрозой в голосе приказ не терять ни секунды, а один из офицеров был вынужден предупредить, что дает им на размышление несколько минут, после чего трусы, своей нерешительностью губящие не только себя, но и своих товарищей, будут брошены на произвол судьбы.

Между тем время близилось к десяти часам, и в темноте казалась, что шторм усиливается. Несколько человек, боясь упасть с гика, наотрез отказались от посадки в шлюпку. Нашлись и такие, которые требовали, чтобы их перед спуском обвязали вокруг пояса веревкой, как женщин, на что совершенно не оставалось времени. Тут капитану доложили, что судно, уже погружившееся в воду

на девять-десять футов ниже нормы, только что осело еще на два фута. Рассчитывая, что все те, кто еще оставался на борту «Кента», смогут поместиться в нескольких шлюпках, находившихся в пути, и тех двух, что были приготовлены под кормой, три последних офицера 31-го пехотного полка, в числе которых был и я, стали всерьез подумывать об отступлении. Поскольку мне легче всего говорить о себе, то, с разрешения читателя, расскажу со всеми подробностями, как спасся лично я.

Меня ждали те же испытания, что выпали на долю нескольких сотен людей, прошедших уже этим тернистым путем. Бизань-гик такого большого корабля, как «Кент», выступает за корму на пятнадцать-семнадцать футов по горизонтали; в штиль его отделяет от воды восемнадцать — двадцать футов, но в такую бурю, какая бушевала вокруг нас, но то и дело поднимался на тридцать — сорок футов над водой. Чтобы добраться до каната, привязанного к его концу, как леска к удилищу, приходилось ползти по этому голому скользкому бревну, забыв о головокружениях и призвав на помощь всю силу рук и всю крепость мускулов. Справиться с такой задачей было нелегко даже бывалому моряку. Путешествие по гике уже стоило жизни нескольким людям: одни, сразу отказавшись от мысли добраться до его конца, бросились в море, попытались добраться до шлюпки вплавь и утонули; у других в начале или в середине пути закружилась голова, они упали в воду, и ненасытная пучина мгновенно поглотила их. Спасение не было гарантировано даже тем, кто благополучно добрался до конца бизань-гика и спустился по канату. Далеко не всем удавалось спрыгнуть прямо в лодку: одни разбились о планшир, другие упали в воду и, выбившись из сил, отпустили канат.

Как видите, надежда на спасение была довольно слабой, но поскольку это была единственная возможность спастись, то, когда пришел мой черед, я, несмотря на всю мою неуклюжесть и неопытность в подобных делах, не колеблясь оседлал скользкое бревно. Я был счастлив, что мне дан хоть бы этот, пусть смертельно опасный, путь к спасению и что у меня хватило сил не думать о собственной судьбе до тех пор, пока я не исполнил своего долга по отношению к командиру и товарищам.

Мысленно сотворив короткую молитву, я пустился в путь и продвинулся на довольно значительное расстояние. Впереди меня двигался молодой офицер, такой же



неопытный в подобных делах, как и я. Когда до конца бизань-гика оставалось проползти всего несколько метров, на судно обрушился такой шквал ветра с ливнем, что мы вынуждены были остановиться и изо всех сил вцепились в бревно. На какое-то мгновение мы совершенно отчаялись и решили, что провидение оставило нас, однако, подождав несколько минут, мой товарищ вновь двинулся в путь, добрался до каната, спустился по нему и, два или три раза окунувшись в воду, сумел все-таки забраться в шлюпку.

Его пример послужил мне уроком. Я рассчитал, что лучше всего начать спуск по канату не тогда, когда шлюпка окажется прямо под ним, а когда ее отнесет футов на шестьдесят — семьдесят в сторону. В этом случае к моменту, когда я спущусь вниз, шлюпка снова окажется на прежнем месте. Обхватив руками и коленями канат, я благополучно соскользнул по нему и благодаря своему расчету оказался единственным, кто попал в шлюпку, не окунувшись предварительно в море и не получив травм.

Подполковнику Фирону, который спускался вслед за мной, повезло меньше. Некоторое время он провисел в воздухе, затем несколько раз уходил под воду, ударился о планшир лодки, едва не попал под ее киль и в конце концов так выбился из сил, что, теряя сознание, отпустил канат. К счастью, в этот момент один из солдат схватил его за волосы и втащил в шлюпку.

Что касается капитана Кобба, то он заявил, что покинет свое судно последним. Чувствуя себя ответственным за судьбу всех людей, находившихся на борту «Кента», от первого до последнего, он отказывался спуститься в шлюпку и оставить тех, кого страх парализовал настолько, что они никак не могли решиться покинуть гибнущее судно. Увы, все его увещевания были напрасны. Когда же капитан услышал, как, проваливаясь в трюм, одна за другой с грохотом взрываются пушки, он понял, что с этой минуты его самоотверженность теряет всякий смысл, и, бросив на корабль последний взгляд, сказал: «Прощай, благородный «Кент»! Прощай, верный друг! Ты заслуживал более славной смерти, и я бы с радостью разделил твой жребий, будь нам суждено вместе погибнуть в победном бою. Но нам отказано в этом счастье. Прощай, благородный «Кент»! Увы, увы! Кто мог подумать, что нас ждет такое расставанье!»

Потом, грустно помолчав несколько мгновений, он схватился за бизань-топенант и, соскользнув по нему над

головами несчастных жертв собственного малодушия, добрался до конца гика, откуда, даже не глянув на канат, прыгнул в море и вплавь добрался до шлюпки.

Поняв всю бесплодность своих увещаний, капитан тем не менее не хотел бросать на произвол судьбы людей, доверивших ему свою жизнь, поэтому одна шлюпка оставалась под кормой до тех пор, пока вырывавшееся из иллюминаторов кают-компания пламя не вынудило ее отплыть. Она оказалась возле «Камбрии» через час после прибытия капитана Кобба на борт брига, причем капитан «Камбрии» позволил гребцам подняться на борт своего судна лишь после того, как узнал, что командует ею лейтенант Томсон, молодой офицер, проявивший себя в этот день с самой лучшей стороны».

## ВЗРЫВ

Трудно описать, что творилось на борту «Камбрии», когда после прибытия очередной шлюпки одни женщины узнавали о том, что стали вдовами, а дети их лишились отцов, другие — что судьба пощадила их мужей. Но вскоре и горе и радость были на время забыты: взгляды всех обратились к «Кенту». К моменту, когда последняя шлюпка подплыла к «Камбрии», пламя, уже достигшее верхней палубы и юта, в мгновение ока взметнулось до верха мачт гибнущего судна. Оно превратилось в сплошной огненный шар, который полыхал в море так ярко, что на борту «Камбрии» было светло, как днем. Сигнальный флаг, поднятый утром, развевался среди языков пламени, пока пылающие мачты не рухнули, словно колокола в охваченном пожаром храме. Наконец, в половине второго ночи, огонь добрался до порохового склада, и раздался тот взрыв, который по всем расчетам должен был произойти гораздо раньше. Огромный сноп искр этого траурного фейерверка взлетел в небо, и пылающие обломки одного из самых прекрасных кораблей английского флота усеяли море. Вскоре все погасло, стихло, и насытившееся море погрузилось во мрак и безмолвие.

Тем временем «Камбрия» взяла курс на Англию и, подняв один за другим паруса, вскоре поплыла со скоростью девять-десять узлов в час. Скажем теперь несколько слов об этом судне, его капитане и обстоятель-

ствах, благодаря которым оно смогло прийти на помощь потерпевшему бедствие «Кенту».

«Камбрия», как мы уже говорили, была небольшим бригом водоизмещением двести тонн и направлялась в Веракрус под командой капитана Кука. Экипаж ее состоял из восьми человек, на борту находились также пассажиры — тридцать корнуэльских шахтеров и несколько служащих англо-мексиканской компании. В то утро, когда на «Кент» обрушилось несчастье, «Камбрия» шла тем же курсом, что и судно капитана Кобба, но на большом расстоянии от него. Тут случаю было угодно, чтобы гигантская волна расколола правый фальшборт «Камбрии», она легла на другой галс и вскоре оказалась в поле зрения «Кента». Мы видели, что капитан Кук не замедлил откликнуться на призыв о помощи, но не успели рассказать еще вот о чем.

В то время как вся немногочисленная команда брига боролась со штормом, тридцать корнуэльских шахтеров, разместясь на вантах, демонстрировали свою прославленную физическую силу, нередко рискуя при этом жизнью. Как только волна швыряла подошедшую шлюпку в сторону «Камбрии», они хватали очередную жертву кораблекрушения за руку, за одежду или даже за волосы и втаскивали на палубу. Со своей стороны, капитан Кук проявлял твердость всякий раз, когда его моряки, устав грести, начинали роптать на то, что им приходится рисковать собой ради спасения пехотинцев, с которыми у них нет ничего общего. Матросы отказались бы плыть к гибнущему судну, если бы капитан Кук, пристыдив их за эгоизм, не заявил со всей решительностью, что не даст им ступить на борт своего корабля до тех пор, пока они не исполнят до конца свой долг. Более того, как мы уже говорили, он принял на борт «Камбрии» экипаж последней шлюпки не раньше, чем убедился в том, что его составляют люди отважные и благородные.

Люди с «Кента» остались в живых во многом и благодаря находчивости капитана Кобба: сами бедствия, обрушившиеся на судно, стали, по сути, источником его спасения, одна разбушевавшаяся стихия была использована капитаном для борьбы с другой: открыв порты, он быстро затопил трюм и тем самым остановил распространение огня, который мог бы погубить «Кент» прежде, чем хоть один человек успел перебраться на борт «Камбрии». Поистине команда и пассажиры «Кента» спаслись чудом.

Разве не чудом «Камбрия» оказалась вблизи «Кента» в самом начале своего пути, когда запасы продовольствия в ее трюме были еще велики? Разве не чудом на ней не оказалось никакого груза, ведь у команды могло не хватить ни сил, ни времени, чтобы выбросить его за борт? Разве не чудо, что ветер вначале дул навстречу «Кабрии», а потом, когда она с шестьюстами жертвами кораблекрушения на борту сменила курс и устремилась обратно к берегам Англии, оказался попутным?

Однако испытания жертв кораблекрушения на этом не кончились. Мало было посадить шестьсот несчастных на борт брига — надо было, несмотря на страшную бурю, доставить их в ближайший порт, до которого оставалась добрая сотня миль. На борту «Камбрии» стало страшно тесно. В маленькую, рассчитанную на восемь-десять человек каюту, куда попал майор Мак-Грегор, набилось человек восемьдесят, из которых шестидесяти не на что было даже сесть. Буря не только не стихала, но, напротив, усилилась, к тому же один из фальшбортов был унесен накануне, и волны все время захлестывали палубу. Пришлось закрыть люки, но в результате сразу прекратился приток свежего воздуха в твиндек, и люди, находившиеся в нем, начали задыхаться. Тогда было решено открывать люки в промежутках между ударами волн.

В твиндек набилось столько народу, что казалось, от горячего человеческого дыхания «Камбрия» тоже вот-вот запыляет. В воздухе осталось так мало кислорода, что зажженная свеча тут же гасла. Тем, кто находился на палубе, пришлось не лучше, потому что они день и ночь стояли в воде, полураздетые, закоченевшие от холода.

К счастью, как мы уже сказали, попутный ветер, раздувавший паруса «Камбрии» набирал силу, словно понимая, что бригу надо торопиться. Со своей стороны, капитан, рискуя сломать мачты, приказал поднять все паруса, и вечером третьего марта с марса раздался крик: «Земля!» Вскоре бриг подошел к острову Силли и, быстро пройдя вдоль берегов Корнуэлла, в половине первого ночи бросил якорь в Фалмутском порту.

В довершение всего произошло еще одно невероятное событие: через три дня после того как «Камбрия» со своими шестьюстами пассажирами добралась до берегов Англии, стало известно, что все те несчастные, которые остались на борту «Кента», не погибли, их подобрал и доставил в

Ливерпуль бриг «Каролина». Сами спасенные с трудом могли объяснить, как это случилось. А произошло это так.

После того как от «Кента» отплыла последняя шлюпка, вырвавшиеся отовсюду языки пламени вынудили всех оставшихся на корабле людей укрыться на русленях, и они пробыли там до тех пор, пока полусгоревшие мачты не обрушились в море. Тогда бедняги спрыгнули в воду, ухватились за их обломки и провели остаток ночи, а также все утро следующего дня в открытом море. Около двух часов дня один из них поднявшись на своем обломке на гребень волны, обвел взглядом горизонт и, заметив вдали корабль, закричал: «Парус!»

То была «Каролина», державшая путь из Александрии в Ливерпуль. Подобренные капитаном Бильбао, последние жертвы кораблекрушения, как мы уже сказали, высадились на берег Англии через три дня после своих товарищей, которые считали их погибшими.

# «ЮНОНА»

1795 ГОД

Байрон был еще ребенком, когда его семья переселилась из Шотландии в Англию. Будущего поэта отдали в пансион некоего господина Друри, в Ноттингеме. Господин Друри был человеком добрым и привязался к мальчику. Хромота мешала Джорджу Гордону принимать участие в шумных играх сверстников, и нередко он с разрешения наставника уединялся в библиотеке. Здесь к его услугам были самые разнообразные сочинения, в том числе книги о путешествиях. Именно они больше всего привлекали будущего поэта.

Однажды он наткнулся на описание гибели английского судна «Юнона», принадлежащее перу второго помощника капитана Джона Маккея. Рассказ о смерти юного моряка на руках старого отца произвел на мальчика такое впечатление, пишет биограф Байрона Томас Мур, что двадцать лет спустя он включил этот эпизод в поэму «Дон-Жуан».

И нам, вслед за Байроном, захотелось прочесть скорбную повесть Джона Маккея. Мы познакомим наших читателей со страшными испытаниями, выпавшими на долю экипажа «Юноны», и они без труда узнают ту сцену, которая навсегда врезалась в память великого английского поэта.

На северо-западной оконечности полуострова Индокитай, в устье реки Иравади, расположен богатый порт Рангун, один из главных торговых центров Бирмы.

В начале мая 1775 года в рангунскую гавань вошла «Юнона», английский корабль водоизмещением четыреста тонн. Под командованием капитана Александра Бремнера

он направлялся в Мадрас с грузом тикового дерева на борту. Накануне отплытия из Рангуна второй помощник капитана тяжело заболел; стало ясно, что он не сможет продолжать плавание, тем более что путь «Юноны» предстоял не из легких: пересекать Бенгальский залив, когда дует юго-западный муссон, — дело опасное. Капитан Бремнер стал искать ему замену и почти сразу встретил подходящего человека.

То был тридцатипятилетний Джон Маккей, морской волк, с юных лет бороздивший оксаны. Он представил прекрасные рекомендации, свидетельствующие об отличном знании тех краев, куда предстояло плыть «Юноне». Капитан Бремнер побеседовал с Маккеем, изучил его документы и, убедившись, что этот моряк с успехом заменит заболевшего второго помощника, предложил ему контракт на год.

Поскольку моряк все свое время проводит на корабле и вверяет ему свою жизнь. Джон Маккей начал с того, что тщательнейшим образом осмотрел свой новый дом. Впечатления, которые он вынес из этого осмотра, были не в пользу «Юноны». Старое, запущенное судно давно нуждалось в ремонте, не внушала доверия и команда, состоявшая почти сплошь из персов; их было целых сорок три человека, а европейцев всего десять. Маккей счет своим долгом честно высказать сомнения по этому поводу капитану, однако Бремнер был одним из тех беззаботных морских бродяг, что, проведя всю жизнь на море, считают былые удачи залогом будущих. Он сказал второму помощнику, что вот уже двадцать лет плавает на «Юноне» и уверен в ней, как в самом себе: раз корабль так долго служил верой и правдой, с чего бы ему вдруг прийти в негодность? Джон Маккей, уверял Бремнер, может смело подписывать контракт, тем более что нанимается он всего на год.

Второй помощник отвечал, что тревожится не столько за себя, сколько за своих новых товарищей; сам он чувствует себя на море, как дома, и в случае необходимости смог бы переплыть Бенгальский залив даже в шлюпке, но капитан, равно как и его помощники, несут ответственность за всех, кто находится на борту корабля. «Лишь чувство долга, — добавил Маккей, — пробудило меня начать этот разговор». Капитан, усмехнувшись, поблагодарил своего нового помощника и, кивнув в сторону своей жены, которая в тот момент поднималась

на борт «Юноны», заверил Маккея, что он, Бремнер, больше, чем кто бы то ни был заинтересован в счастливом окончании плавания.

В самом деле, достаточно было лишь мельком взглянуть на госпожу Бремнер, чтобы понять, что капитан не лжет. Эта молодая женщина, всего полгода назад ставшая женой капитана, была в полном смысле слова очаровательна. Предки ее были европейцами, а сама она родилась в Индии и блистала той красотой и грацией, которыми наделяет креолок роскошная природа их второй родины. Служанка-малайка в экзотическом национальном костюме выгодно оттеняла ее достоинства.

Джон Маккей понял, что не ему, одинокому человеку, который рискует только собственной жизнью, спорить с капитаном Бремнером, и воздержался от дальнейших замечаний. Двадцать девятого мая 1795 года последние приготовления были закончены, и в час прилива трехмачтовый корабль, подняв паруса, вышел в открытое море.

Второму помощнику с самого начала показалось, что «Юнона» забирает в сторону, но трудно было поверить, что капитан, столько лет бороздящий воды Бенгальского залива, может сбиться с курса. Тем не менее Джон поделился своими сомнениями с первым помощником Уэйдом; выслушав его, тот немедленно приказал опустить за борт лот. Выяснилось, что «Юнона» идет на глубине двадцать футов, вместо обычных двадцати пяти — тридцати. Встревоженные моряки сообщили об этом капитану; тот вначале отказался верить, но, убедившись, что дела действительно обстоят неважно, приказал лечь на другой галс. Увы, рулевой не успел выполнить этот приказ: сильный толчок потряс корабль, и стало ясно, что он основательно сел на мель. Нельзя было терять ни секунды. Капитан отдал приказ бросать, чтобы сдвинуть «Юнону» с места, но это уже не имело смысла; теперь важно было не дать течению протащить корабль по дну. Матросы немедленно бросили в воду два якоря, и ко всеобщей радости «Юнона» прочно встала.

Теперь команда могла не торопясь обдумать, как быть дальше. Песчаное дно в этом месте было твердым, как камень; тем не менее днище «Юноны» выдержало удар и не дало течи. Казалось, опасность миновала, но тут течением снесло один из якорей, а вслед за ним устремился и второй. Пришлось бросить шварт; цепь его натянулась,



словно тетива лука. Прошло несколько тревожных секунд, и судно, попавшее было во власть течения, снова встало.

Капитан Бремнер чувствовал в глубине души, что второй помощник был прав, когда предупреждал его об опасности, однако злился на него, как на человека, накликавшего несчастье. Впрочем, еще не все было потеряно. Главное — не дать судну опрокинуться во время отлива, а потом, дождавшись прилива, снять «Юнону» с мели. Тогда она могла бы спокойно продолжать путь, ибо существенно не пострадала. А пока надо было облегчить корабль. Моряки спустили брамс-стенги и брам-реи и стали ждать.

Наступил час отлива, и, по счастью, все обошлось благополучно: судно, как и ожидалось, дало сильный крен в сторону, но устояло.

— Ну как, — с гордостью сказал Джону Маккею капитан, — старушка «Юнона» еще на что-то годится, а?

Маккей покачал головой. Конечно, до сих пор «Юнона» вела себя неплохо; весь вопрос был в том, как она поведет себя дальше. Впрочем, похоже было, что капитан прав. Начался прилив, и судно потихоньку сошло с мели; снявшись с якоря, оно вскоре миновало опасную зону.

Первого июня ветер переменился; под сильными порывами зюйд-веста море начало штормить. Старый корабль с трудом боролся с волнами. Второй помощник приказал одному из матросов следить за трюмом; спустя часа четыре тот с криком поднялся наверх: корабль дал течь. Именно этого и боялся Маккей. Он доложил капитану об опасности, и тот, самолично спустившись в трюм, убедился, что в нем уже появилась вода. К несчастью, на судне не оказалось ни плотника, ни плотнического инструмента.

Все принялись дружно откачивать воду. Не только матросам, но и офицерам пришлось встать к помпам, однако бедной «Юноне» положительно не везло: ее балласт состоял из песка, который быстро забивалв помпы, так что людям никак не удавалось одержать верх над водой.

В бесплодной борьбе со стихией прошла неделя. Разумнее всего было вернуться в Рангун, но для капитана это означало признать правоту второго помощника и тем самым расписаться в собственной неправоте, что казалось ему зазорным. Господин Бремнер напомнил команде, что берег в районе Рангуна очень низкий и, чтобы как следует сориентироваться, необходимо подойти к нему мили на

три-четыре, причем путь лежит через узкий проход глубиной не больше тридцати футов, вдоль которого с двух сторон тянутся песчаные отмели, так что, поскольку «Юнона» однажды уже села на мель, безопаснее, несмотря на риск, продолжать прерванный рейс; наконец, добавил капитан, судя по всему, вот-вот должно распогодиться, а в спокойном море будет нетрудно справиться с течью.

Слово капитана — закон, поэтому «Юнона», несмотря на плохую погоду, продолжила свой путь в Мадрас. Поначалу казалось, что Бремнер прав. Шестого июня ветер стих, волнение на море улеглось и, как он предсказал, течь настолько уменьшилась, что для откачивания воды оказалось достаточно одной-единственной помпы. Кроме того, выяснилось, что брешь, сквозь которую поступает вода, расположена в районе ахтерштевня на уровне ватерлинии и ее легко законопатить.

Спустив шлюпку на воду, матросы заткнули пробоину паклей, покрыли куском просмоленной парусины, а сверху прибили лист железа. Конечно, наивно было думать, что этим полностью устранена авария, но, как мы уже сказали, ни плотника, ни плотницкого инструмента на корабле не было; впрочем, поскольку погода стояла хорошая, течь после ремонта почти прекратилась. Все, кто находился на борту «Юноны», уже поздравляли себя с победой над стихией; не радовался один Джон Маккей: качая головой, он бормотал себе под нос английскую пословицу, суть которой сводится к следующему: поживем — увидим.

## КРЮЙС-МАРС

К сожалению, очень скоро стало ясно, что прав второй помощник и что, какими бы опасностями ни грозило побережье Перу, благоразумнее было вернуться в Рангун, а не отдавать себя на милость властвующему в Бенгальском заливе юго-западному муссону.

Двенадцатого июня погода снова испортилась, старый корабль жалобно стонал под порывами ветра. Вновь раздался крик: «Капитан, судно дало течь!» Матросы не медля бросились в твиндек: случилось то, чего боялся Джон Маккей — жалкая заплатка, поставленная неделю назад, держалась только до тех пор, пока море было спокойным; стоило начаться шторму, как ее унесло первой

же большой волной. В трюм снова хлынула вода, причем на этот раз гораздо сильнее, чем прежде. Песок по-прежнему затруднял работу, и, хотя три помпы работали без перерывов, этого было недостаточно; матросы начали вычерпывать воду ведрами, но разве могли помочь в борьбе со стихией несколько деревянных ведерок?

Четыре дня команда «Юоны» трудилась не зная отдыха; люди валялись с ног от усталости, а положение не только не улучшалось, но, напротив, становилось все серьезнее. Увы, возвращаться назад было уже поздно: «Юона» находилась как раз на полпути между Рангуном и Мадрасом. Терять было нечего, и капитан приказал поднять все паруса, от гротов до лиселей, в надежде добраться до Коромандельского берега и либо высадиться в первом же порту, либо если «Юона» еще будет держаться на воде, плыть вдоль берега к Мадрасу.

Судно стремительно пошло вперед, однако, чем большую скорость оно набирало, тем больше увеличивалась течь; кроме того, почти вся команда была занята откачиванием воды, и никому не было дела до управления кораблем. Через два дня ветер сорвал все паруса, кроме фока, поэтому восемнадцатого июня «Юона» была вынуждена лечь в дрейф; на следующий день офицеры занялись вычислениями и установили, что корабль находится на 17°10' северной широты.

Несмотря на нечеловеческие усилия всей команды, вода по-прежнему прибывала и судно постепенно погружалось в море. Все, кто был на борту, впали в уныние, понимая, что любые действия бесполезны и «Юону» уже не спасти, люди отказались работать, однако к полудню по настоянию капитана и просьбе его жены матросы вновь взялись за помпы и ведра. Ветер раздул единственный оставшийся парус, и «Юона» вновь устремилась вперед, навстречу гибели.

В самом деле, сколько офицеры и матросы ни откачивали воду, она продолжала прибывать, так что через пару часов стало совершенно очевидно, что судно обречено и их усилия лишь продлевают его агонию. К восьми вечера вода дошла уже до нижней палубы.

События показали, что сомнения Джона Маккея в прочности и надежности «Юоны» были обоснованы. Увы, оправдались и его опасения в отношении команды. Как мы уже говорили, на три четверти она состояла из персов — они-то и бросили работу первыми; вслед за ними

предались отчаянию малайцы. Европейцы крепились дольше, но по их обреченным лицам было видно, что лишь сила воли заставляет их действовать. Они ясно сознавали неизбежность катастрофы. Хладнокровие сохраняла, пожалуй, одна госпожа Бремнер. Что двигало ею — неведение опасности или подлинное мужество? Трудно сказать наверняка, однако эта молодая женщина — хрупкое изящное создание — как могла утешала и ободряла окружавших ее мужчин.

Около семи вечера несколько сильных толчков сотрясли корабль, и он начал погружаться в воду еще быстрее, чем прежде. Жалобный скрип мачт напоминал стоны: перед смертью корабли плачут, как люди.

Понимая, что вот-вот должна произойти катастрофа, матросы потребовали, чтобы капитан приказал спустить на воду шлюпки; однако одного взгляда на те спасательные средства, что имелись на борту, было достаточно, чтобы убедиться в их полной непригодности. Баркас совершенно разохся от старости, а шестивесельная лодка не могла вместить и четверти команды. О том, чтобы покинуть гибнущее судно, нечего было и думать.

Около девяти вечера капитан, обсудив положение с первым и вторым помощниками, принял решение срубить грот-мачту, чтобы облегчить судно; за счет этого он надеялся продержаться на воде еще сутки. Надежда на спасение придавала матросам сил, и они тут же взялись за дело. В критических ситуациях люди крушат все вокруг себя с яростью и едва ли не с радостью. В мгновение ока грот-мачта затрещала под ударами топора, накренилась и рухнула — к несчастью, не в море, а на палубу. Нетрудно, представить себе, в какое смятение поверг команду «Юоны» такой поворот событий. Судно, перестав слушаться рулевого, повернулось боком к волне, и огромный водяной вал обрушился на палубу. Пытаясь отсрочить гибель, команда «Юоны» лишь ускорила ее. Со всех сторон раздавались возгласы: «Тонем!», «Идем ко дну!»

Госпожа Бремнер, не подозревавшая, что гибель так близка, в этот момент спала у себя в каюте. Капитан, чувствуя, как палуба уходит у него из-под ног, поспешил на помощь жене, но споткнулся о трос и, падая, успел лишь крикнуть Джону Маккею: «Джон! Джон! Там моя жена!» Второй помощник кинулся к люку, но его опередил

первый помощник Уэйд, который в эту минуту уже помогал госпоже Бремнер выбраться из каюты.

Услышав грохот падающей мачты, молодая женщина проснулась и сразу поняла, что оставаться в каюте смертельно опасно; однако она не растерялась и, прежде чем броситься к выходу, успела надеть пробковый пояс и спрятать в нем тридцать рупий (то есть примерно сто восемьдесят франков), которые лежали на тумбочке и попались ей на глаза. Мы не случайно останавливаемся на этих, на первый взгляд, незначительных подробностях: как станет видно из дальнейшего рассказа, тридцати рупиям суждено было сыграть решающую роль в развязке страшной драмы.

Увидев, что корабль тонет, люди инстинктивно стали хвататься за снасти, и при этом каждый старался взобраться как можно выше. Уэйд и Джон Маккей, находившиеся недалеко от каюты капитана, влезли вместе с госпожой Бремнер на бизань-ванты. Не успели они устроиться там, как послышался оглушительный треск, словно кто-то выстрелил из пушки, и тут же палубу потряс сильный взрыв. Казалось, все кончено и гибель людей, находящихся на борту «Юноны», неминуема. Однако, когда вода затопила палубу, судно внезапно перестало погружаться в море, вернее — оно продолжало оседать при каждом ударе волн, но так медленно, что несчастные жертвы кораблекрушения успевали подняться вверх по снастям.

Капитан присоединился к своей жене, которая вместе с Уэйдом и Маккем, как мы уже говорили, укрылась от воды на вантах. Впрочем, всем трем мужчинам было ясно, что в таком положении им долго не продержаться и нужно искать более удобное и надежное убежище. Им стал крьюйс-марс. Вскоре за ними последовала вся команда; те, кому не хватило места на крьюйс-марсе, повисли на снастях. Лишь один-единственный матрос, которого катастрофа застала на носу корабля, взобрался на фор-марс. Чете Бремнеров, Уэйду и Маккею повезло: не взберись они туда первыми, опасность, пожалуй, могла бы заставить матросов забыть о почтении и нашим героям не осталось бы места на мачте.

Судно осело еще футов на десять, но почти не двигалось, лишь две мачты поднимались над водой футов на десять — двенадцать. Скверно было то, что, как мы уже сказали, вся команда, за исключением того матроса, что

взобрался на фор-марс, разместились на крюйс-марсе и под ним. Перегруженная мачта могла в любой миг сломаться: помимо человеческих тел ее отягощали еще и снасти. Чтобы хоть как-то помочь делу, матросы отпилили ножами грот-рею и сбросили ее в море.

Мачты так раскачивались, что люди каждую секунду могли упасть в море, и все-таки усталость пересилила страх, и многие из матросов, привязавшись к снастям носовыми платками или просто покрепче обхватив их руками, заснули. Джон Маккей обладал не только большой физической силой, но и душевной твердостью: он всю ночь не смыкал глаз, размышляя о том, что можно предпринять для спасения своих товарищей по несчастью.

Рядом с ним дремала в объятьях мужа госпожа Бремнер. Хотя крушение произошло в теплых широтах, дул ледяной ветер, и бедняжка дрожала от холода. У Джона было доброе сердце: поскольку он был одет теплее, чем капитан Бремнер, то не задумываясь отдал свою фуфайку даме. Госпожа Бремнер поблагодарила второго помощника взглядом, в котором можно было прочесть: «Ах! Зачем мы не послушались вас?» Джон с радостью ободрил бы ее, но придя к выводу, что положение их почти безнадежное, не хотел вводить в заблуждение.

Тем не менее, когда спустя три-четыре часа он убедился, что корабль не идет ко дну, а продолжает плыть под водой, у него появилась хоть жалкая, но надежда на спасение. Четыре-пять дней человек в состоянии провести без пищи, а там, глядишь, на горизонте появится какое-нибудь судно и подберет их. Если раньше второй помощник почти смирился с неизбежной смертью, то теперь проблеск надежды заставил его еще сильнее возжаждать спасения.

Внезапно Джон Маккей вздрогнул: ему послышался вдали пушечный залп. Трижды воспаленное воображение обманывало слух моряка, и, странное дело, те из его товарищей по несчастью, кто не спал, тоже слышали выстрелы, однако спустя некоторое время все они были вынуждены признать, что ошиблись. Под утро сломленный усталостью Джон Маккей задремал, но вскоре его разбудил крик одного из матросов: «Парус!» Нетрудно представить себе впечатление, произведенное на несчастных этой вестью. Персы, исповедовавшие мусульманскую веру, стали громко возносить хвалу аллаху, а христиане возблагодарили господу. Увы! Как ни вглядывались люди

на марсе в морскую гладь, они ничего не увидели: парус был такой же химерой, как и пушечные залпы.

## ПЛОТ

Положение несчастных жертв кораблекрушения было ужасно: дважды обретя надежду на спасение, они дважды утратили ее. Ветер не стихал, море штормило, мачта раскачивалась, скрипела, стонала, грозя обрушиться, снасти с трудом выдерживали тяжесть человеческих тел и могли в любой момент порваться и низвергнуть в бездну всех, кому служили прибежищем.

Уже в самый первый день нашлись люди, которые, потеряв всякую надежду на спасение и предпочитая быструю смерть долгой мучительной агонии, бросились в море и утонули. Другие не хотели расставаться с жизнью, но волны захлестывали их и, на секунду отпустив спасительную мачту, они тоже падали в пучину. Между тем затонувшее судно продолжало двигаться; как ни замедлен был его ход, пловцам не удавалось догнать его, и они навсегда уходили под воду.

Впрочем, нет худа без добра: первые три дня сильный ветер, страшные волны, гибель товарищей по несчастью заставили людей на марсе забыть о голоде. Но постепенно ветер стих, волнение на море улеглось, и появилась надежда, что судно не пойдет ко дну, а мачта не сломается, — и вот тут-то несчастные познали все муки голода.

В эту пору несколько смельчаков решили перебраться с крьюис-марса, где по-прежнему было очень тесно, на фор-марс, к одинокому матросу, взобравшемуся туда еще в день катастрофы. Расстояние было невелико, но тем не менее из шести матросов, собравших последние силы для этого опасного путешествия, лишь двое добрались до цели; остальные утонули.

Эти и последующие подробности полной тревог, горя и надежд одиссеи несчастных скитальцев известны нам благодаря Джону Маккею — единственному из спасшихся, кто не только до самого конца сохранил присутствие духа, но и нашел в себе силы со всей искренностью и правдивостью моряка поведать потомкам о печальной судьбе «Юноны».

На четвертый день возбуждение, вызванное постоян-

ным ощущением смертельной опасности, сменилось у Маккея мрачным безразличием; он мечтал лишь об одном — крепко заснуть и как можно дольше не просыпаться, чтобы время тянулось не так мучительно. В забытии он хоть какое-то время не чувствовал голода и ему не досаждали отчаянные вопли персов, жалобы товарищей-европейцев и женские слезы.

Первые три дня он, как и все его спутники, страдал не столько от голода, сколько от холода: дул пронизывающий ветер, и совершенно продрогшим и насквозь промокшим людям было не до мыслей о пище. Однако на четвертый день, когда ветер стих, небо очистилось и жаркий слепящий шар солнца встал над головами несчастных, жестокие муки голода и жажды дали себя знать. Впрочем, сравнивая свои ощущения с теми, что описаны в книгах великих путешественников, Джон Маккей признается, что первое время муки эти были не так ужасны, как он ожидал. Более того, поскольку в его воспаленном воображении все время всплывали эпизоды из прочитанного, Маккей вспомнил одно средство, способное хоть немного облегчить страдания потерпевших кораблекрушение. Ему пришел на память рассказ капитана «Кентавра» Инглфилда о том, что в таких случаях хорошо обертывать тело мокрой тканью. В самом деле, морская соль при этом остается снаружи, а влага через поры проникает внутрь, и это приносит небольшое, но ощутимое облегчение измученному голодом и жаждой человеку.

Джон быстро снял свой фланелевый жилет, привязал его к концу одной из тех веревок, которые всегда носит с собой настоящий моряк, окунул в море и надел; как только жилет высох, он снова обмакнул его в воду и снова надел. Товарищи последовали его примеру и, то ли потому, что морская свежесть и впрямь была целительна, то ли потому, что это занятие отвлекало их от черных мыслей, все почувствовали явное облегчение.

Впрочем, в тот же день наш моряк пережил и сильный страх: палящий зной, голод и жажда так подействовали на него, что в бреду ему явился призрак смерти; видение было столь ужасно и омерзительно, что несчастный еле сдержал крик ужаса и отчаяния.

К счастью, этой же ночью он увидел сон, доставивший ему радость. Как бывает со всеми, кто стоит на пороге смерти, он вспомнил детство; давно умершие родственники, забытые соседи и утраченные в пустыне, называемой



светом, друзья юности чередой прошли перед ним. Вскоре эти видения уступили место картине еще более сладостной. Несчастному Джону казалось, что он болен, у него жар, он лежит в постели, а рядом молится, стоя на коленях, его отец. Маккей уже несколько лет как расстался с отцом и был рад увидеть его хотя бы во сне. Более того, пока старый отец молился за сына, Джону становилось легче, боль отпускала, жар спадал и он чувствовал успокоительную прохладу; но стоило старику умолкнуть, как больного начинало лихорадить еще сильнее.

Что бы там ни было, проснувшись, Джон Маккей почувствовал себя гораздо лучше. Он успокоился, тревога уступила в его душе место глубокой меланхолии, но на глаза то и дело наворачивались слезы, — ему казалось, что такой сон может означать лишь одно: отец его умер и теперь спустился с высот небесных, чтобы облегчить страдания сына.

Двадцать пятого июня, на пятый день после катастрофы, среди обитателей марса появились новые жертвы: двое умерли от голода, один — от апоплексического удара, еще один — просто от отчаяния. Когда несчастные обрели присутствие духа и смогли обсудить создавшееся положение, капитан и его первый помощник высказались за то, чтобы как только море успокоится, приняться за постройку плота. В этом они видели единственную надежду на спасение. Когда шторм утих и поверхность моря стала гладкой, словно зеркало, Бремнер и Уэйд с помощью нескольких матросов принялись за осуществление своего замысла. В их распоряжении были фок-рея, бушприт и обломки рангоутов. За дело взялись лучшие пловцы; и деревья, и тросов было более чем достаточно, поэтому назавтра к полудню плот был уже готов.

Теперь встал вопрос о том, кому на нем плыть. Капитан, его жена и Уэйд ступили на него первыми. Хотя Джону Маккею плот не внушал такого доверия, как его товарищам, он последовал их примеру. Вскоре, однако, на нем собралось столько народу, что он начал тонуть. Тогда обреченные, изнемогающие от голода люди вступили в страшную борьбу, борьбу не на жизнь, а на смерть. Сильные сталкивали с плота слабых, и тем приходилось возвращаться на крьюс-марс. Некоторые так ослабели, что не смогли одолеть даже того небольшого расстояния, что

отделяло плот от корабля, к которому он был привязан, и утонули.

Перед тем как обрубить трос, Джон Маккей спросил у капитана Бремнера, имеет ли тот хоть отдаленное представление о том, в какой стороне земля, и есть ли хоть какой-нибудь шанс это узнать. Капитану нечего было ответить, и он промолчал. Тогда Джон, воспользовавшись тем, что плот еще не отошел от корабля, стал заклинать его именем госпожи Бремнер вернуться на марс и не доверяться этому ненадежному средству спасения. Однако капитан, как и прежде, не внял доводам Маккея, а госпожа Бремнер заявила, что не покинет мужа; трос, связывающий плот с кораблем, был перерезан, и он отчалил от судна. Веслами находившимся на нем людям служили доски, отодранные от обшивки «Юноны».

Джон сидел на плоту, мрачно склонив голову на грудь. Спустя полчаса кто-то рядом с ним тяжело вздохнул. То был первый помощник Уэйд.

— Что с вами? — спросил Джон.

Уэйд покачал головой.

— Вы были правы, — сказал он. — И тогда, в Рангуне, и теперь. У нас нет компаса, мы не знаем даже приблизительно, в какой стороне земля, и плывем на верную гибель. С марса мы, по крайней мере, могли увидеть на горизонте какое-нибудь судно, нас могли заметить и подобрать, а на этом плоту мы совершенно затеряны среди волн.

— Так что ж, — сказал Джон, — давайте вернемся на судно.

Уэйд бросил взгляд на торчавшие из воды мачты, на несчастных, которые, повиснув над бездной, остались ожидать своей участи. Измерив глазами расстояние от плота до корабля, он коротко сказал:

— Мы не доплывем.

— Конечно, но наши гребцы будут так рады избавиться от лишних пассажиров, что согласятся подплыть поближе.

В самом деле, когда Маккей объявил, что они с Уэйдом хотели бы вернуться на судно, матросы обрадовались и налегли на весла. Плот подошел к «Юноне», Уэйд и Маккей ухватились за снасти и быстро взобрались обратно на крьюс-марс, а плот вновь скрылся в волнах. Казалось бы, расставание должно было опечалить людей, вместе проводивших шесть дней лицом к лицу со смертью, но ничуть не бывало: поглощенные собственными страдани-

ями, они думали о себе; страх смерти вытеснил из их душ все остальные чувства. Люди на плоту равнодушно проводили глазами двух помощников капитана, перебирающихся обратно на судно, а люди на марсе бестрепетно следили взором за удаляющимся плотом.

Единственным человеком, вызывавшим всеобщее сочувствие, была несчастная госпожа Бремнер, которая неизменно выказывала удивительное мужество и ободряла мужчин, нередко впадавших в тоску и уныние. Вначале она была своему супругу в тягость; он не только тревожился за ее судьбу, но и стыдился того, что не послушался в свое время Джона Маккея и из-за собственного упрямства подверг молодую женщину и свою команду столь суровым испытаниям. Но чем меньше у него оставалось сил, тем крепче он прижимался к жене, словно ища у нее защиты. Под конец он уже ни на минуту не выпускал ее руки, цепляясь за жену, как приговоренные к смерти цепляются за жизнь.

Люди на судне до самого вечера следили глазами за плотом; к вечеру он окончательно пропал из виду. По привычке спутники Джона Маккея еще некоторое время продолжали смотреть в ту сторону, где скрылись их товарищи. Затем наступила ночь, и несчастные жертвы кораблекрушения погрузились в черную бездну.

На рассвете один из матросов заметил в волнах черную точку. Каково же было всеобщее изумление, когда точка эта оказалась тем самым плотом, что накануне отправился в далекое плавание.

Поначалу люди на плоту гребли изо всех сил, но силы их после недели, проведенной в открытом море без пищи и воды, были на исходе. Наконец в полном изнеможении они бросили весла и, отчаявшись, положились на милость провидения. Всю ночь они плыли по воле волн, а на рассвете увидели, что возвратились на прежнее место. Они протянули руки товарищам, и те помогли им взобраться на снасти. Вскоре никто уже не вспоминал о затее с плотом, с самого начала обреченной на неудачу.

## АГОНИЯ

Чувство сострадания, видно, еще теплилось в душах матросов, и те, кто занял места на марсе, принадлежавшие капитану Бремнеру и его супруге, уступили их прежним

владельцам. Впрочем, они могли повести себя и по-другому, если бы добросердечный Джон Маккей не воззвал к их великодушию. Капитан очень ослабел; казалось, он вот-вот потеряет сознание, а ведь до катастрофы это был крепкий, сильный мужчина, настоящий моряк, более трех десятков лет бороздивший океаны и привыкший к тяготам и лишениям. Напротив, жена его, хрупкое и трепетное создание, переносила все страдания и муки, выпавшие на ее долю, с поразительным мужеством и выдержкой.

Так только Бремнеры вновь устроились на кюйс-марсе, у капитана начался бред: ему представлялось, что перед ним стол, уставленный разнообразными яствами, и он рвался утолить голод и жажду, яростно отбиваясь от спутников, якобы жалеющих для него куска хлеба и стакана воды.

Зрелище предсмертных мук всегда ужасно, однако обычно свидетели агонии испытывают лишь боль расставания: они плачут, но им лично ничто не грозит. Иные чувства обуревают людей, которые, сами умирая от голода и жажды, наблюдают за агонией одного из своих товарищей по несчастью. Здесь в смерти соседа каждый видит прообраз собственной смерти. Здесь каждый разделяет страдания умирающего, твердо зная, что через час или через день его самого ждут такие же муки, такая же смерть.

В подобных ситуациях люди не плачут. Горе их неутешно, слезы не могут облегчить их страдания. С сухими глазами, мрачно скрежеща зубами, готовятся они вступить в единоборство с тем недугом, что мучает умирающего товарища; они не жалуются, а воют, они обращают к небу не мольбы, а проклятья.

Первого июля, через одиннадцать дней после катастрофы, капитан скончался. В предсмертных конвульсиях он так сильно сжал в объятиях жену, что казалось, невозможно вырвать ее из рук мертвеца. Впрочем, бедная женщина и сама не хотела расставаться с телом мужа; она не могла поверить в смерть Бремнера и по-прежнему льнула к его бездыханной груди. С огромным трудом спутникам удалось убедить ее, что все кончено. Тогда она с тоской разжала объятия и, странное дело, слезы, которые текли по ее щекам, тут же иссякли. Моряки поделили между собой жалкие лохмотья, в которые был одет капитан, а тело бросили в море. Услышав звук его падения, госпожа Бремнер легонько вскрикнула, заломила

руки и потеряла сознание. Маккей бросился к ней. Благодаря его стараниям она раскрыла глаза, и из них вновь хлынули слезы.

Капитан был отнюдь не единственной жертвой голода. Агонии и смерти следовали одна за другой. Внезапно человек чувствовал приступ тошноты, тело его сводила судорога, члены деревенели, и наступала смерть. Одни люди, умирая, отпускали снасти, за которые держались, и падали в море; другие, напротив, с такой силой вцеплялись в тросы, что после их кончины соседям с трудом удавалось разжать их пальцы. Один труп провисел на снастях два дня: ни у кого не хватило сил высвободить канат из его рук. На третий день тело стало разлагаться, и поскольку перерезать трос было нельзя, потому что он поддерживал бизань-мачту, решено было отрубить ножом кисти рук. Пальцы моряка продолжали сжимать трос, а тело поглотили волны.

Утром двадцать восьмого числа, за два дня до смерти Бремнера, первый помощник капитана воскликнул, что не в силах больше томиться в бездействии. Плот по-прежнему плыл на канате за судном. Указав на него, Уэйд спросил, не хочет ли кто-нибудь снова попытать счастья. Восемь человек — два европейца, два малайца и четыре перса — согласились последовать за ним и, как ни удерживал их Джон Маккей, покинули корабль.

Опять, как и в первый раз, моряки перерезали трос, и плот пустился в плавание. Снова, как и в первый раз, люди на марсе спусти два-три часа потеряли его из виду, но назавтра плот не вернулся: вечером поднялась буря, и, по всей вероятности, те, кто были на нем, утонули.

Эта буря, гибельная для уплывших, принесла облегчение тем, кто остался на судне. Ночью пошел сильный дождь: несчастные жертвы кораблекрушения, выжав свою одежду, смогли напиться и хоть ненадолго забыть о самых тяжелых муках — муках жажды. С этих пор дождь шел через день, и страдальцы, получая небольшую порцию свежей воды, утоляли хоть отчасти не только жажду, но и голод.

И все же люди продолжали гибнуть. В один день с капитаном умерли еще четыре моряка: двое на крьюс-марсе и двое на фор-марсе. Впрочем, обитатели двух марсов не имели между собой никакой связи; они видели, что происходит у соседей, но так обессилели, что не могли произнести ни слова. Да им и не о чем было говорить.

Каждое утро Джон с изумлением обнаруживал, что еще жив, и начинал день в уверенности, что не доживет до вечера. Он слышал, что человек не способен прожить без еды больше десяти дней а, между тем на одиннадцатый день он был еще жив.

Вечером море стало таким спокойным, каким еще ни разу не было за все эти дни, поэтому несколько персов решили вплавь добраться до фор-марса, где с самого начала было меньше народу, а теперь, после смерти двух матросов, стало совсем просторно. Ослабев от голода, они с большим трудом, но сумели выполнить свое намерение и обосновались там.

Второго июля оставшихся в живых охватила такая слабость, что они перестали сознавать не только происходящее вокруг, но и совершающееся внутри них. Вялость и апатия заглушили чувство голода. Умиряющие выходили из состояния летаргии, лишь когда начинал идти дождь: они судорожно напрягались, стараясь собрать как можно больше воды, и, выпив ее, обменивались короткими репликами, выражавшими печальное удовлетворение, после чего вновь воцарялась гнетущая тишина.

Истощенным людям грозила теперь новая опасность — холод. Хотя корабль находился вблизи экватора, ночью несчастные так мерзли, что у них зуб на зуб не попадал. На рассвете понемногу начинало теплеть; люди распрямляли заочевенные члены, постепенно приходили в себя, но тут их подстерегало другое испытание: солнце, поднявшись по небосклону, начинало немилосердно жечь бессильные тела. Впав в полубессознательное состояние, мучимые головокружениями, люди ждали, чтобы поскорее настала ночь. Днем они мечтали о ночной прохладе, ночью — о дневном зное. Каждый был так поглощен собственными страданиями, что почти не замечал мук других людей.

Хотя все умирали одной смертью, каждый встречал смертный час по-своему. Например, сын первого помощника Уэйда, здоровый сильный юноша, погиб очень скоро и без мучений, а другой юноша, его ровесник, слабый и хрупкий, как женщина, двенадцать дней боролся с голодом и жаждой и умер лишь на тринадцатые сутки. Отец этого юноши также плыл на «Юноне», но катастрофа разлучила их: отец оказался на фор-марсе, а сын на бизань-вантах. В первые дни они перекрикивались, затем, когда на слова уже не осталось сил, стали обмениваться знаками; и вот,

когда старый матрос понял, что сын при смерти, он собрал последние силы, спустился по снастям, прополз по планширу, взобрался на бизань-ванты и сжал сына в объятиях. Немного погодя он перетащил умирающего на полубак, немного выступавший из воды, и усадил там, прислонив к рыбине, чтобы его не унесло волной. Когда юноша чувствовал один из тех предсмертных приступов тошноты, о которых мы уже упоминали, старый матрос обнимал его, прижимал к себе, утирал выступившую на его губах пену; если начинал накрапывать дождик, отец старательно собирал падавшую в неба живительную влагу и выжимал мокрую ткань в рот сына; если же дождик превращался в ливень, он укладывал юношу так, чтобы свежая вода попадала умирающему прямо в рот.

Прошло пять дней, и наконец, несмотря на все старания отца, юноша умер. Тогда старый матрос приподнял бездыханное тело и, в надежде оживить сына, прижал его к своей груди с силой, невыносимой для человека, прошедшего шестнадцать дней без пищи, но уже было поздно. После этого осиротевший отец утратил всякий интерес к жизни, собственная судьба стала ему совершенно безразличной. До тех пор, пока набежавшая волна не вырвала из его рук тело сына, он сидел на полубаке в тупом оцепенении. Когда же океан поглотил останки того единственного человеческого существа, что привязывало старого моряка к жизни, он лег и укрылся с головой куском брезента, чтобы больше уже не подняться. Однако, судя по тому, что брезент изредка вздрагивал еще двое суток, смерть пришла к нему не сразу.

Душераздирающее зрелище смерти сына на руках отца произвело глубокое впечатление на свидетелей этой драмы, чьи сердца, казалось, уже совершенно очерствели и перестали воспринимать чужие страдания.

А судно тем временем продолжало плыть по воле волн. Несчастные жертвы кораблекрушения не имели даже приблизительного представления о том, в какую сторону они движутся. И вот вечером десятого июля, через двадцать дней после катастрофы, один из матросов, уже несколько минут напряженно вглядывавшийся в какую-то точку на горизонте, приподнялся и закричал: «Земля!»

## ТРИДЦАТЬ РУПИЙ ГОСПОЖИ БРЕМНЕР

Не думайте, что этот крик произвел на умирающих людей сильное впечатление и сразу вывел их из апатии, в которой они пребывали уже много дней. Чудом оставшиеся в живых моряки настолько утратили за эти три недели веру в провидение, что поначалу никто из них и не подумал двинуться с места, чтобы проверить, действительно ли на горизонте показалась земля. Лишь через несколько минут, когда ошеломляющая новость дошла до меркнувшего сознания несчастных, они с огромным трудом повернули головы в сторону предполагаемого берега. Однако близился вечер, и в сумерках трудно было понять: не соблазняет ли их очередной мираж.

Настала ночь, и, странное дело, лишь теперь, когда окончательно стемнело, люди на марсе совершенно ясно увидели спасительную землю. Начались разговоры; каждый спешил поделиться своими соображениями, и в конце концов все сошлось на том, что впереди действительно берег. Один лишь Джон Маккей отказывался верить в чудо; более того, говорил он, даже если нас в самом деле принесло к берегу, это еще отнюдь не означает, что мы спасены.

Измученная, подавленная смертью мужа и всеми выпавшими на ее долю испытаниями госпожа Бремнер ухватилась за счастливое известие в полном смысле слова, как утопающий за соломинку. Равнодушие Джона Маккея, его упрямое нежелание поверить, что впереди земля, приводили ее в отчаяние.

— Но почему, почему, — воскликнула она наконец, — почему вы не хотите признать, что мы плывем к берегу; если где-то есть земля, почему море не могло принести нас к ней?

— Потому, мадам, — ответил второй помощник, — что земле неоткуда взяться в этих местах; конечно, я могу ошибаться, но это не меняет дела: уверяю вас, нам не удастся выбраться на сушу.

— Не удастся? Отчего же? — с горящими глазами спросила женщина.

— Оттого, — отвечал Джон, — что корабль наш неуправляем. Приблизившись к берегу, «Юнона» непременно сядет на мель, и волны тут же разнесут ее в щепки. Если у вас нет больше сил переносить мучения, если жизнь вам



постыла, молитесь бога, чтобы перед нами действительно оказалась земля, ибо в этом случае нашим несчастьям скоро придет конец.

Предсказание близкого конца, да еще таким опытным моряком, как Джон Маккей, привело в уныние всех, кто начал было питать надежду на спасение, и постепенно на марсе вновь воцарилось молчание. Что же до самого второго помощника, то, как он вспоминает, известие о мелькнувшем вдали берегу показалось ему настолько неутешительным, что он крепко заснул, а проснувшись, даже не посмотрел в ту сторону, где накануне виднелась земля.

Между тем наступило утро. Внезапно один из матросов на фор-марсе встрепенулся, замахал платком и попытался крикнуть «Земля!», однако его слабый возглас потонул в шуме волн. Впрочем, на крьюс-марсе увидели белый платок и поняли, что это значит. Тут даже хладнокровный Маккей испытал смутное желание привстать и посмотреть на предполагаемую землю, однако ему было лень менять удобное положение, которое занимал всю ночь, и только собрав всю свою волю, он смог пошевелиться. Пока Джон собирался с духом, один из его соседей уже успел подняться и тоже увидел землю. Не прошло и пяти минут, как все, кто находился на марсе, включая второго помощника, уже стояли на ногах, вглядываясь вдаль. Теперь и он вынужден был признать, что впереди в самом деле виднеется что-то похожее на берег, но когда госпожа Бремнер спросила его, не к Коромандельскому ли берегу принесли их волны, вопрос этот показался старому морскому волку таким смешным, что, несмотря на всю серьезность положения, он не смог сдержать улыбки.

В течение дня очертания берега становились все отчетливее, однако, что это был за берег, никто не знал. Люди на обоих марсах пришли в волнение, и в этот момент надежда, как ни странно, вернулась в душу Маккея. Ему показалось, что судьба не может отнять у них жизнь именно теперь, когда после долгих страданий у всех появилась надежда на спасение, — это было бы слишком жестоко. Поэтому, когда госпожа Бремнер посмотрела на него с мольбой, как на оракула, которому ведомы тайны жизни и смерти, Джон поднял глаза к небу и произнес: «Не будем терять надежду!» С этого момента несчастные ни на секунду не отрывали взоров от берега, но чем ближе

подплывало к нему полузатонувшее судно, тем пустынное он казался.

Наступила ночь. Джон Маккей закрыл глаза. Как и прежде, его не покидала уверенность, что эта ночь — последняя в его жизни. Вторым помощником не сомневался, что корабль вот-вот сядет на мель и волны разобьют его в щепки. Тем не менее, изможденное тело нуждалось в отдыхе, и он крепко заснул.

Опасения Маккея подтвердились: незадолго до рассвета его разбудил сильный толчок — корабль наскочил на риф. У всех сорвался с губ слабый вскрик, похожий на вздох, после чего наступила тревожная тишина. Корабль между тем продолжал сотрясаться, причем толчки были так сильны, что бизань- и фок-мачты окончательно расшатались и обитатели марсов не могли устоять на ногах: им пришлось лечь и как можно крепче ухватиться за снасти.

Около девяти утра начался отлив, и уровень воды понизился настолько, что обнажился остов палубы. Тогда моряки решили попробовать спуститься вниз. Для людей, три недели не имевших во рту ни крошки, задача была не из легких. В самом деле, несчастные больше походили на скелеты, чем на людей, но воля человеческая превозмогает любые препятствия — и в конце концов марсы опустели, и все мужчины перебрались на палубу. Наверху осталась лишь вконец обессиленная госпожа Бремнер.

Канонир и второй помощник попытались помочь ей спуститься. С огромным трудом им удалось добраться до шниц-сарвеней, однако силы окончательно оставили их, и они попросили о помощи персов. Двое из них, на вид самые крепкие, вызвались перенести госпожу Бремнер на палубу, но, зная, что у вдовы капитана сохранились тридцать рупий, персы запросили за свой труд восемь из них. Канонир и второй помощник пообещали, что госпожа Бремнер непременно расплатится со своими носильщиками, и лишь после этого персы полезли на мачту.

Как только госпожа Бремнер оказалась на палубе, персы потребовали обещанные деньги. Бедная женщина была так рада покинуть ненавистный марс, так надеялась, несмотря на все мрачные предсказания Джона Маккея, на спасение, что было готова отдать им хоть все. Однако второй помощник заметил ей, что остающиеся двадцать две рупии еще могут пригодиться и дарить их двум бессовестным вымогателям, которые не погнушались взять с женщины, да еще со вдовы капитана, деньги за

ничтожную помощь, — сущее безумие. Впрочем, с гордостью вспоминает Маккей, за исключением этих двух персов, ни один из его товарищей по несчастью ни разу не проявил ни эгоизма, ни корыстолюбия.

Спуск на палубу потребовал от моряков такого напряжения сил, что они уже не могли думать ни о чем, кроме отдыха; только несколько малайцев шарили повсюду в поисках денег.

Второй помощник тем временем заметил, что водой снесло руль и сквозь образовавшееся при этом отверстие можно без труда спуститься в констапельскую. К двум часам пополудни уровень воды понизился настолько, что моряки смогли проникнуть туда. Увы, море опередило их и унесло все, что могло, за исключением четырех кокосовых орехов, запутавшихся в веревках.

И вот тут-то случилось происшествие, заставившее Джона Маккея забыть о бессовестном поступке персов. Матросы, нашедшие орехи, не взяли их себе, а предложили поделить между всеми членами экипажа, попросив в награду только кокосовое молоко. К сожалению, орехи оказались такими старыми, что молоко свернулось и превратилось в прогорклую жидкость, похожую на уксус; утолить ею жажду было невозможно, а жажда мучила моряков еще сильнее, чем голод. Что же до мякоти ореха, то она завяла, высохла, и отведавшие ее заплатились жестокой рвотой.

Впрочем, полумертвые люди едва ли не свыклись с отсутствием еды и питья; в остальном же в констапельской им было гораздо лучше, чем на марсе. Никаких шансов добраться до берега не было, да и берег выглядел таким пустынным, что, высадись они туда — безоружные, обессиленные, их наверняка растерзали бы дикие звери. Лучше уж было спокойно ждать смерти в констапельской. Так их хотя бы могли заметить, с какого-нибудь корабля — по сути, это был единственный шанс на спасение. К тому же сама близость земли, пусть негостеприимной и необитаемой, но находящейся меньше чем в миле от корабля, оказывала такое живительное воздействие, что все члены команды немного приободрились и проводили время в напряженном ожидании, глядя на сушу. Около двух часов пополудни там показались темные движущиеся точки, напоминающие людей. Новость эта быстро распространилась по всему судну. Все, кто еще мог ходить, собрались на носу и стали размахивать

платками, пытаясь знаками и криками привлечь внимание людей на берегу.

Увы, эти люди, вначале, казалось, привлеченные зрелищем затонувшего судна, вскоре разошлись, не проявив ни малейшего интереса к происходящему, и несчастные жертвы кораблекрушения усомнились в том, что в самом деле видели человеческие существа.

И все же близость земли, надежда на то, что земля эта обитаема, придала команде «Юноны» сил и мужества; моряки пришли к мысли, что нужно во что бы то ни стало попробовать добраться до берега, пусть даже с риском для жизни. Все, кто еще не окончательно обессилел, собрались в констапельской, где валялись обломки рангоутов; с огромным трудом люди сбросили полдюжины их в воду. Конечно, бревен не хватило бы на всех, но некоторые матросы были так истощены, что не могли двинуться с места и не было никакой надежды, что силы вернуться к ним.

К вечеру уровень воды в море постепенно начал прибывать, и шесть самых крепких и выносливых персов спрыгнули в море, ухватились за бревна и отдались на волю волн. Смельчаков прибило к берегу, и, хотя, волны тут же потащили их обратно, они успели выбраться из воды.

С корабля было прекрасно видно, как они вышли на сушу, нашли ручей и стали жадно пить, выказывая все признаки бурной радости; затем, не имея ни сил, ни отваги, чтобы отправиться на поиски пищи, они улеглись прямо на берегу и, забыв о пресловутых хищных зверях, о которых столько рассуждали на «Юноне», заснули.

Перед восходом солнца все, кто оставался на судне, вновь собрались на носу, тревожась о судьбе своих шести товарищей, ночевавших на берегу. К счастью, с теми не случилось ничего страшного. Джон Маккей и стоявшие рядом с ним матросы увидели, как все шестеро поднялись, вернулись к ручью и снова припали к воде. Всех обитателей «Юноны» охватило страстное желание любой ценой выбраться на берег и присоединиться к ним, но к этому времени на борту, кроме Джона Маккея, оставались две женщины — госпожа Бремнер и ее служанка, несколько стариков да молоденький юнга. Им не под силу было не только столкнуть бревна в воду, но даже приподнять их. Джон Маккей, сам едва живой, не переставал удивляться тому, что именно эти немощные

существа устояли против страшных испытаний, которых не вынесли молодые и сильные мужчины.

Около полудня на берегу показалась группа людей, по всей вероятности туземцев. Они двигались по направлению к ручью. Шестеро персов по-прежнему оставались там: казалось, их единственное желание — утолить жажду, а о большем они и не помышляют.

Люди на судне впились глазами в берег. От того, что там произойдет, зависела их судьба. Они чувствовали, что страшная драма, участниками которой им довелось стать, близится к развязке. Персы и туземцы, стоя в нескольких шагах друг от друга, обменялись какими-то словами, судя по всему дружескими; потом обе группы смешались; часть туземцев разожгла огонь, наверное, чтобы сварить рис, а другая подошла ближе к морю. Туземцы стали махать руками и платками, как бы призывая людей на корабле присоединиться к ним.

Несчастных охватило огромное волнение. Нет, не дикие звери ждали их на пустынном берегу, а человеческие существа, добрые и милосердные. К сожалению, у туземцев не было лодок, да и на лодках было бы нелегко одолеть прибой. И все же умирающие люди не теряли надежды, что там, на берегу, найдут способ выволить их. Жизнь, еще два дня назад казавшаяся постылой, вновь обрела для них цену. Как и все, Джон Маккей почувствовал внезапно прилив сил и решил во что бы то ни стало добраться до берега. Он сообщил о своем решении товарищам по несчастью и попросил их помочь ему столкнуть в воду еще несколько бревен. За дело взялись сам Джон, канонир, боцман и юнга; однако канонир и боцман почти сразу выбились из сил и в изнеможении повалились на палубу.

Джон Маккей и юнга остались вдвоем. Они обвязали одним концом веревки бревно, другим концом ее привязали еще одно, поменьше, затем с огромным трудом столкнули в воду первое бревно, и оно потащило за собой второе.

Перед тем как броситься в море, Джон, несмотря на всю свою опытность, испытал приступ такого страха, что уже готов был отказаться от своего намерения и остаться ждать смерти на корабле. Однако пример юнги вдохновил бывалого моряка; к тому же он подумал, что туземцы не останутся на берегу вечно и уже завтра могут отправиться

в какое-нибудь другое место, а силы его тают с каждым днем, — и решил рискнуть.

Он печально попрощался с несчастной госпожой Бремнер, которая совсем не шевелилась и с трудом разлепляла губы, когда нужно было что-то сказать. Маккей пообещал вдове капитана во что бы то ни стало помочь ей, если только ему удастся спастись. Женщина дала ему одну из тех двадцати двух рупий, что оставались у нее; она особенно берегла их с тех пор, как поняла, что деньги еще могут пригодиться.

Джон Маккей прыгнул в воду, ухватился за свое бревно и, помолившись богу, во всем положился на его волю. Бревно сразу поплыло к земле, и это показалось Маккею добрым предзнаменованием. Мало того, очутившись в воде, второй помощник тут же почувствовал прилив сил; его одеревеневшие члены обрели прежнюю гибкость. Другое открытие было не столь приятным: бревно не столько помогало пловцу, сколько мешало. Оно все время вертелось, и Джон с головой окунался в воду, но стоило ему отпустить бревно, как он тут же почувствовал, что идет ко дну, и вновь крепко ухватился за него.

Увы, вскоре моряк убедился, что бревно плывет вдоль берега. Чувствуя, что силы его на исходе, он попытался направить его к земле: для этого Джон ухватился за бревно правой рукой, закинул на него правую ногу, а левой рукой и левой ногой стал грести. Некоторое время все шло хорошо, но внезапно огромная волна захлестнула Маккея и оторвала его от бревна. Оглушенный и почти потерявший сознание, Джон все же сумел вынырнуть и глотнуть воздуха, но тут же его с головой накрыла новая волна. На этот раз наш герой уже простился с жизнью, но ему опять повезло: волна вернула ему бревно, к тому же спину ему оцарапали песок и ракушки, из чего Джон понял, что берег недалеко. Наконец один из самых сильных водяных потоков швырнул его на прибрежную скалу, и он вцепился в нее с такой силой, что волна, отхлынув, не смогла утащить его с собой. Тогда Джон пополз к берегу, цепляясь за выступы скалы и борясь с бурлящими водяными валами, которые с яростью набрасывались на свою жертву. Так он оказался на берегу. Тут несчастный впал в такое изнеможение, что, забыв о прибое, лег на песок и заснул, не отдавая себе отчета в том, в сон он погружается или нисходит в царство смерти.

Проснувшись, он увидел собравшихся вокруг него местных жителей. Они о чем-то разговаривали между собой на хинди. Это обрадовало Джона Маккея: значит, он находится на территории, принадлежащей английской Ост-Индской компании. Маккей немного говорил на хинди и, расспросив незнакомцев, узнал, что имеет дело с райа — крестьянами, работающими на Ост-Индскую компанию, а место, куда его выбросили волны, находится в шести днях ходьбы от Читтагонга, который в свою очередь расположен в девяноста милях от Калькутты.

Эти сведения успокоили моряка, и он попросил у крестьян горсть риса, пусть даже сырого. Те позволили его к костру. Джон попытался подняться, но не смог. Двое крестьян помогли ему встать на ноги. Второй помощник попытался сделать несколько шагов по песку, но и это ему не удалось. Тогда индусы взвалили его себе на плечи и понесли.

Когда они проходили мимо маленького ручейка, Джон, пораженный зрелищем чистой, прозрачной воды, мирно струящейся среди камней, захотел утолить наконец жажду. Крестьяне с видимой неохотой отпустили его на землю возле ручья. Он с наслаждением окунул голову в ручей и пил, пил без усталости, словно боялся, что испытывает это блаженство в последний раз.

Индусы силой оторвали его от воды, опасаясь, как бы она не причинила ему вреда. Впрочем, до этого было далеко: наоборот, чистая, свежая вода подействовала на второго помощника так благотворно, что он смог идти сам и, опираясь на руки своих провожатых, добрал до костра. Маккей с радостью увидел среди местных жителей шестерых персов, первыми покинувших корабль, юнгу, вместе с которым он бросился в воду, а также канонира и боцмана, которые в конце концов тоже последовали примеру смельчаков.

## СНОВА РУПИИ ГОСПОЖИ БРЕМНЕР

Бедняга Джон едва не обезумел от счастья, когда увидел товарищей. Именно в этот момент он всем существом своим, каждой клеточкой почувствовал, что в самом деле спасся. Как и все, моряк с нетерпением стал ждать минуты, когда наконец сварится рис и можно будет

утолить голод. Джон был так взволнован, что в голове его все смешалось и он начисто забыл о госпоже Бремнер.

Тем временем рис сварился; моряк положил несколько зернышек в рот, попытался разжевать и проглотить их, но не смог. Один из туземцев, смеясь, брызнул ему в лицо водой. Маккей в эту минуту как раз открыл рот, вода вместе с рисом попала ему не в то горло, и он поперхнулся; однако благодаря глупой шутке к Джону вернулась способность глотать, и он смог съесть немного риса. Впрочем, моряк еще долго вынужден был запивать рис водой, и увы, на этом страдания его не кончились. От солнца губы и десны у него потрескались и кровоточили при каждом движении челюстей, что причиняло несчастному невыносимые муки.

Съев несколько ложек риса и выпив стакан воды, Джон снова заснул беспробудным сном и проспал до вечера. Проснулся он неизмеримо более бодрым и энергичным. Мысли его прояснились, и тут же с тревогой и раскаянием Маккей вспомнил о госпоже Бремнер. Не медля ни минуты, он попросил крестьян помочь оставшимся на борту корабля людям, в том числе вдове капитана, и намекнул, что спасенные не останутся в долгу. Слова о вознаграждении произвели магическое действие: на таких условиях крестьяне с радостью согласились совершить доброе дело. Однако, по их мнению, торопиться не стоило: поскольку ночной прилив гораздо сильнее дневного, сказали они, есть надежда, что волны прибьют корабль поближе к берегу, и тогда легче будет спасти оставшихся на его борту людей.

Дальше Джон уже ничего не слышал: его опять сморил крепкий сон. В полночь его разбудили и сообщили, что дама вместе со служанкой благополучно доставлены на берег. Джон тут же вскочил на ноги, причем сделал это легко и без посторонней помощи. Госпожа Бремнер сидела у костра; она только что выпила стакан воды и поела риса. На лице ее было написано высшее блаженство.

Как Джон узнал позже, деньги, составляющие единственное достояние госпожи Бремнер, едва не погубили ее. Несколько негодяев сговорились тайком пробраться на судно и ограбить бедную женщину, но тут один честный бирманец, который уже проявил однажды свою доброту, отдав Джону свой тюрбан, опередил их и спас госпожу Бремнер, не требуя за это никакого вознаграждения.



Той же ночью корабль треснул и развалился на две части. Нижняя часть застряла между рифами, а палуба подплыла так близко к берегу, что даже те два обессилевших моряка, которые оставались там до последнего, смогли выбраться на сушу.

Однако испытания, выпавшие на долю команды «Юноны», еще не кончились.

Всю ночь шел проливной дождь, и у несчастных жертв кораблекрушения зуб на зуб не попадал, ведь они были почти раздеты и не имели крыши над головой. Наутро крестьяне дали им еще немного риса, но предупредили, что в последний раз кормят их бесплатно: таковы были результаты неосторожности Джона Маккея, рассказавшего о рупиях госпожи Бремнер. Персы, первыми добравшиеся до берега и первыми вкусившие от щедрот вдовы капитана, довольно быстро сторговались с местными жителями и стали есть отдельно, поскольку их религия запрещала им принимать пищу вместе с «нечистыми».

Госпожа Бремнер, вдвойне счастливая, оттого что спасла свои деньги, а деньги спасли ее самое и могут спасти других людей, вступила в переговоры с индусами. Те пообещали кормить команду «Юноны» за две рупии в день. Джон Маккей и его товарищи надеялись, что дня за четыре они достаточно окрепнут, чтобы отправиться в путь и добраться до ближайшей деревни, расположенной в тридцати милях к северу.

Время шло, а силы не возвращались. Да и откуда им было взяться, ведь все ели один рис, да и то в мизерных количествах. Особенно слаба была госпожа Бремнер — она была не в состоянии даже встать и поэтому спустя несколько дней после своего спасения попросила индусов донести ее вместе со служанкой до ближайшей деревни на носилках. Сторговались на том, что она заплатит носильщикам двенадцать рупий. В результате от богатства госпожи Бремнер осталось всего две рупии, которые также перешли к индусам с условием, что госпожа Бремнер, ее служанка, Джон Маккей и юнга будут обеспечены пропитанием вплоть до прибытия в деревню.

Путешествие началось семнадцатого июля. Бедняга Джон вынужден был плестись за паланкином госпожи Бремнер, опираясь на бамбуковую палку. Вместе с Джоном за носилками шли канонир, боцман и юнга. Что же до персов, то они так подружились с крестьянами, что предпочли до поры до времени остаться на берегу.

Первый переход составил около двух миль; здесь маленький караван устроил часовой привал. Во время отдыха Джон заснул. Когда его разбудили, он почувствовал себя так плохо, что едва смог подняться. Шел он теперь с большим трудом, каждую минуту останавливался и вынуждал замедлять шаг всех остальных. Вскоре Маккей понял, что ему придется расстаться со своими спутниками. Они шли дальше быстрым шагом, а он — еле-еле передвигая ноги, и вскоре совсем отстал.

К счастью, моряк остался не один — компанию ему составил юнга, который оказался надежным товарищем: он так боялся тигров, что не отходил от Джона ни на шаг. К четырем часам пополудни они окончательно потеряли из виду носилки госпожи Бремнер, однако судьба готовила им приятный сюрприз: они увидели группу араканцев, которые, не обращая на незнакомцев ни малейшего внимания, варили рис. Джон решил попросить араканцев накормить его и юнгу, хотя, конечно, поскольку он не знал языка и не имел денег, особой надежды на успех питать не приходилось. Умоляюще глядя на них и протянув руку, он приблизился к костру. Изможденный вид, лохмотья вместо одежды — все в нем выдавало человека страждущего, нищего. Старший из араканцев спросил по-португальски, какие невзгоды привели его в столь бедственное состояние. К счастью, Джон немного понимал язык и смог ответить. Он рассказал о кораблекрушении, о двадцати днях страшных скитаний по океану без пищи, о чудесном спасении, о рупиях госпожи Бремнер и, наконец, о том, почему они с юнгой остались одни.

Час назад мимо араканцев прошли крестьяне с носилками, что подтверждало рассказ Маккея. У этих людей было доброе сердце, они возмутились жестокостью своих собратьев, бросивших слабого человека на произвол судьбы, и с королевской щедростью предложили Джону и его товарищу разделить с ними трапезу. Они угостили их всем, что у них было, но посоветовали Джону щадить свой истощенный желудок и не объедаться. Мало того, старший из араканцев пообещал дать спутникам продуктов на все время пути до ближайшей деревни.

Щедрый араканец и в самом деле дал Джону Маккею риса на три дня; затем он научил европейца разжигать огонь с помощью двух бамбуковых палок и объяснил, что тигры боятся дыма, поэтому у костра можно спать спокойно. В довершение всего он собственными руками

омыл и перевязал Джону сбитые в кровь ноги и лишь после этого пожелал ему счастливого пути.

Джон был счастлив встретить наконец человека щедрого и доброго и не хотел с ним расставаться. Но, к сожалению, араканец служил разносчиком и шел в другую сторону — в Аракан. Новым друзьям пришлось распрощаться, и Джон был не в силах сдержать слез благодарности.

Напоследок сообщим любознательным читателям, какова была дальнейшая судьба главных участников этой драмы.

Без особых приключений им удалось добраться до Калькутты.

Джон Маккей быстро окреп и в начале 1796 года был назначен капитаном одного из кораблей Ост-Индской компании. В августе 1796 года он прибыл на нем в Европу. Госпожа Бремнер вскоре стала еще прелестнее, чем прежде, и счастливо вышла замуж. Наконец, юнга, который так сильно боялся тигров, а после всего случившегося стал бояться еще и моря, на всю жизнь остался в Индии служил там разносчиком: вероятно, эту профессию он избрал в память о добром и щедром араканце, поддержавшем их с Джоном Маккеем в трудную минуту.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Приключения Джона Девиса . . . . .	3
Глава первая . . . . .	5
Глава вторая . . . . .	9
Глава третья . . . . .	14
Глава четвертая . . . . .	19
Глава пятая . . . . .	25
Глава шестая . . . . .	34
Глава седьмая . . . . .	44
Глава восьмая . . . . .	53
Глава девятая . . . . .	70
Глава десятая . . . . .	76
Глава одиннадцатая . . . . .	85
Глава двенадцатая . . . . .	100
Глава тринадцатая . . . . .	103
Глава четырнадцатая . . . . .	114
Глава пятнадцатая . . . . .	128
Глава шестнадцатая . . . . .	134
Глава семнадцатая . . . . .	142
Глава восемнадцатая . . . . .	148
Глава девятнадцатая . . . . .	151
Глава двадцатая . . . . .	158
Глава двадцать первая . . . . .	164
Глава двадцать вторая . . . . .	173
Глава двадцать третья . . . . .	184
Глава двадцать четвертая . . . . .	197
Глава двадцать пятая . . . . .	200
Глава двадцать шестая . . . . .	207
Глава двадцать седьмая . . . . .	217

Глава двадцать восьмая . . . . .	223
Глава двадцать девятая . . . . .	229
Глава тридцатая . . . . .	240
Глава тридцать первая . . . . .	250
Глава тридцать вторая . . . . .	255
Глава тридцать третья . . . . .	261
Глава тридцать четвертая . . . . .	270
Приключение Лидерика . . . . .	288
Морские повести . . . . .	342

Д 96      Дюма А. Приключения Джона Девиса. Приключения  
Лидерика. Романы. Морские повести./Пер. с франц. —  
М.: АСПОЛ — «Печатное дело», 1993 — 400с.  
ISBN 5-87056-033-0

В очередной сборник малоизвестных произведений классика авантюрно-исторического романа А. Дюма (отца) включены остросюжетные приключенческие романы «Приключения Джона Девиса» и «Приключения Лидерика», а также ряд повестей, объединенных морской тематикой.

Для широкого круга читателей.

ББК 84.4Фр.

Ассоциация предприятий, объединений и организаций поли-  
графической промышленности «АСПОЛ»  
103051, Москва, Цветной бульвар, д 26  
Лицензия ЛР № 010207 от 4 03 1992 г

Производственно-коммерческая фирма «Печатное дело»  
119034, Москва, 2-й Обыденский пер , д 14.

Сдано в набор 10 08 92 г Подп в печать 26 03 93 г Формат  
84 × 108/32 Усл печ л 21 0 Бумага кн -журнальная Печать высокая  
Тираж 100 000 экз Заказ № 2499 С— "34"

Диапозитивы изготовлены в Московской типографии № 7 «Искра  
революции» Мининформпечати Р Ф

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрь-  
ской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприя-  
тии «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации  
Российской Федерации 113054, Москва, Валовая, 28